



**QUAESTIO
ROSSICA**

ISSN 2311-911X

QR.URFU.RU

Russia as Intellectual Adventure

Sergiy Radonezhsky
and Russian Path to Solidarity

Russia: Images and Stereotypes

2014 № 3

ISSN 2311-911X

QR.URFU.RU



QUAESTIO ROSSICA

2014 № 3

Журнал основан в 2013 г.
Выходит 3 раза в год (апрель,
сентябрь, декабрь)

Established in 2013
Published three times a year (April,
September, December)

Учредитель – Уральский федераль-
ный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина
620000, Россия, Екатеринбург,
пр. Ленина, 51

Founded by Ural Federal University
named after the first President
of Russia B. N. Yeltsin
51, Lenin Ave., 620000, Yekaterinburg,
Russia

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-56174 от 15.11.2013

Journal Registration Certificate
PI № FS77-56174 as of 15.11.2013

«Quaestio Rossica» – рецензируемый научный журнал, сферой интересов которого являются исследования в области культуры, искусства, истории, археологии, лингвистики и литературы России. Задача журнала – расширить представления о российском гуманитарном дискурсе в пространстве мировой науки. Приоритет отдается публикациям, в которых исследуются новые исторические и литературные источники, выполняются требования академизма и научной объективности, историко-графическая полнота и полемической направленности. К публикации принимаются статьи на русском, английском, немецком и французском языках. По решению редакции часть статей переводится с иностранного языка на русский, часть – с русского на английский. Основанием является возможность расширения читательской аудитории. Полнотекстовая версия журнала находится в свободном доступе на сайте журнала и размещается на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки. Более полная информация о журнале и правила оформления статей размещены на сайте: <http://qr.urfu.ru>

“Quaestio Rossica” is a peer-reviewed academic journal focusing on the study of Russia’s culture, art, history, archaeology, literature and linguistics. The journal aims to broaden the idea of Russian studies within discourse in the humanities to encompass an international community of scholars. Priority is given to articles that consider new historical and literary sources, that observe rules of academic writing and objectivity, and that are characterized not only by their critical approach but also their historiographic completeness. The journal publishes articles in Russian, English, German and French. The Editorial Board may decide to translate an article from a foreign language into Russian or from Russian into English which is explained by the need to reach a wider reading public. A full-text version of the journal is available free-of-charge on the journal’s website and is published in the database of the Russian Science Citation Index of the Russian Universal Scientific Electronic Library. For more information on the journal and about article submissions, please consult the journal’s website: <http://qr.urfu.ru>

Издательство Уральского университета
Россия, 620000,
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, оф. 260
E-mail: qr@urfu.ru

Ural University Press
Office 260, Lenin Ave.,
620000, Yekaterinburg, Russia
E-mail: qr@urfu.ru

Формат 70x100/16. Тираж 500 экз.

Format 70x100/16. Circulation 500 cop.

Отпечатано в типографии Издательско-
полиграфического центра УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

Publisher – Ural Federal University
Publishing Centre
4, Turgenev St., 620000 Yekaterinburg, Russia
Phone: +7 343 350 56 64, +7 343 350 90 13
Fax: +7 343 358 93 06
E-mail: press-urfu@mail.ru

© Уральский федеральный университет, 2014

Редакционная коллегия журнала

Главный редактор

проф. Ф.-Д. Лиштенан (Франция,
Сорбонна)

Ответственные редакторы:

по историческим наукам

проф. Д. А. Редин (Россия,
ИИиА УрО РАН)

по культурологии и филологии

проф. Л. С. Соболева (Россия, УрФУ)

Куратор отдела рецензий

проф. М. А. Литовская (Россия, УрФУ)

Ответственный секретарь

доц. Р. Т. Ганиев (Россия, УрФУ)

Члены редколлегии

проф. В. В. Абашев (Россия, ПГНИУ)

проф. В. А. Аракчеев (Россия, УрФУ)

проф. Е. Л. Березович (Россия, УрФУ)

PhD. М. Бинне (США, Университет
Восточного Вашингтона)

к. и. н. К. Д. Бугров (Россия, УрФУ)

проф. Е. М. Главацкая (Россия, УрФУ)

д. и. н. А. Горак (Польша, Университет
Марии Склодовской-Кюри)

к. и. н. Ю. В. Запарий (Россия, УрФУ)

к. иск. М. В. Капкан (Россия, УрФУ)

PhD. А. В. Келлер (Россия, УрФУ)

проф. Н. А. Купина (Россия, УрФУ)

проф. О. Л. Лейбович (Россия, ПГАИК)

PhD. Йордан Люцканов (Болгария, БАН)

д. и. н. И. В. Побережников (Россия,
ИИиА УрО РАН)

проф. Д. О. Серов (Россия, НГУЭиУ)

PhD. М. Тиссье (Франция, Университет
Ренн 2)

PhD. Г. Робертс (Франция, Университет
Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс)

проф. Е. К. Созина (Россия,
ИИиА УрО РАН)

Journal Editorial Board

Editor-in-Chief

Prof. F.-D. Liechtenhan (France, Paris-
Sorbonne University)

Section Editors:

Historical Studies

Prof. Dmitry Redin (Russia, Institute
of History and Archaeology, UB of RAS)

Cultural Studies and Philology

Prof. Larisa Soboleva (Russia, UrFU)

Reviews Section Editor

Prof. Maria Litovskaya (Russia, UrFU)

Executive Secretary Associate

Dr. Rustam Ganiyev (Russia, UrFU)

Editorial board

Prof. Vladimir Abashev (Russia, Perm State
National Research University)

Prof. Vladimir Arakcheev (Russia, UrFU)

Prof. Elena Berezovich (Russia, UrFU)

PhD. Matthew Binney (USA, Eastern
Washington University)

Dr. Konstantin Bugrov (Russia, UrFU)

Prof. Elena Glavatskaya (Russia, UrFU)

Dr. hab. Artur Gorak (Poland, Maria Curie-
Sklodowska University)

Dr. Julia Zapariy (Russia, UrFU)

Dr. Maria Kapkan (Russia, UrFU)

PhD. Andrey Keller (Russia, UrFU)

Prof. Natalia Kupina (Russia, UrFU)

Prof. Oleg Leybovich (Russia, Perm State
Academy of Art and Culture)

PhD. Jordan Lyutskanov (Bulgaria,

Bulgarian Academy of Sciences)

Dr. Igor' Poberezhnikov (Russia, Institute
of History and Archaeology, UB of RAS)

Prof. Dmitry Serov (Russia, Novosibirsk
State University of Economics
and Management)

PhD. Michel Tissier (France, University
of Rennes 2)

PhD. Graham H. Roberts (France, Paris
West University Nanterre La Défense)

Prof. Elena Sozina (Russia, Institute
of History and Archaeology, UB of RAS)

Редакционный совет

проф. Е. В. Анисимов (Россия, Институт истории РАН)
д. и. н. Е. Т. Артемов (Россия, ИИиА УрО РАН)
проф. С. Бертолисси (Италия, Неаполитанский Восточный университет)
проф. П. Бушкович (США, Йельский университет)
проф. Б. М. Гаспаров (США, Колумбийский университет)
чл.-корр. РАН А. В. Головнев (Россия, ИИиА УрО РАН)
проф. И. Н. Данилевский (Россия, НИУ ВШЭ)
проф. Ч. Даннинг (США, Техасский университет А & М)
проф. Е. И. Дергачева-Скоп (Россия, НГУ)
проф. А. Л. Зорин (Великобритания, Оксфордский университет)
проф. Т. Н. Красавченко (Россия, ИНИОН РАН)
проф. С. Л. Кропотов (Россия, УрФУ)
проф. Д. Майклсон (США, Канзасский университет)
проф. А. Мустайоки (Финляндия, Хельсинкский университет)
д. и. н. С. А. Нефедов (Россия, ИИиА УрО РАН)
проф. М. Перри (Великобритания, Университет Бирмингема)
проф. В. Я. Петрухин (Россия, Институт славяноведения РАН)
проф. Р. Г. Пихоя (Россия, РАНХиГС)
д. и. н. Я. Садовский (Польша, Папский университет Иоанна Павла II)
проф. Д. Свак (Венгрия, Университет им. Лоранда Этвёша)
проф. Н. А. Фатеева (Россия, Институт русского языка РАН)

•

Editorial Council

Prof. Evgeniy Anisimov (Russia, Saint Petersburg Institute of History of RAS)
Dr. Evgeniy Artemov (Russia, Institute of History and Archaeology, UB of RAS)
Prof. Sergio Bertolissi (Italy, University of Naples «L'Orientale»)
Prof. Paul Bushkovitch (USA, Yale University)
Prof. Boris Gasparov (USA, Columbia University)
Prof. Andrey Golovnev (Russia, Institute of History and Archaeology, UB of RAS)
Prof. Igor Danilevsky (Russia, National Research University – Higher School of Economics)
Prof. Chester Dunning (USA, Texas A & M University)
Prof. Elena Dergacheva-Skop (Russia, Novosibirsk State National Research University)
Prof. Andrey Zorin (UK, University of Oxford)
Prof. Tatiana Krasavchenko (Russia, Institute for Scientific Information of Social Sciences of RAS)
Prof. Sergey Kropotov (Russia, UrFU)
Prof. Gerald Michaelson (USA, University of Kansas)
Prof. Arto Mustajoki (Finland, University of Helsinki)
Dr. Sergey Nefedov (Russia, Institute of History and Archaeology, UB of RAS)
Prof. Maureen Perrie (UK, University of Birmingham)
Prof. Vladimir Petrukhin (Russia, The Institute of Slavic Studies of RAS)
Prof. Rudolf Pihoya (Russia, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)
Dr. hab. Yakub Sadovski (Poland, Pontifical University of John Paul II)
Prof. Gyula Szvak (Hungary, Eötvös Loránd University)
Prof. Natalia Fateyeva (Russia, The Russian Language Institute of RAS)

•

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Vox redactoris

Religious Vector in Russian History and the Stereotypes of Cultural Imagery [на англ. и рус.]	7	Religious Vector in Russian History and the Stereotypes of Cultural Imagery [in English, in Russian]	7

Scientia et vita

<i>Daniel Waugh</i> . The Enthusiasms of Youth and Where They Led: a Memoir (p. 2) [с пер. на рус.]	19	<i>Daniel Waugh</i> . The Enthusiasms of Youth and Where They Led: a Memoir (p. 2) [in English, in Russian]	19

Problema voluminis

Сергий Радонежский и российская религиозность		Sergiy Radonezhsky and Russian Religiosity	
<i>Vladimir Milkov</i> . Sergiy Radonezhsky. Russian Path to Solidarity	57	<i>Vladimir Milkov</i> . Sergiy Radonezhsky. Russian Path to Solidarity	57
<i>Maureen Perrie</i> . Moscow in 1666: New Jerusalem, Third Rome, Third Apostasy	75	<i>Maureen Perrie</i> . Moscow in 1666: New Jerusalem, Third Rome, Third Apostasy	75
<i>Александр Палкин</i> . Единоверие в конце 1820-х – 1850-е гг.: механизмы государственного принуждения и противостояние староверов.	86	<i>Alexander Palkin</i> . Common Faith in the Late 1820s–1850s: Mechanisms of State Oppression and Old Believers’ Opposition.	86
<i>Алексей Беглов</i> . Конформизм приходской реформы К. П. Победоносцева	107	<i>Alexei Beglov</i> . The Conformism of K. P. Pobedonostsev’s Parish Reform	107
<i>Марина Нечаева</i> . Православные общественные организации и гражданское общество в России на рубеже XIX–XX вв.	124	<i>Marina Nechayeva</i> . Orthodox Social Institutions and Russian Civil Society at the Turn of the 20 th Century	124
<i>Irina Paert, Toomas Schvak</i> . Orthodox Education in the Baltic Provinces of Imperial Russia and Independent Estonia from 1840s till 1941 . .	142	<i>Irina Paert, Toomas Schvak</i> . Orthodox Education in a Baltic Province of Imperial Russia and Independent Estonia from 1840s till 1941 . .	142
Россия: образы и стереотипы		Russia: Images and Stereotypes	
<i>Елена Березович, Юлия Кривошапова</i> . Образы Москвы в зеркале русского и иностранного языка. «География» Москвы	159	<i>Elena Berezovich, Iulia Krivoshchapova</i> . The Images of Moscow in the Mirror of Russian and Foreign Languages. Moscow’s Geography.	159

Эммануэль Вагеманс. Торжество самодержавия: Алексей Петрович против Петра Алексеевича. Конфликт «отцов и детей» в голландской драматургии XIX в. 184	<i>Emmanuel Waegemans. The Triumph of Autocracy: Alexei Petrovich versus Peter Alexeevich. The Conflict of Fathers and Sons in the Dutch Drama of the 19th Century 184</i>
<i>Graham Hywel Roberts. On the Trans- Siberian with Sylvester Stallone: National Identity and Brand Identity in Post-socialist Russia . 197</i>	<i>Graham Hywel Roberts. On the Trans- Siberian with Sylvester Stallone: National Identity and Brand Identity in Post-socialist Russia 197</i>
Сергей Горяев. «Черный монах» и «Слеза монашки»: церковная тематика в названиях вин постсоветского времени 209	<i>Sergei Goryaev. The Black Monk and The Nun's Tear: Church- Related Wine Names in the Post-Soviet Times 209</i>

Disputatio

Евгений Неклюдов. Влияние системы горного права на развитие мировой металлургии: взгляд уральского заводчика 229	<i>Yevgeniy Neklyudov. The Influence of Mining Law Systems upon the Development of World Metallurgy: The View of a Ural Manufacturer. 229</i>
Ольга Ермакова. Государственная политика привлечения иностраннных специалистов на уральские заводы (первая половина XIX в.) 242	<i>Olga Ermakova. State Policy in the Recruitment of Foreign Specialists' in Ural Factories (the 1st half of the 19th Century). 242</i>

Heritage Nomina et scholae

<i>Lyubov Stolyarova, Svetlana Koroleva. Sergey Kashtanov. Historiographer of the Russian and the European Middle Ages 255</i>	<i>Lyubov Stolyarova, Svetlana Koroleva. Sergey Kashtanov. Historiographer of the Russian and the European Middle Ages 255</i>

Critica

Наталия Дьячкова. Единожды солгавший, или Как нам любить русский язык 283	<i>Natalia Dyachkova. Once a Liar, or How We Should Love the Russian Language 283</i>
Сергей Нефедов. Экономическая история СССР – непредвзятый анализ 294	<i>Sergei Nefedov. The Economic History of the USSR: An Unbiased Analysis 294</i>
Сокращения 303	<i>Abbreviations 303</i>

VOX REDACTORIS

RELIGIOUS VECTOR IN RUSSIAN HISTORY AND THE STEREOTYPES OF CULTURAL IMAGERY

The spiritual influence of Reverend Sergiy has long outlasted his earthly existence and his name has gone from historical memory to an eternally active moral engine, becoming a part of the spiritual vitality of the people.

V. O. Klyuchevsky

Defining the themes for *Quaestio Rossica* in 2014, the Editorial Board could not possibly leave aside the anniversary of St. Sergiy Radonezhsky. The attitude of 19th-century historians to this outstanding figure is perhaps best expressed in the words of Vasily Klyuchevsky, quoted in the epigraph. The country has since changed; the Russian Orthodox Church, which went through severe trials, managed to survive and in the process rebuilt its institutions throughout Russia.

This new edition may not offer a comprehensive answer as to whether or not modern researchers' perception of St. Sergiy Radonezhsky has changed. Indeed we will need to return to it. Nevertheless, the articles assembled in this issue offer a tribute to St. Sergiy as a historical figure and writer, and they provide substantial evidence that the history of the Orthodox Church is an important topic in modern academic discourse, both in Russia and abroad.

The 'Problema Volumnis' Section ("Sergiy Radonezhsky and the Russian Religiosity") opens with an article by Vladimir Milkov (Institute of Philosophy of RAS), devoted to St. Sergiy Radonezhsky and his impact on the country's social and political life as it found itself in desperate need of consolidation. In harsh political circumstances, Sergiy envisioned religion as a legitimate basis for the consolidation and formation of a common identity within the country. The Orthodox Church and all its institutions, its ministers and the dogma had to meet their assigned mission, so Sergiy actively implemented monastery reforms and also introduced a novel cult of the Trinity. As a result, the Orthodox Church, similar to the Church in Europe in its time, played a key role in the process of centralization, and Sergiy was recognized as one of the spiritual leaders of the nation on the eve of the Battle of Kulikovo in national historiography.

Turning from the Church's promising ideas of consolidation, another historical analysis explores the loss of seemingly sustainable concepts. British historian Maureen Perrie (University of Birmingham) emphasizes the little known fact of the rejection of the idea of "Muscovy as the New Israel". This idea lost currency not only through the proscription of Patriarch Nikon but

also with the Old Believers' negative attitude towards aggrandizing a Russian "New Jerusalem". The rumors about the impending arrival of the Antichrist in Jerusalem in 1666 became the justification for the third and last schism from the true faith after the ones in 1054 and 1596. In the historiography of Russian religious thought, the idea of the correlation between Russia and Israel has not received due reflection; this gap is partly filled by the author's article "Moscow in 1666: New Jerusalem, Third Rome, Third Apostasy".

The eminent role of the Church as an institution during the initial stage of the state's formation has solidified its place in society. Again and again when facing a crisis, much of the state establishment and the general public appealed to the Church as they sought a basis for consolidation, protection of the state and a strengthening of the nation's consciousness.

Since the religious life of the majority of the population is organized and takes place mostly within parish institutions, it is not surprising that many researchers examine this subject. The article by Alexey Beglov (Institute of World History of RAS) considers the activities of the Holy Synod Procurator, K. P. Pobedonostsev, aimed at achieving a compromise between church and secular institutions in organizing, financing and generally sustaining parishes. Based on the analysis of a wide circle of already-known and new sources, the author comes to a probable conclusion that the reform not only remained unfinished, but failed to activate parish life, and, therefore, did not meet the challenges of the time.

Marina Nechayeva's (Institute of History and Archaeology of the Urals Branch of RAS) article studies yet another attempt at strengthening the Church's influence over society, resulting in the formation of public, Orthodox organizations, which occurred from the second half of the 19th through the beginning of the 20th centuries. With the help of the Church's organizations, the author sees an attempt to modernize the country's public life. Analyzing the sources that characterize the interaction between power and communal initiatives in the process of the formation and development of these organizations, as well as public comments on their activities, the researcher concludes convincingly that the existing public Orthodox organizations were a "school of citizenship and social initiative", yet not public organizations in the classic sense of the term. It should be noted that similar institutions were being built approximately at the same time by the Catholic Church in Western Europe. In Europe they indeed became public organizations and proved their ability to unite the religious population within national, religious and secular institutions such as the National Catholic Action in France and Italy, the Catholic trade unions, Catholic youth and student organizations and so on.

Alexander Palkin, a researcher from Ural Federal University, analyzes the phenomenon of *Edinoverie*, a version of Orthodoxy, which was forcibly implemented by the state and sought to find a compromise between the Old Believers and the official Orthodox Church. Seemingly successful state efforts in conversion of Old Believers to *edinoverie* did not indicate the attraction of the official church for the Old Believers. Archival material shows a contradictory

situation, in which *edinovercy* found themselves in Ural factories where their immediate supervisors (the administrators) were Old Believers.

The article by Irina Paert and Toomas Schvak (University of Tartu, Estonia) focuses on the history of Orthodox education in the Baltic provinces of Russia and later in independent Estonia. History shows that a religious institution gets deeply rooted in any given place only when the transmission of religious knowledge and values occurs across generations. The Orthodox Church sought to solve this particular problem with its system of educational institutions. The authors successfully solve the research problem associated with the analysis of the evolution of Orthodox educational formats in the independent Republic of Estonia from its formation until 1941. The Editorial Board looks forward to continuing the discussion on the fate of Orthodoxy in other independent republics, which were formerly part of the Russian Empire.

One more important theme that the Editorial Board intends to further develop and support in 2015 is the images and the stereotypes of Russia or, rather, Russian originality embodied in images and stereotypes. This embodiment can be seen in artifacts and events that exist for a majority of the population and in stereotypes that are reproduced by the advertising industry and mass media. Scrutiny of this theme seems unavoidable if one hopes to comprehend the unique and the common in the character of Russia.

Quaestio Rossica also includes articles from various fields in the Humanities. The image of Moscow and Muscovites in Russian and other foreign languages is analyzed by Elena Berezovich (Ural Federal University) and her colleague Iulia Krivoshchapova (UrFU Lyceum), who draw upon exhaustive linguistic data.

Unfamiliar to Russian and foreign readers alike, the dramatic works of Dutch authors from the 19th century address the conflict between Peter the Great and his son Alexey, which is examined by Emmanuel Waegemans (Katholieke Universiteit Leuven). We translated the article into Russian, believing that unknown aspects of written culture are important for the Russian-speaking reader. Understanding the history of Russia by authors from the Netherlands gives food for thought about the universal problem of fathers and children, power and the price of it, humanity and justice, which are important for any time, including now.

The stereotypes, which are typical in historical memory and are embodied in the advertising of the alcohol industry in post-Soviet Russia, are discussed in the article by Graham Roberts (University of Paris X – Nanterre). A peculiar echo of religious themes appears in the article by Sergei Goryaev (Ural Federal University) about church-related names of wines. Partially translated, but for the most part created through the imagination of advertising specialists, those names reflect the curious refraction of religious discourse in mass consciousness.

Two similar articles on the history of the manufacturing industry in the Urals appear in the 'Disputatio' Section of this issue of *Quaestio Rossica*. Attention to manufacturing is no accident for researchers of the region;

it is exactly the history of the establishment and development of modern technologies in manufacturing, which constitute the essence of the Urals' identity. Yevgeniy Neklyudov (Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS) shows how the Ural mine owners in the beginning of the 20th century conceptualized the place of their region's industry within the Russian economy and what measures they proposed to promote mining works. The article by Olga Ermakova (Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS), based on the archival sources and analysis of Russian legislation, looks at the problems associated with the state's strategy to attract foreign specialists to Ural factories. The author also touches upon the downside of protectionism: that is, privileges created a negative attitude within the locals and did not foster a friendly atmosphere.

The Third Issue of *Quaestio Rossica* for 2014 sees the last part of the philosophic memoir of Daniel Waugh, a prominent American Slavist and Professor Emeritus at the University of Washington (Seattle), which details his work with early Russian manuscripts as well as his meetings with Russian researchers during Soviet and post-Soviet times ('Scientia et vita' Section). This part contains an exciting narrative on his work with an interesting historical manuscript dating back to the 17th century, created in Vyatka (now Kirov); he also describes the harsh destiny of history studies in the Russian province. D. Waugh's article is by itself a historical source on the topic of the international relations of Russian research, which is why, quite naturally, it is published in original and also translated into Russian. The memoirs of the American Slavist quite organically echo the essay on the personality and achievements of the Russian historian, Sergey Mikhailovich Kashtanov, a leading specialist in diplomacy and the medieval history of Russia. If Waugh's orbit of interest is early Russian books and manuscripts, Kashtanov's interests include ancient Russian Acts as sources that reflect the evolution of state institutions and the embodiment of political decisions. The biographical essay, created by the students and adherents of S. M. Kashtanov, L. Stolyarova and J. Koroleva (Institute of World History of RAS), realizes the Editorial Board's mission to identify the lines of development in the Humanities and record the fate of Russian scientists ('Heritage. Nomina et scholae' Section). The article was translated into English to expand the information base for global humanities.

The reviews, which are presented in 'Critica' Section, are quite contrasting in their tone. Sergei Nefedov (Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS) in his review praises the monograph by G. I. Hanin, a specialist in the economic history of Russia. Despite the fact that the book was published in 2008, the journal decided to draw attention to it, especially in light of today's difficult economic situation. A critical review by Natalia Dyachkova (Missionary Institute, Yekaterinburg) bears the ironic title "Tell a Lie Once, or How We Must Love Russian Language" and describes in detail the errors and fraud in the books of V. Irzabekov about the Russian language. Claiming to perform a noble, patriotic task by awakening love for the Russian language and by showing its spiritual heights, the work, however, dem-

onstrates linguistic incompetence and negligence for scientific reasoning, thereby superseding any good intentions held by the author.

We certainly hope that *Quaestio Rossica* attracts the attention of a wider audience of specialists within the Humanities; we eagerly await responses to ideas, communicated in previously published issues.

Editorial Board

Translated by Anna Dergacheva

РЕЛИГИОЗНЫЙ ВЕКТОР ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНО-ОБРАЗНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ РОССИИ

Духовное влияние преподобного Сергия пережило его земное бытие
и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания
сделалось вечно деятельным нравственным двигателем
и вошло в состав духовного богатства народа.

В. О. Ключевский

Определяя тематику журнальных выпусков на 2014 г.¹, редколлегия *Quaestio Rossica* не могла обойти вниманием 700-летний юбилей Преподобного Сергия Радонежского². Отношение российского общества XIX в. к этому выдающемуся деятелю, пожалуй, лучше всего выражено в словах В. О. Ключевского, вынесенных в эпиграф. Изменилась страна, тяжелые испытания прошла Русская православная церковь, сумевшая выстоять и восстановить свои институты на территории всей России. Вопрос о том, насколько изменилось понимание деяний Сергия Радонежского и значение его личности как со стороны современных исследователей, так и внутри всего российского общества, вероятно, не получит полного ответа в данном выпуске журнала. Статьи, которые были подготовлены как дань уважения к нему как к исторической личности и духовному лидеру, свидетельство того, что история Православной церкви является важной частью современного научного и общественного дискурса как в России, так и за рубежом.

Раздел «Сергий Радонежский и российская религиозность» (*Problema voluminis*) открывается статьей Владимира Милькова (Институт философии РАН), посвященной деятельности Сергия Радонежского и его влиянию на общественно-политическую жизнь страны в конце XIV в., отчаянно нуждавшейся в сплочении. В условиях политического кризиса Сергей видел религиозный фактор

¹ Редколлегия *Quaestio Rossica* придерживается гибкой языковой политики. Ряд статей в этом номере публикуются в переводах, другие на языке оригинала. Публикуя статьи на четырех языках, мы учитываем пожелания автора, наше видение потенциальной аудитории статьи и возможности ее расширения, также преследуется цель укрепления информационной базы мировой русистики.

² См.: *Quaestio Rossica*. 2013. № 1. С. 212.

реальной основой для консолидации и формирования общего самосознания страны. Церковь, все ее институты, служители и учение должны были соответствовать возложенной миссии, поэтому Сергей участвовал в осуществлении монастырской реформы и введении нового для страны культа Троицы. В итоге Православная церковь, как в свое время и Западная церковь в Европе, сыграла ключевую роль в процессе централизации, а Сергей был признан в отечественной историографии одним из духовных вождей нации в канун Куликовской битвы.

Обретение церковью перспективных идей консолидации в иной исторической обстановке сопровождалось утратой, казалось бы, устойчивых концептов. Историк из Великобритании Морин Перри (Университет Бирмингема) останавливается на малоизученном факте отказа от идеи «Московское царство – Новый Израиль», что было предопределено опалой патриарха Никона и негативным отношением в старообрядческой среде к проекту возвеличивания русского «Нового Иерусалима». Слухи о предстоящем появлении Антихриста в Иерусалиме в 1666 г. стали обоснованием времени третьего, последнего отступления от истинной веры после 1054 г. и 1596 г. В историографии русской религиозной мысли идея о соотношении России и Израиля не получила должного осмысления, эта лакуна отчасти заполняется в статье автора «Moscow in 1666: New Jerusalem, Third Rome, Third Apostasy».

Высокая роль церковного института на начальном этапе формирования государства предопределила его место в жизни общества: каждый раз оказываясь перед лицом кризиса, значительная часть государственного истеблишмента и населения вновь и вновь обращалась к Церкви, ища в ней и пропагандируемых ею ценностях основу для единения, защиты государственности и укрепления самосознания нации.

Поскольку религиозная жизнь большей части населения организована и в значительной степени протекает в рамках приходских институтов, неудивительно обращение исследователей именно к этой теме. В статье Алексея Беглова (Институт всеобщей истории РАН) рассмотрены мероприятия обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева, направленные на достижение компромисса между церковными и светскими институтами по вопросу об организации, финансировании и компетенции церковных приходов. На основе анализа широкого круга уже известных и новых источников автор пришел к закономерному выводу о том, что реформа не только осталась незавершенной, но и не могла в принципе активизировать жизнь прихода, а значит, и ответить на вызовы времени.

Другой попыткой укрепить влияние церкви на общество было создание православных общественных организаций, предпринятое во второй половине XIX – начале XX в., чему посвящена статья Марины Нечаевой (Институт истории и археологии УрО РАН). Автор видит в создании этих институтов попытку модернизации общественной жизни в стране. Проанализировав источники, характеризующие взаимодействие властных и общественных инициатив в процессе становления

и развития этих организаций, и общественные отзывы об их деятельности, исследователь делает убедительный вывод о том, что существовавшие православные общественные организации являлись «школой гражданственности и общественной инициативы», но пока еще не общественными организациями в классическом понимании этого термина. Надо отметить, что аналогичные институты создавались примерно в то же время и в рамках Католической церкви в Западной Европе. И на территории Европы они действительно стали общественными организациями и доказали свою способность к объединению активной части религиозно ориентированного населения в рамках национальных религиозных светских институтов, таких как Национальное католическое действие Франции и Италии, католические профсоюзы, католические молодежные и студенческие организации и т. д.

Исследователь Александр Палкин (Уральский федеральный университет) анализирует феномен единоверия – насильственно насаждаемого государством варианта православия, представлявшего собой попытку найти компромисс между старообрядцами и официальной церковью. Усилия государства по обращению старообрядцев в единоверие при всей внешней успешности отнюдь не свидетельствовали о привлекательности для староверов официальной церкви. Обращение к архивным материалам показывает противоречивую ситуацию, в которую попадали единоверцы на уральских заводах, когда их непосредственным начальством (приказчики) были выходцы из староверов.

Статья авторов из Университета Тарту (Эстония) Ирины Пярт и Тоомаса Швака посвящена истории православного образования на территории прибалтийских губерний России, а затем и в независимой Эстонии. История показывает, что любой религиозный институт действительно укореняется там и тогда, где и когда появляется возможность трансляции религиозных знаний и ценностей последующим поколениям. Именно эту задачу решала система образовательных учреждений Православной церкви в Прибалтике. Авторы успешно решают исследовательскую задачу, связанную с анализом эволюции форматов православного образования в независимой республике Эстония от момента ее создания до 1941 г. Редколлегия рассчитывает на продолжение дискурса о судьбах православия в других независимых республиках, находившихся в прошлом в составе Российской империи.

Другая важная тема, которую редколлегия намерена продолжать и в 2015 г., касается российской самобытности, воплощенной в образах и стереотипах. Их проявление видится в артефактах и событиях, которые становятся доминантными для большинства населения, а также в стереотипах, тиражируемых рекламой и средствами массовой информации. Поэтому обращение к данной теме неизбежно в желании понять уникальное и общепринятое в характеристике России. В *Quaestio Rossica* соединяются статьи из различных сфер гуманитаристики. Тема образа Москвы и москвичей в русском и иностранных языках проанализирована с привлечением исчерпывающих лингвистических данных

Еленой Березович (Уральский федеральный университет) и ее коллегой Юлией Кривошаповой (Лицей Уральского федерального университета). Особую значимость статье придает обращение к неизвестным материалам полевых топонимических экспедиций, хранящихся в архиве кафедры общего языкознания.

Малознакомые русскому и зарубежному читателю драматические произведения голландских авторов XIX в., обратившихся к теме конфликта Петра Великого и его сына Алексея, рассматривает Эммануэль Вагеманс (Католический университет Левена). Мы перевели статью на русский язык, полагая, что неизвестные артефакты словесности представляются важными для русскоязычного читателя. Осмысление российской истории писателями Голландии дает повод для размышлений об общечеловеческой проблеме отцов и детей, власти и расплаты за ее обладание, гуманности и справедливости, что важно для любого времени, и сегодняшнего тоже.

Стереотипы, характерные для исторической памяти и воплощенные в рекламе алкогольной продукции на постсоветском российском пространстве, рассматриваются в статье Грэхама Робертса (Университет Париж X – Нантер). Своеобразным отголоском религиозной темы звучит статья Сергея Горяева (Уральский федеральный университет) о церковной тематике в названиях вин. Частично переведенные, а по большей части созданные фантазией специалистов рекламы названия отражают своеобразие преломленного в массовом сознании религиозного дискурса.

В рубрику *Disputatio* в этом номере *Quaestio Rossica* попали две перекликающиеся статьи об истории промышленности Урала. Внимание к заводской тематике не случайно для исследователей региона, так как именно история становления и развития передовых технологий в промышленности составляет суть идентичности Урала. Евгений Неклюдов (Институт истории и археологии УрО РАН) показывает, как уральские горнозаводчики начала XX в. осмыслили место промышленности своего региона в экономике России и какие меры предлагали для стимулирования горных работ. В статье Ольги Ермаковой (Институт истории и археологии УрО РАН) на основании архивных источников и анализа российского законодательства рассматриваются проблемы, связанные с государственной стратегией привлечения иностранных специалистов на заводы Урала. Автором затрагивается и обратная сторона политики протекционизма: привилегии вызывали негативное отношение местных жителей и не способствовали формированию дружелюбной атмосферы.

В третьем номере *Quaestio Rossica* мы завершаем публикацию размышлений американского русиста, почетного профессора Вашингтонского университета (Сиэтл) Даниэля Уо о его работе с памятниками древнерусской письменности и встречах с российскими исследователями в этой области в советское и постсоветское время (рубрика *Scientia et vita*). В круг его повествования входит описание работы над интереснейшей исторической рукописью конца

XVII в., созданной в г. Вятке (совр. Киров), и непростой судьбы российской исторической науки в провинции. Статья Д. Уо сама является историческим источником по теме международных связей российской науки, поэтому естественно, что она публикуется на языке оригинала с переводом на русский в целях эффективного научного использования. Мемуары американского русиста органично смыкаются с очерком о личности и профессиональных достижениях русского историка Сергея Михайловича Каштанова, ведущего специалиста в области дипломатики и средневековой истории России. Если область интересов Уо – древнерусская книга и памятники древнерусской словесности, то сфера интересов Каштанова – древнерусский акт как источник, отражающий эволюцию государственных институтов и воплощение политических решений. Очерк, созданный учениками и последователями С. М. Каштанова Л. Столяровой и Ю. Королевой (Институт всеобщей истории РАН), развивает задачу редколлегии – выявлять в журнале линии развития гуманитарной науки и воссоздавать судьбы ученых российской формации (рубрика: *Heritage. Nomina et scholae*). Перевод статьи на английский язык расширяет информационную базу мировой гуманитаристики.

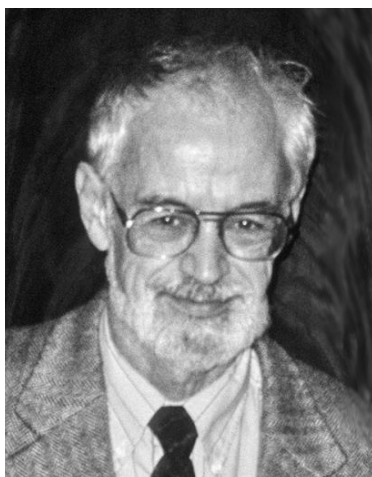
Рецензии, представленные в разделе *Critica*, полярны по своей тональности. В отзыве Сергея Нефедова (Институт истории и археологии УрО РАН) дана высокая оценка монографии Г. И. Ханина, специалиста по экономической истории России. Несмотря на то что сама работа была опубликована в 2008 г., журнал решил привлечь внимание к ней, учитывая сложную экономическую ситуацию современности. В критической рецензии Наталии Дьячковой (Миссионерский институт, Екатеринбург) с ироническим заголовком «Единожды солгавший, или Как нам любить русский язык» подробно рассматриваются ошибки и подтасовки в книгах В. Ирзабекова о русском языке, претендующих выполнить патриотическую задачу – пробудить любовь к русскому языку и показать его духовную высоту. Однако лингвистическая некомпетентность и научная небрежность аргументации сводят на нет благие помыслы автора.

Надеемся, что журнал *Quaestio Rossica* будет в центре внимания специалистов-гуманитариев, и мы с нетерпением ждем откликов на идеи, прозвучавшие в опубликованных материалах.

Редколлегия

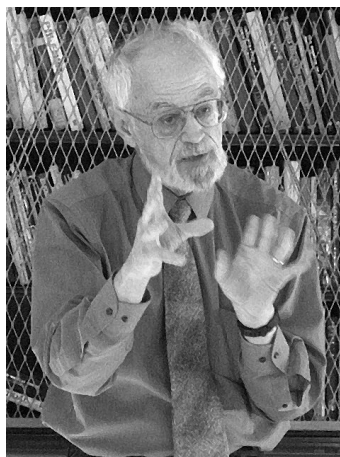


Scientia
et vita



Daniel Waugh. 2003, St. Petersburg, Institute of the Russian Literature (Pushkinsky House)

Даниель Уо. 2003, Санкт Петербург, Институт русской литературы (Пушкинский Дом)



Daniel Waugh. 2013, London, the Royal Geographical Society (foto by Charlotte Green)

Даниель Уо. 2013, Лондон, Королевское географическое общество (фото Шарлотты Грин)



Scientia
et vita

THE ENTHUSIASMS OF YOUTH AND WHERE THEY LED: A MEMOIR¹

The article is a continuation of an autobiography written by Daniel Waugh, an eminent American scholar and specialist in Old Russian literature; it gives an original perspective of how a person's life can be combined with professional interest. The events of the author's life are set against a background of Russian studies carried out both in Russia and abroad, as well as historical and cultural discussion. The reader gets acquainted with the Soviet and world humanities thought that intricately combines benevolence and academic objectivity with ideological confrontation and captious objections. The author's perfect understanding of people and their achievements makes the memoirs a source of valuable information on the humanities during the Cold War and post-Soviet years. The article demonstrates that respect for hard academic work and mutual respect among scholars is a key to the solution of conflicts and disagreement regardless of their nature. This is the first part of the autobiography, a continuation is to be published in the upcoming issue.

Keywords: Soviet humanities; Pushkin House; Soviet historians; Manuscript Heritage; Old Russian literature.

My interest in manuscripts and codicology perforce led me into filigranology (the study of watermarks), concerning which I had no knowledge prior to arriving in Leningrad in 1968. Of course my initial interest was purely practical, wanting to use paper evidence for dating, but then I at least began to edge into larger concerns about methodology. Not that I ever published much on the subject, beyond a good many reviews and notices on new Russian or Ukrainian publications (most of these for the bulletin of the International Association of Paper Historians). The major exception in substance was long article published in *Kritika* on my return from my first year in Leningrad. Arguably much more than a review, its fate illustrates how possibly good ideas can vanish almost without a trace if published in an obscure place and with no follow-up.

I would remind readers who know *Kritika* in its new incarnation as a substantial journal of articles and reviews on Russian history that its ancestor was a review journal, subtitled "A Review of Current Soviet Books on Russian History," printed in a limited run from camera-ready type-

¹ Continuation. For the first part see *Quaestio Rossica*. 2014. No. 2.

script. It had been initiated by Richard Pipes, a prominent historian of modern Russia, so that his graduate students at Harvard could gain experience in reviewing and publishing. Indeed, work for *Kritika* was one of the most valuable parts of my graduate training. We shared drafts of reviews, then met at Pipes' home to critique them before undertaking revisions. He had the final say as to whether a review was publishable; he was unsparing in his demands that we write well. But otherwise the basic editing was in our hands. At the end of the academic year, on at least a couple of occasions, all the participants attended a picnic at his lakeside "dacha" in southern New Hampshire. Some may still have (mine has disappeared) a photo taken of the group in the mid-'60s, whose numbers included a good many who became prominent in Russian and East European history across the U.S. in subsequent years: Robert Williams, Daniel Field, Max Okenfuss, Abbott Gleason, William Rosenberg, John Fine, Peter Kenez, Theodore Taranovski...

We decided to publish a special issue devoted to auxiliary disciplines in 1970, my contribution being a review of Soviet watermark publications [Waugh, 1970]. I was later told that my article had been translated into Russian (probably by E. I. Mamatova) and was circulating in the Lenin Library among the old book specialists.² Subsequently it received the attention of Soviet filigranologists, some of whom applauded and others disagreed with its conclusions at the same time that they tended to ignore one of what I thought were the article's important suggestions. A partial translation of it also appeared in German, under an introduction by the pre-eminent paper historian of the time, Theo Gerardy, indicating how important he felt the piece was.³ The thrust of the article was in part criticism of a then very prevalent way of "publishing" watermarks in tabular descriptive form (that is, without depicting each and every one of them), which was advocated

² Like Amosov (see above) the watermark specialist in the State Historical Museum in Moscow, T. V. Dianova, took issue with my suggestions regarding the value of precise measurements of watermarks, although she did not fully understand what I had meant. See [Дианова] and my summary in English with a response to her criticism: *IPH Information*, N. F., 11/3–4 (1977), 116. Apparently not having read my article, Yu. V. Andryushajtite cited my views at least to the extent that they had been explained (and contradicted) by Dianova. See: [Андрюшайтите, 19876], which otherwise is a useful survey of the literature for the indicated period.

³ *IPH Information*, N. F., 5/3 (1971), 62–66. Apart from Gerardy, the one person in the West who I know read the article with care was John Simmons of All Souls College, Oxford, the estimable Slavic bibliographer and major contributor to the translation, proper editing and publication of important Russian watermark collections. Simmons wrote me two letters in quick succession with pointed criticisms (and some appreciation) of my piece. I take it as lavish praise from him when he said, "you don't miss much, and you are off the ball only occasionally" (!) (J. S. G. Simmons to Daniel Waugh, 10 July 1970). He was skeptical about the possibilities of computerizing watermark images and felt that the experienced eye of experienced filigranologists really was the best guarantee that papers could be identified. (J. S. G. Simmons to Daniel Waugh, 11 July 1970). Simmons appreciated my comments on the importance of watermark data for codicological study, comments which unfortunately had not been seen (along with related work of others) by Predrag Matejić when he wrote his dissertation a couple of decades later in which he proposed as "new" methodologies some of the same ideas, which he was using in compiling his valuable description of the Hilandar Collection at Ohio State University, a collection for which he has long been the curator.

by Sokrat Aleksandrovich Klepikov, the “dean” of Soviet filigranology. But I think that alone should not have stirred much interest. I was proposing an alternative, in a sense anticipating the future of filigranology, a future which has yet, more than four decades later, not fully arrived. Following Western scholars, I suggested that proper measurement might enable us to obtain numerical data for comparisons of known with unknown watermarks – that is, perhaps by quantifying the process, we could make it all more precise and at least facilitate indexing an image bank. But that was not all. Having precise images of all watermarks was essential for proper comparison. It occurred to me (probably because I had seen a newspaper article on the subject) that the system of scanning, recording and retrieving fingerprint data in a computer, which the FBI had developed, might be adapted for filigranology, since in both cases one is dealing with images containing some detail which had distinct characteristics.⁴ Of course, as with the computerization of manuscript descriptions, the computerization of watermark data was going to require concerted effort of a kind I had no time to commit and would require substantial financing. Eventually in the Soviet Union some interest developed in what we might call “scientific” processing of watermarks. Kashtanov, among others, explored the possible use of precise measurements, but then emphasized the importance of data other than that concerning paper in codicological studies.⁵ A. P. Bogdanov’s book [Богданов] on the basics of filigranology is far more than a textbook for beginners.⁶ Among other things, with passing reference to my article, he undertook serious statistical analysis to show that measurements might be used to distinguish and identify watermarks. Even though he failed to mention my proposals about computerization, he wrote several pages on the desirability of it for future watermark studies. I am not aware that Bogdanov’s book has had much of an impact, either for training in the proper analysis of watermarks or in its more forward-looking ideas for the future of filigranology. For the application of watermark evidence in the study of Russian manuscripts, the main practical improvements have been publication of some valuable new albums such as those compiled in GIM by T. V. Dianova and V. M. Zagrebin’s compilation in the Publichka

⁴ A confession here – despite my physics major, I had no real idea of the technical issues involved or the mathematical models demonstrating the possibilities for optical scanning which was a field still in its infancy at the time. What I learned came from reading in a textbook on the subject while standing in the book section of the Harvard bookstore. (Such are the dirty little secrets about “scholarship”!).

⁵ His articles appeared in «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина» (Iss. 38, 40).

⁶ A large section of his book was an illustration of the uses of paper evidence for careful codicological analysis, his example being the official investigation record concerning the death of Tsarevich Dmitry in Uglich in 1591. The document’s authenticity has been much disputed; Bogdanov’s analysis, which concluded that the manuscript does not reflect the actual results of the investigation (but rather, a politically motivated fabrication) certainly goes farther than previous studies in trying to resolve the dispute. Probably the fact that this extended analysis is buried in an obscure (!) book on watermarks explains why a scholar as thorough as Chester Dunning apparently missed it when working on his big book about the Time of Troubles.

of thematic collections of watermarks by cutting and pasting xeroxes from their scattered depictions in various albums.⁷ His compilations are available only there though for use in the one reading room.

As I have recently learned, Briquet's famous collection is now on line as are watermark databases from several specific collections of manuscripts (not from Russia though). Work has been done toward developing optical recognition methodology for watermarks, but apparently the project has stalled for lack of funding.⁸ It is entirely possible that back in 1970 I was overly optimistic as to how easily the then technology could have been adapted to the task. Yet with the advances in digitization of the intervening decades, one surely can hope that soon it will be possible to achieve what I projected back then (even if that somewhat fanciful vision seems to have had nothing to do with any of the more recent developments).

One of the issues that concerned me in writing that article was the degree to which watermark data might be so loosely interpreted as to invalidate arguments based on it regarding the date of manuscripts. This issue was taken up by A. A. Amosov in a penetrating article published in 1981 in which he discussed the need for much more rigorous use of terminology and for a much more precise methodology in recording and describing watermarks [Амосов]. He cited with approval the "harsh but completely justified criticism" I had written in my 1970 article and as well cited the examples I had used in a later piece to illustrate erroneous claims of those who were trying to undermine Edward Keenan's *Kurbskii-Groznyi Apocrypha* on the basis of the watermarks in the then known manuscripts [Waugh, 1977].

Here I might digress briefly on that second piece, which was my contribution at the 1974 International Slavists Conference in Banff to a session devoted to Keenan's book. At the time the book had appeared, in one of the first reviews, Serge Zenkovsky dismissed out of hand the possibility that what I had written about the dating of the manuscripts might be accurate. I had laid myself open to this by indicating that, of course, I had come to the task with much less experience than my distinguished Russian predecessors who had worked on the material. In my Banff paper, I provided comparison drawings to reaffirm key datings. Inge Auerbach, who was one of Keenan's persistent critics, also spoke at Banff, and in publishing her paper responded to mine by claiming the indicated watermarks undoubtedly could be from much earlier paper. Her examples though showed how little

⁷ Zagrebin, who died tragically just short of age 62 "at the very peak of his creative power and life," headed the Old Russian section of the Publichka's rare book division and had for a number of years, as the successor to his senior colleague N. N. Rozov, been the instructor for a course on Slavic palaeography at St. Petersburg University. He had contributed a good many of the descriptions published in the national catalogue of early Slavic Manuscripts and was deeply involved in the project to describe the Pogodin Collection. His obituary took special note of his work in the compilation of the watermark catalogues. See: [Бобров, Рождественская].

⁸ The references and links may be found at: <<http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ren/projects/publications/lima/paper/describing/databases/>>, accessed 26 June 2012. An e-mail exchange with one of the key participants in this project (who has moved on to a different position) confirms that apparently it has been abandoned.

she understood of the matter. Amosov's point in supporting me, even if undoubtedly he had other reasons to disagree with Keenan, was that indeed, all too often those citing paper evidence had no clear understanding of what "identity" or "similarity" might or might not mean. And, as a real expert in such matters, unlike Zenkovsky and Auerbach, he clearly knew.

One of the virtues of the new edition of the Kurbskii–Groznyi correspondence by Ia. S. Lur'e and Yu. D. Ry'kov published (at least in part) as a rebuttal to Keenan, was that they did not push the paper evidence farther than it merited. They provided detailed manuscript descriptions, including those for many previously unused manuscripts containing the texts. In those descriptions, they cited my data along with those of others. But none of this was to suggest one should try to re-date the manuscripts back into the 16th century. What did, however, change the picture was a later discovery by B. N. Morozov of a previously unknown manuscript of the first Kurbsky letter in a copy that arguably may be some two decades earlier than any of the others – not going back to the lifetime of the putative correspondents but dating to, perhaps, ca. 1600 [Морозов].⁹ Keenan was understandably skeptical about this discovery, since old paper can lie around unused and scribal hands often can have a long and deceptively anachronistic life. My impression of the evidence though supports Morozov's assertions about the early date of the manuscript in question. Of course what this does not do, of itself, is prove Keenan was totally wrong, but rather it throws into question the particular scenario he laid out in the book for the creation of the correspondence. He since has come up with additional explanations which would accommodate the new manuscript evidence but still not undermine his doubts about the "genuineness" of the letters. Unless there are yet more surprises awaiting us in the still poorly described Muscovite manuscripts, I strongly suspect that there never will be filigranological evidence to prove or disprove the authorship of Kurbsky and Ivan. For most of us, filigranology is indeed only an "auxiliary" discipline, albeit I think an underappreciated one.

I might add as a footnote here that I did finally meet Sokrat Aleksandrovich Klepikov (at the time, I think, he was pushing 80 and had few years left) in his apartment in Moscow. He was gracious, not offended in the least by my criticism (which he in any event dismissed). In retrospect, I think I had been too categorical in questioning the value of Klepikov's tabulation approach. Over the years in fact I have had no choice but to use his tables for such common watermarks as "foolscap" and "Arms of Amsterdam," with, however, some cognizance of their limitations for precise dating. When he died, John Simmons inquired whether I might write an obituary for Sokrat Aleksandrovich, but I declined, since I simply did not know enough about

⁹ Morozov, who acknowledges the assistance of A. A. Amosov in identifying the watermarks, admits that those on the particular leaves with the text of the letter are unclear and that there seems to have been some disturbance in the formation of the quires. However, the surrounding paper and the handwriting argue for a date of the end of the 16th century. Among other material, in discussing the "convoy" of the works accompanying the letter, he cites my book on the apocryphal letters of the sultan.

his career.¹⁰ One of Klepikov's lasting contributions to filigranology and manuscript studies in Russia was his bequeathing his considerable library of watermark albums and literature published in the West to the manuscript division of the Library of the Academy of Sciences in Leningrad. For Soviet repositories, obtaining such expensive books was nigh impossible, but some of them were essential for a proper reference collection.¹¹

The fate of another of my long review articles dating from about the same time as the one on watermarks is somewhat curious. Since I had worked in the manuscripts of the Muscovite *kuranty* (the translations and summaries of foreign news texts) for my dissertation, naturally I was very interested in the appearance in 1972 of the first volume of what was to be a multi-volume, still ongoing publication of those texts. I had talked with one of the editors about the *kuranty* and received from her a copy of the book. My review of it for *Kritika* contained some serious suggestions for improvements that might be made in subsequent volumes – the editors had not always properly ordered the manuscript pages containing the texts; the idea that the texts be arranged chronologically by date of entry was flawed, the scope of what might rightly be included in the publication needed broadening, and ideally any of the western sources which could be located should be published along with the Russian translations [Waugh, 1973]. I sent the review off to Moscow where it was politely acknowledged¹² and duly cited in a subsequent volume, but the recommendations in it were ignored. The review did, however, come to the attention of Ingrid Maier many years later in Uppsala, when she had started to work on the *kuranty* texts, and this led to our correspondence and ultimately to collaboration on a (still unfinished) book project for which I went off to Sweden for two pleasurable years immediately following my retirement.¹³

¹⁰ Simmons then wrote about Klepikov for both *The Book Collector* and *IPH Information*. A long, warm appreciation of him is M. V. Kukushkina [Кукушкина]. The somewhat odd appreciation of Klepikov (focussing mainly on his bibliographic contributions on filigranology and their shortcomings) by I. V. Andryushajtite [Андрюшайтите, 1987a], concluded with a hope that someone would pick up where he left off, but to the best of my knowledge that has not happened.

¹¹ While this was purely an exchange in return for receiving microfilms I needed of manuscripts, I supplied several of the key watermark albums published by the Paper Publications Society to the the Manuscript Division of GIM in 1969 and Follieri's multi-volume reference work of incipits from Greek manuscripts to the Publichka. Russian scholars who had no such "leverage" were often frustrated in their attempts to obtain any microfilm of manuscripts in GIM, then ruled with an iron hand by the formidable Marfa Viacheslavna Shchepkina. I even witnessed there one of the rare occasions when she smiled, on having just returned from the Bulgarian Embassy where she had been decorated with the Order of SS. Cyril and Methodius for her work on early Slavic manuscripts.

¹² Antonina Ivanovna Sumkina to Daniel Waugh, 12 December 1973. I had sent her a year earlier (before my review) a copy of the section of my dissertation on the *kuranty* and a reference to the standard published guide to 17th-century German newspapers, which was very relevant for their project (Daniel Waugh to A. I. Sumkina, 10 October 1972).

¹³ To date, this project has resulted in two articles jointly authored with Professor Maier: *How Well Was Muscovy Connected with the World?* [Maier, Waugh, 2009]; *The Blowing of the Messiah's Trumpet: Reports about Sabbatai Sevi and Jewish Unrest in 1665–1667* [Maier, Waugh, 2010]. In addition, I have published *News Sensations from the Front: Reportage in Late Muscovy concerning the Ottoman Wars* [Waugh, 2008].

Furthermore, now that the long-time editor of the *kuranty* series in Moscow has died and Maier is involved in the preparation of the new volumes, some of my recommendations of several decades ago are finally being taken into account.¹⁴

A great deal of progress has been made in the description of early Slavic manuscripts since Likhachev's somewhat pessimistic assessment at the Tikhomirov Readings in 1972. Yet the results are very uneven. Whereas in the 19th century, many of the descriptions we still most value for their detailed identification of texts were compiled by those who had a very deep knowledge of Orthodox religious literature – some in fact were clerics – it is much harder to find individuals nowadays with such training combined with training in the other necessary disciplines. The problem is especially acute, as Likhachev and others pointed out, when it comes to the cataloguing of manuscript collections in the Russian “provinces” where it might even be difficult to find individuals trained to read Muscovite cursive.¹⁵ In these circumstances, we have descriptions ranging from the minutely detailed ones for certain of the most interesting miscellanies of the Collection of the Monastery of St. Cyril at Beloozero [Каган, Поньрко, Рождественская], to sketchy modern supplements to the classic, detailed catalogue of the Synodal Library Collection compiled by A. V. Gorskij and K. I. Nevostruev in the 19th century [Описание рукописей]. We now have the first parts of the *Complete Catalogue of Slavonic-Russian Manuscripts* [Сводный каталог, 1984, 2002]. As noted above, Klimentina Ivanova's catalogue of the South Slavic Manuscripts in the Pogodin collection is out, though the description of the rest of the collection is still short of the halfway point. There is much more, but the list of collections as yet undescribed in print is legion. Descriptions of collections outside of Russia are also appearing, but with uneven results and an uncertain future. We have Ralph Cleminson's somewhat flawed catalogue of manuscripts in British collections, a long-overdue contribution.¹⁶ A current project to describe those in Swedish collections is running out of time and money, leaving one to wonder whether the job can be properly finished.¹⁷ We still lack a proper description of early Slavica in American libraries.

¹⁴ *Vesti-kuranty* 1656 g., 1660-1662 gg, 1664-1670 gg., 2 pts. (Moscow, 2008-2009) contains in pt. 2 all the foreign sources which Ingrid Maier was able to locate with considerable difficulty in various collections across Europe. Of course that kind of intensive work could not have been carried out by Soviet scholars in an earlier period, partly for want of the means to visit all the collections, partly for want of the requisite languages. Apart from this feature of the publication, Stepan Shamin, one of the other editor/compiler, went to considerable lengths in the introduction to part 1 to correct some of the codicological and chronological problems that had been created by the long-time editor V. G. Dem'yanov's stubbornness in adhering to the approach established in volume 1 of the series. The next volume, which is being prepared by Shamin and Maier, should avoid these problems entirely.

¹⁵ See, for example: [Амосов, Колесников, особ. с. 165.].

¹⁶ I reviewed it positively: [Waugh, 1990]. For a more careful assessment, see the review by W. R. Veder in *The Slavonic and East European Review*, 88/3 (1990), 521-523.

¹⁷ I hope I am not reading too much into a personal communication about this which I received from one of the contributors to the project, Alexander Pereswetoff-Morath, in June 2012.

Of course the still limited state of our knowledge of Slavic manuscript collections means that discoveries in them, some significant, many arguably trivial, will continue to be made for a long time to come. We are witnessing a flood of good editions of major works which had long been known but never properly published. Furthermore, even in collections well known at least for content description and in the case of texts that have long been in print, re-examination of the manuscripts and a careful consideration of palaeographic and codicological features may open new possibilities. In general I found that other scholars in whose footsteps I was following in my first forays in the manuscripts would be very generous in sharing with me information about texts or copies I had not known; this was often a two-way street. I have been embarrassed by not realizing how potentially interesting a text was until this was pointed out to me, and I have also published as “unpublished” a text that in fact had been edited and appeared a couple of years earlier and about whose publication I had not known.¹⁸

An example of how further digging in manuscript repositories can substantially update earlier work is the rather large body of texts containing various apocryphal correspondences of the Ottoman Sultan, to which I had devoted a chapter of my dissertation, later expanding it into a monograph.¹⁹ At the time I did the research, the most important source of information was articles by Marina Davidovna Kagan-Tarkovskaya. I found some additional texts and copies of known ones, with the result that my book at the time it appeared was the most complete survey of this material. In just the last few years though, additional work in the archives of the Muscovite government (RGADA), has turned up new copies, among them the originals of what I had determined on the basis of later manuscripts were trans-

¹⁸ I have in mind in the first instance here my «Неизвестный памятник древнерусской литературы: “Грамота государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси к Степану, королю польскому”» [Yo, 1972]. I came across it in 1969, not realizing it was a previously unknown text. Led to it by my cryptic reference in Keenan’s book, A. A. Zimin did, informed me of the fact, helped me obtain a full copy of the text (which I had not copied), and then generously left me to publish it at the invitation of S. O. Schmidt. The second example is my *Two Unpublished Muscovite Chronicles* [Waugh, 1979b]. V. I. Koreczkij had published the second of them two years earlier, something I learned only as my article was making its way through the editorial process. He provides a lot of very valuable historical commentary, though I think there is still some useful information in my article regarding the text and the provenance of its manuscript. His article is: [Корецкий].

¹⁹ The book is *The Great Turkes Defiance* [Waugh, 1978]. An important supplement to it is the article I had published earlier unraveling the textual history of correspondence of the Sultan with the Cossacks which Ilya Repin had immortalized in his late 19th-century painting. The reference is *On the Origin of the ‘Correspondence’ between the Sultan and the Cossacks* [Waugh, 1971]. My argument was that the letters were part of a European tradition of translated apocrypha and probably had not originated among the Cossacks, even if in their later versions they clearly have become “ukrainianized.” Given the obscurity of where the article was published, it has been less widely consulted than the book (which is even available in a number of Russian libraries for those who can read the English). For example, it is missing from another frequently cited article on the Cossack correspondence [Friedman], and seems to have had no influence on the many who still wish to believe the 19th-century romanticization of the texts as “original” compositions embodying the cultural ethos of the raucous Cossacks.

lations made in the Muscovite Privy Chancery.²⁰ Moreover, more thorough work than I was able to undertake in Western collections of early books has identified precisely the sources for other Muscovite translations I had discussed, sources which had been unknown to me.²¹ While much of this merely confirms my broader conclusions, some of the discoveries suggest that the origins and transmission of certain texts were substantially more interesting than I had imagined. All this is, of course, the kind of normal development we would expect in scholarship, since few studies so exhaust the subject that they can never be revised and improved.

Often it seems that chance or serendipity, not just persistence and thoroughness, are also responsible for discoveries. A scholar looks for one thing, may or may not find it, and stumbles across something else. Illustrating this is the way I came to study the cultural history of Viatka (Hly'nov) in the late 17th and early 18th centuries, a subject I had never imagined earlier might be one of interest to me. There is, however, an important connection with that earlier work, which explains how I stumbled on the subject and what I then was able to do with it. In my study of the apocryphal letters, I had come across reference to a manuscript containing those texts whose whereabouts after 1918 had been unknown, or at least so it seemed.²² The eminent historian K. V. Harlampovich had used the manuscript in Kazan and published texts from it in 1918, but then it vanished. In the mid-1970s, on a *komandirovka* in Central Asia, A. I. Mazunin had re-discovered it in Tashkent and provided a fairly detailed description, not knowing that it was the same book Harlampovich had used long before.²³

I had the opportunity to visit Tashkent in 1991, my trip to Central Asia first of all for participation in a mountain climbing expedition and then to represent the University of Washington's History Department on an exchange with its counterpart at Tashkent University, where I offered a mini-course on imperial Russia to an unappreciative audience of two students who had no intention of doing any serious work. I had time on my hands and went off to the National Library to try to locate the manuscript (and some others) which Mazunin had described. There was no expectation here that much would come of the material, which I was examining from the perspective of my dissertation research of two decades earlier, a subject I had not been planning to revisit. Simply locating the book was something of a challenge, since the collection had been re-numbered, and the keeper, helpful as he was, had no idea of where to look. I found it eventually from the old inventory lists, spent some time with the manuscript, copying a few

²⁰ See, for example: [Майер, Шамин; Maier, 2006].

²¹ See: [Maier, 2008], which identifies the sources for the Slavic translations of pamphlets published in the 1660s concerning the false Messiah, Shabbetai Zvi. I had been the first to publish the *kuranty* texts about Shabbetai Zvi [Waugh, 1979a]; they have now been republished along with the original sources in the most recent volumes of *Vesti-kuranty*.

²² See my description of the manuscript in [Waugh, 1978, p. 275–276].

²³ I had not known of Mazunin's description, published the year before my book appeared, and might in any event not have connected the Tashkent manuscript with the one that had been in Kazan.

texts and recording enough information to supplement Mazunin's description, and then, once home, throwing all this into a file and almost forgetting about it. Come an invitation to contribute to a Festschrift for Ned Keenan, I needed a subject, and thus began to look at the notes.²⁴ What I discovered was not only the evidence of the book's provenance (Hly'nov) but the fact that it contained important information for the history local chronicle writing, remarkable evidence about the degree to which this quintessential "backwater" of Russia (later immortalized as such by Saltykov-Shchedrin) was connected with the wider world, and much more. The one large miscellany was a library in itself, whose owner/compiler, a sacristan Semen Popov, could be identified.

In approaching this material, I began to think more broadly about interpretive strategies than I had in my earlier work. That is, instead of wanting merely to reinforce the traditional historiography that there was a kind of inexorable movement in the direction of the "modern world" starting in the 17th century in Muscovy and then accelerating in the time of Peter the Great, I began to wonder whether we might not need a more nuanced approach.²⁵ To a degree then, if anything I was beginning to question the whole interpretive framework in which I had placed such texts as the translated apocryphal letters. Viatka, as I came to argue, was neither more "backward" than, nor as "modern" as, the rest of Russia in the Petrine period.²⁶ Of course to what degree an analysis focused in the first instance on a single book might demand reassessment of traditional historiographic conventions was another matter, as one of my reviewers later correctly pointed out [Marker].

While working on the Viatka book, I was able to visit the region for the first time, discovering both the riches of the local library and archival collections, and gaining some sense of local cultural and intellectual traditions. All this, I think, stimulated some re-thinking of what was really significant in Russian culture, whose history too often has been told from the perspective of the center, not from that of the regions. Increasingly now, the perspective from the regions is finally getting its due. One of the challenges confronting Western scholars in Soviet times was access. Kirov

²⁴ My contribution to the Festschrift is 'Anatoli's Miscellany' – Its Origins and Migration [Waugh, 1995].

²⁵ See my somewhat belabored treatment of this thinking in *"We Have Never Been Modern: Approaches to the Study of Russia in the Age of Peter the Great"* [Waugh, 2001]. Quite a bit more might have been included there on the literature about modernization, some key works not having fallen into my purview, but I would defend the basic conclusions of the article (James Cracraft's objections notwithstanding).

²⁶ The book is *«История одной книги: Вятка и "несовременность" в русской культуре Петровского времени»* [Yo, 2003], which I drafted in Russian but never could have been published without the substantial editorial ministrations of Mariya Kozhevnikova (then a Ph.D. candidate in economics at the University of Washington) and the further professional editing for Bulanin by Olga Novikova, an accomplished specialist on Muscovite chronicles. The decision to use the term "ne-sovremennost'" as an equivalent for "non-modernity" (itself a kind of neologism) was criticized by S. M. Kashtanov in his review of the book, although at the time the book was published it was not yet common in Russian simply to transcribe the foreign concept "modern" in its various forms.

(once Hly'nov/Viatka) had been a closed city. My first visit there, in 1996, was to attend a conference which the organizers were happy to label "international" thanks to the presence of some half dozen foreign scholars among the 200 or so who participated. I found the welcome and the atmosphere very stimulating; at least one of my American colleagues, who reported on the proceedings later, seemed to find it, well, "provincial."²⁷

The Tashkent manuscript included a previously unknown version of the "ur-text" which lies at the core of what had long been regarded as the oldest chronicle of Viatka's history [Yo, 1997a].²⁸ My re-examination of this apparently earliest period of writing Viatka's history then led me to yet another manuscript (in the F. A. Tolstoj collection in St. Petersburg, the manuscript not one which I had previously examined), which contained the "authorial version" of another of the early Viatka chronicles and clearly must have been used by the Viatka sacristan Semen Popov.²⁹ Furthermore, I was led to re-examine the history of the famous local icon procession involving an image of St. Nicholas, an event which was at the core of a developing sense of regional identity and whose veneration had figured in those early histories.³⁰ The history of the icon procession, which was suppressed in the Soviet period but then revived with the collapse of the Soviet Union, is still in need of further work. My review of the evidence suggested that the veneration of the icon (perhaps its very existence) dated from the 16th century, substantially later than what has been commonly believed. Yet the common belief is an article of popular faith, supported by the ecclesiastical authorities, one unlikely to be overturned by any scholarly argument, especially that by a foreigner. One of the other very interesting aspects of the Viatka material was the questions it raised about the contents of local libraries, where there still is much work to be done to reconstruct the contents of collections that came to be dispersed, especially in the 19th and 20th

²⁷ David Goldfrank, in *Newsletter of the Early Slavic Studies Association*, 10/1 (May 1997), p. 3, where, not that this is really important, he mis-described the content of my paper. Cf. my substantially more enthusiastic description of the visit: [Waugh, 1997], and a second report on my experiences there a few years later, when I returned to do a "presentation" on my book at the Herzen Regional Library and spent time with a student group in Lal'sk, a small town north of Kirov [Waugh, 2004a]. In a brief paper I wrote for a conference I was then unable to attend about the provinces and Russian culture, I pointedly concluded with the rhetorical question as to whether the United States might not be termed "provincial." See [Yo, 2011]. I am indebted to V. G. Vovina-Lebedeva for her editing of my Russian text and for presenting it at the conference in Tobolsk.

²⁸ Republished as [Yo, 1997b]. Aleksej Musihin is continuing to work on the early Viatka chronicle texts and has re-discovered in the regional archive in Kirov copies that had been used in their publication in the 19th century but then disappeared. Presumably he will produce a new and authoritative edition. However, I have no reason to think that will change my basic conclusions regarding the text I found in Tashkent.

²⁹ This text, the so-called "Letopisecz stary'h let," is appended to a copy of the "Khronograf of 1617" in a version with distinct readings which also are found in the works compiled in Hly'nov (the manuscript is RNB F.IV.219 [ex-Tolstoj I.218]). I discuss the text and illustrate its various scribal hands in [Yo, 2003, c. 144–159] and provide a critical edition [Ibid, c. 320–331].

³⁰ See [Waugh, 2004b]; briefly summarized in Russian as [Yo, 2004]. See also the version of some of this material in [Yo, 2006].

centuries. To be able to reconstruct the collections of major monastic libraries, as noted above, is one thing, but to deal with the collections of individual churches, lesser monasteries or individuals in the late Muscovite period tends to be more challenging.

My Viatka book would never have been possible without the experience I had gained as a beginner working in Russian manuscripts back in the 1960s and early 1970s. For to a considerable degree, the whole edifice of the book rests on careful codicological analysis of the one manuscript, although contextualized with reference to a great many other historical sources, many of them published by A. S. Vereshchagin, the pioneering founder of the regional historical society at the end of the 19th century. Granted, the work on the Tashkent manuscript is far from perfect, having been done in a library where there were none of the necessary reference works and from which I could not expect to obtain more than a few photographs of individual pages (microfilming the book was impossible).³¹ Having a second opportunity to examine it and flesh out my earlier notes was essential to the ultimate success of the project. This experience, of course, is a good reminder of the challenging conditions scholars working in regional libraries even within Russia may face. For all of the treasures of its collection, the Herzen Regional Library in Kirov lacks most of the important watermark albums; there is apparently a total void of reference works for anyone working on manuscripts owned by the local historical museum. If in Tashkent nowadays probably no one particularly cares about the small collection of Old Slavic books, in Kirov, where there is much more, people do care very much about their collections, but they are handicapped in being able to work with them properly. Even obtaining newer publications of standard scholarship from Moscow and St. Petersburg can be a challenge, since the collapse of the Soviet Union has meant the collapse of the system by which copies of important books were distributed to regional libraries at little or no cost.

I would like to think that my Viatka book is evidence that those early years of apprenticeship in the study of Muscovite manuscripts, inspired and encouraged especially by my Russian colleagues, have really borne fruit in ways that go beyond a somewhat uninspiring focus on solving little problems concerning texts and contexts or paper evidence. With a little luck, there will be yet at least one more book to come out of that early work, a study of the Muscovite acquisition of foreign news, on which I had hoped at one point to write a monograph, abandoned it, but then revived the project in collaboration with Ingrid Maier. That book is likely to look quite different from what it might have been, had it been completed in the 1980s,

³¹ My description of the Tashkent manuscript [Yo, 2003, c. 262–284] is much better than anything I had done for Keenan's book or my own monograph on the sultan's letters. That said, there are still many loose ends – texts needing proper identification, additional work on the watermarks, of which I at least provided some sketchy drawings, analysis and depiction of the various hands. I was able to use one of the other books known to have been in the same personal library of Semen Popov only via a partial xerox obtained from Kazan for me thanks to the efforts of S. M. Kashtanov and E. S. Smirnova.

since I find myself wanting to ask different questions of the texts and contextualize them in ways I would not have thought of then. The excursion out in to the Russian provinces to Viatka has had a lot to do with re-orienting and, somewhat ironically, broadening my thinking. I had always intended that the book on news place the Muscovite material in a comparative context of news acquisition and dissemination elsewhere in Europe. Now though, I can see how the Muscovite context itself has to be expanded beyond a discussion of the role of the Diplomatic Chancery in Muscovy's "Westernization." For the interest of some of the translated news reports and pamphlets can perhaps better be understood if situated with reference to popular belief in providential interpretations of history and miracle tales and popular religious practice (for example, icon processions and pilgrimage). Informal or "traditional" means of communication (including rumor and gossip), not just the "modern" institutions such as the press and postal system, continued to be extremely important.

So I have moved rather far from wanting to work within the paradigms of Solov'ev and Klyuchevsky and or in emulation of my Russian colleagues' studies of texts, where the focus was often on small problems in part (in Soviet conditions) because many possible larger theoretical and interpretive approaches had to be avoided. It is not as though the value of those scholarly traditions has diminished, for the principles of good scholarship on manuscripts and texts are essential for us to follow today and gradually are filling in the gaps in our knowledge of the sources. There is, however, the danger of remaining too attached late 19th-century historical-philological methods in an era when we need to ask new questions and broaden our perspectives if scholarship really is to move forward. Arguably I succeeded beyond any reasonable expectation in shaping my work according to Russian standards, which is why so much of it was readily published there at a time when relatively few foreign scholars were being published in Russia. From the perspective of today, this may all seem unexceptional, when there are collaborative projects, travel to international conferences is common, Western scholars are regularly published in Russian journals (and Russian scholars in Western ones) and their work widely cited (if in Russian translation). Even a short generation has witnessed remarkable change.

There was a downside to my modest success in that earlier era. The kind of work I found myself wanting to do was rather out of step with what was perceived as historical scholarship in American academia. To publish in a language other than English and in journals such as *TODRL* and *AE*, prestigious as they are in the Russian context, was not necessarily deemed a good credential when being assessed for promotion and tenure. As far as language is concerned, there really was no satisfactory way of reaching both scholarly communities. To publish in English meant that Russian colleagues might never read the work either because they could never get their hands on it or because they could not read the language. It was for that reason that I decided to write the Viatka book in Russian for publication in St. Petersburg, painful as the process was (it might in any event never had

been accepted by a Western publisher, given its subject matter). Even today, where most Russian scholars can and do interact openly with their Western colleagues, some of those doing the best work have but a limited command of English. Among Russianists outside of Russia, of course there is no language barrier to using Russian publications, though obtaining many of them that appear in small editions and in remote places can still be a challenge. It is imperative in the 21st century that all scholarship become readily available on the Internet.

A real problem in American academia arises when one's scholarship in a foreign language is to be evaluated by colleagues who are not in that field and may not read any language other than English. I had been very fortunate in 1972, the year I finished my dissertation, to obtain one of the two positions then advertised in the U.S. for a historian of pre-modern Russia.³² Understandably, few of my colleagues in my home departments could read my work, something which became important at the time promotion was being considered a few years later. Ironically perhaps, my chairman Donald Treadgold, who was a specialist on modern Russia and could read my publications, dismissed them as not being "history."³³ To write on codicology and watermarks and engage in the analysis and publication of obscure early Russian texts did not fit his concept of what a historian should do. I am not sure the situation would be much different nowadays at other academic institutions in the West, where Russian studies are increasingly seen as irrelevant, and, as my generation retires or dies, the few positions

³² My Harvard adviser, Robert Lee Wolff, whose work was widely known, undoubtedly wrote a strong letter of support for me. Also, it helped that I had participated in a summer Russian language program administered by Herbert Ellison in 1963. He was now a University of Washington historian. At the American Slavic Association convention in Denver in 1971, when the Washington appointment was seen as a possibility, Ellison arranged for me to have breakfast with him and two of my other future colleagues, Donald Treadgold and Peter Sugar. I was not even interviewed for the other position that had been advertised in 1972, at Indiana University, which hired Charles Halperin. The job at the University of Washington, where I would spend my whole career, was initially a one-year appointment to replace Marc Szeftel upon his retirement and thus did not require a full, formal interview process and campus visit (I was still in the USSR when hired). The intent had been to invite a historian of Poland for a year, but when that fell through, the department decided on the one-year appointment as a way of not losing the position entirely. When the decision then was made to continue the early Russia position, the department carried out a proper search in that first year I was on the job. It could well have decided then to hire someone else, as my initial efforts in teaching were not especially impressive.

³³ As history department chair, Treadgold overruled a strong departmental vote that should have promoted me a year ahead of the normal schedule. When my case came up in the following, mandatory review year, I think he was in fact disappointed that I turned down the offer I had received to become head of the Slavic Section of the Harvard University Library, a position I had applied for when uncertain of my tenure prospects. Ned Keenan's strong recommendation that accompanied my application for the Harvard position undoubtedly had a great deal with my receiving the offer there. In retrospect, I think Harvard would have been disappointed, as I would have had far too much to learn to have done the job well. My position at the University of Washington was complicated by my having a joint appointment in History and in International Studies (which meant voting on tenure and promotion was by two different groups of faculty with differing academic priorities). In my final years, I transferred half of my International Studies appointment to the Slavic Department, when I took over the teaching of their course on early Russian Literature and Culture. That is, at the time of my retirement, I was a member of three departments.

devoted to pre-modern Russia are disappearing. We are nearing the day when there will no longer be opportunities in the U.S. for Ph.D. training in pre-modern Russian history, or, for that matter, in many other areas of pre-modern history.³⁴

At least in retirement, I no longer worry about obtaining a job or about promotion reviews. I do have to be concerned though that what I write might be worth reading and that there still be audience among the handful of scholars who care as passionately as I do about topics of mutual interest. To the extent that anything valuable has come out of my work, I must acknowledge beyond my graduate mentors the inspiration and support I have received from my Russian colleagues, whose expertise is on a level that I still can but aspire to attain.

УДК 82-94 + 09 + 930

Даниель Уо

УВЛЕЧЕНИЯ ЮНОСТИ И К ЧЕМУ ОНИ ПРИВЕЛИ: АВТОБИОГРАФИЯ*

Статья является продолжением автобиографии видного американского исследователя, специалиста в области древнерусской книжности Даниеля Уо, которая нетривиально показывает сочетание личной судьбы и профессионального интереса. События жизни разворачиваются в контексте отечественной и зарубежной русистики, споров и дискуссий исторического и культурологического характера. Перед читателем открывается панорама советской и мировой гуманитарной науки, где противоречиво соединяются доброжелательность и научная объективность с идеологическим противостоянием и мелочными придирками. Прекрасное понимание людей, оценка их достижений делает воспоминания источником по характеристике состояния гуманитарной науки в напряженные годы «холодной» войны и в постсоветское время.

³⁴ With my retirement and that of Herbert Ellison, a 20th-century specialist, the history department was allowed to fill only one position, and the appointment went to a modernist. The UW Slavic department no longer has a specialist on early Russian literature. During my more than three decades at UW, I supervised only four Ph.D. dissertations in my field (and was an external member of the Ph.D. committee in one other case): Robert Croskey (who wrote on Muscovite diplomatic practice), David Das (on Andrej Ly'zlov's Skifskaya istoriya), Isolde Thyrêt (on women's religious life), Thomas Dykstra (on the Joseph of Volokolamsk Monastery), and Claudia Jensen (at Princeton in music history, writing on Nikolaj Dileczkij). At other universities, recent decades have seen the retirement or death of several prominent American early Russianists, among them Keenan, Robert Crummey, Richard Hellie, and Gustav Alef. In most such cases, they have not been replaced. Several of the best specialists on pre-modern Russia in the next generation teach at institutions where they have no opportunity to train graduate students in the field. News from Western Europe is not any more encouraging for the future of Russian studies, as whole programs are threatened.

* Начало статьи см.: Quaestio Rossica. 2014. № 2.

Замечательно показано, насколько пиетет к кропотливому научному труду и взаимоуважение коллег позволяют преодолеть конфликты и разногласия, какого бы генезиса они ни были.

Ключевые слова: советская гуманитарная наука; Пушкинский Дом; советские историки; рукописное наследие; древнерусская литература.

Интерес к рукописям и кодикологии волей-неволей привел меня к филигранологии (изучению водяных знаков), о которой я ничего не знал до приезда в Ленинград в 1968 г. Конечно, изначально моя заинтересованность была чисто практической, связанной с желанием использовать для датировки документальные свидетельства, но постепенно я начал углубляться в ее методологию. У меня не много публикаций по этой теме, если не считать довольно большого количества рецензий и критических отзывов на новые статьи русских и украинских ученых (в основном для периодического издания Международной ассоциации истории бумаги, International Association of Paper Historians). По сути, самое большое исключение – это длинная статья, опубликованная в журнале «Kritika», после того как я вернулся из Ленинграда, проведя там свой первый год. Возможно, судьба этой статьи намного лучше рецензии демонстрирует, как хорошие идеи могут исчезнуть практически без следа, если их опубликовать в малоизвестном издании в недоработанном виде.

Многие читатели знают «Kritika» в новом воплощении как солидный журнал, печатающий статьи и рецензии по истории России. Я напому им, что предшественником этого издания был обзорно-критический журнал с подзаголовком «Review of Current Soviet Books on Russian History» («Обзор современных советских книг по истории России»), который печатался небольшим тиражом с оригинал-макета. Этот журнал основал Ричард Пайпс, выдающийся специалист по современной истории России, чтобы его гарвардские аспиранты могли получить опыт рецензирования и издания статей. Несомненно, работа для «Критики» была чрезвычайно важна во время моего обучения в аспирантуре. Мы делились друг с другом набросками рецензий, а затем встречались у Пайпса дома, где обсуждали их, перед тем как вносить исправления. В вопросе о том, будет ли рецензия напечатана, Пайпсу принадлежало последнее слово, и он настойчиво требовал, чтобы мы писали хорошо. Но во всем остальном редактирование было большей частью в наших руках. По крайней мере пару раз в конце учебного года все работавшие над журналом участвовали в пикнике на его «даче», которая располагалась на берегу озера на юге Нью-Хэмпшира. Может быть, у кого-то сохранилась фотография всей компании, сделанная в середине 1960-х гг. (у меня она потерялась). Довольно многие из этих людей впоследствии стали выдающимися специалистами по истории России и Восточной Европы и живут сейчас по всей Америке: это Роберт Уильямс, Даниель Филд, Макс Окенфасс, Эббот Глисон, Уильям Розенберг, Джон Файн, Питер Кенез, Теодор Тарановски...

В 1970 г. мы решили издать специальный выпуск, посвященный вспомогательным дисциплинам, и я написал для него рецензию на советские работы по водяным знакам [Waugh, 1970]. Позже мне сказали, что моя статья была переведена на русский (возможно, Е. И. Маматовой) и находится в обращении в библиотеке им. Ленина среди старых книг, написанных специалистами в этой области¹. Впоследствии на мою работу обратили внимание советские филогранологи; одни ей восхищались, другие не соглашались с выводами и при этом, как правило, игнорировали одно из важных, на мой взгляд, предположений статьи. Также появился ее частичный перевод на немецкий; он был издан с введением Тео Джерарди, выдающегося специалиста по истории бумаги того времени, который высказался о значимости работы². Сутью моей статьи была в том числе критика «издания» водяных знаков в виде таблиц (при котором изображался не каждый водяной знак); этот широко распространенный в то время способ был предложен Сократом Александровичем Клепиковым, «главой» советской филогранологии. Но само по себе это не могло вызвать большого интереса. Я предлагал альтернативу, в определенном смысле предвосхищая будущее филогранологии, которое в полной мере не наступило до сих пор, по прошествии более чем 40 лет. Следуя за западными учеными, я предположил, что правильное измерение позволит получить числовые данные, которые можно будет использовать для сравнения известных водяных знаков с неизвестными. Таким образом, представив процесс в количественной форме, его можно сделать

¹ Как и Амосов (см. выше), Т. В. Дианова, специалист по водяным знакам из Государственного исторического музея в Москве, не согласилась с моими предположениями о важности точных измерений водяных знаков, хотя она не вполне поняла, что я имел в виду. См.: [Дианова] и мое резюме на английском, которое я написал в ответ на ее критику (опубл. в: IPH Information. 1977. N. F. Jhrg. 11. Nr. 3–4. S. 116). Ю. В. Андрияшайтите, очевидно не читав моей статьи, сослалась на мои взгляды по крайней мере в тех пределах, в которых их объяснила (и опровергла) Дианова. См.: [Андрияшайтите, 1987б]. В других отношениях это полезный обзор литературы по обозначенному периоду.

² IPH Information. 1971. N. F. Jhrg. 5. Nr. 3. S. 62–66. Не считая Джерарди, единственный человек на Западе, который внимательно прочел мою статью, – это Джон Симмонс из Колледжа Всех Душ (Оксфорд). Он был уважаемым библиографом-славистом и приложил титанические усилия для перевода, надлежащего редактирования и издания значимых собраний русских водяных знаков. Симмонс написал мне два письма подряд, в которых выразил резкую критику в отношении моей работы (и в то же время высоко оценил ее). Для меня щедрой похвалой являются его слова: «Вы немного упускаете и лишь изредка промахиваетесь» (!) (Дж. С. Г. Симмонс – Даниелю Уо, 10 июля 1970). Он скептически относился к возможностям компьютеризации изображений водяных знаков, считая, что лучшая гарантия идентификации документов – опытный взгляд филогранологов (Дж. С. Г. Симмонс – Даниелю Уо, 11 июля 1970). Симмонс оценил мои замечания о важности филогранологических данных для изучения рукописей. К сожалению, эти замечания (как и работы других людей в данной области) не увидел Предраг Матеич, когда двадцать лет спустя в своей диссертации среди «новых» методологий предложил те же идеи, которые использовал при описании собрания рукописей монастыря Хиландар в Университете штата Огайо. Этим собранием он заведовал в течение долгого времени, и его описание обладает большой ценностью.

более точным и, во всяком случае, использовать для создания указателя изображений в базе данных. Но и это еще не все. Для верного сопоставления было необходимо иметь четкие изображения всех водяных знаков. Мне пришло на ум (возможно, потому, что я видел в газете статью на эту тему), что компьютерную систему сканирования, записи и извлечения данных отпечатков пальцев, разработанную ФБР, можно применить для филологии: в обоих случаях мы имеем дело с изображениями, которые содержат детали с индивидуальными характеристиками³. Конечно, подобно компьютеризации описаний рукописей, компьютеризация данных водяных знаков требовала таких совместных усилий, на которые у меня не было времени, а также значительного финансирования. Со временем в Советском Союзе мой интерес привел меня к тому, что можно назвать «научной» обработкой водяных знаков. Каштанов наряду с другими изучал, как можно использовать точные измерения, но затем стал подчеркивать важность данных иного рода для исследования бумаги в рамках кодологии⁴. Книга А. П. Богданова по основам филологии [Богданов] – это далеко не просто учебник для начинающих⁵. Помимо всего прочего А. П. Богданов предпринял серьезный статистический анализ, продемонстрировав, что измерения водяных знаков можно использовать для их распознавания и идентификации. В этом анализе он бегло ссылается на мою статью; не упомянув моих предложений по компьютеризации, он, однако, посвятил несколько страниц размышлениям о том, как важен этот процесс для будущих исследований водяных знаков. Насколько я знаю, работа Богданова не внесла значимого вклада в науку в области обучения правильному анализу водяных знаков, как и его новаторские идеи касательно будущего филологии. Что касается использования водяных знаков в качестве свидетельств при изучении русских рукописей, большее значение имела публикация ряда новых сборников, в том числе составленных в Государственном историческом музее (ГИМ) Т. М. Диановой и В. М. Загребиним: эти ученые работали в Публичке и создавали

³ Здесь я должен признаться: хотя моим профильным предметом в Йельском университете была физика, на самом деле я ничего не понимал в технических вопросах, связанных с этой темой. Не разбирался я и в математических моделях, демонстрирующих возможности оптического сканирования (в то время эта область еще только зарождалась). То, что я знал, почерпнуто из учебника, который я прочитал, стоя в книжном магазине «Harvard». (Вот такие маленькие грязные тайны скрывает «наука»!)

⁴ Его статьи издавались в «Записках Отдела рукописей ГБЛ» (вып. 38, 40).

⁵ Значительная часть книги является иллюстрацией того, как бумажные свидетельства используются для тщательного кодологического анализа. В качестве примера приводится запись официального расследования смерти царевича Дмитрия в Угличе в 1591 г. Возникло множество споров насчет подлинности этого документа; Богданов делает вывод о том, что рукопись не отражает настоящих результатов расследования (и, скорее, была подделана по политическим причинам), и в попытке разрешить дискуссию он, несомненно, достигает большего, чем предыдущие исследователи. То, что этот обширный анализ скрыт в туманной (!) книге о водяных знаках, возможно, объясняет, почему Честер Даннинг (ученый, очень тщательно подходящий к работе) пропустил его, трудясь над своей большой книгой о Смутном времени.

тематические сборники водяных знаков, вырезая и вклеивая ксерокопии их разрозненных изображений, находящихся в различных собраниях⁶. Доступ к работам Загребина существует только в этой библиотеке, но зато в том самом читальном зале, где трудился ученый.

Как я недавно узнал, сейчас есть доступ онлайн к знаменитому собранию Брике, как и к базам данных по водяным знакам из нескольких особых собраний рукописей (хотя это рукописи не из России). Проводилась работа по развитию методики оптического распознавания водяных знаков, но, очевидно, этот проект заглох из-за недостаточного финансирования⁷. Вполне возможно, что в далеком 1970 г. я был слишком оптимистичен, полагая, что легко можно приспособить к этой задаче тогдашние технологии. Однако благодаря продвижениям в области оцифровывания, которые произошли за несколько десятилетий, безусловно, можно надеяться, что скоро станет возможным то, что я задумал уже тогда (хотя между моим несколько фантастическим видением и последними разработками нет ничего общего).

Одной из проблем, которая беспокоила меня при написании статьи в 1970 г., было то, что данные водяных знаков могут быть интерпретированы настолько неточно, что лишают состоятельности аргументы, основанные на этих данных и касающиеся даты создания рукописей. Эту же проблему поднял А. А. Амосов: в своей статье 1981 г. он проникательно говорит о том, что необходимо более строго пользоваться терминологией, а также о важности более четкой методологии в области учета и описания водяных знаков [Амосов]. Он с одобрением процитировал «жесткую, но полностью оправданную критику», которую я высказал в своей статье 1970 г. Также он процитировал примеры, которые я привел в более поздней работе: ими я хотел проиллюстрировать, как ошибались те, кто пытался опровергнуть «Апокрифические сочинения Курбского – Грозного» Эдварда Кинана, исходя из водяных знаков, присутствующих в рукописях, известных в то время [Waugh, 1977].

Здесь я позволю себе краткое отступление и расскажу об этой второй статье, которую я написал для международной конференции славистов, проходившей в 1974 г. в Банфе, для заседания, посвященного книге Кинана. Когда эта книга вышла, Сергей Зеньковский в одной из первых рецензий решительно заявил, что мои утверждения

⁶ Загребин трагически умер, не дожив до 62 лет, «на самой вершине жизни и творческой энергии». Он возглавлял секцию древнерусской литературы отдела редких книг в Публичке и на протяжении нескольких лет как преемник своего старшего коллеги Н. Н. Розова вел курс по славянской палеографии в Санкт-Петербургском университете. Создал множество описаний, которые вошли в национальный каталог раннеславянских рукописей, и принимал активное участие в проекте по описанию Погодинского собрания. В некрологе Загребина особое внимание обращалось на его работу по составлению каталогов водяных знаков. См.: [Бобров, Рождественская].

⁷ Информацию и ссылки можно найти по адресу: <http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ren/projects/publications/lima/paper/describing/databases/> (дата обращения 26.06.2012). Обмен электронными письмами с одним из ведущих участников проекта (перешедшим на другую должность) подтвердил, что работа в этом направлении прекратилась.

о датировке рукописей неверны. Я навлек на себя подобное обвинение, признав, что, несомненно, у меня намного меньше опыта, чем у моих выдающихся русских предшественников, которые работали с этим материалом. В статье 1974 г. я сопоставил изображения водяных знаков, чтобы подтвердить важнейшие датировки. Инге Ауэрбах, одна из тех, кто упорно критиковал Кинана, также выступала на конференции в Банфе. В своей статье она ответила на мою, заявив, что указанные водяные знаки вполне могут относиться к намного более раннему документу. Однако из ее примеров было ясно, что она плохо разбирается в данном вопросе. Амосов поддержал меня, хотя, бесспорно, у него были другие причины спорить с Кинаном; он согласился, что зачастую, приводя документальные свидетельства, ученые плохо представляют, что значит «подлинность» и «сходство». А он определенно это понимал, будучи настоящим специалистом в этих вопросах, в отличие от Зеньковского и Ауэрбах.

Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков выпустили новое издание переписки Курбского и Грозного, чтобы опровергнуть доводы Кинана (по крайней мере отчасти такова была их цель). Одно из достоинств этого издания состоит в том, что авторы не придают документальным свидетельствам большего значения, чем те заслуживают. Лурье и Рыков подробно описывают рукописи, среди которых есть много ранее не описанных. Авторы ссылаются на мои данные наряду с данными других исследователей. Но при этом не говорится, что необходимо изменить датировку рукописей и отнести их к XVI в. Картину изменило открытие, которое позже сделал Б. Н. Морозов: он обнаружил ранее неизвестный список первого письма Курбского, который, возможно, был создан примерно на двадцать лет раньше, чем все другие рукописи, и относится не ко времени жизни предполагаемых корреспондентов, а примерно к 1600 г. [Морозов]⁸. Кинан отнесся к этому открытию скептически, что понятно: старая бумага может лежать без дела, а почерки переписчиков зачастую долго не меняются и вводят в заблуждение своей мнимой архаичностью. Я, напротив, поддерживаю утверждение Морозова о раннем создании данной рукописи. Конечно же, само по себе открытие Морозова не доказывает, что Кинан был совершенно не прав; скорее ставится под вопрос конкретный сценарий создания переписки, изложенный им в книге. Впоследствии Кинан привел дополнительные объяснения, которые вписывают новые рукописные свидетельства в общую картину, но и не подрывают его сомнения в «подлинности» писем. Рукописи периода Московского государства, которые до сих пор плохо описаны, преподнесут еще много неожиданностей, но мне кажется, что филологические

⁸ Морозов, признавая, что А. А. Амосов помогал ему идентифицировать водяные знаки, замечает, что на некоторых листах с текстом письма знаки неясны и что, должно быть, листы были соединены беспорядочно. Однако бумага и почерк позволяют отнести рукопись к концу XVI в. Говоря о «свите» работ, окружающих это письмо, Морозов наряду с другим материалом ссылается на мою книгу об апокрифических письмах султана.

свидетельства, которые позволят доказать или опровергнуть авторство Курбского и Ивана Грозного, никогда не появятся. Для большинства из нас филология, несомненно, является лишь «вспомогательной» дисциплиной, хотя, как мне кажется, ее недооценивают.

Здесь я мог бы добавить сноску и написать, что я все-таки встретился с Сократом Александровичем Клепиковым в его московской квартире (по-моему, тогда ему было под восемьдесят, и жить ему оставалось недолго). Он был очень любезен и совершенно не обижался на мою критику (которую он в любом случае не принимал). Оглядываясь назад, я думаю, что был слишком категоричен, ставя под сомнение ценность табличного метода Клепикова. В сущности, годами у меня не было иного выбора, кроме как использовать его таблицы для описания часто встречающихся водяных знаков (например, «шутовского колпака» и «герба Амстердама»). Но я осознавал, что возможности точной датировки при этом методе ограничены. Когда Сократ Александрович умер, Джон Симмонс спросил, не мог бы я написать некролог, но я отказался, потому что просто-напросто недостаточно знал о его карьере⁹. Один из долговечных вкладов Клепикова в российскую филологию и изучение рукописей состоял в том, что он завещал свою большую библиотеку альбомов с водяными знаками и западной литературы по ним Отделу рукописей Ленинградской библиотеки РАН. Для советских хранилищ было почти невозможным получить такие дорогие книги, но некоторые из них были необходимы для надлежащего собрания справочных материалов¹⁰.

Любопытна судьба еще одной моей большой рецензии, примерно того же времени, что и статья о водяных знаках. Во время работы над диссертацией я изучал рукописи московской газеты «Куранты» (в которой издавались переводы и краткие изложения иностранных новостных текстов), поэтому меня очень заинтересовало появление в 1972 г. первого тома, в котором были опубликованы эти тексты (проект вылился в многотомный труд, и тексты издаются до сих пор). Я поговорил с одним из редакторов о «Курантах», и она подарила мне экземпляр книги. Я написал на нее рецензию для журнала «Kritika», где предло-

⁹ Тогда Симмонс написал о Клепикове в два издания: «The Book Collector» и «JPH Information». Большую и теплую статью о нем написала М. В. Кукушкина [Кукушкина]. В статье Ю. В. Андрияштитте заслуги Клепикова оцениваются несколько странно: автор сосредотачивает внимание главным образом на его вкладе в библиографию филологии и недостатках его подходов [Андрияштитте, 1987а]. В завершение статьи Ю. В. Андрияштитте выражает надежду, что кто-нибудь продолжит дело Клепикова, но, насколько я знаю, этого не произошло.

¹⁰ В 1969 г. я передал Отделу рукописей ГИМ несколько важнейших альбомов водяных знаков, изданных обществом «Paper Publications Society», а Публичке – многотомный справочник инципитов из греческих рукописей, написанный Фоллиери. Но в обмен я смог получить необходимые мне микрофильмы рукописей. Русским ученым, не имевшим подобного «рычага», часто были недоступны микрофильмы рукописей в ГИМ, которым в то время управляла железной рукой грозная Марфа Вячеславовна Щепкина. Я даже наблюдал один из редких случаев, когда она улыбалась: она только что вернулась из посольства Болгарии, где ее наградили орденом «Святые Кирилл и Мефодий» за работу над раннеславянскими рукописями.

жил несколько серьезных улучшений, которые можно было учесть в последующих томах. Редакторы не всегда располагали страницы рукописей в правильном порядке; неверным был замысел помещать тексты хронологически, по дате издания; необходимо было расширить границы материала, который можно было по праву включить в издание; и в идеале вместе с русскими переводами следовало печатать все западные источники, которые можно найти [Waugh, 1973]. Я отослал рецензию в Москву, где ее вежливо приняли¹¹ и должным образом опубликовали в последующем номере, но рекомендации были проигнорированы. Однако много лет спустя в Упсале мою рецензию заметила Ингрид Майер, начавшая исследовать тексты «Курантов»; в результате между нами завязалась переписка, и в конце концов мы стали вместе работать над проектом книги (который еще не завершен). Для этой работы сразу же после выхода в отставку я уехал в Швецию, где провел два приятных года¹². Более того, теперь, после смерти человека, который долгое время был редактором московской серии «Курантов», Майер участвует в подготовке новых томов, и, наконец, принимаются во внимание некоторые предложения, которые я сделал несколько десятилетий назад¹³.

Многое было сделано в описании раннеславянских рукописей с 1972 г., когда на Тихомировских чтениях Лихачев заявил, что эта область развивается медленно. К тому же результаты очень неравномерны. В XIX в. многие описания, которые до сих пор высоко ценятся за подробную идентификацию текстов, составили люди, обладавшие глубочайшими знаниями православной религиозной литературы (некоторые из них были служителями церкви). Сейчас намного сложнее найти специалистов, хорошо подготовленных как в этой, так и в других необходимых областях. Как указывали Лихачев

¹¹ Антонина Ивановна Сумкина – Даниелю Уо, 12 декабря 1973 г. Годом ранее (до рецензии) я прислал ей экземпляр раздела моей диссертации, посвященного «Курантам», и сослался на классический справочник по немецким газетам XVII в., что было очень важно для этого проекта. (Даниель Уо – А. И. Сумкиной, 10 октября 1972 г.).

¹² На сегодняшний день работа над этим проектом привела к публикации двух статей совместно с профессором Майер: «How Well Was Muscovy Connected with the World?» («Насколько сильна была связь Московского государства с миром?»), см.: [Maier, Waugh, 2009]; «“The Blowing of the Messiah’s Trumpet”: Reports about Sabbatai Sevi and Jewish Unrest in 1665–1667» («“Трубный глас Мессии”: Сообщения о Шабтае Цви и еврейских волнениях 1665–1667 гг.»), см.: [Maier, Waugh, 2010]. Более того, я опубликовал статью «News Sensations from the Front: Reportage in Late Muscovy concerning the Ottoman Wars» («Сенсации с фронта: репортажи об Османских войнах в позднем Московском государстве», см.: [Waugh, 2008].

¹³ «Вести-Куранты 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг.» (в 2 ч. М., 2008–2009); во второй части содержатся все иностранные источники, которые Ингрид Майер с большим трудом удалось найти в различных европейских собраниях. Конечно же, раньше советские ученые не смогли бы провести настолько тщательную работу отчасти из-за отсутствия средств, чтобы посетить места хранения всех собраний, отчасти из-за незнания необходимых языков. Помимо этой особенности издания Степан Шамин, еще один редактор-составитель, написал объемное введение к первой части, в котором исправил некоторые кодикологические и хронологические недочеты; они были допущены из-за того, что В. Г. Демьянов, долгое время работавший в качестве редактора, упрямо придерживался подхода, который был установлен в первом томе серии. В следующем томе, который готовят Шамин и Майер, этих недочетов не должно быть совсем.

и другие, эта проблема особенно обостряется, когда дело касается каталогизирования рукописных собраний в российской провинции: там бывает трудно даже просто найти тех, кто умеет читать московскую скоропись¹⁴. В таких обстоятельствах появляются совершенно разные описания: от скрупулезных работ по некоторым из интереснейших сборников из собрания Кирилло-Белозерского монастыря [Каган, Понырко, Рождественская] до поверхностных дополнений к классическому подробному каталогу собрания Синодальной библиотеки, который был составлен в XIX в. А. В. Горским и К. И. Невоструевым [Описание рукописей]. Сейчас есть первые части «Сводного каталога славяно-русских рукописных книг» [Сводный каталог, 1984, 2002]. Как я уже писал, вышел каталог по южнославянским рукописям из Погодинского собрания, составленный Климентиной Ивановой, но остальная часть собрания не описана еще и наполовину. Есть еще много работ, но количество не описанных в печати собраний огромно. Появляются также описания собраний, хранящихся не в России, но результаты этой работы неупорядочены, а будущее неопределенно. У нас есть каталог рукописей из британских собраний, который следовало издать уже давно; он составлен Ральфом Клеминсоном, и в нем довольно много неточностей¹⁵. Существует также проект по описанию рукописей из шведских собраний, но у его создателей не хватает ни времени, ни денег, и неясно, будет ли эта работа завершена надлежащим образом¹⁶. Все еще нет должного описания ранней литературы о славянах, содержащейся в американских библиотеках.

Несомненно, из-за того, что наши знания о славянских рукописных собраниях ограничены, в этой области еще долго будут совершаться открытия как значительные, так и довольно банальные. Мы наблюдаем поток хороших изданий важнейших работ, давно известных, но не опубликованных надлежащим образом. Более того, даже в случае с собраниями, которые хорошо известны хотя бы описанием своего содержания, и с текстами, изданными давно, могут открыться новые возможности благодаря переоценке рукописей и тщательному анализу их палеографических и кодикологических особенностей. В целом я убедился, что ученые, по чьим стопам я шел, делая первые попытки в изучении рукописей, щедро делились со мной информацией о неизвестных мне текстах и списках; в этот период я часто совершал противоположные ошибки. В одном случае мне было неудобно, что я не понимал, какой потенциальный интерес представляет текст, пока мне на это не указали; в другом я издал как «неопубликованный»

¹⁴ См., например: [Амосов, Колесников, особ. с. 165].

¹⁵ Я положительно отозвался об этой работе в рецензии [Waugh, 1990]. Более подробную оценку см. в рецензии У. Р. Ведера (W. R. Veder) в журнале «The Slavonic and East European Review» (1990, vol. 88, no. 3, p. 521–523).

¹⁶ Надеюсь, я не слишком вольно интерпретирую личное письмо на эту тему, полученное мной в июне 2012 г. от Александра Пересветова-Мурата, одного из участников проекта.

текст, который на самом деле уже был отредактирован и вышел двумя годами ранее, о чем я не знал¹⁷.

Если продолжить копаться в хранилищах рукописей, можно существенно улучшить ранее написанную работу; пример этого – довольно большой массив текстов, содержащих апокрифическую переписку османского султана (ей посвящена глава моей диссертации, которая затем расширилась до монографии)¹⁸. Когда я проводил это исследование, важнейшим источником информации для меня были статьи Марины Давидовны Каган-Тарковской. Я нашел дополнительные тексты и списки уже известных, и в результате, когда моя книга появилась, она была самым полным обзором данного материала. Лишь в последние несколько лет дальнейшая работа в архивах правительства Московского государства (РГАДА) позволила обнаружить новые списки, и среди них – оригиналы переводов, сделанных в Приказе тайных дел (ранее я установил, что представляют собой эти тексты, на основе более поздних рукописей)¹⁹. К тому же благодаря исследованию западных собраний древних книг (на такую тщательную работу я не был способен) были точно установлены неизвестные мне источники других переводов периода Московского государства, которые я рассматривал²⁰. Многие из этих открытий лишь подтверждают сделан-

¹⁷ В первом случае я имею в виду мою статью [Уо, 1972]. Я столкнулся с этим текстом в 1969 г., не понимая, что ранее он был неизвестен. А. А. Зимин, которого привел к нему сделанная мной в книге Кинана неявная ссылка и который знал, что ранее этот текст не издавался, сообщил мне об этом, помог достать полный его экземпляр (который я не скопировал) и великодушно предоставил мне его опубликовать по предложению С. О. Шмидта. Второй пример – это статья «Two Unpublished Muscovite Chronicles» («Две неизданные летописи периода Московского государства») [Waugh, 1979b]. Два года ранее В. И. Корецкий опубликовал вторую из них, но я узнал об этом, только когда моя статья уже редактировалась. В его работе много ценнейших исторических комментариев, но, мне кажется, в моей статье все же есть полезные сведения о тексте и о происхождении рукописи. Статья В. И. Корецкого называется «Бездвинский летописец конца XVI в. из собрания С. О. Долгова» [Корецкий].

¹⁸ Это книга «Вызов Великого турка» [Waugh, 1978]. Важное дополнение к ней – статья, которую я опубликовал ранее; в ней раскрывается текстуальная история переписки султана с казаками, которую в конце XIX в. увековечил в своей картине Илья Репин. Статья называется «On the Origin of the “Correspondence” between the Sultan and the Cossacks» («О происхождении “переписки” между султаном и казаками») [Waugh, 1971]. Я утверждал, что эти письма входят в европейскую традицию переводных апокрифов и, возможно, возникли не среди казаков, хотя в более поздних вариантах они, безусловно, «украинизировались». Учитывая то, что эта статья была напечатана в малоизвестном издании, к ней обращаются реже, чем к книге (которая есть даже в некоторых российских библиотеках и доступна тем, кто может читать по-английски). Например, первая не упоминается в другой часто цитируемой статье, посвященной переписке казаков: [Friedman]. Похоже, моя статья прошла мимо многих, кто все еще хочет верить, что романтизированные тексты XIX в. – это «подлинные» произведения, в которых воплощается дух бунтарей-казаков.

¹⁹ См., например: [Майер, Шамин; Maier, 2006].

²⁰ См.: [Maier, 2008]. Здесь устанавливаются источники переводов на славянские языки памфлетов о лжемессии Шабтае Цви, изданных в 1660-е гг. Я первым опубликовал тексты «Курантов» о Шабтае Цви в статье «News of the False Messiah: Reports on Shabbetai Zevi in Ukraine and Muscovy» («Новости о лжемессии: сообщения о Шабтае Цви в Украине и Москве») [Waugh, 1979a]. Сейчас эти тексты переизданы вместе с первоисточниками в новых томах «Вестей-курантов».

ные мной более общие выводы, но некоторые предполагают, что оригиналы и переводы определенных текстов представляют значительно больший интерес, чем я думал ранее. Несомненно, все это обычное развитие науки: немногие исследования являются настолько исчерпывающими, что их невозможно пересмотреть и усовершенствовать.

Часто кажется, что открытия совершаются не только благодаря упорству и скрупулезности: роль могут сыграть также случайность и интуиция. Ученый ищет одно, находит это или нет и натывается на что-то другое. Примерно так я и начал изучать культурную историю Вятки (Хлынова) конца XVII – начала XVIII в.: я и не предполагал, что эта тема может меня заинтересовать. Но история Вятки тесно связана с моим предыдущим исследованием; это объясняет, как я наткнулся на эту тему и каким образом смог над ней работать. Изучая апокрифические письма, я увидел ссылку на рукопись, в которой они содержатся; ее местонахождение было неизвестно с 1918 г. (по крайней мере так казалось)²¹. Выдающийся ученый К. В. Харлампович использовал эту рукопись в Казани и в 1918 г. опубликовал тексты из нее; но затем она исчезла. В середине 1970-х находившийся в командировке в Центральной Азии А. И. Мазунин вновь обнаружил рукопись в Ташкенте. Он довольно подробно ее описал, не зная, что это та же книга, которой когда-то пользовался Харлампович²².

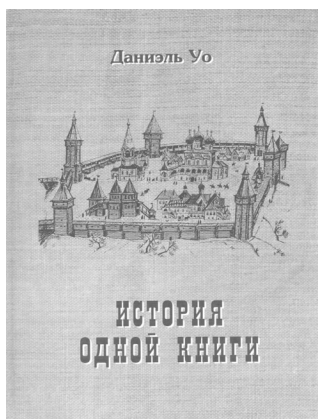
В 1991 г. мне удалось побывать в Ташкенте; я поехал в Центральную Азию, во-первых, чтобы принять участие в экспедиции по альпинизму, а во-вторых – чтобы представить исторический факультет Вашингтонского университета в ходе обмена с историческим факультетом Ташкентского университета. Я прочитал мини-курс по царской России неблагоприятной аудитории из двух студентов, которые не собирались серьезно работать. У меня было время, и я пошел в Национальную библиотеку, чтобы попытаться найти эту и некоторые другие рукописи, описанные Мазуниным. Я не ожидал, что что-то выйдет из материала, который я рассматривал с точки зрения диссертации, написанной мной двадцать лет назад (и я не планировал возвращаться к этой теме). Найти книгу оказалось сложной задачей, потому что собрание было заново пронумеровано, и библиотекарь, несмотря на готовность мне помочь, совершенно не знал, где искать. В конце концов я нашел ее в старой инвентарной описи, провел некоторое время за изучением рукописи, скопировал несколько текстов и записал информацию, которой должно было хватить, чтобы дополнить описание Мазунина. Вернувшись домой, я засунул все это в папку и почти забыл о рукописи. Когда мне предложили написать статью для юбилейного сборника в честь Неда Кинана, я принялся читать

²¹ См. мое описание данной рукописи в «Вызове Великого турка» [Waugh, 1978, p. 275–276].

²² Я не знал об описании Мазунина, которое вышло за год до появления моей книги, и в любом случае не мог связать Ташкентскую рукопись с той, что была в Казани.

свои записи в поисках темы²³. Я обнаружил не только свидетельства происхождения книги (Хлынов), но и то, что она содержит важные сведения об истории местного летописания. Я узнал, в какой степени это типичное русское «болото» (позднее подобным словом город увековечил Салтыков-Щедрин) было связано с остальным миром, и многое другое. Один большой сборник сам по себе являлся библиотеккой, и можно было установить его владельца-составителя: им был рязнический Семен Попов.

Начиная исследовать этот материал, я стал шире смотреть на приемы интерпретации, которые использовал в прошлых работах. Я хотел не просто поддержать взгляды традиционной историографии на то, что неуклонное движение Московского государства к «современному миру» началось с XVII в. и ускорилося во времена Петра I, – я начал задумываться, не нуждаемся ли мы в более детальном подходе²⁴. Тогда я в какой-то степени начинал сомневаться и во всей системе



интерпретации, в рамки которой я помещал такие тексты, как переводные апокрифические письма. Я стал утверждать, что Вятка была не бóльшим «болотом», чем остальная часть России в Петровскую эпоху; но в то же время она не могла сравниться с остальной частью страны по «современности»²⁵. Несомненно, это был уже другой вопрос: насколько анализ, основанный преимущественно на одной книге, может потребовать пересмотра традиционных правил историографии; впоследствии один из моих рецензентов верно на это указал [Marker].

²³ Моя статья для этого сборника называется «Anatolii's Miscellany» – Its Origins and Migration» («Анатолевский сборник» – его происхождение и его странствия» [Waugh, 1995].

²⁴ См. мое изложение этого взгляда (слегка перегруженное подробностями) «We Have Never Been Modern: Approaches to the Study of Russia in the Age of Peter the Great» («Мы никогда не были современными: Подходы к изучению России эпохи Петра Великого») [Waugh, 2001]. В эту статью можно было бы включить намного больше литературы по модернизации – некоторые ключевые работы не вошли в область моего рассмотрения. Но я всегда отстаивал основные выводы статьи (несмотря на возражения Джеймса Кракффта).

²⁵ Моя работа называется «История одной книги: Вятка и «не-современность» в русской культуре Петровского времени» [Уо, 2003]. Я написал ее черновик по-русски, но она бы никогда не вышла, если бы не существенная помощь в редактировании, оказанная Марией Кожевниковой (которая в то время была кандидатом экономических наук в Вашингтонском университете), и профессиональное редактирование для издательства, которым затем занималась Ольга Новикова, опытный специалист по московским летописям. С. М. Каштанов в рецензии на книгу критически отозвался об использовании термина «не-современность» как эквивалента слова «non-modernity» (которое само по себе является неологизмом). Однако в то время, когда издавалась книга, для русского языка еще не было характерно просто транскрибировать иностранный термин «modern» в различных формах.

Работая над книгой из Вятки, я смог впервые посетить это место – открыть богатства вятской библиотеки и архивных собраний и получить представление о местных культурных и интеллектуальных традициях. Думаю, благодаря всему этому я переосмыслил вопрос о том, что действительно важно в русской культуре: слишком часто ее история рассказывается с точки зрения центра, а не регионов. Сейчас наконец все больше ученых отдают должное регионам. Одним из испытаний, с которыми сталкивались западные ученые в советское время, было получение доступа. Киров (некогда Хлынов/Вятка) был закрытым городом. Я приехал туда в первый раз в 1996 г. на конференцию, которая именовалась международной благодаря тому, что среди 200 участников было около полудюжины иностранных ученых. Прием и атмосфера показались мне очень вдохновляющими; по крайней мере один из моих американских коллег, который впоследствии сообщил о ходе конференции, нашел ее, мягко говоря, «провинциальной»²⁶.

Ташкентская рукопись содержала до этого неизвестный вариант «пратекста», лежащего в основе летописи, которая долгое время считалась древнейшей в истории Вятки [Уо, 1997a]²⁷. То, что я пересмотрел этот, очевидно, наиболее ранний период написания истории города, затем привело меня еще к одной рукописи, входящей в собрание Ф. А. Толстого в Санкт-Петербурге, которую я ранее не изучал. Эта рукопись содержит «авторскую версию» другой ранней вятской летописи и, несомненно, использовалась вятским ризничим Семеном Поповым²⁸. Более того, это исследование привело меня к пересмотру истории знаменитого местного крестного хода, в котором использовалось изображение св. Николая. Это событие лежало в основе растущего чувства территориальной идентично-

²⁶ Дэвид Голдфранк написал об этом в статье для журнала «Newsletter of the Early Slavic Studies Association» (1997, vol. 10, no. 1, p. 3) (там же он неверно изложил содержание моего доклада, хотя это и не очень важно). Ср. мое намеренное более воодушевленное описание поездки: [Waugh, 1997]. Несколько лет спустя я опубликовал еще одно сообщение о своих впечатлениях в этом же издании – я вернулся в Киров, чтобы сделать «презентацию» моей книги в Областной библиотеке им. Герцена, и провел некоторое время с группой студентов в Лальске, городке к северу от Кирова [Waugh, 2004a]. Краткий доклад, написанный для конференции, я завершил многозначительным риторическим вопросом: нельзя ли назвать «провинциальными» США? См. мою статью: [Уо, 2011]. Я в долгу у В. Г. Вовиной-Лебедевой за то, что она отредактировала мой русский текст и представила его на конференции в Тобольске.

²⁷ Статья была переиздана как: [Уо, 1997b]. Алексей Мусихин продолжает исследовать ранние вятские летописные тексты и, работая в Кировском областном архиве, заново обнаружил списки, которые использовались для публикации этих текстов в XIX в., но затем исчезли. Вероятно, Мусихин сделает новое авторитетное издание. Однако у меня нет причин полагать, что это изменит мои основные выводы касательно текста, найденного мной в Ташкенте.

²⁸ Этот текст, так называемый «Летописец старых лет», приложен к списку «Хронографа 1617 года»; в этом варианте текста отчетливо проявляются особенности, присутствующие и в работах, составленных в Хлынове (шифр рукописи: РНБ Ф.IV.219 [ранее в собрании Толстого – И. 218]). Я рассматриваю данный текст и иллюстрирую разные почерки, которые в нем встречаются, в: [Уо, 2003, с. 144–159], а также привожу критическое издание: [Там же, с. 320–331].

сти, и о его почитании говорится в тех ранних летописях²⁹. История крестного хода, который был запрещен в советское время, но с распадом Советского Союза возродился, до сих пор нуждается в дальнейшем исследовании. В обзоре свидетельств я предполагаю, что почитание иконы (а возможно, и само ее существование) началось в XVI в. – значительно позже, чем обычно считалось. Но это общепринятое мнение связано с народной верой, которая поддерживается церковью и которую едва ли могут ниспровергнуть научные доводы, особенно выдвигаемые иностранцем. Еще одна интересная особенность вятского материала – это поднимаемые им вопросы о содержимом местных библиотек: еще предстоит провести большую работу, чтобы восстановить содержание собраний, которые оказались разбросаны по всему миру, особенно в XIX и XX вв. Как я уже говорил, одно дело – восстанавливать собрания главных монастырских библиотек, но намного более сложная задача – изучать те, которые принадлежат отдельным церквям, небольшим монастырям и частным лицам.

Я бы никогда не написал книгу о Вятке, если бы не опыт, который я получил, еще только начиная работать над русскими рукописями в 1960-х – начале 1970-х гг. В значительной мере вся книга строится на тщательном кодикологическом анализе единственной рукописи, хотя она помещается в контекст множества других исторических источников; многие из них были изданы А. С. Верещагиным, в конце XIX в. основавшим областное историческое общество. Честно говоря, моя работа по ташкентской рукописи далека от совершенства: в библиотеке, где я ей занимался, не было ни одного из необходимых справочников, и мне удалось получить лишь несколько фотографий отдельных страниц (сделать микрофильм книги было невозможно)³⁰. Чтобы проект в конце концов удался, мне понадобилось еще раз изучить рукопись и расширить заметки, которые я сделал ранее. Этот случай, конечно же, напоминает о том, с какими трудностями могут столкнуться ученые, работая в областных библиотеках даже на территории России. Несмотря на всю ценность собрания, которым обладает Кировская областная библиотека имени Герцена, в ней нет большинства важных альбомов с водяными знаками; очевидно, полностью отсутствуют справочники, необхо-

²⁹ См.: [Waugh, 2004b]; краткое резюме этой статьи на русском: [Yo, 2004]. Части этого материала касается и моя статья [Yo, 2006].

³⁰ Мое описание ташкентской рукописи [Yo, 2003, с. 262–284] намного лучше всего, что я написал для книги Кинана и своей собственной монографии о письмах султана. Тем не менее в ней много недочетов: необходимо должным образом идентифицировать тексты, более подробно изучить водяные знаки (что я сделал хотя бы схематично), проанализировать и изобразить различные почерки. Благодаря усилиям С. М. Каштанова и Е. С. Смирновой мне удалось использовать книгу из той же личной библиотеки Семена Попова, где хранилась ташкентская рукопись: они помогли мне получить из Казани ее частичную ксерокопию.

димые тем, кто изучает рукописи, хранящиеся в местном историческом музее. В Ташкенте сейчас, возможно, не придают особого значения небольшому собранию книг на старославянском; в Кирове же, где материала намного больше, люди относятся к нему с большим вниманием, но лишены возможности должным образом его изучать. Трудным может быть даже получение свежих изданий классических работ из Москвы и Санкт-Петербурга: с распадом Советского Союза разрушилась система, благодаря которой важные книги распределялись по местным библиотекам за небольшую цену или бесплатно.

Хотелось бы думать, что моя книга о Вятке доказывает, что молодые годы, которые я провел, участвуя в работе над московскими рукописями, вдохновленный русскими коллегами, принесли настоящие плоды. И что эти плоды – не просто внимание к решению мелких задач относительно текстов, контекстов и документальных свидетельств. Если обстоятельства будут складываться благоприятно, мои первые исследования дадут жизнь еще по крайней мере одной книге. Эта книга будет посвящена тому, как в Московское государство попадали зарубежные новости; одно время я надеялся написать монографию на эту тему, отказался от проекта, но затем возродил его, сотрудничая с Ингрид Майер. Вероятно, это уже будет совершенно иная книга, чем могла бы быть, если бы я завершил ее в 1980-е: сейчас мне хочется задать другие вопросы о текстах и поместить их в такие контексты, о которых я тогда бы и не подумал. Благодаря поездке в Вятку я поменял свои приоритеты и – что звучит иронично – расширил кругозор. Раньше, думая о книге про новости, я хотел сопоставить московский материал с тем, как они появлялись и распространялись в других европейских странах. Но сейчас вижу, что сам московский контекст необходимо вывести за пределы обсуждения той роли, которую играл Посольский приказ в «европеизации» страны. Интерес, который представляют некоторые переводы новостей и памфлетов, можно лучше понять, принимая во внимание, что в народе история и сказки связывались с провидением, а также помня про народные религиозные обряды (например, крестные ходы и паломничество). Значение имели не только такие «современные» институты, как пресса и почта; неформальные, или «традиционные», способы общения (в том числе молва и сплетни) сохраняли свою важность.

Таким образом, я довольно далеко отошел от желания работать в рамках парадигм Соловьева и Ключевского, руководствуясь тем, как изучали тексты мои российские коллеги. В своих исследованиях они обращали внимание на мелкие проблемы; это отчасти объяснялось тем, что в советских условиях ученые были вынуждены избегать многих более масштабных теоретических и интерпретационных подходов. Я не хочу сказать, что ценность этих научных традиций

уменьшилась: сегодня необходимо следовать принципам качественного изучения рукописей и текстов, и благодаря соблюдению этих принципов постепенно заполняются пробелы в нашем знании источников. Однако существует опасность, что ученый останется слишком привязан к историко-филологическим методам конца XIX в., в то время как в современную эпоху необходимо задавать новые вопросы и расширять горизонты, чтобы двигать науку вперед. Вероятно, вопреки всяким разумным ожиданиям мне удалось оформить свое исследование в соответствии с русскими стандартами, вот почему столько моих работ было издано в России в то время, когда зарубежных ученых там публиковали относительно мало. Сегодня может показаться, что во всем этом нет ничего особенного: теперь существуют совместные проекты, часто проводятся междunarодные конференции, западные ученые постоянно печатаются в русских журналах (а русские – в западных) и на работы первых часто ссылаются, если они переведены на русский. Даже за такой короткий период произошли потрясающие изменения.

У моего скромного успеха в те молодые годы была и обратная сторона. Исследования, которыми я хотел заниматься, не соответствовали тому, что в Америке считалось исторической наукой. Если ученый публиковал статьи не на английском языке в таких престижных в России журналах, как «ТОДРЛ» и «Археографический ежегодник» («АЕ»), это не всегда служило аргументом для его повышения и назначения на должность преподавателя. Что касается языка, не существовало способа удовлетворить оба научных сообщества. Если вы издавали статью на английском, ваши русские коллеги могли ее никогда не прочитать, потому что не смогли бы ее достать или потому что не знали языка. Именно поэтому я решил писать книгу о Вятке на русском, чтобы ее напечатали в Санкт-Петербурге, хотя это далось мне с большим трудом (западные издатели в любом случае могли не принять эту работу из-за темы). Даже сегодня, когда большинство русских ученых свободно сотрудничают со своими западными коллегами, некоторые из лучших российских исследователей плохо говорят по-английски. Конечно, у зарубежных русистов нет языкового барьера, который бы мешал им пользоваться публикациями на русском, но получить их все же бывает трудно: многие издания выходят маленькими тиражами и в отдаленных городах. В XXI в. необходимо, чтобы все научные работы были доступны через Интернет.

Самая настоящая проблема в американском научном сообществе возникает, когда работу на иностранном языке должны оценивать те, кто не занимается данной областью и не знает ни одного языка, кроме английского. Когда я закончил свою диссертацию в 1972 г., мне очень повезло: я получил одну из двух должностей специалиста по истории России до Нового времени, на которые

тогда объявлялся конкурс в США³¹. Естественно, мои работы могли читать не многие ученые из моего университета, и это сыграло свою роль несколько лет спустя, когда рассматривался вопрос о повышении. По иронии судьбы, мой руководитель Дональд Тредгольд, который специализировался на истории России Нового времени и мог читать мои публикации, пренебрежительно заявил, что они не являются «историей»³². В его понимание того, чем должен заниматься историк, не входили ни написание работ по кодикологии и водяным знакам, ни анализ и публикация малоизвестных древнерусских текстов. Мне кажется, что и в других западных научных учреждениях ситуация сегодня не сильно бы отличалась: исследования по русистике все чаще считаются неактуальными и, по мере того как представители моего поколения выходят на пенсию или умирают, исчезают немногие должности, связанные с историей России до Нового времени. Мы приближаемся к тому дню, когда в США будет невозможно учиться в аспирантуре

³¹ Мой гарвардский куратор Роберт Ли Вульф, чьи работы были широко известны, написал сильное письмо в мою поддержку. Мне помогло и то, что в 1963 г. я участвовал в летней программе по русскому языку, которой руководил Герберт Эллисон. Тогда он работал историком в Вашингтонском университете. На съезде Американской ассоциации славистов в Денвере в 1971 г., когда мое назначение на должность в Вашингтонском университете рассматривалось как возможное, Эллисон пригласил меня на завтрак с ним и еще двумя будущими моими коллегами, Дональдом Тредгольдом и Питером Шугаром. Что касается второй должности, на которую объявлялся конкурс в 1972 г., в Индианском университете, меня даже не пригласили на собеседование, и на это место взяли Чарльза Гальперина. В Вашингтонский университет, с которым связана вся моя карьера, я изначально был принят на один год вместо вышедшего в отставку Марка Шефтеля, поэтому мне не нужно было приезжать туда для полного формального собеседования (когда меня взяли на работу, я все еще находился в СССР). Изначально намеревались пригласить на год специалиста по истории Польши, но не получилось, и факультет решил взять другого человека, чтобы не потерять эту должность совсем. Когда впоследствии было решено сохранить место историка Древней Руси, факультет тщательным образом изучил мою деятельность в первый год работы. На мое место вполне могли принять кого-то другого, потому что мои первые шаги в преподавании не произвели большого впечатления.

³² Являясь деканом исторического факультета, Тредгольд отклонил предложение о том, чтобы повысить меня на год раньше обычного (за это проголосовали многие сотрудники факультета). В следующем году, когда этот вопрос был поднят в обязательном порядке, я отказался от должности главы секции славянских языков в библиотеке Гарвардского университета, и, мне кажется, он был этим разочарован (я подал заявление на это место, когда еще не знал, возьмут ли меня преподавателем). В своем убедительном рекомендационном письме Нед Кинан, бесспорно, надеялся, что я приму предложение из Гарварда. Оглядываясь назад, я думаю, что в Гарварде мной были бы разочарованы, потому что мне нужно было бы слишком многому учиться, чтобы делать свою работу хорошо. Мои обязанности в Вашингтонском университете усложнялись тем, что я одновременно работал на факультетах истории и международных исследований (а это означало, что за мое назначение и повышение голосовали группы с двух разных факультетов и с разными академическими приоритетами). В последние годы работы в университете я перенес половину своих обязанностей с факультета международных исследований на факультет славянских языков, начав вести там курс по древнерусской литературе и культуре. Таким образом, ко времени моего выхода в отставку я работал на трех факультетах.

по этому направлению и, если на то пошло, по многим другим областям истории данного периода³³.

По крайней мере сейчас, находясь в отставке, я больше не беспокоюсь о получении работы и о рассмотрении кандидатов на продвижение. Но мне приходится заботиться о том, чтобы мои труды были достойны чтения и о том, чтобы среди горсточки ученых оставались те, кто так же, как я, увлечен темами нашего общего интереса. Если мои исследования принесли какую-то пользу, то должен признать, что вдохновение и поддержку для этого я получил не только от преподавателей, но и от своих российских коллег. Их профессионализм находится на таком уровне, к которому я до сих пор могу лишь стремиться.

Амосов А. А. Проблема точности филигранологических наблюдений. 1. Терминология // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности: материалы Всесоюзной конференции / ред. М. В. Кукушкина, С. О. Шмидт. Л.: Наука, 1981. С. 70–91.

Амосов А. А., Колесников П. А. Опыт и перспективы описания документальных памятников в местных хранилищах («Вологодская программа»: сущность, результаты и задачи) // Археографический ежегодник за 1986 г. М.: Наука, 1987.

Андрюшайтите Ю. В. С. А. Клепиков – основатель отечественной библиографии по филигранологии // Археографический ежегодник за 1986 г. М.: Наука, 1987а. С. 121–130.

Андрюшайтите Ю. В. Развитие советского филиграноведения в 50-х – начале 80-х годов // Археографический ежегодник за 1985 год. М.: Наука, 1987б. С. 157.

Бобров А. Г., Рождественская Т. В. Вячеслав Михайлович Загребин (31.10.1942 – 09.10.2004): Некролог // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 984–987.

Богданов А. П. Основы филиграноведения. История, теория, практика. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 336 с.

Дианова Т. В. Метод датировки документов с помощью водяных знаков и принципы публикации филигранных // Археографический ежегодник за 1974 год. М.: Наука, 1975. С. 56–61.

Казан М. Д., Понерыко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. 1980. Т. 35. С. 3–300.

Корецкий В. И. Безднийский летописец конца XVI в. из собрания С. О. Долгова // Записки Отдела рукописей ГБЛ. 1977. Вып. 38. С. 190–208.

³³ Когда в отставку ушли я и Герберт Эллисон, специалист по истории XX в., исторический факультет получил разрешение заполнить только одну должность, и выбрали вторую. На факультете славянских языков Вашингтонского университета больше нет специалиста по древнерусской литературе. Я провел в Вашингтонском университете более тридцати лет и за это время был научным руководителем только по четырем докторским диссертациям, относящимся к моей области (и еще в одном, последнем случае был внешним членом диссертационного совета). Эти диссертации написали: Роберт Кроски, изучавший дипломатию в Московском государстве, Дэвид Дэс – «Скифскую историю» Андрея Лызова, Изольда Тире – женскую религиозную жизнь, Томас Дикстра – Иосифо-Волоколамский монастырь и Клавдия Дженсен – она училась истории музыки в Принстоне и писала о Николае Дилецком. В других университетах в последние несколько десятилетий вышли на пенсию и умерли некоторые выдающиеся американские специалисты по Древней Руси. Среди них – Кинан, Роберт Крамми, Ричард Хэлли и Густав Алеф. В большинстве случаев им не нашлось замены. Некоторые из лучших специалистов по истории России до Нового времени, принадлежащие к следующему поколению, преподают там, где нет возможности работать с аспирантами по данной области. Новости из Западной Европы для будущего русистики также неутешительны: под угрозой находятся целые программы.

Кукушкина М. В. Сократ Александрович Клепиков (К 90-летию со дня рождения) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 202–112.

Майер И., Шамин С. «Легендарное послание турецкого султана немецким владетелям и всем христианам» (1663–1664 гг.). К вопросу о распространении переводов европейских памфлетов из Посольского приказа в рукописных сборниках // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. Т. 4. № 30. С. 80–89.

Морозов Б. Н. Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца XVI – начала XVII в. // Археографический ежегодник за 1986 г. М. : Наука, 1987. С. 277–289.

Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева / сост. Т. Н. Протасьева. Ч. 1–2. М. : Гос. исторический музей, 1970–1973.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1: Апокалипсис – Летопись Лаврентьевская. М. : Индрик, 2002.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М. : Наука, 1984.

Уо Д. К. Анатолевский сборник и проблемы вятского летописания // Шведы и Русский север: историко-культурные связи: (К 210-летию Александра Лаврентьевича Витберга): материалы Международного научного симпозиума. Киров, 1997а. С. 336–354.

Уо Д. К. История одной книги. Вятка и «не-современность» в русской культуре Петровского времени. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. 394 с.

Уо Д. К. К вопросу о датировке Великорусского крестного хода // Герценка: Вятские записки. Вып. 6. Киров, 2004. С. 128–136.

Уо Д. К. К истории вятского летописания // In Memoriam: сборник памяти Я. С. Лурье / сост. Н. М. Ботвинник, Е. И. Ванеева. СПб. : Antheneum-Феникс, 1997б. С. 303–320.

Уо Д. К. Кто на самом деле «провинциален»? Размышления о концепции провинциальности на примерах России раннего Нового времени, Западной Европы и Америки // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века) / сост. и отв. ред. О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. С. 51–58.

Уо Д. К. Местное самоуправление, религия и «изобретение» регионального прошлого // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 350–358.

Уо Д. К. Неизвестный памятник древнерусской литературы: «Грамота государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси к Степану, королю польскому» // Археографический ежегодник за 1971 год. М. : Наука, 1972. С. 357–361.

Friedman V. A. The Zaporozhian Letter to the Turkish Sultan: Historical Commentary and Linguistic Analysis // Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. 2. P. 24–37.

Maier I. Acht anonyme deutsche und polnische „Sabetha Sebi“-Drucke aus dem Jahre 1666. Auf der Spur nach dem Drucker // Gutenberg-Jahrbuch. 2008. Vol. 83. S. 141–160.

Maier I. „Ontsegh-brief van den Turckschen Keyser...“ Ein fiktiver Brief des türkischen Sultans an den König von Polen in russischer Übersetzung (1621) // Jako blagopesnivajata ptica. Hyllningsskrift till Lars Steensland / ed. by P. Ambrosiani, I. Lysén et al. Stockholm, 2006 (= Stockholm Slavic Papers 32). S. 135–146.

Maier I., Waugh D. How Well Was Muscovy Connected with the World? // Imperienvergleich: Beispiele und Anätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler / ed. by G. Hausmann, A. Rustemeyer. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009 (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Bd. 75). S. 17–38.

Maier I., Waugh D. “The Blowing of the Messiah’s Trumpet”: Reports about Sabbatai Sevi and Jewish Unrest in 1665–1667 // The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe / ed. by B. Dooley. Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate Publishing, 2010. P. 137–152.

Marker G. Daniel’ Uo [Daniel Clarke Waugh], *Istoriia odnoi knigi: Viatka i “ne-sovremennost” v russkoi kul’ture petrovskogo vremeni* // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2005. Vol. 53. No. 1. S. 116–117.

Waugh D. “Anatolii’s Miscellany” – Its Origins and Migration // Harvard Ukrainian Studies. 1995. Vol. 19. P. 747–755.

Waugh D. Discovering Vyatka // REECAS Newsletter. 1997 (Winter). Vol. 2–3. P. 15.

Waugh D. For What Purpose Did an American Come to Lal’sk // REECAS Newsletter. 2004a (Spring).

Waugh D. News of the False Messiah: Reports on Shabbetai Zevi in Ukraine and Muscovy // *Jewish Social Studies*. 1979a. Vol. 41. No. 3–4. P. 301–322.

Waugh D. News Sensations from the Front: Reportage in Late Muscovy concerning the Ottoman Wars // *Rude & Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honor of Robert O. Crummey* / ed. by Ch. Dunning, R. Martin, D. Rowland. Bloomington, IN. : Kritika, 2008. P. 491–506 + 2 plates.

Waugh D. On the Origin of the “Correspondence” between the Sultan and the Cossacks // *Recenzija: A Review of Soviet Ukrainian Scholarly Publications*. 1971. Vol. 1. No. 2. P. 3–46.

Waugh D. Ralph Cleminson (comp.), *A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections* // *Canadian-American Slavic Studies*. 1990. Vol. 24. No. 4. P. 457–458.

Waugh D. Religion and Regional Identities: the Case of Viatka and the Miracle-Working Icon of St. Nicholas Velikoretskii // *Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen* / hrsg. von A. Kappeler. Wiesbaden: Harrassowitz, 2004b (=Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 63). S. 259–278.

Waugh D. The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants / with a foreword by Academician D. S. Likhachev. Columbus, O. : Slavica, 1978. ix, 354 p.

Waugh D. The Lessons of the Kurbskii Controversy Regarding the Study and Dating of Old Russian Manuscripts // *Russian and Slavic History* / ed. by Don K. Rowney, G. Edward Orchard. Columbus, O. : Slavica, 1977. P. 218–237.

Waugh D. The Publication of the Muscovite *Kuranty* // *Kritika*. 1973. Vol. 9. No. 3. P. 103–120.

Waugh D. Two Unpublished Muscovite Chronicles // *Oxford Slavonic Papers*. N. S. 1979b. Vol. 12. P. 1–31.

Waugh D. Soviet Watermark Studies – Achievements and Prospects // *Kritika*. 1970. Vol. 6. No. 2. P. 78–111.

Waugh D. We Have Never Been Modern: Approaches to the Study of Russia in the Age of Peter the Great // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2001. Vol. 49. P. 321–345.

Amosov, A. A. (1981). Problema tochnosti filigranologicheskikh nablyudenij. 1. Terminologiya [The problem of accuracy of filigranologic observation. 1. Terminology]. In M. V. Kukushkina, S. O. Shmidt (Eds.), *Problemy' nauchnogo opisaniya rukopisej i faksimil'nogo izdaniya pamyatnikov pis'mennosti: materialy' Vsesoyuznoj konferencii* (p. 70–91). Leningrad: Nauka.

Amosov, A. A. & Kolesnikov, P. A. (1987). Opy'ti perspektivy' opisaniya dokumental'ny'h pamyatnikov v mestny'h hranilishhah (“Vologodskaya programma”: sushhnost', rezul'taty' i zadachi) [Experience and perspectives of the description of documentary monuments in local archives (“Vologda program”: main points, results, tasks)]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1986 god*. Moscow: Nauka.

Andryushajtite, Yu. V. (1987). Razvitie sovetskogo filigranovedeniya v 50-h – nachale 80-h godov [The development of the Soviet filigranology in 50s – early 80s yrs.]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1985 god*. Moscow: Nauka.

Andryushajtite, Yu. V. (1987). S. A. Klepikov – osnovatel' otechestvennoj bibliografii po filigranologii [S. A. Klepikov – founder of the national bibliography on filigranology]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1986 god* (p. 121–130). Moscow: Nauka.

Bobrov, A. G. & Rozhdestvenskaya, T. V. (2006). Vyacheslav Mihajlovich Zagrebin (31.10.1942–09.10.2004): Nekrolog [Vyacheslav Mikhailovich Zagrebin (31.10.1942–09.10.2004): obituary]. In *TODRL*. (Vol. 57, p. 984–987).

Bogdanov, A. P. (1999). *Osnovy' filigranovedeniya. Istoriya, teoriya, praktika* [Basis of filigranology. History, theory, practice]. Moscow: E'ditorial URSS.

Dianova, T. V. (1975). Metod datirovki dokumentov s pomoshh'yu vodyany'h znakov i principy' publikacii filigranej [The method of dating documents by means of watermarks and the principles of filigree publication]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1974 god* (p. 56–61). Moscow: Nauka.

Friedman, V. A. (1978). The Zaporozhian Letter to the Turkish Sultan: Historical Commentary and Linguistic Analysis. In *Slavica Hierosolymitana*. (Vol. 2, p. 24–37).

Kagan, M. D., Pony'rko, N. V. & Rozhdestvenskaya, M. V. (1980). Opisanie sbornikov XV v. knigopisca Efrasina [The description of collections of XV century of copyist Euphrosynus]. In *TODRL*. (Vol. 35, p. 3–300).

Koreckij, V. I. (1977). Bezdinskij letopisecz koncza XVI v. iz sobraniya S. O. Dolgova [Bezdinsky chronicler of the late 16th century from S. O. Dolgov's collection]. In *Zapiski Otdela rukopisej GBL* (Vol. 38, p. 190–208).

Kukushkina, M. V. (1984). Sokrat Aleksandrovich Klepikov (K 90-letiyu so dnya rozhdeniya) [Socrat Aleksandrovich Klepikov (To the 90th anniversary of the birth)]. In *Issledovaniya po istorii obshhestvennogo soznaniya e'pohi feodalizma v Rossii* (p. 202–212). Novosibirsk.

Maier, I. (2006). „Ontsegh-brief van den Turckschen Keyser...“ Ein fiktiver Brief des türkischen Sultans an den König von Polen in russischer Übersetzung (1621). In P. Ambrosiani, I. Lysén et al. (Eds.). *Jako blagopesnivaja ptica. Hyllningsskrift till Lars Steensland*. (Vol. 32, p. 135–146). Stockholm (= Stockholm Slavic Papers).

Maier, I. & Shamin, S. (2007). „Legendarnoe poslanie tureczkogo sultana nemeckim vladetelyam i vsem hristianam“ (1663–1664 gg.). K voprosu o rasprostranении perevodov evropejskikh pamfletov iz Posol'skogo prikaza v rukopisny'h sbornikah [“Legendary message of the Turkish Sultan to German owners and all Christians” (1663–1664 yrs.). Revisiting the spread of the translations of European pamphlets out of the Ambassadorial order in manuscript collections]. *Drevnyaya Rus'. Voprosy' medievistiki*, 4/30, 80–89.

Maier, I. (2008). Acht anonyme deutsche und polnische „Sabetha Sebi“-Drucke aus dem Jahre 1666. Auf der Spur nach dem Drucker. In *Gutenberg-Jahrbuch* (Vol. 83, p. 141–160).

Maier, I. & Waugh, D. (2009). How Well Was Muscovy Connected with the World? In G. Hausmann, A. Rustemeyer (Eds.), *Imperienvergleich: Beispiele und Anätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler*. (Vol. 75, p. 17–38). Wiesbaden: Harrassowitz (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte).

Maier, I. & Waugh, D. (2010). “The Blowing of the Messiah's Trumpet”: Reports about Sabbatai Sevi and Jewish Unrest in 1665–1667. In B. Dooley (Ed.), *The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe* (p. 137–152). Farnham, Surrey; Burlington, VT: Ashgate Publishing.

Marker, G. (2005). Daniel' Uo [Daniel Clarke Waugh], Istoriia odnoi knigi: Viatka i “ne-sovremennost” v russkoi kul'ture petrovskogo vremeni. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 53/1, 116–117.

Morozov, B. N. (1987). Pervoe poslanie Kurbskogo Ivanu Groznomu v sbornike koncza XVI – nachala XVII v. [The first message of Kurbsky to Ivan the Great in the collection of the late 16th – early 17th c.]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1986 god* (p. 277–289). Moscow: Nauka.

Protas'eva, T. N. (Comp.). (1970–1973). *Opisanie rukopisej Sinodal'nogo sobraniya (ne voshedshih v opisanie A. V. Gorskogo i K. I. Nevostrueva)* [Description of the manuscripts of the Synodal Assembly (not included in the description by A. V. Gorsky and K. I. Nevostruev)]. Part 1–2. Moscow: Gos. istoricheskij muzej.

Svodny'j katalog slavyano-russkikh rukopisny'h knig, hranyashhihsya v Rossii, stranah SNG i Baltii. XVI vek. Vy'p. 1: Apokalipsis – Letopis' Lavrent'evskaya [Central catalogue of the Slavonic-Russian manuscript books, kept in Russia, CIS and Baltic countries. 16th century. Iss. 1: Apocalypse-Laurentian Chronicle]. (2002). Moscow: Indrik.

Svodny'j katalog slavyano-russkikh rukopisny'h knig, hranyashhihsya v SSSR. XI–XIII vv. [Central catalogue of the Slavonic-Russian manuscript books, kept in the USSR. 11th–13th cc.]. (1984). Moscow: Nauka.

Waugh, D. K. (1970). Soviet Watermark Studies – Achievements and Prospects. *Kritika*, 6/2, 78–111.

Waugh, D. K. (1971). On the Origin of the “Correspondence” between the Sultan and the Cossacks. *Recenzija: A Review of Soviet Ukrainian Scholarly Publications*, 1/2, 3–46.

Waugh, D. K. (1972). Neizvestny'j pamyatnik drevnerusskoj literatury: “Gramota gosudarya czarya i velikogo knyazya Ivana Vasil'evicha vseya Rusi k Stepanu, korolyu pol'skomu” [Unknown Old Russian literature monument: “A Letter of tsar and grand prince of All Russia Ivan Vasilyevich to Stepan, king of Poland”]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1971 god* (p. 357–361). Moscow: Nauka.

Waugh, D. K. (1973). The Publication of the Muscovite Kuranty. *Kritika*, 9/3, 103–120.

Waugh, D. K. (1977). The Lessons of the Kurbskii Controversy Regarding the Study and Dating of Old Russian Manuscripts. In Don K. Rowney, G. Edward Orchard (Eds.), *Russian and Slavic History* (p. 218–237). Columbus, O.: Slavica.

Waugh, D. K. (1978). *The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in Its Muscovite and Russian Variants*. Academician D. S. Likhachev (Foreword). Columbus, O.: Slavica.

- Waugh, D. K. (1979). News of the False Messiah: Reports on Shabbetai Zevi in Ukraine and Muscovy. *Jewish Social Studies*, 41/3–4, 301–322.
- Waugh, D. K. (1979). Two Unpublished Muscovite Chronicles. In *Oxford Slavonic Papers*. N.S. (Vol. 12, p. 1–31).
- Waugh, D. K. (1990). Ralph Cleminson (Comp.), A Union Catalogue of Cyrillic Manuscripts in British and Irish Collections. *Canadian-American Slavic Studies*, 24/4, 457–458.
- Waugh, D. K. (1995). “Anatolii’s Miscellany” – Its Origins and Migration. In *Harvard Ukrainian Studies*. (Vol. 19, p. 747–755).
- Waugh, D. K. (1997). Anatol’evskij sbornik i problemy’ vyatskogo letopisaniya [Anatoly miscellany and the problems of Vyatka chronicle writing]. In *Shvedy’ i Russkij sever: istoriko-kul’turnye svyazi: (K 210-letiyu Aleksandra Lavrent’evicha Vitberga): materialy’ mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma* (p. 336–354). Kirov.
- Waugh, D. K. (1997). Discovering Vyatka. In *REECAS Newsletter*. (Vol. 2–3).
- Waugh, D. K. (1997). K istorii vyatskogo letopisaniya [Revisiting Vyatka chronicle writing]. In N. M. Botvinnik, E. I. Vaneeva (Comp.), *In Memoriam: sbornik pamyati Ya. S. Lur’e* [In Memoriam: collection in memory of J. S. Lurie] (p. 303–320). St. Petersburg: Antheneum-Feniks.
- Waugh, D. K. (2001). We Have Never Been Modern: Approaches to the Study of Russia in the Age of Peter the Great. In *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. (Vol. 49, p. 321–345).
- Waugh, D. K. (2003). *Istoriya odnoy knigi. Vyatka i “ne-sovremennost’” v russkoj kul’ture Petrovskogo vremeni* [History of one book. Vyatka and “pastness” in Russian culture in the time of Peter the Great]. St. Petersburg: Dmitrij Bulanin.
- Waugh, D. K. (2004). For What Purpose Did an American Come to Lal’sk. In *REECAS Newsletter*.
- Waugh, D. K. (2004). K voprosu o datirovke Velikoreczkogo krestnogo hoda [Revisiting the dating of Velikoreczk religious procession]. In *Gercenka: Vyatskie zapiski*. (Vol. 6, p. 128–136). Kirov.
- Waugh, D. K. (2004). Religion and Regional Identities: the Case of Viatka and the Miracle-Working Icon of St. Nicholas Velikoretskii. In A. Kappeler (Ed.), *Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen* (p. 259–278). Wiesbaden: Harrassowitz (=Forschungen zur osteuropäischen Geschichte).
- Waugh, D. K. (2006). Mestnoe samoupravlenie, religiya i “izobretenie” regional’nogo proshlogo [Local government, religion and “invention” of the regional past]. In *TODRL*. (Vol. 57, p. 350–358).
- Waugh, D. K. (2008). News Sensations from the Front: Reportage in Late Muscovy concerning the Ottoman Wars. In Ch. Dunning, R. Martin, D. Rowland (Eds.), *Rude & Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honor of Robert O. Crumney* (p. 491–506 + 2 plates). Bloomington, IN.: Kritika.
- Waugh, D. K. (2011). Kto na samom dele “provincialen”? Razmyshleniya o koncepcii provincial’nosti na primerah Rossii rannego Novogo vremeni, Zapadnoj Evropy’ i Ameriki [Who is “provincial” in fact? Reflections of the concept of provincialism by the examples of Russia, Western Europe and America]. In O. N. Fokina, V. N. Alekseev (Eds., Comp.), *Kniga i literatura v kul’turnom prostranstve e’poh (XI–XX veka)* (p. 51–58). Novosibirsk: GPNB SO RAN.

Translated by Elena Galitsyna

The article was submitted on 30.04.2014

Даниель Уо
почетный профессор
США, Сиэтл
Вашингтонский университет
dwaugh@u.washington.edu

Daniel Waugh
Professor Emeritus
USA, Seattle
University of Washington
dwaugh@u.washington.edu



Problema voluminis

Сергий Радонежский и российская религиозность
Россия: образы и стереотипы



Problema voluminis

Sergiy Radonezhsky and Russian Religiosity
Russia: Images and Stereotypes

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И РОССИЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

УДК 2-335 + 27-144.89 + 94(470)“13”

Vladimir Milkov

SERGIY RADONEZHISKY. RUSSIAN PATH TO SOLIDARITY

The article analyzes the ideological and religious originality of Sergiy Radonezhsky and the impact of his activity on social and political life of Russia at the end of the 14th century. Radonezhsky's involvement in monastery reform, as well as his role in the introduction of the cult of Trinity, a novelty cult for Russia, are scrutinized in detail. The paper shows that these measures were in fact carried out consciously by the Trinity father superior who had in mind the consolidation of the Russian nation in anticipation of the upcoming events to overthrow the foreign subjugation. The two main periods of Radonezhsky's church and public service are explored in the article: 1) Sergiy's participation in social and political life as a representative of the “national” church party and 2) his acceptance of spiritual leadership amidst the difficulties of the Church crisis caused by the struggle for the vacant chair of the primate after the death of Metropolitan Alexius. Also mentioned are the arguments that allow Sergiy to be hailed as the spiritual leader of the nation on the eve of the Battle of Kulikovo. It is concluded that Sergiy's contemporaries deservedly distinguished him as a significant figure of the epoch of change, and the skepticism present in some historiographical works lacks solid foundation. It was Sergiy Radonezhsky who most audibly expressed the aspirations of the Russian spirit, when destruction, savagery and shock caused by foreign enthrallment, were replaced by the gathering of forces, marching hand in hand with the processes of centralization.

Keywords: Ancient Rus, Sergiy Radonezhsky, Battle of Kulikovo, monastery reform, Trinity cult.

Анализируется идейно-религиозное своеобразие деятельности Сергия Радонежского и его влияние на общественно-политическую жизнь страны в конце XIV в. Детально рассматривается причастность подвижника к осуществлению монастырской реформы и введению нового для страны культа Троицы. В статье показано, что эти мероприятия осознанно проводились троицким игуменом с целью сплочения этноса в преддверии назревавших событий свержения иноземного ига. Сравниваются два этапа церковного и общественного служения: 1) участие Сергия в общественно-политической жизни как представителя «национальной» церковной партии; 2) выход на позиции духовного лидера в труднейшей ситуации церковного кризиса, вызванного борьбой за пустовавшую

после смерти митрополита Алексия кафедру первосвященника. Приводятся соображения, которые позволяют назвать Сергия духовным вождем нации в канун Куликовской битвы. Делается вывод, что ближайшие современники Сергия заслуженно выделяли его как знаковую личность эпохи перемен, а высказываемый в историографии скепсис по этому поводу не имеет под собой прочных оснований. Именно Сергий Радонежский наиболее четко выразил устремления русского духа, когда разорение, одичание и шок, вызванные иностранным порабощением, начали сменяться собиранием сил, шедшим рука об руку с процессами централизации.

Ключевые слова: Древняя Русь, Сергий Радонежский, Куликовская битва, общественно-политическая деятельность подвижника, идейно-религиозная ситуация в стране, монастырская реформа, культ Троицы.

The Ancient Russian Chronicle described Sergiy Radonezhsky as “The teacher and the mentor of the Russian Land” [ПСРЛ, стб. 165]. This high evaluation of the works and the influence upon contemporaries of this simple 14th-century monk, who was far from being noble or highly positioned, is an exceptional occurrence for the Russian Middle Ages. The crucial role of Sergiy in Russian statehood can be elucidated by the fact that Trinity Monastery, founded by him, became a major national religious center and a place for the pilgrimages of Russian rulers in subsequent times. This fact not only underscores the importance of examining Sergiy’s religious ideas, but also the political significance of his activities. Many existing versions of Sergiy’s ‘Life’ served the biases of a particular historical period; as a result, the true features of his personality were changed by multiple editors and substituted for hagiographic stereotypes.

Questions separate from his religious activities have been considered fruitless by many researchers who prefer to primarily concentrate upon the sacred meanings of his activities and to view the religious person himself within a broader context of Church doctrine and history. This approach is understandable and justifiable for the purpose of understanding religious ideas; however, Sergiy also acted passionately as a leader of social change, and thus his actions, outside of Church scholarship, carry historical significance and should be scrutinized.

Sergiy Radonezhsky appears to be a unique personage among the known historical figures of the time of the Battle at Kulikovo (1380). He never took a high position within the Church, nor formulated a textual plan, nor even wrote a single literary work. Sergiy was merely a monastery founder and an abbot, one of many at the time. Nevertheless, he is mentioned at least twelve times in the Chronicles and is cited in seven official documents. This attention to father superior demonstrates that the fame of the ascetic had been firmly established in public opinion, and the lay authority was interested in the father superior of the Trinity Monastery. The extreme authority of the ascetic cannot be explained simply by the proximity to some political party or acknowledgement of his preaching activities. What, then, were the reasons that would make the Chronicles’ authors focus on Sergiy?

Church veneration of Sergiy the Founder begins during the time of Grand Duke Vasilii (1389–1425), who continued his father's, Dmitry Donskoy, politics of collecting lands. The initial events, in the form of the Finding of the Relics of St. Sergiy, occurred in the last years of the reign of Vasily Dmitrievich (1422). By the 1448–1449 an official veneration of the saint had been established.

By that time an extended 'Life' of the Reverend was written by his closest pupil, Epiphanius the Wise. The finished 'Life' then went through multiple revisions.¹

The existence of multiple revisions can be explained by the church authorities' desires to correct the depiction of the saint's life. Pachomius, the Serb, was a professional hagiographer, who worked on commission, and was ready to input the corrections on demand.

Epiphanius created his work in anticipation of the new conflicts that were inevitable during the struggle for the legacy of Dmitry Ivanovich Donskoy. The recollection of a consolidation of social forces, the symbol of which, according to 'Life', was St. Sergiy, sounded like a warning. The course of historical events nevertheless made such an interpretation irrelevant. Pachomius' versions originate from 1438–1449, when a feud broke out, and the covenants of the Kulikov era were forgotten. In these circumstances Epiphanius' text fostered a sense of patriotism, which was adapted then by Pachomius to serve internal needs of the Church.

The original text of 'Life' should be reconstructed from later editions. The beginning of 'Life' by Epiphanius can be seen in its fullest version in the *Prostrannaya* Edition (The Longer Version). This edition contains a Preface, ten out of thirty chapters, and a "Eulogy". These sections reveal Epiphanius' work was not typical for the hagiographic genre. There is a noticeable tendency towards accuracy and precision in the reproduction of events, a trait that is not typically practiced in religious works. The descriptions of the miracles by Epiphanius come very close to reality [Петров, с. 195]. The quality of storytelling and the vivid details provide even more ground for concluding that 'Life' is non-canonically [Духанина, с. 70].

The history of the conception of 'Life' and its realization are not typical for such works. According to Epiphanius' confession, he sought to preserve the memory of the founder of the monastery on his own initiative, without the direction of Church superiors, as he assembled the biography of the Trinity Convent abbot. He began to collect material immediately after the death of St. Sergiy on September 25, 1392. At first, Epiphanius uncovered original data and the documents.² B. M. Kloss concludes that the major

¹ Research has uncovered three to five editions of 'Life' within the time period when Pachomius the Serb (Logofet) was active [Кучкин, 1988, с. 110–113; Шибаев, с. 293; Клосс, с. 160–212]. Apart from that, various mosaic compilations that are hard to account for were found stemming from different versions of the saint's veneration [Зубов, с. 145–158]. There are altogether around 400 known versions of the 'Life of Sergiy'.

²In his work, Epiphanius was treading on personal memoirs and witness accounts of the people who intimately knew the Saint. He appeared in Trinity-Sergiy Monastery not earlier than 1374, he took the vows in 1375, and died in 1422 [see: Клосс, с. 95, 96, 100].

work happened between 1418–1419 [Клосс, с. 17]. Thus, the initial biography was written before the acquisition of the relics in 1422, a fact that speaks for the veneration of St. Sergiy among the monastic brotherhood. His burial in the church confirms the existence of the local tradition of the ascetics' worship, contrary to his will of being interred in the monastery cemetery. The reverend did not wish to be considered exceptional among the common monks, even after his death.

Lack of control by church authorities partly explains Epiphanius' freedom of authorship, which amplified his personal tastes and preferences. His 'Life' was devoted more to rethinking the role of the extraordinary personality than to promoting the objectives of Church veneration. A considerable adjustment was needed to make 'Life' fit the traditional Church form and make it useful for liturgical purposes. This task was solved by Pachomius, the Serb. His text omits descriptions of social activities, reproaches of luxury, servility, as well as descriptions of the saint's mercy towards commoners [Клибанов, с. 73–74]. As a result of this adjustment, the political component and indeed lively features of the epoch were trimmed. Instead, descriptions of Sergiy's deeds were embedded in the tradition of Christian cosmopolitanism, and set alongside other Byzantine hagiographies, thus better serving the objectives of official canonization.

Epiphanius was an ardent follower of Sergiy, so ideological preferences for the author of 'Life' can be transplanted onto the saint himself with reservations.

According to 'Life' and the Chronicle, Sergiy started his social service during the turbulent time of the revival, which experienced an increase of hopes, expectations, and capabilities and represented the first sacrificial attempt at overthrowing the Mongol "yoke", which drained, according to Karl Marx, 'the very soul of the Russian people'.

Sergiy, born on May 3, 1322, in Rostov Principality, spent his childhood and younger years under the rule of Ivan Kalita (?–1340). In search of a better life, his parents moved to Radonezh around 1332. Consequently, the ten-year old boy arrived at the place where later the grown man would build the monastery. After the Golden Horde established the Rus's dependence, the Khan bestowed tremendous privileges upon the Church, and it emerged as a major feudal power. This state of affairs created competitive relations between the Church with the lay authority. Canonization of the Galician metropolitan, Peter (1308–1325), who requested to be interred in a town that was neither a capital nor a diocesan seat. [Кучкин, 1962]. Transferring his seat to Moscow, a Greek metropolitan named Theognost (1328–1353) sought to differentiate from Kalita in the collection of levies. Although Theognostus, much like the greedy Ivan Daniilovich, contributed to the rise of Moscow, the time for the union of priesthood and tsardom had not yet come.

New conditions formed only during the time of Theognostus' successor, Alexius (1353–1378.) He was an avid supporter of Moscow's authority and godson of Ivan Kalita; consequently he became the first metropolitan

who stood ready to assemble the anti-Horde forces. The resistance to Tatar control was strengthened not only by feuds within the Horde that began in the 50s, but also by cessation of the period of tolerance, which was due to the conversion of the Khans to Islam [Плигузов, Хорошкевич, с. 122]. Alexius hailed from Moscovite boyars and acted as regent during Dimitry's rule, especially after the early death of Dimitry's father, Ivan the Fair. As a result, priesthood and tsardom moved closer to each other. Consolidation happened with increasing anti-Horde sentiment [Соколов, с. 192–196]. At the time, the Church gradually reflected the interests and expectations of a broader population, especially at the time of Alexius the Baptist, and developed a new bearing, which allowed it to formulate, propagate and defend not only its own, but also the state's ideology.

Owing to Alexius's prompting, Sergiy Radonezhsky moved into the arena of religious and political action [Кузьмин, с. 156–178]. Shortly before his death, Alexius, who guided the so-called 'national party' in the Russian Church (a term coined by A. G. Kuzmin), planned to hand Sergiy the leadership over the Archdiocese. However, the saint refused, faithful to his belief in 'not being a gold-bearer'.

During Alexius' rule over the Russian Church, his ideological and political beliefs emerged. Based upon information in 'Life', historians date the foundation of the Trinity Monastery to 1342, which was soon after Sergiy took his vows. Between 1353–1354 Sergiy became father superior of the monastery; in the 1360s he was drawn into the close circle of Metropolitan Alexius; and in the 1370s he joined the entourage of Dmitry Donskoy [Петров, с. 200; Кучкин, 2014, с. 32]. Since that time he gained full access to the circles of power and became a part of many political and religious events.

During the 1370s–1380s, when Sergiy's fame increased, Moscovia contested the notion of the center of Russian unity. However, those processes remained controversial and unfinished. On the eve of the Battle at Kulikovo (1380), the prince of Moscow effectively managed to unite only a small part of the Russian lands. The efforts spent on creating a political union with Tver proved fruitless. Allies of the prince of Moscow during the 1375 campaign (Dmitry Konstantinovich of Suzdal with his sons and Boris Konstantinovich) did not join him for the anti-Tatar campaign. It was actually Boris who seized Nizhny Novogorod in spite of his older brother's claim to succession, and Sergiy appealed to Boris after ten years, seeking to hand over the reign, while 'shutting down' the churches. In this conflict, the prince of Moscow offered Dmitry an army to aid his efforts [СЛ, стб. 436]. Both previous allies and primary political opponents (Oleg of Ryazan and Mikhail Alexandrovich of Tver) diverged from the common cause, and the most powerful Russian princes stayed on the sidelines, while minor rulers, such as Vladimir of Serpukhov, or the Princes of Belozersk, Rostov, and Yaroslavl, had little military force. The coalition, created by Dmitry, was apparently insufficient for the overthrowing of the Tatar "yoke". Furthermore, the coalition itself was falling apart at the seams, as the events of the Siege of Moscow by Tokhtamysh in 1382 clearly showed. Even Dmitry's cousin,

Vladimir, distanced himself from the prince of Moscow. The preparation for the decisive battle with the Tatars was complicated by the absence of the metropolitan and the unscrupulous struggle for power in the archdiocese after the death of Alexius in 1378. The convergence of the church and the state, which formed during Dmitry and Alexius, ceased to exist starting with church conflicts that were defined by intrigues, violations of the bringing of vows, and conspiracies that ended in the murder of the prince's candidate for metropolitan, Mikhail (Mityai). Paradoxically, Dmitry led his army against Mamay while being himself under Cyprian's curse. Cyprian, then a nominal head of the Russian Church, represented a notion of unity that served the interests of the Prince of Lithuania, and this notion of 'unity' was unacceptable for the authorities in Moscow. Cyprian tried to unite enemies of Moscow. Sergiy is commonly mistaken as an ally of Cyprian because the metropolitan sent messages to him [Ипхорор, с. 28–30]. It would be more logical to think that Sergiy stood apart from and refused to participate in the feuds. The argument that the reverend kept the canon in his sympathies and therefore did not accept autocephalous Mityai, but rather went after Cyprian who was nominated by Constantinople seems invalid. Cyprian received his nomination while Alexius was still alive, which was a serious violation of the canonical rules, as recognized by Church historians [see: Каптамов]. Simultaneously, Dmitry's nomination of Mikhail (Mityai), who was considered 'the only rival' of Sergiy, was designed to rid all suspicions of autocephalia. After being elected at a council by the Russian bishops, he headed to Constantinople to confirm his position and to receive the archdiocese rule from the patriarch.

The essence of Sergiy's position was to stand above the conflicting parties and to personify the authority of the Church during a critical time for the country. Therefore he did not express preferences towards any political power, which promoted its own candidates; such a stance would endanger the idea of the union. Sergiy Radonezhsky did not wish to be ensnared in intrigues, which demonstrated his desire to follow the evangelical principles that stress one's removal from the discord of the world.

It would be hard to imagine a religious person who would do battle without moral support, which should undergird his sacrifice and willingness to perish 'for the sake of others'. The vacuum of the Church's power at that historic moment was 'covered' by Sergiy Radonezhsky. According to 'Zadonshina' and the 'Tale of the Mamay Battle', Sergiy provided spiritual approval for the Russian army, offering a blessing to the prince of Moscow in his battle against the Tatars.³ Some suggest that such an interpretation of events is a literary fiction [Данилевский, с. 11–15]. However, politically neutral sources demonstrate that father superior sent the monks, Oslabya and Peresvet, from his monastery to the army [Сказания, с. 10–11; СИЛ, стр. 467]. This account

³ The most logical blessing seems to be one written by Sergiy (СИЛ, стр. 461). Dmitry's visit of the Trinity Monastery with his whole army, as the "Tale of the Mamay Battle" describes, is unlikely because such visit would have lengthened Dmitry's way to the Don more than twice over.

is obviously unprecedented because the Church did not permit its members to spill blood. With this action, Sergiy Radonezhsky licenced the Mamay campaign as a 'Holy War'. The shortage of military forces was masterfully compensated for by Sergiy by encouraging the belief in the sacredness of the campaign for the prince of Moscow and his warriors. Sergiy operated as the spiritual advisor in the absence of the support of the official church authorities. What, then, were the foundations for such actions?

Sergiy's principles cannot be recovered on the basis of certain prescribed tenets, rather on indirect data of his 'Life' as the saint describes his actions.

Surviving fragments of 'Life' by Epiphanius show that Sergiy came from an impoverished boyar family and witnessed the persecution of his parents by the prince's associates. His aspiration to attain monkhood demonstrates his desire to escape the cruelty, injustice and immorality of civil life.

'Life' consistently offers the image of Sergiy as an ascetic. He maintained his celibacy, did not play with other children, did not participate in games, did not marry and withdrew from the world of vanity. In the beginning of his monastic sacrifice he ceded all inheritance rights to his younger brother and lived like a hermit together with his older brother Stephan [Житие, c. 284–286, 292, 296–298]. With his brother, he lived as a true ascetic, relinquishing mundane privileges that accompany his social status. He and his brother worked hard, founded a small forest convent and built a church where an incoming priest served during the holidays. All who gathered around the Trinity Convent had to lead a village community life. Everyday monastic life was extremely hard. The monks had to endure hardships, and Sergiy complained about hunger, poverty and scarcity [Ibid, c. 304–306]. An ascetic, monastic way of life gradually set in.

In spite of the hardships, there were many volunteers who settled near the Trinity Monastery. Its routines were quite peculiar. During the first years after the foundation of the monastery, Sergiy led a monk's life but did not take his vows. When monks started arriving, he accepted only twelve disciples [Ibid, c. 334].⁴ This manifestation of religiosity, striving to distance himself not only from the abominations of life, but also from the church environment of the time, has not passed unnoticed by researchers. Some even suggest that the deliberate distancing from official church life could compare with *strigol'nichestvo*, but, unlike *strigol'nichestvo*, Sergiy did not go so far as to break from the Church [Борисов, c. 6].

As Epiphanius explained, Sergiy wanted to overcome his weaknesses by imposing self-limitations [Житие, c. 290]. Such aspirations usually manifested in neglecting the carnal. However, 'Life' demonstrates that Sergiy lived in harmony with nature and his contemporaries, and the conflict between spirit and body was not known to him.

Indeed severe abstinence, scourging, and intense contemplation of the mundane are not described in 'Life'. Sergiy's daily routine consisted of prayers, vigils and incessant labor, in which he was 'not idle even for an

⁴ This detail is rather symbolic. Twelve is the number of the first Apostles. These sorts of routines allow for comparisons with the Irish monkhood.

hour' [Житие, с. 322]. Sergiy's desire for solitude was not motivated by longing to follow the path of the ancient anchorites but to focus on contemplation away from earthly concerns. His asceticism was not an aim in itself, but a consequence of hardships encountered by refusing any external assistance or family inheritance.

This austerity emerged from circumstances. G. Fedotov rightfully observes that Sergiy did not possess ascetic severity in the traditional Christian sense [Федотов, с. 150]. He considers the forest hermit a *hesychast* of a peculiar kind: a "bearer of a special, mysterious spiritual life that was not exhaustive by the feat of love, austerity, and perseverance of pray" [Ibid].

Only a few monks from Sergiy's circle follow a path of strict isolation from the mundane life [Житие, с. 374]. It is perhaps incorrect to see it as the influence of Byzantium's *hesychasm*, as a number of researchers do [Федотов, с. 150–151; Клибанов, с. 79–92].⁵ In austere circumstances the disruption between the Egyptian ideal of monkhood and the Russian practice of monk service was indeed drastic [Федотов, с. 147]. Permanent labor did not allow one to enjoy the 'sweetness of silence'.

With the absence of documentary support for the historical circumstances of the time, the communal way of life was defined by the country's hard conditions. Early in its existence, the Trinity Monastery was not like other ancient Russian monasteries. At that time, the Rus had three types of monasteries: 1) reclusive, 2) *ktitor* monasteries and 3) suburban monasteries of collective living. All these monasteries already appeared in the first century after the introduction of Christianity. Many were not able to follow the way of a recluse. This tradition came from Mount Athos, which directs anchorites to heights of spiritual sacrifice, while simultaneously encouraging personal salvation. The practice of reclusion, contemplation and prayer required serious preparation and as such did not develop into a tradition since few wished to withdraw to such an extent.

Monasteries for collective living that followed the traditions of Theodosius of the Caves (Feodosiy Pecherskiy), which included common prayer and collective labor while maintaining the property differentiation of the monks, rapidly declined after the period of Tatar hegemony. *Ktitor* monasteries became the most common type at that time. Founded by the representatives of the wealthy elite, they were closed residences, in which aging members of the higher feudal class could retire while surrounded by their servants. They became the family vaults and political 'nests' of a sort, where adherence to monastic principles was not paramount. Behind the walls of such monasteries, inhabitants brought their household habits and accompanying distinctions based upon wealth and social origin.

⁵ V. N. Toporov noticed the incompatibility of convent's life with mystical practices due to fully immersing oneself into everyday errands and hard labor [Топоров, с. 558–559, 573]. He also observes controversial features due to the presence of silence, reticence in motives of vows [Ibid, с. 567–568]. At the same time, the researcher does not exclude the influence of palamism upon Sergiy [Ibid, с. 577–592]. It is probably B.M. Kloss who is closer to the truth when he considers that one should talk not of hesychasm of the palamite kind but of borrowing of the ideas from Byzantine ascetic literature [Клюсс, с. 37].

In the second half of the 14th century, Alexius initiated monastery reforms. Changes were based on the introduction of a new liturgical charter, the so-called Jerusalem Charter. In 'Life' the organization of collective living is connected to the initiative of Patriarch Philotheus of Constantinople.⁶ From him the monks of the Trinity Monastery received a charter by which they were supposed to 'live as a brotherhood communally' [Житие, с. 366].

According to the calculations of V. A. Kuchkin, this happened in 1374 or even 1377 [Кучкин, 1992, с. 80–81]. The introduction of coenobite living in the Trinity Monastery is dated at the same time [Ibid, с. 82].

Trinity Monastery did not immediately respond to these demands. Apparently Sergiy was on an independent quest.

In the Jerusalem Charter 'emphasis is given to the public service of the Church': non-possession, obedience, prayer, work, respect for authority, and prayer for all Christians [Клосс, с. 48]. One can judge how these principles were followed by turning to 'Life'. The basis of property relations between the monastic brotherhood of the Trinity Convent was the principle of non-possession or renunciation, and the rule was established for anyone owning or calling anything his own: 'no one to possess anything or to call their own but to have everything as communal' [Житие, с. 368].

In the Rules of Athanasius Vysotsky, a corresponding norm was formulated: 'everybody should have everything communal... <they should> exist by the common mind and common prayer' [cit. by: Клосс, с. 53].

As an ardent non-possessor, Sergiy showed indifference to earthly things and possessed no desire to either accumulate or pursue treasure [Житие, с. 418]. Guided by these principles, the father superior categorically refused to accept gifts, often referring to the fact that he was never 'a gold-bearer'. Poverty and the restriction on consumption were also connected to the principle of renunciation (see references to hunger in the convent, and the chapter, 'On torn trousers of Sergiy') [Ibid, с. 342–344, 352–358].

Sergiy's renunciation of property was not only a continuation of the tradition established by Theodosius of the Caves, but also a statement of reproach towards the official Church, which tended to accumulate 'possessions'. Sergiy acted contrary to the established practice of the Church, even still he sought neither high rank, nor gifts, nor did he pay the fee for joining church ranks [Ibid, с. 330].

The principle of renunciation had a social aspect. The monastery served as an example of the village world, and the emphasis on poverty offered a nonverbal criticism of the widening property gap. This sort of monastic practice came to be unattainable but nonetheless existed as a more compassionate and sympathetic ideal for many laymen.

A separate narrative aspect of 'Life' relates to labor. Monastic labor in the Trinity Monastery was a combination of spiritual and physical work.

⁶ Philotheus was the ecumenical patriarch of Constantinople from 1353–1354 and 1364–1376. Nominated by the father superior in 1353–1354, Sergiy could not have been known to the patriarch; therefore the message can be dated by the second period.

Sergiy was permanently occupied with providing monks with water, baking communion bread, plowing, delegating responsibilities and overseeing their implementation. Very characteristic are the descriptions of the 'terem works', when the construction of the monk cells was combined with fasting, humility, and austerity [Житие, с. 318–322]. Epiphanius described unforced labor, based on the principles of mutual respect and assistance. Labor was a blessing for the one who works.

Labor was associated with the transformation of one's native land. Epiphanius describes how the land was plowed, wilderness populated, and how the population and number of villages grew around the Trinity Monastery. Depictions of the transformation of devastated and deserted Rus lands formed a sense of optimism in the era of national revival.

The 'Life' designates Sergiy as 'head of the coenobite living'. However, in spite of the *vitae* tradition, Sergiy was not the founder of the coenobite monastic living. A more likely inspiration for the reform of the monkhood was Metropolitan Alexius [Кузьмин, с. 92–93]. He initiated the expansion of the network of coenobite life monasteries,⁷ and Sergiy actively supported this initiative. Apart from the Trinity Monastery, the Annunciation Monastery on Kirzhach River (between 1365–1373) and Stromyn Monastery of the Assumption (1381) were founded with Sergiy's direct involvement. The Trinity Monastery was directly connected with the appearance of such coenobite monasteries as the Annunciation on the Kirzhach River, Moscow Andronnikov Monastery (which, according to the testimony of Epiphanius, was decorated by Andrei Rublev), the Annunciation Simonov Monastery (founded by the saint's nephew, Fedor), the Annunciation Golutvinskiy near Kolomna (where Trinity Hieromonk Gregory was sent for service), and lastly the Zachatievsky Vysotsky Monastery in Serpukhov (the abbot of which was a disciple of St. Athanasius) [Житие, с. 368–374, 376–384]. A number of Trinity Convent disciples initiated the creation of monastic coenobites themselves.⁸ Indeed Sergiy's disciples founded more than half of all the monasteries in the Russian North during the 14th and the 15th centuries, a collection of monasteries, which began to be described as a Russian Thebaid [Муравьев].

The construction of new monasteries turned into a wider monastic colonization of the provinces. In place of the small *ktitor* monasteries in the

⁷ With his blessing, the following coenobite monasteries were created: Chudov Monastery in the Kremlin (1365), Blagoveshhensk Monastery in Nizhniy Novgorod (1370), Constantine and Helena Monastery in Vladimir (after 1370), Vvedensky Monastery in Serpukhov (before 1377), Alexeevsky Monastery in which Metropolitan's sister Ulyana 'was the head of coenobite living' (before 1367) [see on this: Крюк, с. 37–42].

⁸ Savva founded the Nativity Monastery on Storozhi Mountain (1398–1399), Methodius – Nickolas-Pesnoshsky Monastery near Dimitrov (before 1392), Pathnutius – Nativity Monastery near Borovsk, Stephan – Trinity Makhrishsky Monastery, Sergiy Nuromsky – Transfiguration of Christ Monastery on the Nura River in Vologda region, Pavel Obnorsky – Trinity Monastery again on the Nura River. After meeting with Sergiy, Dmitry of Prilutsk founded the Savior Monastery in Vologda. Kirill of Belozersk first substituted Fedor in Simonov Monastery (1388), and then founded the Holy Assumption Monastery on Siverskoe Lake (1398), and Ferapont who followed him to the north that same year founded the Nativity Monastery [Ibid, с. 35, 43–46, 58–54].

hamlets, large religious and economic centers appeared in different parts of the country [Смолич, с. 116]. Modeled on the Trinity Monastery, the newer monasteries developed vibrant economic communities.

The modest lifestyles of the Russian monk-settlers reflected the daily difficulties of the majority of Russian people, which bolstered the authority of the clergy.

Built on the principles of collectivism and mutual assistance, the monasteries revived communal principles and demonstrated how striving for unity could solve important problems. Sergiy's method for instituting monastery reforms presented a model for interpersonal relationships in communal labor, moderation, mutual assistance, service to God and the state. For the surrounding world and laymen, 'coenobyte living became an ideal basis of the world order' [Клибанов, с. 98], epitomizing a positive and attainable example of unity. These ideological means helped to cement the solidarity of the Rus peoples. Sergiy's activities embodied the values of uniting lands, power and the Church.

The process of monastic colonization of the Russian provinces expanded the capabilities of Christianity to influence the mindset of peoples inhabiting the vast territories, which were poorly controlled by secular and spiritual authorities alike. The outflow of monkhood to the wilderness and rural regions of Russia, which started in the 14th century, connected to political and economic objectives and reflected the growing state and religious activity of the central Russian principalities. The missionary and economic activity of the Church intensified [Смолич, с. 44–46]. New monasteries became bridges linking together ethnically diverse peoples and cultures within an immense Russian domain. Monastery reform, initiated by Alexius, promoted the incorporation of distant lands into Moscow's sphere of religious and political influence, which facilitated the integration of remote lands, and led to the amassing of Rus forces and the consolidation of the nation. As a result, the military units from remote lands were the first allies of Dmitry Donskoy on the Kulikovo Field.

Sergiy differed from the majority of church leaders in ancient Russian times because in his multi-faceted teaching and mentoring activities he never denounced pagan beliefs. On the one hand, it is a hallmark of a gentle and kind abbot who avoided critique and punishment. Indeed the Trinity Monastery's father superior, according to 'Life', never imposed deserved penances upon monks and only lectured violators of discipline codes. [Житие, с. 340]. Instead of reproof and punishment, Sergiy beckoned the sinners to rectify themselves through humility and meekness [Ibid, c. 456]: "And he loved everybody equally and respected equally, neither choosing, nor judging, nor looking at people's faces" [Ibid, c. 418]. Yet, there is another side to his forbearance and benevolence. The establishment of the Trinity Cult within the public consciousness, which was initiated by Sergius, is better understood within the context of extreme tolerance towards the cult's traces from the past. Celebration of the Holy Trinity coincided with the day of Pentecost, which was worshiped by the

Church as the memory of the descent of the Holy Spirit upon the Apostles on the fiftieth day after Easter. But Sergiy was the first to turn this date into a gala celebration. Trinity Day became one of the most popular and distinctive celebrations within the Church, with some of its features persisting to this day.

The very notion of Trinity (not to be confused with the Trinitarian postulates!) appeared for the first time in Russian literature in the work of Epiphanius the Wise. The hagiographer attributed the exaltation and glorification of the Trinity to the principal achievements of St. Sergiy, who is pictured simultaneously as a disciple and servant of the 'Holy Trinity' [Житие, с. 270, 272, 29]. Sergiy founded the 'Holy Trinity convent' [Ibid, с. 300] and built a church of the same name at his own expense [Ibid, с. 284, 296].

The theme of the Trinity is revealed in 'Life' not by theological, but by artistic means: the trinity motif is repeated three times in the fabric of the narrative; the author refers three times to the main theme of his existence. This style of presentation served to assist the reader who might be unfamiliar with the intricacies of the exegesis. Without delving into the complexity of the religious dogma, the author visually demonstrates the omnipresence of the trinity in human existence. Attention is focused on the existence of the trinity in the real world and on impressions left by the intimate within the sphere of the phenomenal. In this fashion, the doctrine of the trinity is introduced through an associative, visual representation.

As correctly noted by Fedotov: "The Holy Trinity has not been the subject of speculation neither before Sergiy nor after him" [Федотов, с. 150]. There was no church holiday dedicated to Trinity before St. Sergiy, and the texts for relevant services did not exist. This is partly explained by the absence of the Trinity in the Scriptures. Only odd mentions of the Trinity Church in Novgorod (under 1165, 1194, and 1224 Chronicle years) and Pskov (1130) are known to the Rus. The building of temples in honor of the Trinity was not widespread. In the West, the honoring of the Holy Trinity began by forming the Order of the Trinity, which in turn initiated a special holiday of the Trinity (13th century) [Георгиевский, с. 1, 7, 9]. According to Pavel Florensky, the Russian cult of the Trinity was associated with the establishment of a 'symmetric triadic formula' in the 14th century, an event that effectively encouraged the celebration of the Holy Trinity with liturgical practices in the celebration [Флоренский, с. 18]. Sergiy's participation in this process was recalled and credited decades later, as evidenced by the custom to arrange chapels, dedicated to St. Sergiy, in Holy Trinity Churches ('cult hearths of the Trinity', as coined by A. I. Klibanov) [Клибанов, с. 95].

The holiday of Trinity, introduced into ritual practice, quickly became popular. The Russian cult of Trinity had two sides: formal and informal, with many features of popular beliefs. Trinity celebrations developed as multi-day rites and rituals, called Trinity-Semitsky cycle, or the Mermaid week. In the Church and the agricultural calendars, these days were

dedicated to honoring the vegetative processes of the land; predictions of welfare and the commemoration of ancestors took place at this time. Participants of the Trinity-Semitsk rites were called '*rusal'cy*' (mermaid-followers). '*Rusal'cy*' performed agrarian magical acts in the groves and near the water sources using wreaths, Trinity birches and other ritual objects [Соколова, с. 190–192, 216 и след.; Агапкина, с. 320–325]. These actions were motivated by the faith in the productive power of the Trinity-Semitsk magical performances. All ritual actions were focused on the cult of the earth [Виноградова; Громов, Мильков, с. 302–306; Мильков, с. 128–134].

The Trinity holiday, like no other holiday of the Christian calendar, related the Christian Rus, especially with the Rus that observed the ancient agrarian holidays. For this reason, it is clear why we do not find condemnation of pre-Christian traditions in the 'Life of Sergiy' by Epiphanius. At a time when the objective of marshalling forces became paramount, the leaders and strategists who were thinking on the national level avoided confrontation and clashes on the subject of purity of religious belief. The objective and requirements for consolidation outweighed the need for religious purity. The new cult, although with obvious traits of religious syncretism, served the purpose of overcoming feuds and consolidating the nation.

The principle of the Trinity was thought to be the foundation of the world order, so social ties were scrutinized for this tripartite harmony. Perceptions of unity and harmony at the sacral level were carried over to all other levels of existence. In 'Life' the concept of the sacred was interpreted in a social context. The idea of the Trinity, appearing in the monastic environment in Sergiy's circle, transformed into the idea of harmony in Russian life, a symbol of marshalling national forces in a plan to build a unified Rus, free of internal conflicts. The Church, erected in Trinity Monastery, and other Trinity Churches that followed, took on the value of visual symbols, reminding laypeople that the concord on earth should be built upon the unity of the Trinity. The sacred symbols encouraged the public consciousness to overcome social conflicts and divisions. The monastery, created by Sergiy, turned into a 'unifying center' for the Russian world, and the newly introduced cult of the Trinity became the ideology for this unity [Георгиевский, с. 14–15; Клибанов, с. 93].

Researchers have long discussed the impact of Sergiy Radonezhsky on Andrei Rublev's work, primarily, upon the creation of the main masterpiece of the master from Early Medieval Russia. A typical statement on the subject states: "Rublev was revealing that very Trinity, which St. Sergiy has been teaching about. It was the God of unity and harmony. As the supreme and the sacred endorsement of unity and self-determination of the people, this ideal was proclaimed by St. Sergiy and received an unparalleled artistic and philosophical embodiment in the creation of Andrei Rublev; it indubitably belongs to the history of Russian social thought and culture" [Клибанов, с. 102]. The greatest Russian icon painter used to live among Sergiy's

followers; as such the mindset that presided over the convent, founded by the reverend, even after his death, was reflected in Rublev's 'Trinity' [Клибанов, с. 101].⁹

The clearest and most insightful description of Rublev's 'Trinity' belongs to Pavel Florensky: "Among the powerful circumstances of the time, among the feuds, the international discord, the universal savagery and Tatar raids, amid this deep peacelessness that corrupted Rus, <Rublev> opened a spiritual glance into an infinite, unflappable, indestructible peace, 'the upper world'. Enmity and hatred that prevailed in the lower world, was opposed to mutual love, flowing in eternal harmony, in eternal silent conversation, in the eternal unity of the upper worlds" [Флоренский, с. 19].

Rublev's icon inspired the thought that celestial unity can be a blueprint for earthly unity, and that the world's feuds can be overcome with kindness, humanity and solidarity based on love. He gave, in fact, an answer to the question of how one should live, and this, in turn, signified how the country should exist.

Andrey Rublev, along with Epiphanius the Wise, can be shown to be ideally and spiritually close to Sergiy Radonezhsky. Because of those great representatives of the Russian culture, we can evaluate the program for rebuilding society, which was implemented by the Trinity abbot.

The vibrant and honest image of Sergiy in 'Life' by Epiphanius helped facilitate the acceptance of Sergiy by his contemporaries and successors as a model of Russian sanctity [Алексий (Кутепов), с. 183–193; Топоров, с. 558–559, 573]. Epiphanius succeeded in showing that the sanctity of Sergiy did not manifest in austerity, but in an active civic consciousness, expressed through his multiple good deeds towards others.

The spiritual father for the Russian land initiated the cult that sanctified the unity of the country and called for ceasing feuds. Epiphanius the Wise verbalized the principles, which Sergiy followed in his nation-unifying activities. The same ideals were ingeniously embodied by Andrey Rublev in his famous 'Trinity'. The abbot, the writer, and the icon painter stand in the same row of supporters for nation rebuilding. All of them were monks from the same convent, and all of them were the servants of the Trinity and the promoters of the consolidation of the nation on principles of love, equality, and mutual assistance. They can indeed be named as a trinity within the creation and formulation of a national idea. Sergiy Radonezhsky takes an undisputed leading place in this group. He was a pioneer who roused the Russian spirit by marshalling the warriors for the Battle of Kulikovo and gave the people strength to overcome the difficulties of centralization.

⁹ The 'Tale of the Saint Icon Painters' (the end of the 16th – the beginning of the 17th centuries) directly links the new iconic version of the Trinity to the covenants of St. Sergiy. It is said in 'Tale' that the image of the Holy Trinity was created by Andrey Rublev 'as a praise to his Godfather St. Sergiy the Thaumaturge' [Сергий (Спаский), с. 11]. It is mentioned in the same work that the icon painter was a novitiate at the Trinity abbot, Nikon. This leads to the conclusion that Andrey was a monk at this monastery for quite some time [Кузьмина, с. 110–111, 120–121].

The works of Alexius and Sergiy had a decisive result, the victory at the Battle of Kulikovo in 1380. Sergiy was hardly the first face of Church hierarchy, but his actions demonstrate that he had tremendous influence during those dangerous years in the country's history. The popularity of Sergiy in the eyes of his contemporaries and successors can be explained by the fact that the ideas, which he implemented by his social activities, answered the painful questions of Russian society.

Sergiy acted on the historical stage in an epoch of state, spiritual, and cultural revival of Russia and became one of the central figures of the time of change, which was decisive for the country. Without exaggeration, he can be called the spiritual leader of the Russian world, which was amassing forces to do battle against the Tatar "yoke".

The success of Christianization and the consolidation of the nation at the end of the 14th century were driven by monastic colonization, which was caused by the exportation of Russian monkhood beyond city walls and into remote territories. Gradually, a new image of society was formed as it prepared to do battle against its overlords. Sergiy's contribution to this process is clear. He was a rare type of Early Medieval leader who fascinated his contemporaries with the dream of harmonizing the earthly world, and his actions followed the principles he proclaimed.

Агапкина Т. А. Троица // Славянские древности. Т. 5. М. : Международные отношения, 2012. С. 320–325.

Алексий (Кутепов), архим. Преподобный Сергей как идеал русской святости // Богословские труды. Вып. 29. М. : Изд-во Московской патриархии, 1989. С. 183–193.

Борисов Н. С. Эпоха преподобного Сергия // Родина. 2014. № 5. С. 4–8.

Виноградова Л. Н. Мифологический аспект полесской русальской традиции // Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне / отв. ред. Н. И. Толстой. М. : Наука, 1986. С. 88–133.

Георгиевский Г. П. Завет преподобного Сергия. М. : Издание Общества любителей духовного просвещения, 1893. 17 с.

Громов М. Н., Мильков В. В. Идеиные течения древнерусской мысли. СПб. : Изд-во РХГУ, 2001. 960 с.

Данилевский И. Н. Как Сергей Радонежский стал героем Куликовской битвы // Родина. 2014. № 5. С. 11–15.

Духанина А. Житие и почитание Сергия Радонежского // Родина. 2014. № 5. С. 69–71.

Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV века. М. : Художественная литература, 1981. С. 256–429.

Зубов В. П. Елифаний Премудрый и Пахомий Серб (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // ТОДРЛ. Т. 9 / отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1953. С. 145–158.

Клибанов А. И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева // Андрей Рублев и его эпоха / под ред. М. В. Алпатов. М. : Искусство, 1971. С. 62–102.

Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. М. : Языки русской культуры, 2001. 568 с.

Кузьмин А. Г. Митрополит Алексий // Великие духовные пастыри России / под ред. А. Ф. Киселева. М. : Владос, 1999. С. 156–182.

Кузьмина В. Д. Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве // Андрей Рублев и его эпоха / под ред. М. В. Алпатов. М. : Искусство, 1971. С. 103–124.

Кучкин В. А. «Не зело близ града Ростова» // Родина. 2014. № 5. С. 29–32.

Кучкин В. А. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы // Вопросы научного атеизма. Вып. № 37. М. : Мысль, 1988. С. 100–116.

- Кучкин В. А. Сергей Радонежский // Вопросы истории. 1992. № 10. С. 75–92.
- Кучкин В. А. Сказание о смерти митрополита Петра // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 18 / отв. ред. Я. С. Лурье. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 59–79.
- Мильков В. В. Концепт «земля» и Русская земля в представлениях домонгольской эпохи // Ориентиры... Вып. 8 / отв. ред. Т. Б. Любимова. М.: Институт философии РАН, 2013. С. 124–151.
- Муравьев А. Н. Русская Фиваида на Севере. СПб.: Типография III отделения, 1855. 504 с.
- Петров А. Е. Сергей Радонежский // Великие духовные пастыри России / под ред. А. Ф. Киселева. М.: Владос, 1999. С. 183–220.
- Плигузов А. И., Хорошкевич А. Л. Отношение русской церкви к антиордынской борьбе в XIII–XV веках (по материалам Краткого собрания ханских ярлыков русским митрополитам) // Вопросы научного атеизма. Вып. № 37. М.: Мысль, 1988. С. 117–130.
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. Т. 15. Вып. 1. М.: Наука, 1965. 132 с.
- Прохоров Г. М. Повесть о Митяе / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1978. 238 с.
- СЛ – Софийская первая летопись старшего извода // ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Сергий (Спасский), архиеп. Историческое описание Московского Спасо-Андроникова монастыря. М.: Университетская типография (Катков и К), 1865. 140 с.
- Сказания и повести о Куликовской битве / изд. подготовили Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева. Л.: Наука. Ленинградское отд., 1982. 422 с.
- Смолич И. К. Русское монашество. М.: Православная энциклопедия, 1999.
- Соколов Р. А. Русская Церковь в XIII – начале XV в. // Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А., Шапошник В. В. Русское православие: от крещения до начала патриаршества. СПб.: ИФ СПбГУ, 2012.
- Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979.
- Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II: Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). М.: Языки русской культуры, 1998.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: Московский рабочий, 1990.
- Флоренский П. А. Троице-Сергиева лавра и Россия // Троице-Сергиева лавра. Сергиев посад: ТСЛ, 1919.
- Шиббаев М. А. Авторский вариант жития Сергия Радонежского // ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2007. С. 290–319.

Agapkina, T. A. (2012). Troicza [Trinity]. In *Slavyanskije drevnosti*. (Vol. 5, pp. 320–325). Moscow: Mezhdunarodny'e otnosheniya.

Aleksij (Kutepov), archim. (1989). Prepodobny'j Sergij kak ideal svyatosti [St. Serge as an ideal of holiness]. In *Bogoslovskie trudy*. (Iss. 29, pp. 183–193). Moscow: Izd-vo Moskovskoj patriarii.

Borisov, N. S. (2014). E'poha prepodobnogo Sergiya [The epoch of St. Serge]. *Rodina*, 5, 4–8.

Danilevskij, I. N. (2014). Kak Sergij Radonezhskij stal geroem Kulikovskoj bitvy' [About how Sergius of Radonezh became the hero of the Battle of Kulikovo]. *Rodina*, 5, 11–15.

Dmitriev, L. A. & Lihachev, O. P. (Comp.). (1982). *Skazaniya i povesti o Kulikovskoj bite* [Legends and stories about the Battle of Kulikovo]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otделение.

Duhanina, A. (2014). Zhitie i pochitanie Sergiya Radonezhskogo [Life and veneration of Sergius of Radonezh]. *Rodina*, 5, 69–71.

Fedotov, G. P. (1990). *Svyaty'e Drevnej Rusi* [Saints of the old Russia]. Moscow: Moskovskij rabochij.

Florenskij, P. A. (1919). Troice-Sergieva lavra i Rossiya [Trinity Lavra of St. Sergius and Russia]. In *Troice-Sergieva lavra*. Sergiev Posad: TSL.

Georgievskij, G. P. (1893). *Zavet prepodobnogo Sergiya* [The testament of St. Serge]. Moscow: Izdanie Obshhestva lyubitelej duhovnogo prosveshheniya.

Gromov, M. N. & Mil'kov, V. V. (2001). *Idejny'e techeniya drevnerusskoj my'sli* [Ideological trend of the Old Russian thought]. St. Petersburg: Izd-vo RHGU.

Klibanov, A. I. (1971). K karakteristike mirovozzreniya Andrey'a Rubleva [On the characteristics of Andrei Rublev's ideology]. In M. V. Alpatov (Ed.), *Andrej Rublev i ego e'poha* (pp. 62–102). Moscow: Iskusstvo.

Kloss, B. M. (2001). *Izbranny'e trudy'. T. 1: Zhitie Sergiya Radonezhskogo* [Selected works. Vol. 1: Life of Sergius of Radonezh]. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury'.

Kuchkin, V. A. (1962). Skazanie o smerti mitropolita Petra [Legend of the death of metropolitan Peter]. In J. S. Lur'e (Ed.), *Trudy' otdela drevnerusskoj literatury'* (Vol. 18, pp. 59–79). Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR.

Kuchkin, V. A. (1988). O roli Sergiya Radonezhskogo v podgotovke Kulikovskoj bitvy' [On the role of Sergius of Radonezh in preparation of the Battle of Kulikovo]. In *Voprosy' nauchnogo ateizma*. (Iss. 37, pp. 100–116). Moscow: My'sl'.

Kuchkin, V. A. (1992). Sergij Radonezhskij [Sergius of Radonezh]. *Voprosy' istorii*, 10, 75–92.

Kuchkin, V. A. (2014). “Ne zelo bliz grada Rostova” [“Not very close to Rostov”]. *Rodina*, 5, 29–32.

Kuz'min, A. G. (1999). Mitropolit Aleksij [Metropolitan Alexis]. In A. F. Kiselev (Ed.), *Velikie duhovny'e pasty'ri Rossii* (pp. 156–182). Moscow: Vlados.

Kuz'mina, V. D. (1971). Drevnerusskie pis'menny'e istochniki ob Andree Rubleve [Old Russian written sources on Andrei Rublev]. In M. V. Alpatov (Ed.), *Andrej Rublev i ego e'poha* (pp. 103–124). Moscow: Iskusstvo.

Mil'kov, V. V. (2013). Koncept “zemlya” i Russkaya zemlya v predstavleniyah domongol'skoj e'pohi [Concept “land” and Russian land in the views premongolian epoch]. In T. B. Lyubimova (Ed.), *Orientiry'*. (Iss. 8, pp. 124–151). Moscow: Institut filosofii RAN.

Murav'ev, A. N. (1855). *Russkaya Fivaida na Severe* [Russian Thebaid in the north]. St. Petersburg: Tipografiya III otdeleniya.

Petrov, A. E. (1999). Sergij Radonezhskij [Sergius of Radonezh]. In A. F. Kiselev (Ed.), *Velikie duhovny'e pasty'ri Rossii* (pp. 183–220). Moscow: Vlados.

Pliguzov, A. I. & Horoshkevich, A. L. (1988). Otnoshenie russkoj cerkvi k antiordy'nskoj bor'be v XIII–XV vekah (po materialam Kratkogo sobraniya hanskijh yarly'kov russkim mitropolitam) [Attitude of Russian church to the struggle against the horde in 13th–15th centuries (following the Brief collection of letters of the khans to Russian metropolitans)]. In *Voprosy' nauchnogo ateizma*. (Iss. 37, pp. 117–130). Moscow: My'sl'.

Polnoe sobranie russkijh letopisej. T. 15. Vy'p. 1 [Complete Edition of Russian Chronicles] (1965). (Vol. 15). (Iss. 1). Moscow: Nauka.

Prohorov, G. M. (1978). *Povest' o Mityae* [Story of Mitya]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie.

Sergij (Spasskij), archiep. (1865). *Istoricheskoe opisanie Moskovskogo Spaso-Andronikova monasty'rya* [Historical description of the Monastery of Our Saviour and St. Andronicus in Moscow]. Moscow: Universitetskaya tipografiya (Katkov i K).

Shibaev, M. A. (2007). Avtorskij variant zhitiya Sergiya Radonezhskogo [Author's variant of Life of Sergius of Radonezh]. In *TODRL* (Vol. 58, pp. 290–319). St. Petersburg.

Smolich, I. K. (1999). *Russkoe monashestvo* [Russian monachism]. Moscow: Pravoslavnaya e'nciklopediya.

Sofijskaya pervaya letopis' starshego izvoda [Sofia first chronicle of the older recension]. (2000). In *PSRL* (Vol. 6. Iss. 1). Moscow: Yazyki russkoj kul'tury'.

Sokolov, R. A. (2012). Russkaya cerkov' v XIII – nachale XV v. [Russian church in 13th–15th c.]. In A. Yu. Dvornichenko, Yu. V. Krivosheev, R. A. Sokolov, V. V. Shaposhnik, *Russkoe pravoslavie: ot kreshheniya do nachala patriarshestva*. St. Petersburg: IF SPbGU.

Sokolova, V. K. (1979). *Vesenne-letnie kalendarny'e obryady' russkijh, ukraincev i belorusov* [Spring-summer calendar rites of the Russians, Ukrainians and Belarusians]. Moscow.

Toporov, V. N. (1998). *Svyatost' i svyaty'e v russkoj duhovnoj kul'ture. T. II: Tri veka hristianstva na Rusi (XII–XIV vv.)* [Holiness and saints in Russian spiritual culture. Vol. 2: Three centuries of Christianity in Russia (12th–14th cc.)]. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury'.

Vinogradova, L. N. (1986). Mifologicheskij aspekt poleskoj rusals'koj tradicii [Mythological aspect in Polesye mermaid tradition]. In N. I. Tolstoj (Ed.), *Slavyanskij i balkanskij fol'klor: Duhovnaya kul'tura Poles'ya na obshheslavyanskom fone* (pp. 88–133). Moscow: Nauka.

Zhitie Sergiya Radonezhskogo [Life of Sergius of Radonezh]. (1981). In *Pamyatniki literatury' Drevnej Rusi. XIV – seredina XV veka.* (pp. 256–429). Moscow: Hudozhestvennaya literatura.

Zubov, V. P. (1953). Epifanij Premudry'j i Pahomij Serb (K voprosu o redakciyah “Zhitiya Sergiya Radonezhskogo”) [Epiphanius the Wise and Pahomius the Logothete (On editions of “Life of Sergius of Radonezh”)]. In V. P. Adrianova-Perez (Ed.), *TODRL* (Vol. 9, pp. 145–158). Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR.

Translated by Anna Dergacheva

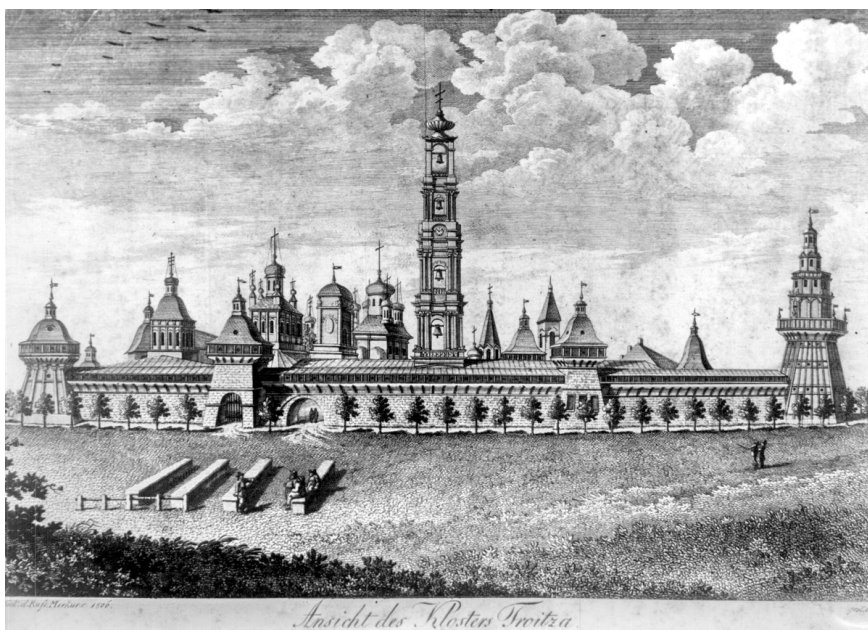
The article was submitted on 20.08.2014

**Владимир Владимирович
Мильков**
д. ф. н.
Россия
Институт философии РАН
dr_milkov@mail.ru

Vladimir Milkov, Dr
Russia
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences
dr_milkov@mail.ru



St. Sergiy Radonezhsky. Embroidered pall, 1st half of the 15th century



Trinity Lavra of St. Sergiy, view from east side. An alley on the site of filled ditch. Scene from an engraving, 1806



M. V. Nesterov. The Labours of Sergiy Radonezhsky. Central part of the triptych, 1896–1897



N. K. Roerich. St. Sergiy Radonezhsky, 1932



M. V. Nesterov. The Labours of Sergiy Radonezhsky. Left part of the triptych, 1896–1897

MOSCOW IN 1666: NEW JERUSALEM, THIRD ROME, THIRD APOSTASY

In this essay the author examines the disappearance from official Russian discourse of the idea of Muscovy as the New Israel. She suggests that it may partly be explained in relation to his opponents' accusations of blasphemy against Patriarch Nikon for naming his monastery on the River Istra as New Jerusalem. These accusations were made in the context of apocalyptic rumours about Nikon as the Antichrist, and about the imminent appearance of the Antichrist in Jerusalem in 1666. The decisions of the Church council of 1666–1667 – including its repudiation of the idea of the Third Rome – seemed to many Old Believers to confirm prophecies about 1666 as the date of a third and final apostasy from the true faith, after the Great Schism of 1054 and the Union of Brest of 1596. The ideas of the Third Rome and New Israel persisted among some Old Believers; but unlike the idea of the Third Rome, which was re-interpreted in the 19th and 20th centuries as evidence of Russian messianism and imperialism, the idea of the New Israel has been comparatively neglected.

Keywords: 1666; Moscow; New Jerusalem; New Israel; Third Rome; apocalypse; apostasy; Patriarch Nikon; Old Believers.

В данном очерке рассматривается исчезновение из официального российского дискурса идеи «Московское государство – Новый Израиль». Автор предполагает, что это исчезновение отчасти объясняется обвинениями в богохульстве, выдвинутыми против патриарха Никона, назвавшего свой монастырь на реке Истре Новым Иерусалимом. Его противники выдвинули эти обвинения в контексте эсхатологических слухов о Никоне-Антихристе и о предстоящем появлении Антихриста в Иерусалиме в 1666 г. По мнению многих старообрядцев, решения церковного собора 1666–1667 гг., в том числе отрицание идеи «Москва – Третий Рим», подтвердили пророчества о 1666 г. как о дате третьего, последнего отступления от истинной веры после Великого раскола 1054 г. и Брестской церковной унии 1596 г. Идеи «Москва – Третий Рим» и «Россия – Новый Израиль» сохранялись в старообрядческой среде; но, в отличие от идеи «Москва – Третий Рим», которую интерпретировали по-новому в XIX и XX вв. как свидетельство российского messiанизма и империализма, идея «Россия – Новый Израиль» оказалась обделена вниманием ученых.

Ключевые слова: 1666 год; Москва; Новый Иерусалим; Новый Израиль; Третий Рим; апокалипсис; отступление; патриарх Никон; старообрядцы.

The idea of Moscow as the 'Third Rome' has been one of the most striking and influential concepts in both Russian and Western historiography. Some scholars have linked it both with the notion that Muscovy had a special destiny in world history, and with the view that it had ambitions for imperial expansion that were inherited not only by the tsarist empire but also by the Soviet Union.

Soon after the break-up of the USSR, however, a number of American historians published works that downplayed the importance of the Third Rome concept in Muscovite history, and stressed that it had been abandoned by the state and by the official Church by the end of the 17th century. Donald Ostrowski argued that there are very few references to the Third Rome idea in Russian sources of the 16th century, and that the only official document that mentions it is the decree establishing the Moscow patriarchate in 1589. Ostrowski recognised that the notion appears in some other sources, including literary works, in the late 16th century and in the 17th century, but he stressed that these were all non-official documents, and that there is no evidence that the idea influenced government policy or action [Ostrowski, p. 218, 219–243, 246]. Shortly afterwards Marshall Poe, then a colleague of Ostrowski's at Harvard, published an article that not only restated Ostrowski's argument about the relative insignificance of the Third Rome doctrine in 16th- and 17th-century Muscovy, but also examined its rediscovery in the 19th and 20th centuries, when it was misinterpreted as evidence of Muscovite messianism and imperial ambition [Poe]. Daniel Rowland of the University of Kentucky also agreed with Ostrowski about the limited circulation and influence of the Third Rome theme in Muscovy, and proceeded to argue that the idea of Russia as the 'New Israel' was in fact more important than the Third Rome idea in the 16th and 17th centuries [Rowland]. Rowland's study of the development of the New Israel theme is a scholarly piece of work, but his article had a topical political agenda: he argued that the image of Moscow as the Third Rome had been used, particularly in the West, to create an image of Muscovy as not only Eastern and exotic, but also imperialistic, prefiguring later Soviet expansionism; the idea of New Israel, by contrast, linked Muscovite culture with that of other Christian peoples, in Western Europe and America, who also held a view of themselves as divinely chosen [Rowland, p. 591–592, 613–614]. At a time when many liberals, both in the East and in the West, were hoping that post-Soviet Russia would reclaim its place in what Mikhail Gorbachev had described as the 'common European home', Rowland's stress on the New Israel image as evidence of 'a common Christian ideological heritage shared by both Russia and Western Europe' [Rowland, p. 592] had considerable contemporary resonance.

In this essay I propose to re-examine the notions of Muscovy as the Third Rome and as the New Israel, focussing not so much on their origins as on their disappearance from official discourse by the end of the 17th century. I shall pay particular attention to the year 1666, which witnessed the opening of the Church council that confirmed the reforms initiated by Patriarch Nikon in 1652. The council of 1666–1667 influenced the status

of the concepts both of the Third Rome and of the New Israel: it suppressed the 'Tale of the Novgorod White Cowl', which contained a version of the Third Rome theory; and it criticised Nikon for describing himself as 'Patriarch of the New Jerusalem'. 1666 was also the year in which many Christians believed that the Apocalypse would occur; opponents of the Church reforms subsequently identified it with a third apostasy (отступление) from the true Christian faith, following the schism between the Eastern and Western Churches in 1054, and the Union of Brest in 1596.

* * *

Daniel Rowland's argument about the importance of the New Israel image was based largely on the use of Biblical parallels in 16th- and 17th-century Muscovite literature and culture [Rowland, p. 595–612]. He argued that this provided evidence of a succession of four chosen peoples: Israel to the Roman Empire to Byzantium to Muscovy [Ibid, p. 591, 595]. There are, however, problems with this approach. Unlike the Third Rome concept, which provides a specific narrative of a *translatio imperii* from Rome to Constantinople to Moscow, the idea of Muscovy as the New Israel offers no evidence of a succession from Israel to Rome. It may therefore be seen as simply a metaphor, rather than a view of Russia as the successor to Rome and Byzantium in a series of chosen peoples that begins with Israel. Indeed, the very fact that so many other Christian peoples have compared themselves to the Israelites of the Old Testament may suggest that we are dealing here with an analogy or an allegory, rather than with a theory of succession.

Rowland's evidence of the importance of New Israel ideas in Muscovite was drawn from a number of sources. He stressed the significance of the coronation ceremony of Ivan IV, in which Metropolitan Makarii compared the tsar to King David, and himself to the Prophet Samuel [Ibid, p. 596–599]. He also noted that the term 'New Israel' is used by Ivan Timofeev in his *Vremennik*, and that 'New Israel', 'New Zion' and similar terms can be found in other literary works about the Time of Troubles [Ibid, p. 604–605]. A younger American historian, Isaiah Gruber, in a recent book about the Orthodox Church during the Time of Troubles, has also stressed the use of New Israel terminology in Muscovy, and provided a number of quotations from historical documents and literary works to illustrate his argument [Gruber, p. 22, 23–50, 86–87, 181–184].¹

As well as written texts, Rowland examined visual evidence of the New Israel theme in Muscovy. In relation to art, he focussed on the icon of the Blessed Host of the Heavenly Tsar, in which Moscow is depicted as the New Jerusalem to which Ivan IV leads his forces back from his victory over

¹ In fact Gruber's interpretation of the 'New Israel' theme goes further than Rowland's: he argues that the Russians saw themselves 'literally' as New Israel [Gruber, p. 34, 180] and identified themselves completely with the Jews [Ibid, p. 22, 23]. Unlike Rowland, Gruber sees the Muscovites' concept of Russia as New Israel as 'unique' among Christian societies, rather than as a common factor linking Muscovite culture with that of the West [Ibid, p. 183].

Kazan. In architecture, the author drew particular attention to the Cathedral of the Intercession on the Moat (St Basil's), with its Jerusalem Chapel, which played an important role in the Palm Sunday ceremony [Rowland, p. 605–609].² His final example was Patriarch Nikon's New Jerusalem monastery on the River Istra [Ibid, p. 609–612].³

An important piece of evidence for the New Israel theme – to which Rowland did not, however, refer – is the front matter (the preliminary pages) of the 1663 Bible published by the Moscow Printing House. The verso of the title page contains a set of heraldic verses (стихи на герб) addressed to Tsar Aleksei, which include the line, 'Thrive and rule, great tsar, in the new Israel' («Успевай и царствуй, великий царю в новом Израиле») [Franklin, p. 77–78]. The frontispiece is an elaborate woodcut, in which the central image is the Muscovite double-headed eagle, with a representation of Tsar Aleksei on horseback on its breast. Below the eagle is a map of Moscow. Above the eagle are inscribed two biblical quotations about King Solomon; and above the map there is another biblical quotation: 'the city of the great king' («Градъ царя великаго»). The frontispiece thus clearly identifies Tsar Aleksei with King Solomon, and Moscow with Jerusalem [Ibid, p. 75–76. The frontispiece is reproduced on p. 74].

Patriarch Nikon himself, while self-exiled from Moscow, criticised the inscriptions on the frontispiece for applying to Aleksei the quotations about Solomon which, according to Nikon, were in fact prophecies about Christ [Ibid, p. 89–90].⁴ And although Nikon had himself built a New Jerusalem monastery, he criticised the identification of Moscow as Jerusalem in the frontispiece of the Bible, implying that this was blasphemous: 'And for those proud men who now have transgressed greatly, and, appropriating to themselves the honour and glory of God, have put under their own feet, under the feet of the horse and eagle... the city of the Great King?... («И иже ныне гордии законопреступоваху зело, и Божию честь и славу преписующе на свою, и подписующе под ногами своима коня и орла... град царя великаго...») [The Replies, p. 565; Patriarch Nikon, p. 620].⁵

Nikon himself was criticised for blasphemous behaviour in relation to the naming of his monastery on the River Istra as 'New Jerusalem'. In 1663 he was accused by the boyar S. L. Streshnev of dishonouring the Holy

² On New Jerusalem and New Israel imagery in Muscovite architecture see also [Flier, 2006]. On the New Jerusalem imagery in the Palm Sunday ceremony, see [Flier, 1997; Успенский, с. 443–446, 455–456].

³ Here, however, Rowland did not describe the controversy which surrounded the name of the monastery after Nikon's departure from the patriarchate, which I shall discuss below. He mentioned only the fact that Nikon had to defend the name of the monastery [Rowland, p. 612], without explaining the nature of the criticisms to which the patriarch was responding.

⁴ This is consistent with Nikon's criticism of Aleksei at around the same time for blasphemously permitting the use of the term 'the earthly God' to describe the tsar [Живов, Успенский, с. 144], and may be seen as evidence of Nikon's broader critique of Aleksei, after 1658, for usurping the privileges of the Church by claiming sacred status.

⁵ Palmer's volume is an English translation of Nikon's 'Refutation' («Возражение») from a manuscript that once belonged to the Resurrection Monastery (Воскресенский монастырь); Tumins and Vernadsky publish the Russian text of a manuscript copy from the Onega Monastery of the Cross (Онежский Крестный монастырь).

City by calling his monastery 'New Jerusalem', but in his Reply to Streshnev's Question the patriarch claimed that the tsar himself had approved the name [The Replies, p. xxviii, 67–68; Patriarch Nikon, p. 149–150].⁶ Archpriest Avvakum also hinted at an element of blasphemy or sacrilege on Nikon's part. In a letter of 1665 to *igumen* Feoktist, Avvakum referred mockingly to the New Jerusalem monastery as Zion, and claimed that the abyss of Hell opened there [Памятники, с. 547]. Here the reference to Hell suggests that Avvakum was thinking of the New Jerusalem not so much as the historic city in the Holy Land, but rather as the heavenly New Jerusalem described in Revelation (3:12; 21:2, 10). Subsequently, at the Church council of 1666–1667, Nikon was charged with calling himself the Patriarch of New Jerusalem, in disrespect to the Patriarch of (old) Jerusalem – an accusation which Nikon did not explicitly deny [History of the Condemnation, p. XXXI, XXXVIII, 158, 430].

Why was Nikon's use of the term New Jerusalem subjected to accusations of blasphemy or sacrilege in the 1660s, when references to Moscow as Jerusalem and Russia as Israel had been perfectly acceptable in previous years? For example, when Boris Godunov had embarked on a project to build a church in the Moscow Kremlin that was to be based both on the Temple of Solomon and on the church of the Holy Sepulchre in Jerusalem,⁷ the deacon Ivan Timofeev criticised him for his vanity [Rowland, p. 605, 608–609; Успенский, с. 443–444, 455–456], but Timofeev's criticism of Boris was slight compared with the criticisms of Nikon for his similar project, implemented half a century later. Viktor Zhivov and Boris Uspenskij have suggested that in the context of the sacralisation of the monarch in the mid-17th century some terms and formulas that had previously been acceptable might now be regarded as blasphemous by traditionalists [Живов, Успенский, с. 127–128, 133–136]. Zhivov and Uspenskij's main example is the designation of the tsar as 'holy' – but comparisons of Russia with Israel (the Holy Land) and Moscow with Jerusalem (the Holy City) might also have been seen as sacrilegious at that time. Thus the increased sensitivity of the Muscovite authorities to symptoms of the sacralisation of the monarch, in the light of the hostility of traditional believers towards it, may have contributed to a decline in the usage of the concept of the New Israel in the late 17th century.

Even more significant – and more sinister – than the accusations of blasphemy were suggestions that Nikon's naming of his monastery reflected his association with the Antichrist. Paisius Ligarides, the Metropolitan of Gaza, insinuated in one of his Answers to Streshnev's Questions that, since the Jews believed that a new Messiah would come from a new Jerusalem, the mother of the Antichrist might be found with Nikon in his New Jerusalem monastery [The Replies, p. xxviii, 68; Patriarch Nikon, p. 150]. Nikon in his Reply retorted that other authorities stated that the Antichrist would be

⁶ For a further defence by Nikon of his use of the name 'New Jerusalem', see also [The Replies, p. 78–83; Patriarch Nikon, p. 158–163].

⁷ The project was incomplete at the time of Boris' death, and the unfinished structure was destroyed by his successors.

born in the original Jerusalem, and that it was therefore absurd to claim that he would appear in the New Jerusalem monastery [The Replies, p. 68–78; Patriarch Nikon, p. 150–158].⁸ The association of Nikon with the Antichrist because he had named his monastery New Jerusalem was also made by some of his Russian opponents. Before 1666, rumours in the Soloveczkij monastery that Nikon was the Antichrist alluded to his building of the church of the Resurrection at the New Jerusalem monastery. The rumours were somewhat confused and obscure, but O. V. Chumicheva interprets them to mean that Nikon was seen as the Antichrist partly because he had tried to build New Jerusalem on earth [Чумичева, с. 56–57, 161–162, 261].⁹

Why did the criticisms of Nikon for building a New Jerusalem monastery associate him with the Antichrist? The answer may lie in the fact that, by the middle of the 17th century, apocalyptic ideas of the imminence of the Last Judgment and the appearance of the Antichrist had become widespread in Muscovy. In 15th-century Russia, the Apocalypse had been expected in 1492, at the end of the seventh millennium from the creation of the world (in 5508 B. C.). When the world did not end on that date, various alternative calculations were made, pointing to the years 7070 (1562 A. D.) or 7077 (1569). These revised dates have led the historian Andrei Yurganov to speculate that the behaviour of Ivan IV at the time of the *oprichnina* (1565–1572) might be associated with the tsar's expectation of the imminent Apocalypse [Юрганов]. In the 17th century, Muscovite ideas about the Apocalypse were largely derived from the *Book of Faith* («Книга о вере»), which was published in Moscow in 1648, and based on the *Palinodiya* of the Kievan theologian Zahariya Kopy'stenskij, written in the 1620s. Kopy'stenskij's dating of the Apocalypse combined the Biblical concepts of the millennium (Rev. 20:1–8) with the number of the beast, to give an end date of 1666 (1000 + 666), and the *Book of Faith* also accepted 1666 as the date of the Apocalypse [Опарина, с. 290–296].¹⁰ Thus the association of Nikon with the Antichrist, who was expected to appear in Jerusalem in 1666, may help to explain some of the criticisms of his naming of his monastery as New Jerusalem that were made in the 1660s.

By the end of the 17th century the identification of Russia as the New Israel was in full retreat. The New Jerusalem monastery remained standing, of course, and the 1663 Bible, with its reference to the 'New Israel', was not superseded until 1751 [Franklin, p. 92]. In 1697, however, Peter the

⁸ The references to Jerusalem in connection to the appearance of the Antichrist appear to be based on 2 Thessalonians 2:1–5, which states that before Christ's second coming the 'man of lawlessness' will be revealed in the 'temple of God'.

⁹ The Soloveczkij monk Ioakim also calculated that according to an alphabetic system of numerology Nikon's name (originally Nikita, or Nikitios in Greek) could be represented as 666, the number of the beast in Revelation (13:18) that was conventionally associated with the Antichrist [Чумичева, с. 56, 161–162, 261].

¹⁰ The year 1666 was also predicted as the date of the Apocalypse by some Christians in Western Europe, especially in England at the time of the Civil War of the mid-17th century. It was also rumoured that Sabbatai Zevi, the false Jewish Messiah, would appear in Jerusalem in 1666. Paisius Ligarides's reference to the new Messiah whom the Jews were expecting in the new Jerusalem (see above) may have been a reference to Sabbatai Zevi.

Great abolished the Palm Sunday ritual in Moscow, with its re-enactment of Christ's entry into Jerusalem [Живов, Успенский, с. 168]; and the removal of the capital to St Petersburg in the early 18th century meant the abandonment by the court of the sacred spaces in Moscow (such as the Jerusalem chapel of St Basil's Cathedral) that were associated with the idea of the New Israel.

By this time, the idea of Moscow the Third Rome had also been abandoned by the official Orthodox Church. The Church council of 1666–1667 effectively rejected the idea of Moscow as the Third Rome, when it banned the 'Tale of the Novgorodian White Cowl', a literary work which includes a version of the story of the succession of the true faith from early Christian Rome to Constantinople to 'the Rus' land'. According to the 'Third Rome' analysis, the Greek Orthodox Church of Constantinople had fallen into error in the 15th century, and the role of protector of the true faith had passed to Moscow. The Church reforms that were approved by the council of 1666–1667, however, implied that the Greek Church retained the true faith to a greater extent than the Russian Church, whose service books were riddled with errors and in need of correction on the Greek model [Зеньковский, с. 301–302]. Thereafter, the concept of the Third Rome disappeared from official Russian discourse. Peter the Great revived the idea of a succession from Rome to Moscow, but without the intermediate stage of Constantinople: he harked back to Imperial Rome when he assumed the title of *imperator*, and named his new capital as the City of St Peter.

For the Old Believers, the decisions of the Church council of 1666–1667 confirmed the prophecy in the *Book of Faith* about 1666 as the date of the third and last apostasy. Zahariya Kopy' stenskiy had provided a schema of a series of four apostasies from the true faith, beginning with the Great Schism in the Church (which he dated in round numbers to 1000 A. D.) followed by the Union of Brest (1596, rounded up to 1600), and predicting similar future events in 1660 and 1666 [Опарина, с. 291–292]. The *Book of Faith*, however, provided a threefold sequence, 1000–1600–1666; and the outcome of the Church council of 1666–1667, which declared the opponents of the Church reforms anathema, meant that the Old Believers preferred that threefold series, not only because the events of 1666 in Russia seemed to confirm the prophecy, but perhaps also – as Tat' yana Oparina has suggested [Ibid, с. 308] – because the threefold formula tallied with the existing Muscovite concept of the Third Rome.¹¹ But whereas in the Muscovite 'Third Rome' formula the sequence of lands of the true faith passed from Rome to Constantinople to Russia, the Old Believers' succession of three apostasies moved from Rome to Muscovy via Kiev. The fall of Constantinople was thus omitted, since the formula of the series of apostasies had been borrowed from the Orthodox lands of the Polish-Lithuanian

¹¹ The Old Believer Deacon Fedor, in his letter to Ioann Avvakumovich, wrote, echoing Filofej's formula that there would never be a Fourth Rome, 'Nowhere will there be another apostasy: ...the last Rus' is here' («Иного отступления уже нигде не будет... последняя Русь здѣ») [quoted in Опарина, с. 307].

Commonwealth, where the idea of the Third Rome had never been current [Опарина, с. 308].

The world did not end in 1666, of course, nor had it ended by 1670 (an alternative end date, if due adjustment were made for the belief that the Antichrist would reign for three and a half years). For many Old Believers, the events of 1666–1667 meant that the Antichrist was already in their midst, and some of them responded with self-immolation. Others re-calculated the date of the Apocalypse to 1692 (7200 years from the Creation) [Зеньковский, с. 445–446]. In 1687, for example, the Old Believer Kuz'ma Kosoj declared on the Don that 'only five years of our existence remain' («житья де нашего только пять лет») [Дружинин, с. 268]; his associate Kuz'ma Sidorov also claimed that Christ's second coming would be in five years' time, justifying this with some complex calculations involving the apostasy of Rome and other western lands in 1000 A.D., the date 1595, the number 666, and the apostasy of the Muscovite tsardom from the Orthodox faith under 'Nikon the blood-letter' (кровопроливец) [Ibid, с. 271].

Some of the Old Believers on the Don, however, while holding to the idea that the final apostasy had taken place in Moscow in 1666, believed that the true faith still survived in their own midst, and might flourish again. For example, the Old Believer Samojla Larionov abused a Nikonian priest in 1687, saying, 'You are of the apostate faith and the new law; you have come from the Antichrist. Rome, the Poles, and Kiev and its allies, and the Greeks and Moscow have fallen away; nowhere is there any piety; only a small branch has remained on our dear River Don, and from that branch much piety will grow!' («Ты отпадшей веры и новаго закону; приехал от антихриста. Рим, Поляки и Киев с товарищи и Греки и Москва отпали; нет нигде благочестия; только малая ветвь осталась на Дону Ивановиче, и от ветви многое благочестие процветет!») [Ibid, с. 139].

For some Old Believers, the piety that survived in their midst was identified with the Third Rome and the New Israel, but in both cases these concepts now related to the Russian people, rather than to the state. As early as the 1670s, Archpriest Avvakum referred to 'the Russian people – the last seed of Abraham remaining on the earth, that is, the New Israel' («росийский народ – последнее, оставшее на земли семя Авраамле, то есть: Новый Израиль») [Русская, стб. 328].¹² And at the beginning of the 18th century, the Denisov brothers of the Vyg community of Old Believers argued that – even though the official Church and state had gone over to the Antichrist – the true faith survived in local communities, among the ordinary Russian people. The Denisovs thus provided what Sergej Zen'kovskij has described as an 'ideological democratisation' (идеологическая демократизация) of the Third Rome idea, identifying it with the nation, not the state [Зеньковский, с. 461; see also Zenkovsky, p. 57–60]. More recently, the respected British historian Geoffrey Hosking, following Zen'kovskij, has argued that the messianic idea of the Third Rome was preserved and democratised by the Old

¹² For further references to the ideas of the Third Rome and the New Israel idea among Old Believers in the late 17th century, see [Лукин, с. 188–195].

Believers. In a number of his works, Hosking cites with approval the historian of Old Belief, V. I. Kel'siev, who wrote in his 'Confession' («Исповедь») that the peasantry in the mid-19th century continued to believe that Moscow was the Third Rome and that Russia was the New Israel [Hosking, 1997a, p. 209; Hosking, 1997b, p. 73; Hosking, 2001, p. 174; Hosking, 2006, p. 22]. To a certain extent, Hosking is here reviving one of the ideas of the émigré Russian philosopher Nicolas Berdyaev, who argued that, after the schism of the 17th century, messianic ideas such as the Third Rome were preserved not only among the Old Believers but also among the Russian people as a whole, where they later provided a fertile breeding ground for the Communist messianism of the intelligentsia that was to turn the monk Filofei's Third Rome into Lenin's Third International [Berdyaev, p. 2–5, 38–39, 41, 71–73].¹³

* * *

Thus while Daniel Rowland was undoubtedly correct when he claimed that the idea of Muscovy as the New Israel was at least as important in 16th- and 17th-century Russian thought as the idea of 'Moscow, the Third Rome', the American historian has told only part of the story. It was not only the idea of the Third Rome that had been 'discarded by everyone except the Old Believers' by 1700 [Rowland, p. 594]. The idea of Russia as the New Israel was also in retreat by that date, having been censured by opponents of the sacralisation of the monarch, and discredited by the criticisms of Nikon's New Jerusalem monastery that were made in the context of apocalyptic rumours about Nikon as the Antichrist, and about the imminent appearance of the Antichrist in 1666 in Jerusalem. The Church council of 1666–1667 condemned the idea of the Third Rome, and many Old Believers saw this as confirmation of the prophecy that a final apostasy would take place in 1666. Some Old Believers identified the true faith that survived in their own midst with the Third Rome, and with the New Jerusalem. But although the concept of the Third Rome was rediscovered by the Russian intelligentsia in the 19th century, when it was given an imperialistic significance that it had not had in Muscovy, the idea of the New Israel underwent no such revival in educated Russian society.

Дружинин В. Г. Раскол на Дону в конце XVII века. СПб, 1889.

Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 110–218.

Зеньковский С. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века = Zenkovsky S. A. Russia's Old-Believers. Spiritual movements of the seventeenth century. Мюнхен, 1970.

Лукин П. В. Народные представления о царской власти в России XVII века. М.: Наука, 2000. 298 с.

¹³ Hosking acknowledges the influence of Berdyaev on his ideas [see Hosking, 2006, p. 7–8].

Опарина Т. А. Число 1666 в русской книжности середины – третьей четверти XVII в. // Человек между Царством и Империей: сб. материалов междунар. конф. / под ред. М. С. Киселевой. М. : Ин-т человека РАН, 2003. С. 287–318.

Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга первая. М. : Художественная литература, 1988.

Русская историческая библиотека. Т. 39: Памятники истории старообрядчества XVII в. Л. : Изд-во АН СССР, 1927. 590 с.

Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М. : Языки русской культуры, 1998. 680 с.

Чумичева О. В. Соловецкое восстание 1667–1676 гг. 2-е изд. М. : ОГИ, 2009. 352 с.

Юрганов А. Л. Опричнина и страшный суд // Отечественная история. 1997. № 3. С. 52–75.

Berdyayev N. The Russian Revolution. Ann Arbor : University of Michigan Press, 1961 (first published 1931).

Flier M. S. Court ceremony in an age of reform. Patriarch Nikon and the Palm Sunday ritual // Religion and culture in early modern Russia and Ukraine / ed. by S. H. Baron, N. Sh. Kollmann. DeKalb : Northern Illinois University Press, 1997. P. 73–95.

Flier M. S. Political ideas and rituals // The Cambridge History of Russia. Vol. 1: From early Rus' to 1689 / ed. by M. Perrie. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. P. 387–408.

Franklin S. Printing Moscow: Significances of the frontispiece to the 1663 Bible // The Slavonic and East European Review. 2010. Vol. 88. No. 1–2 (Jan.–April). P. 73–95.

Gruber I. Orthodox Russia in crisis: Church and nation in the Time of Troubles. DeKalb : Northern Illinois University Press, 2012.

History of the Condemnation of the Patriarch Nikon by a Plenary Council of the Orthodox Catholic Eastern Church, held at Moscow A. D. 1666–1667, written by Paisius Ligarides of Scio Ligarides / transl. by W. Palmer. London : Trübner, 1873.

Hosking G. The Russian national myth repudiated // Myths and nationhood / ed. by G. Hosking, G. Schöpflin. London : Hurst & Company, 1997a. P. 198–210.

Hosking G. Russia: People and Empire, 1552–1917. London, 1997b.

Hosking G. Russia and the Russians: A history. London, 2001.

Hosking G. Rulers and victims. The Russians in the Soviet Union. Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 2006.

Ostrowski D. Muscovy and the Mongols: cross-cultural influences on the steppe frontier, 1304–1589. Cambridge : Cambridge University Press, 1998.

Patriarch Nikon on Church and State: Nikon's "Refutation" / ed. by V. A. Tumins, G. Vernadsky. Berlin, New York, Amsterdam : Mouton, 1982.

Poe M. Moscow, the Third Rome: the origins and transformations of a "pivotal moment" // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2001. Band 49. Heft 3. S. 412–429.

Rowland D. B. Moscow – the Third Rome or the New Israel? // The Russian Review. 1996. Vol. 55. P. 591–614.

The Replies of the humble Nikon, by the mercy of God Patriarch, against the Questions of the boyar Simeon Streshneff and the Answers of the Metropolitan of Gaza Paisius Ligarides / transl. by W. Palmer. London : Trübner, 1871.

Zenkovsky S. A. The ideological world of the Denisov brothers // Harvard Slavic Studies. 1957. Vol. 3. P. 49–66.

Berdyayev, N. (1961). *The Russian Revolution*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Chumicheva, O. V. (2009). *Soloveczkoe vosstanie 1667–1676 gg.* [Solovetsky rebellion in 1667–1676 yrs.]. (2nd ed.). Moscow: OGI.

Druzhinin, V. G. (1889). *Raskol na Donu v konce XVII veka* [Split on the Don in the late 17th century]. St. Petersburg.

Flier, M. S. (1997). Court ceremony in an age of reform. Patriarch Nikon and the Palm Sunday ritual. In S. H. Baron & N. Sh. Kollmann (Eds.), *Religion and culture in early modern Russia and Ukraine* (pp. 73–95). DeKalb: Northern Illinois University Press.

Flier, M. S. (2006). Political ideas and rituals. In M. Perrie (Ed.), *The Cambridge History of Russia. Vol. 1: From early Rus' to 1689* (pp. 387–408). Cambridge: Cambridge University Press.

- Franklin, S. (2010). Printing Moscow: Significances of the frontispiece to the 1663 Bible. *The Slavonic and East European Review*, 88, 1–2 (Jan.–April), 73–95.
- Gruber, I. (2012). *Orthodox Russia in crisis: Church and nation in the Time of Troubles*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Hosking, G. (1997). *Russia: People and Empire, 1552–1917*. London.
- Hosking, G. (1997). The Russian national myth repudiated. In G. Hosking & G. Schöppflin (Eds.), *Myths and nationhood* (pp. 198–210). London: Hurst & Company.
- Hosking, G. (2001). *Russia and the Russians: A history*. London.
- Hosking, G. (2006). *Rulers and victims. The Russians in the Soviet Union*. Cambridge, MA & London: Harvard University Press.
- Lukin, P. V. (2000). *Narodny'e predstavleniya o czarskoj vlasti v Rossii XVII veka* [People's ideas on the throne in Russia in 17th century]. Moscow: Nauka.
- Oparina, T. A. (2003). Chislo 1666 v russkoj knizhnosti serediny' – tret'ej chetverti XVII v. [Number 1666 in Russian book-learning in the middle-third quarter of 17th c.]. In M. S. Kiseleva (Ed.), *Chelovek mezhdru Czarstvom i Imperiej: sbornik materialov mezhdunarodnoj konferencii* (pp. 287–318). Moscow: Institut cheloveka RAN.
- Ostrowski, D. (1998). *Muscovy and the Mongols: cross-cultural influences on the steppe frontier, 1304–1589*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Palmer, W. (Transl.). (1871). *The Replies of the humble Nikon, by the mercy of God Patriarch, against the Questions of the boyar Simeon Streshneff and the Answers of the Metropolitan of Gaza Paisius Ligarides*. London: Trübner.
- Palmer, W. (Transl.). (1873). *History of the Condemnation of the Patriarch Nikon by a Plenary Council of the Orthodox Catholic Eastern Church, held at Moscow A. D. 1666–1667, written by Paisius Ligarides of Scio Ligarides*. London: Trübner.
- Pamyatniki literatury' Drevnej Rusi: XVII vek. Kniga pervaya* [Literary works of the Old Russia: 17th century. Book one]. (1988). Moscow: Hudozhestvennaya literatura.
- Poe, M. (2001). Moscow, the Third Rome: the origins and transformations of a “pivotal moment”. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 49, 3, 412–429.
- Rowland, D. B. (1996). Moscow – the Third Rome or the New Israel? In *The Russian Review*. (Vol. 55, pp. 591–614).
- Russkaya istoricheskaya biblioteka. T. 39: Pamyatniki istorii staroobryadchestva XVII v.* [Russian historical library. Vol. 39: Monuments of the Old Belief history of 17th c.]. (1927). Leningrad: Izdatelstvo AN SSSR.
- Tumins, V. A. & Vernadsky, G. (Eds.). (1982). *Patriarch Nikon on Church and State: Nikon's "Refutation"*. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton.
- Uspenskij, B. A. (1998). *Czar' i patriarch: harizma vlasti v Rossii (Vizantijskaya model' i ee russkoe pereosmyslenie)* [Tsar and patriarch: charisma of power in Russia (Byzantine model and its Russian rethinking)]. Moscow: Yazy'ki russkoj kul'tury'.
- Yurganov, A. L. (1997). Oprichnina i strashny'j sud [Oprichnina and the Day of Judgement]. *Otechestvennaya istoriya*, 3, 52–75.
- Zenkovsky, S. A. (1957). The ideological world of the Denisov brothers. In *Harvard Slavic Studies*. (Vol. 3, pp. 49–66).
- Zenkovsky, S. A. (1970). *Russkoe staroobryadchestvo. Duhovny'e dvizheniya semnadcatozogo veka* [Old-Belief in Russia. Spiritual movements of the seventeenth century]. Munich.
- Zhivov, V. M. & Uspenskij, B. A. (1994). Czar' i Bog: Semioticheskie aspekty' sakralizacii monarha v Rossii [Tsar and God: semiotic aspects of the sacralisation of the monarch in Russia]. In B. A. Uspenskij *Izbranny'e trudy'. T. 1: Semiotika istorii. Semiotika kul'tury'* (Vol. 1, pp. 110–218). Moscow: Gnozis.

The article was submitted on 18.04.2014

Морин Перри
профессор
Великобритания,
Университет Бирмингем
m.p.perrie@bham.ac.uk

Maureen Perrie
Professor
UK, University of Birmingham
m.p.perrie@bham.ac.uk

**ЕДИНОВЕРИЕ В КОНЦЕ 1820-х – 1850-е ГОДЫ:
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
И ПРОТИВОСТОЯНИЕ СТАРОВЕРОВ¹⁴**

Alexander Palkin

**COMMON FAITH IN THE 1820s–1850s: MECHANISMS OF
STATE OPPRESSION AND OLD-BELIEVERS' OPPOSITION**

Referencing extensive archival materials gathered in the Russian State Historical Archive and the archives of the Ural Region, the author studies mechanisms of enforcement employed by the state and the established church during the spread of common faith among Old Believers between the 1820s–1850s. Religious persecution affected all the social strata of Old Believers. The policy carried out by the authorities included a variety of measures of oppression. Apart from established legal measures and trials, a system of secret resolutions and recordkeeping existed which meant Old Believers were persecuted extrajudicially. The policy at the time was determined by precedents, and many cases were considered in Ministries, the Synod, and Imperial Chancellery. The author also focuses on the means the Old Believers used to oppose oppression and preserve their beliefs (escapes, temporary conversion to common faith, etc.).

Key words: common faith; Old Belief; Nicholas I; confessional policy; Russian Empire.

На обширном архивном материале, извлеченном из Российского государственного исторического архива и архивов Уральского региона, рассматриваются механизмы принуждения, использовавшиеся государством и официальной церковью при распространении единоверия среди староверов в 1820–1850-е гг. Преследования затронули все социальные слои старообрядчества и касались разных сторон их жизни. Репрессивная политика властей отличалась комплексным подходом. Наряду с обычным законодательством и делопроизводством существовала система тайных постановлений и тайного делопроизводства, что оборачивалось преследованием староверов внесудебным порядком.

¹⁴ Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации (Лаборатория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор № 14.A12.31.0004 от 26.06.2013 г.

Политика зачастую носила прецедентный характер, многие дела рассматривались особо и часто решались на уровне министерств, Синода и императорской канцелярии. Подробно рассматриваются также основные способы, использовавшиеся старообрядцами для противостояния давлению властей и сохранению своего вероучения (побеги, временные переходы в единоверие и т. п.).

Ключевые слова: единоверие; старообрядчество; Николай I; профессиональная политика; Российская империя.

Церковная реформа середины XVII в. породила проблему все-российского масштаба – значительная часть населения ушла в раскол, что привело к массовым миграциям староверов, уклонению от уплаты налогов и отказу от политической лояльности правительству. Светские и церковные власти также заняли бескомпромиссную позицию в отношении старообрядческого раскола. Практически сразу они стали использовать силовые методы подавления религиозно-политической оппозиции. Со второй половины XVII в. староверие было уголовно наказуемым преступлением (указом 1685 г. – вплоть до смертной казни). Примером тому может служить участь епископа Павла Коломенского, протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Федора и др. Показательными событиями в плане применения военной силы для подавления старообрядческой оппозиции были осада Соловецкой обители (1668–1676), отказавшейся принять никоновские «новины», и жестокое подавление Тарского бунта (1722). Попытки применения силы в отношении старообрядцев приводили к их бегству в отдаленные регионы страны, тайному исповеданию своей веры или к массовым саможжениям.

Дерадикализация старообрядчества и смягчение отношения к нему правительства с 1760-х гг. привели к возможности установления диалога между государством и церковью с одной стороны и старообрядчеством – с другой. В этих условиях в конце XVIII в. зародилось единоверие. Единоверие – форма присоединения старообрядцев к официальной церкви, при которой они сохраняли богослужение по старым книгам и обрядам, но подчинялись епархиальному начальству господствующей церкви. Изначально единоверие выглядело как компромисс, достигнутый представителями отдельных старообрядческих общин, государственными сановниками и иерархами официальной церкви, однако доработка условий соглашения и участие в этом процессе синодальных иерархов (в частности, митрополита Платона (Левшина)), выступавших против компромиссов со старообрядчеством, привели к тому, что конечный его вариант получился неприемлемым для большинства староверов, поскольку в нем они справедливо видели угрозу своей религиозной самобытности. После утверждения императором Павлом I «Пунктов о единоверии» («Правил единоверия») 27 октября 1800 г. реально существовало две

возможности: «Пункты» могли стать отправной точкой для продолжения переговоров со староверами с целью выработки более удобных и эффективных условий соглашения либо оказаться тупиковым вариантом развития событий, не устраивающим старообрядцев, что и произошло из-за позиции, занятой государством и официальной церковью. Церковные власти опасались того, что единоверие станет «соблазном» для православных и приведет к массовым «уклонениям в раскол», а потому стремились к неуклонному соблюдению «Правил»¹⁵. В то же время государство и церковь не использовали принуждение в качестве средства обращения в единоверие, а старообрядцы не спешили присоединяться к единоверию добровольно. В большей мере их устраивало полуполюгальное положение, когда власти смотрели на функционировавшие открыто старообрядческие общины сквозь пальцы.

В годы правления Николая I отношение правительства к старообрядчеству претерпело значительные изменения, что во многом было связано с новым консервативным курсом внутренней политики. Приступая к описанию государственной политики в отношении старообрядчества, необходимо отметить, что действия правительства не ограничивались выпуском официальных законодательных актов и контролем за их исполнением. Старообрядческая политика зачастую имела ярко выраженный прецедентный характер. Она складывалась из множества распоряжений по частным делам и вопросам, нередко тайных.

Важную роль в насаждении единоверия по всей стране играли «Секретные совещательные комитеты по делам о раскольниках» (далее – ССК). Первый ССК появился еще при Александре I в 1820 г. в столице, следующий ССК был создан в Москве в 1831 г. [Кельсиев, с. 175]. Расцвет деятельности столичных и позднее региональных комитетов (см. о них ниже) пришелся на правление Николая I. Создание комитетов было обусловлено тем, что принимаемые против раскола меры были крайне неэффективны. Одной из причин этого была высокая бюрократизация государственного аппарата империи¹⁶. Требовалась эффективная система, которая решала бы с минимальными задержками различные дела о старообрядцах. В. И. Байдин определяет комитеты как «органы внесудебной расправы с религиозными диссидентами» [Байдин, 1983, с. 142–143]. Поэтому, чтобы деятельность комитетов не вызывала волнений, решено было само их существование хранить в тайне.

Видимо, результаты работы столичных ССК удовлетворили Николая I, поэтому в 1838 г. [Белобородов, с. 175–177] было принято реше-

¹⁵ Так, например, в присоединении к единоверию в 1807 г. было отказано 400 старообрядцам г. Белева Тульской губернии, формально числившимся православными [РГИА, ф. 796, оп. 88, д. 534, л. 1–8].

¹⁶ Подобные комитеты существовали не только по делам о расколе, но и в других сферах государственного управления. [см.: Ерошкин, с. 186–202].

ние о создании комитетов по их подобию в губерниях. Такие учреждения были образованы в Чернигове, Петрозаводске, Перми, Тамбове, Вятке (1838), Саратове, Твери (1839), Иркутске (1844), Екатеринбурге (1845), Костроме, Харькове, Витебске (1846), Уфе, Тобольске, Могилеве (1847), Риге (1848), Архангельске, Нижнем Новгороде, Симбирске (1849), Ярославле, Самаре (1851), Курске (1852), Вологде (1856), Оренбурге, Томске (1859) [РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 190, л. 51; ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 338–339, 347–350 об.; 419–419 об.; д. 44, л. 204–206 об., 305–305 об., 349; д. 45, л. 52–52 об., 152, 203; д. 46, л. 103; Варадинов, с. 373, 453, 614; СППЧР, 1856, с. 368, 441, 571, 684; Скворцов]. Губернские комитеты должны были подчиняться петербургскому комитету.

В 1840 г. было выпущено высочайшее повеление, где разъяснялись цели и функции секретных комитетов: все следственные дела по расколу до передачи их в суд должны были рассматриваться упомянутыми комитетами. В суд же предписывалось передавать только те, где было явное «нарушение существующих законов, сопровождавшееся противодействием установленному порядку». Дела о «давнишних раскольниках», не совершивших никаких противозаконных действий, по доносам и т. д. должны были решаться комитетами без лишних задержек. Такой подход, с одной стороны, разгружал официальное делопроизводство, а с другой – позволял преследовать «давнишних раскольников» внесудебным порядком, т. е. фактически развязывал руки правительству по отношению к староверам. Кроме того, в ряде случаев вопросы, связанные с единоверцами и старообрядцами, решались лично императором также в секретном порядке. Император утверждал и решения Петербургского ССК, куда стекались дела со всей страны. Таким образом, Николай I просмотрел несколько сотен дел, касающихся борьбы со старообрядчеством и насаждения единоверия [см.: РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 36, 38, 42–46]. Можно с уверенностью сказать, что широкое распространение единоверия по всей России во многом является личной «заслугой» монарха, многие годы контролировавшего ход этого процесса.

Масштабы деятельности комитетов можно посмотреть на примере Екатеринбургского ССК, учрежденного в 1845 г. (в его ведении состояли Екатеринбургский уезд и горные заводы) [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 44, л. 204–206 об.]. Комитет развернул активную деятельность. В период с конца 1846–1847 гг. и с 1850 по 1857 г. им было рассмотрено 1 833 дела, только 83 отклонены «по бездоказательности», обращено к православию 2 144 человека, к единоверию – 3 403, подвезгнато суду 1 889 человек, отобрано более 1 500 книг, 1 265 икон, 1 369 вещей (правда, около 1/3 икон и 1/8 вещей были возвращены владельцам, книги, как правило, не возвращали) [ГАСО, ф. 6, оп. 1, д. 497, л. 4; д. 519, л. 1; д. 596, л. 1; д. 534, л. 2; д. 540, л. 2; д. 546, л. 2; д. 547, л. 2; д. 561, л. 1¹⁷].

¹⁷ Сведения любезно предоставлены В. И. Байдиным.

Староверы в полной мере прочувствовали сущность «николаевской реакции»: с середины 1820-х гг. давление на старообрядцев начало постепенно усиливаться. Николай I воспринимал старообрядчество не только как религиозную оппозицию, но и как «противо-государственный и противообщественный элемент» [Шлеев, с. 226]. В этой связи против старообрядцев развернулась настоящая борьба, имевшая своей главной целью ослабление и искоренение старообрядчества как явления. Правительство Николая I возродило и развило многие способы борьбы со старообрядчеством, частично напоминающие меры XVII–XVIII вв., но с одной важной особенностью: в сочетании с вполне традиционными методами активно использовалось единоверие. Более того, оно рассматривалось как главное духовно-нравственное средство для обращения староверов «в ограду церкви». Видя более чем скромные успехи единоверия за первую четверть века его существования, правительство решило поддержать его всеми доступными средствами.

Организация единоверческих приходов в николаевское время нередко сопровождалась драматическими событиями. Методы давления на старообрядцев отнюдь не ограничивались мерами «кроткой апостольской проповеди». Обращением староверов занималось не столько духовенство (впрочем, староверы писали справедливые жалобы и на его действия¹⁸), сколько исправники и администрация заводов и селений. Лаконично и достаточно точно выразился о тех событиях В. И. Байдин: «Убеждали» старообрядцев... определением в тяжелые работы, телесными наказаниями, голодом и тюрьмой, “просвещали” – угрозами, конфискацией молитвенных зданий, книг и икон» [Байдин, 1983, с. 122]. Старообрядцы пытались прибегать к помощи действовавшего законодательства. Так, крестьяне, жившие в имениях Лазаревых (Пермская губерния), в свою защиту пытались использовать неприменимую к ним статью 73 XIV тома Устава о предупреждении и пресечении преступлений, по которой «не велено никого стеснять из иноверцев» [ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 148, л. 2–3]. Их просьба выражала давнюю мечту староверов о признании старообрядчества в качестве самостоятельной конфессии (такой статус имели, например, католицизм или протестантизм), а не в качестве раскольнического и еретического течения православия и предоставлении им соответствующих прав и свободы вероисповедания. Даже многочисленные отчаянные просьбы, инициированные екатеринбургскими купцами-старообрядцами и поданные цесаревичу Александру, посетившему в 1837 г. Урал, от имени десятков тысяч староверов, оставались «без уважения» [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 84–94 об., 103–157]. В условиях проводимых самодержавной

¹⁸ См., например: [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 77–77 об., 80–80 об.]. Справедливость данных жалоб отмечал даже Николай I, полагавший, что дело насаждения единоверия «ведется не по смыслу неоднократно подтвержденных постановлений» [см.: Там же, л. 80 об.]. Отметим, что такие признания императора на деле не приводили к облегчению положения староверов.

государственной машиной репрессий староверам было практически негде искать защиты [см., например: ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 148, л. 2–12; ф. 280, оп. 1, д. 816, л. 1–5]. Таким образом, для многих старообрядцев принятие единоверия было последним средством избавиться от притеснений и гонений.

Можно выделить несколько основных направлений действий властей, посредством которых осуществлялось давление на старообрядцев:

- ограничение гражданских прав старообрядцев;
- усиление эксплуатации старообрядческого населения;
- замена «раскольнической» администрации на местах православными и единоверцами;
- ссылки и аресты наиболее активных представителей старообрядческого движения;
- ограничения в сфере совершения обрядов жизненного цикла;
- борьба с беглыми попами;
- конфискация молитвенных зданий староверов;
- ослабление (ликвидация) крупных центров староверия.

Ограничение гражданских прав старообрядцев

Важное значение имела старообрядческая верхушка, во многом определявшая направление развития центров староверия, которые, в свою очередь, имели влияние по всей стране. Поэтому для успешного искоренения старообрядчества правительство планировало нанести удар по экономическим и политическим интересам торгово-промышленной верхушки, тем самым заставив ее принять единоверие или православие. Началось ограничение прав старообрядческих обществ: им запрещалось приобретать недвижимость (как посредством покупки, так и по завещанию), иметь печати, выдавать метрические записи. Наряду с этим имело место и ограничение личных прав староверов: им было запрещено записываться в I купеческую гильдию; в ряде случаев они не могли свидетельствовать против православных в судебных делах [СППЧР, 1860, кн. 2, с. 233–236.]; не могли назначаться на особо важные должности (городского головы, городского старосты и пр.) [Шлеев, с. 227–229], что способствовало переходу в единоверие, например, купцов Саратова (1835) [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 42, л. 365–366; Соколов, с. 363], городов Курской губернии (1837) [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 42, л. 380–380 об.; д. 43, л. 45–46], Екатеринбурга (1838) [Байдин, 1983, с. 124–127] и др. Российским старообрядцам запрещены были отношения с заграничными [Кельсиев, с. 174]. Однако самый сильный удар по купеческой верхушке был нанесен в 1854 г., когда староверам было запрещено записываться в купеческие гильдии на 1855 г., что послужило толчком к массовому переходу в единоверие в конце декабря 1854 г. Впрочем, уже в 1856 г.

староверам было разрешено числиться в купечестве на временном праве [Юхименко, с. 31]. Подобный сценарий был опробован на Урале еще в 1837–1838 гг., где показал свою эффективность. В правление Николая I давление, оказываемое на старообрядческую верхушку, в определенной мере увенчалось успехом: многие зажиточные староверы перешли в единоверие или православие.

Усиление эксплуатации старообрядческого населения

При всей сложности обращения социальной верхушки старообрядчества перед правительством стояла куда более сложная задача обращения рядовых староверов. В селениях и заводах правительство, главным образом, ограничивало возможность удовлетворения духовных потребностей староверов либо усиливало эксплуатацию населения.

Так, например, в частных владениях Строгановых (Пермская губерния) для обращения в единоверие использовались меры морального (прилюдное унижение, угрозы ссылки на золотые прииски, в Сибирь, в рекруты), физического (аресты, телесные наказания, лишение пищи и воды на несколько дней) и экономического (запрет заниматься отхожими промыслами, принуждение к строительству единоверческих церквей не только староверов, но и православных¹⁹) воздействия, которые вкупе с конфискацией часовен²⁰ привели к тому, что часть староверов вынуждена была перейти в единоверие [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 84–84 об., 103–104 об., 169–170; ГАПК, ф. 65, оп. 2, д. 863, л. 1–31 об.; Кутьев, с. 279–281]²¹.

Показателен ряд мер, разработанных в апреле 1840 г. Черниговским ССК. Среди этих мер, которые должны были способствовать обращению староверов в единоверие, значились следующие: «В слободах, наиболее наполненных раскольниками, расположить войска на постой, переменяя войска, чтобы они не подвергались влиянию раскольников... Лучше устроить полицию в городах, дабы ограничить своеволие раскольников» [РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 190, л. 10–11 об.; см. также: ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 482–483 об.]. В той же губернии единоверцев освободили от налога на содержание «местных полиций», а необходимую сумму разложили поровну на староверов.

¹⁹ Православные также отказывались от строительства единоверческой церкви по той причине, что уже участвовали в сооружении трех храмов (видимо, православных), и полагали новые издержки для себя обременительными [см.: ГАПК, ф. 65, оп. 2, д. 863, л. 3].

²⁰ См., например, дело о запечатывании часовни в Добрянском заводе графини Строгановой [ГАСО, ф. 43, оп. 3, д. 24, л. 2–15 об.].

²¹ По мнению архиепископа Аркадия, высказанному им в рапорте пермскому губернатору, все крестьяне присоединились к единоверию или православию в 1835–1837 гг. «добровольно и непринужденно» и пообещали «впредь до конца жизни своей пребывать в православии» [см.: ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 148, л. 8–12 об.; ГАПК, ф. 280, оп. 1, д. 816, л. 1–5].

Причетники стародубских единоверческих церквей получали льготы в виде освобождения от повинностей. Серьезно были ограничены права староверов на отлучки и местное самоуправление [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 44, л. 319; д. 45, л. 211, 241–241 об.; СППЧР, 1860, кн. 2, с. 799–801].

Замена «раскольнической» администрации на местах православными и единоверцами

Помимо купцов-староверов крупнейших городов власть существенно усиливала давление на заводовладельцев и заводские административно-технические кадры, землевладельцев и приказчиков и т. д. На многих частных горных заводах администрация была сплошь старообрядческой, что сильно затрудняло переход в единоверие. Архиепископ Пермский Аркадий (Федоров) писал в 1834 г. в отношении к митрополиту Петербургскому Серафиму (Глаголевскому): «...в заводах раскольников Зотова и Харитонов и в заводах г. Яковлева, управляемых крестьянами-раскольниками Китаевым и Полузадовым, все пути к обращению раскольников в православие преграждаются; и главный начальник Горных заводов хребта Уральского генерал-лейтенант Дитерикс оказывает им особое снисхождение...» [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 42, л. 203]. В связи со сложившейся ситуацией Аркадий требовал замены староверов, занимавших ключевые посты, на православных или единоверцев, а равно и ужесточения мер против беглых попов. Позиция архиепископа имела под собой основания, поскольку в это время единоверцам на Урале жилось непросто. Так, в 1834 г. единоверцы Невьянского завода жаловались на свою участь миссионеру Авраамии Оглоблину: «1. ...от стесненных обстоятельств в оном Невьянском заводе обращение раскольников совершенно остановилось. 2. ...единоверцы терпят стеснение от тех лиц, кои бы должны им покровительствовать и их защищать от упорных раскольников».

Рассматривая это дело, петербургский ССК пришел к выводу, что «нелегко жить тамошних заводов единоверцам, где прикащики все раскольники и при том общество упорствующих весьма сильно и предприимчиво. А начальники за подчиненным вину находить всегда легко могут, когда захотят навести страх» [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 42, л. 129 об.–130, 146–146 об.].



Архиепископ Пермский Аркадий (Федоров) (1784–1870).
Портрет XIX в.

Попытки урезонить «раскольническую» администрацию посредством инициирования судебного производства неоднократно предпринимались архиепископом Аркадием. Дело дошло до уровня министра внутренних дел, который 3 февраля 1835 г. потребовал от пермского губернатора немедленно решить это дело. Однако и спустя два года «притеснители» единоверцев не были наказаны, а дело было передано Главному начальнику уральских заводов [ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 136, л. 19, 38–38 об.; ф. 297, оп. 2, д. 890, л. 1–1 об.]. Не слишком скоро продвигалось и дело «О служителях Каслинского завода: Коробейникове, Столбикове, Новгородцеве Закаляпине, совращающих единоверцев в раскол», начатое по инициативе архиепископа в 1840 г. Горные власти, не желая подрывать производство, фактически саботировали следствие, начатое духовными и губернскими властями [ГАСО, ф. 43, оп. 3, д. 41, л. 1–3, 5–13 об.].

Уже с середины 1830-х гг. архиепископ Пермский Аркадий лоббировал принятие закона о запрете «раскольникам» занимать начальные должности на частных горных заводах [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 29–29 об.]. Главный начальник Уральских горных заводов В. А. Глинка пытался минимизировать ущерб промышленности от антистарообрядческого курса правительства путем перевода ключевых администраторов в единоверие [Шкерин, 2008, с. 132, 136], однако целый ряд староверов-администраторов, отказавшихся принять единоверие, были смещены. В 1847 г. вышел прямой указ императора, запрещающий назначать старообрядцев на высшие должности на частных заводах²² [Байдин, 1983, с. 128–129].

Ссылки и аресты активных представителей старообрядческого движения

Эффективным методом обращения старообрядцев в единоверие оказались аресты и ссылки, которым мог быть подвергнут любой старовер, независимо от материального и социального положения. Так, например, в 1834 г. был арестован на месяц знаменитый екатеринбургский купец, старшина уральского беглопоповского общества Я. М. Рязанов [ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 136, л. 32–33; Агеев, Микитюк, с. 84]. Это событие в совокупности с другими факторами через несколько лет сыграло важную роль в переходе части екатеринбургских «столпов раскола» в единоверие.

Однако не всегда такое давление оборачивалось успехом. Так, например, екатеринбургские купцы П. Я. Харитонов и Г. Ф. Зотов были отправлены в ссылку и наотрез отказались принять единоверие, несмотря на то что им предложили прекратить преследование в случае согласия изменить веру [Агеев, Микитюк, с. 83]. П. Я. Харитонов был

²² Впрочем, сделать это предписывалось в трехлетний срок [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 44, л. 386–387].

по высочайшему повелению «лишен медалей и доброго имени» в 1837 г. и сослан в Кексгольм, где 31 декабря 1838 г. умер, так и не дождавшись ответа на прошение о восстановлении его в купеческом звании [ГАПК, ф. 297, оп. 1, д. 767, л. 2–3, 68, 70–71 об.].

Также староверов могли ссылать в арестантские роты. Такое наказание получили в 1848 г. восемь «раскольников» Черниговской губернии, нарушивших данное императору обещание принять «правильное священство» [СППЧР, 1860, кн. 2, с. 459–460].

Ссылки показали свою эффективность и в Москве. В январе 1854 г. состоялась высылка из древней столицы в разные губернии под надзор «наиболее вредных и нетерпимых в Москве коноводов раскольниковых» [Преображенское кладбище, с. 56–63]. После этого большая часть состоятельных федосеевцев, опасаясь подобной судьбы, приняла решение о переходе в единоверие.

Одним из самых жестких методов борьбы с «упорными раскольниками» (в том числе не желавшими венчаться в единоверческих церквях) была ссылка в северные Богословские заводы, проживание на которых в суровых бытовых и природных условиях становилось серьезным испытанием [см., например: ГАСО, ф. 43, оп. 3, д. 95, л. 1–12 об.]. Несколько лет на Богословских заводах нередко становились причиной присоединения к единоверию, носившего, как правило, неискренний и формальный характер [см., например: ГАСО, ф. 43, оп. 3, д. 85, л. 1–3, 10, 13–13 об., 15, 16; д. 91, л. 1–10; д. 93, л. 1–10].



Старообрядческий священник в облачении, 1830 г.
Рисунок Ф. Г. Солнцева (1801–1892)

Ограничения в сфере совершения обрядов жизненного цикла

В законодательстве того времени нашли свое отражение указы о запрете на совершение обрядов жизненного цикла (крещений, венчаний, отпеваний) старообрядцами и замене их аналогичными обрядами в православных и единоверческих церквях. В 1827 г. был издан указ, который вводил ответственность перед гражданским судом за венчание брака по «раскольниковьему» обряду [ПСЗ, т. 2, № 1257]. В 1828 г. старообрядческим священникам официально было запрещено давать свидетельства о времени кончины людей (эти сведения должны были подтверждаться местной полицией) [Там же, т. 3, № 2356.].



Старообрядческие священник и диакон. Фрагмент настенного листа XIX в.

В начале 1830-х гг. православным священникам Саратовской епархии было разрешено крестить детей «раскольников» без обращения их и родителей в православие или единоверие, а также записывать эти крещения в метрические книги [Соколов, с. 342]. Указ 1844 г. позволял крестить детей тульских и ижевских старообрядцев-оружейников в единоверческих церквях, появившихся там «для ослабления раскола между мастеровыми». В том же указе разрешалось отпевать старообрядцев по православному обряду [ПСЗ, т. 19, № 14409].

Сводные браки стали альтернативой переходу в единоверие и венчанию единоверческим священником. Такие браки совершались наставниками и

были широко распространены в различных регионах страны. «Сводителей» предписывалось предавать суду как «совратителей» (т. е. как тех, кто проповедовал старообрядчество среди православного населения). Сводный брак приравнивался к блудному сожительству, подобные браки правительство требовало расторгать, с предложением, впрочем, узаконить брак в единоверческой церкви [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 429–430]. В таком случае от супругов требовалось принять единоверие. В ряде случаев староверы соглашались венчать брак, но с тем условием, чтобы в единоверие не переходить. Такие просьбы, как правило, не удовлетворялись [РГИА, ф. 1470, оп. 1, д. 43, л. 159–160 об.]. Впрочем, у этого правила было исключение: на рубеже 1830–1840-х гг. петербургский ССК разрешил венчать старообрядческие браки в официальной церкви на территории Пермской губернии без предварительного перехода молодоженов в православие или единоверие, однако, по всей видимости, эта практика существовала недолго [РГИА, ф. 832, оп. 1, д. 48, л. 32 об.–34]²³. С развитием сети единоверческих приходов венчающиеся должны были принять официальное православие или единоверие. Распоряжение Синода 1855 г. освобождало присоединяющихся из раскола от обязательства доставлять содержание «бывшим их наложницам» (т. е. женам, браки с которыми были совершены в старообрядчестве и не признавались властями), старообрядческий брак при этом признавался недействительным, и новоприсоединенным единоверцам разрешалось вступать в новый брак «по чиноположению церковному» [СППЧР, 1860, кн. 2, с. 509–512, 608–611]. Таким образом, переход в единоверие мог быть отличным поводом для того, чтобы развестись

²³ Интересно отметить, что подобная практика существовала в начале XIX в. в Нижнетагильском заводе и его окрестностях [Белобородов, с. 169–171].

с женой и при этом не платить «алименты». В 1855 г. вышло также постановление о том, чтобы «раскольники за безбрачное сожитие с православными и единоверцами подвергаемы были заключению на таковое же время, какое полагается по церковным правилам за ту же вину православным и единоверцам» [СППЧР, 1860, кн. 2, с. 621–622]. Поскольку «безбрачным сожитием» считались любые формы сожительства, кроме венчания, совершенного в официальной церкви, этот акт фактически запрещал православно-старообрядческие и единоверческо-старообрядческие браки, совершенные вне господствующей церкви. Впрочем, на практике этот указ не был достаточно эффективным.

Борьба с беглыми попами

Духовные и светские власти справедливо видели в беглопоповщине, расцветшей в правление Александра I, серьезное препятствие для распространения единоверия и православия среди старообрядцев. Усиление преследований беглых попов происходило по всей стране, что привело к серьезному сокращению числа беглых священников и практически полному их исчезновению в ряде регионов. Беглые священники частью вымирали естественным образом (а ставить новых после «разорения» Иргизских монастырей стало сложнее) либо под угрозой суда переходили в единоверие. Невозможность исправлять требы у беглых попов привела к переходу определенной части старообрядцев в единоверие. Но значительно чаще старообрядцы предпочитали вовсе отказываться от священников (как, например, на Урале). Кроме того, со второй половины 1840-х гг. в России начала действовать старообрядческая Белокриницкая иерархия, ставшая альтернативой единоверию.

Конфискация молитвенных зданий

Одним из наиболее действенных способов давления на старообрядцев была конфискация их молитвенных зданий. Для этого использовались постановления от 1826 и 1827 гг., по которым старообрядцам запрещено было строить новые молитвенные дома, «исправлять» (ремонтировать) старые, устраивать в них престолы [ПСЗ, т. 1, № 584; Сулова, с. 241]. В полной мере действие этого закона проявилось в 1830–1840-е гг. Он имел колоссальные последствия, поскольку давал властям формальный повод для ликвидации практически любого молитвенного сооружения староверов. На практике это выразилось в закрытии сотен старообрядческих моленных и часовен по всей стране²⁴. Зачастую отнятые и «запечатанные» часовни передавались

²⁴ Закрытие этих зданий растянулось более чем на два десятилетия. Однако были и более жесткие варианты развития событий. Так, чиновник особых поручений Скрипицын в 1838 г. предлагал «постановить один общий срок», после которого надлежало закрыть все моельни. Однако Секретный комитет нашел это «неудобным», и закрытие продолжилось в соответствии с постановлениями 1826–1827 гг. [см.: РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 220].

единоверцам [см., например: РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 179–179 об.; д. 44, л. 321, 344, 371, 372, 391–391 об., 406–406 об.; д. 45. 8, 33–34 об., 93–96 об., 142, 190–192]. В некоторых случаях молитвенные здания староверов подвергались уничтожению, а материалы, оставшиеся от них, направлялись на нужды единоверческих церквей [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 44, л. 33–33 об., 38, 175–175 об., 196, 202–203 и др.].

Причины столь массового обращения старообрядческих молитвенных зданий в единоверие и отношение к этому процессу самих единоверцев очень точно передает архиепископ Пермский Аркадий – известный апологет единоверия и «противораскольнический» деятель: в своем отношении к митрополиту Серафиму он просил разрешить «не подвергать устроению» единоверческих церквей «общим правилам»²⁵, ибо не столько сами единоверцы просят церкви, сколько сама церковь умоляет единоверцев принять ее». Он также полагал, что выгоднее устраивать единоверческие церкви из старообрядческих часовен – и быстрее, и дешевле, и таким образом уничтожается часовня, при этом сохраняется внутри старинный вид, что имело особое значение ввиду слухов, что для единоверцев будут строить церкви «по новым планам, а не по старинному благочестию». Петербургский ССК в 1834 г. разрешил устраивать церкви из часовен с одобрения духовного начальства [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 42, л. 204 об.–205 об.], что имело также большое значение для распространения единоверия по всей России.

Правительство пыталось усилить контроль над молитвенными зданиями староверов. С 1835 г. МВД стало требовать от управляющих губерниями сведения о старообрядческих молитвенных зданиях [ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 136, л. 137–137 об.]. В дополнение к указам о запрете строительства новых молелен и ремонту старых в 1836 г. было запрещено обращать крестьянские избы в старообрядческие молельни [ПСЗ, т. 11, № 9107], наличие которых составляло серьезную «конкурентность» новоустроенным единоверческим церквям.

Для упрощения порядка организации единоверческих приходов императором в 1842 г. было сделано повеление, по которому, во-первых, любое число староверов (даже абсолютное меньшинство), желавших перейти в единоверие, получало право на обладание молитвенным зданием целого общества²⁶ (впрочем, подобные прецеденты случались и ранее, как, например, в Перми в 1837 г. [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 91–94]); во-вторых, правительство пыталось ограничить влияние беглопоповских порядков в новых единоверческих общинах, для чего планировалось обеспечить финансовую независимость

²⁵ Под «общими правилами» здесь подразумевается способность прихожан содержать священника (а желательно еще и построить церковь за свой счет). Для содержания батюшки обычно требовалось по меньшей мере несколько сотен человек, а единоверческие приходы зачастую открывались, когда число единоверцев составляло несколько десятков или едва превышало сотню человек.

²⁶ В первой четверти XIX в. правительство в таких случаях отказывало староверам, желавшим обратиться в единоверие, объясняя подобное решение малочисленностью просителей.

священников от прихожан и не допустить их выхода из-под ведения епархиального начальства. В то же время все меры по насаждению единоверия предписывалось принимать «постепенно и с должною осторожностью при содействии духовного начальства» [РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 190, л. 79–80].

В общих чертах можно обрисовать схему обращения старообрядческой общины (или ее части) в единоверие следующим образом. Узнав о том, что староверы проводили ремонт своей неизбежно ветшающей часовни или молитвенного дома (зачастую между фактом ремонта и возбуждением дела о закрытии здания проходили годы), местные власти в лице исправника описывали имущество и запечатывали здание, не позволяя староверам вынести оттуда книги, иконы и богослужебные принадлежности. Священные (к тому же ценные в материальном плане) вещи портились от ненадлежащих условий хранения (повышенная влажность и затхлый воздух в непроветриваемом помещении), а староверы оставались без возможности совершать полноценное богослужение. Как правило, старообрядцы писали многочисленные прошения с просьбой распечатать их здание или хотя бы позволить вынести вещи, однако подобные просьбы оставались без внимания [см., например: ГАСО, ф. 43, оп. 3, д. 18, л. 2–52; д. 32, л. 1–6; д. 45, л. 1–10 об.; д. 52, л. 1–4; д. 97, л. 1–6; д. 117, л. 1–2, 5–6]. Чтобы не допустить окончательного разрушения здания по естественным причинам, а вдобавок под влиянием миссионеров и административным давлением, община (или ее часть) была вынуждена принимать единоверие. Часто принятие единоверия раскалывало общину на две части, относившиеся друг к другу с резким неприятием.

Процесс передачи часовен единоверцам был достаточно сложен. Практически каждое дело решалось в индивидуальном порядке на уровне петербургского ССК и императора. В ряде случаев, как, например, в дер. Горскиной и г. Кунгуре, центральные власти предписывали действовать осторожно и часовни единоверцам не передавать, чтобы не «заводить распри» [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 56–57, 64–64 об.], также не всегда удавалось найти повод и возможность закрыть старообрядческие часовни, например, в дер. Токаревой Оханского уезда (1838) [РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 284–284 об.] и дер. Лая Верхотурского уезда (1839) [ГАСО, ф. 43, оп. 3, д. 16, л. 6–20]²⁷. Необходимо отметить, что даже в тех случаях, когда единоверческие церкви строились «вновь», находящиеся в тех же населенных пунктах часовни и моленные староверов чаще всего также закрывались, чтобы не вредить «делу насаждения единоверия» [см., например: ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 145, л. 31–72]. Зачастую богослужебные предметы, иконы и книги передавались из старообрядческих часовен и молелен в единоверческие церкви [см., например: РГИА, ф. 1473, оп. 1, д. 43, л. 66–66 об.].

²⁷ Часовню все же закрыли позже, в 1845 г. [Варушкин, с. 299–303].

Ослабление или ликвидация крупных центров староверия

Насаждению единоверия во многом препятствовали мощные, хорошо организованные и влиятельные центры старообрядчества. Для их ликвидации или, по крайней мере, ослабления использовались все вышеперечисленные методы. Тема борьбы правительства со старообрядческими центрами достаточно хорошо изучена в литературе, поэтому перечислим лишь основные центры, даты и события.

Наступление началось с Иргизских монастырей, главной функцией которых было «исправление» беглых попов господствующей церкви и «поставка» их в общества староверов по всей стране, естественно за определенное вознаграждение. В 1829 г. в результате мощного давления властей был обращен в единоверие Нижне-Воскресенский монастырь. В 1837 г. состоялось драматичное обращение Средне-Никольского монастыря, который брала «команда» из 600 человек военных и 2000 «понятых» из местных православных [ЛАИ УрФУ, XIV, 63р/685, л. 152 об.–154; Варадинов, с. 285–289; Соколов, с. 306–326, 368–373, 375–381; Наумлюк, с. 79–80; Рыков, с. 301–313; Починская, с. 183–191; Полозов]; а в 1841 г. в результате внезапного и стремительного натиска



Свято-Троицкий кафедральный собор (бывшая Свято-Троицкая единоверческая церковь), г. Екатеринбург. Современный вид

властей был обращен Верхне-Спасо-Преображенский монастырь [РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 190, л. 29–31 об.; Варадинов, с. 395–397]. После «разорения» монастыри фактически прекратили свое существование. Значение «разорения» Иргиза заключалось в том, что, лишившись возможности получать священников, часть старо-

обрядцев не только в Саратовской губернии, но и по всей стране перешла в единоверие. Однако эффект оказался далеко не таким, какого ожидало правительство: позиции старообрядчества лишь пошатнулись, но оно устояло.

В 1838 г. единоверие приняла большая часть екатеринбургских купцов – основных руководителей урало-сибирской беглопоповской организации [Байдин, 1983, с. 124–127; Байдин, 2003, с. 120].

В 1840 г. произошел силовой захват Троицкой нижнетагильской часовни (приведший к волнениям старообрядцев Нижнетагильских заводов), бывшей важным религиозным центром всей нижнетагильской округи [ГАПК, ф. 65, оп. 4, д. 153, л. 4–4 об.; д. 157; ГАСО, ф. 43,

оп. 3, д. 25; Варушкин, с. 169–174; Краткий очерк, с. 600–601; Байдин, 1996, с. 69–76; Шкерин, 1995, с. 94–102].

В 1854–1856 гг. состоялось внедрение единоверия в двух крупнейших московских центрах – Рогожском (там в 1856 г. были опечатаны алтари) [Юхименко, с. 22–25, 29–45] и Преображенском кладбищах [Начало единоверия; Преображенское кладбище, с. 56–63] (там позднее был открыт единоверческий монастырь).

Удары по религиозно-организационным центрам в определенной мере способствовали переходу части старообрядцев в единоверие, однако действительно массовых обращений не произошло.

Реакция старообрядцев

Мощное репрессивное давление властей на староверов приводило к тому, что последние вынуждены были находить способы противостояния: прямое противостояние властям (реже), формальная смена веры (чаще).

До прямого противостояния, когда староверы выходили защищать свои молитвенные здания, дело доходило не всегда. Деррадикализованные староверы XIX в. старались не вступать в конфронтацию с властью. И даже в крайних случаях, как, например, при взятии Иргизских монастырей (когда староверы стояли едва не насмерть), заявляли, что царю они повинуются, но монастыри единоверцам не отдадут. В ряде случаев происходили физические столкновения (как, например, в Нижнем Тагиле), однако власти никогда не решались применять огнестрельное оружие (для разгона протестующих использовались пожарные водометы, что в зимнее время было весьма эффективно). В официальных документах часто звучало требование действовать со старообрядцами осторожно, чтобы не спровоцировать беспорядки.

В условиях давления староверы принимали единоверие в большей степени формально, избавляясь таким образом от преследований. Однако формальный переход совсем не означал действительной смены веры. Об этом свидетельствуют и многочисленные факты пребывания в расколе семей, главы которых дали подписку на присоединение к единоверию или православию. Остальные домочадцы могли оставаться в расколе десятилетиями. Бывало, дети умирали без крещения в единоверческой церкви, старики уходили в иной мир без напутствия единоверческого священника, а новобрачные принимали единоверие только накануне венчания [Агеев, Микитюк, с. 94–95].

Правительство вынуждено было мириться с внутренней автономией некоторых единоверческих общин, как, например, в случае с единоверием «на особых условиях» в Екатеринбурге. Однако это вовсе не означало того, что они полностью отказались от своих старообрядческих убеждений. «Единоверие на особых условиях» способствовало частичному сохранению прежней беглопоповской организации.

Наиболее емко существовавшее положение дел можно описать фразой епископа Екатеринбургского Ионы (Капустина): «Здесь гнездо раскола, личиной единоверия прикрываемое...»²⁸ Однако масштабы этой организации вследствие николаевских репрессий значительно сократились. В то же время представители верхушки екатеринбургского единоверия сохранили обширные связи и пользовались уважением среди старообрядческих и единоверческих общин страны.

Единоверие насаждалось в весьма неблагоприятной для него старообрядческой среде. Прекрасно организованные, нередко зажиточные и многочисленные старообрядческие общества могли эффективно противостоять давлению правительства. Сила старообрядчества заключалась не только в нескольких влиятельных центрах, но и в том, что оно было широко распространенным и в значительной степени децентрализованным явлением, что позволяло староверам успешно сохранять «веру отцов», сопротивляясь насаждению единоверия.

Старообрядческие общины обладали мощными механизмами самозащиты от чуждого влияния. Единоверцы в тех местах, где единая старообрядческая община раскалывалась (как правило, в единоверие переходила меньшая часть верующих), могли подвергаться своеобразному общественному ostracismu от оставшихся преданными заветам отцов бывших собратьев. Ситуация могла усугубляться тем, что, по мнению староверов, единоверцам несправедливо отходила когда-то общая часовня и часовенное имущество, купленное на общественные деньги. Свою роль здесь играли сложные межличностные отношения, старые обиды и личные счеты.

Насильственное насаждение единоверия привело совсем не к тем результатам, которые ожидало правительство: старообрядчество не было уничтожено; староверы, оставшиеся без беглых попов, охотнее переходили в беспоповское согласие, чем принимали единоверие; правительство потеряло поддержку старообрядцев. Единоверие, ставшее неотъемлемой частью репрессий против старообрядчества, было серьезно дискредитировано, что осложняло перспективы его дальнейшего развития.

Агеев С. С., Микитюк В. П. Рязановы – купцы екатеринбургские. Екатеринбург : УрО РАН, 1998. 190 с.

Байдин В. И. О социальной природе волнений старообрядцев на Нижнетагильских заводах в 1840 г. // Проблемы истории России. [Вып. 1]: От традиционного к индустриальному обществу: сб. науч. тр. Екатеринбург : Волот, 1996. С. 69–76.

Байдин В. И. Старообрядчество Урала и самодержавие (конец XVIII – середина XIX вв.): дис. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1983. 230 с.

²⁸ Так, например, в 1853 г. Г. Ф. Казанцев, как во времена расцвета беглопоповщины, разбирал случай пьяной ссоры между священником и дьяконом единоверческой церкви на Кыштымском заводе (что по церковным правилам было прерогативой епархиального начальства) [см.: Байдин, 2003, с. 120; ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 3, л. 1–14 об., 29–30, 36–49, 129–135].

Байдин В. И. У власти. Купцы-старообрядцы и общество старообрядцев Сибирского края // Родина. 2003. № 8. С. 117–120.

Белобородов С. А. Старообрядческие священники Нижнего Тагила в конце XVIII – первой трети XIX в. // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2009. Вып. 7 : в 2 ч. Ч. 1. Социально-политическая история. С. 167–178.

Варадинов Н. История министерства внутренних дел. История распоряжений по расколу. СПб. : Тип. Второго отделения С. Е. И. В. Канцелярии, 1863. Кн. 8. доп. 656 с.

Варушкин Н., свящ. О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе // Православный собеседник. 1866. Ч. 1. № 1. С. 3–36; Ч. 2. № 7. С. 167–218; Ч. 3. № 9. С. 48–79; № 11. С. 169–204; 1867. Ч. 1. № 4. С. 3–42; № 6. С. 272–311.

ГАПК – Государственный архив Пермского края, г. Пермь. Ф. 65 (Канцелярия Пермского губернатора). Оп. 2. Д. 863. Оп. 4. Д. 136, 145, 148, 153; Ф. 280 (Главное управление именными князя С. С. Абаменек-Лазарева). Оп. 1. Д. 816; Ф. 297 (Исторический архив Пермской губернской ученой архивной комиссии). Оп. 1. Д. 767; Оп. 2. Д. 890.

ГАСО – Государственный архив Свердловской области, г. Екатеринбург. Ф. 1 (Казанцев Гавриил Фомич, купец-старообрядец). Оп. 1. Д. 3; Ф. 6 (Екатеринбургская консистория). Оп. 1. Д. 497, 519, 534, 540, 546, 547, 561, 596; Ф. 43 (Канцелярия главного начальника Уральских горных заводов). Оп. 3. Д. 18, 24, 25, 32, 41, 45, 52, 85, 91, 93, 95, 97, 117.

Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его политические институты (Первая половина XIX в.). М. : Мысль, 1981. 252 с.

Кельсиев В. Сборник правительственных сведений о раскольниках. Лондон : Вольная русская тип., 1861. Вып. 2. 298 с.

Краткий очерк возникновения и распространения единоверия в пределах Екатеринбургской епархии // Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург : Изд. Бр-ва Св. праведного Симеона Верхотурского, 1902. С. 578–612.

Кутьев О. Л. Единоверие в Пермских вотчинах Строгановых (30–50-е гг. XIX в.) // Мир старообрядчества. Вып. 4. Живые традиции: Результаты и перспективы комплексных исследований: материалы междунар. науч. конф. М., 1998. С. 275–282.

ЛАИ УрФУ – Лаборатория археографических исследований УрФУ. Шалинское (XIV) собрание. 63р/685.

Наумлюк А. А. Центр старообрядчества на Иргизе: появление, деятельность, взаимоотношения с властью. Саратов : Научная книга, 2009. 99 с.

Начало единоверия на раскольничьем Преображенском кладбище в Москве // Православное обозрение. 1866. № 5 (май). С. 117–128.

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 1. № 584; Т. 2. № 1257; Т. 3. № 2356; Т. 11. № 9107; Т. 19. № 14409.

Полозов С. П. Из истории Прииргизского старообрядчества XVIII–XIX вв. [Электронный ресурс]. URL: <http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/109-1-0-891> (дата обращения: 09.04.2013).

Починская И. В. Исторические сочинения о противостоянии старообрядцев и власти из собрания ЛАИ УрГУ // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Вып. 7. Ч. 2. Екатеринбург, 2009. С. 183–191.

Преображенское кладбище и его прошлое. М., 1901. С. 56–63.

РГИА – Российский государственный исторический архив, г. Санкт-Петербург. Ф. 796 (Канцелярия Синода). Оп. 88. Д. 534; Оп. 205. Д. 190; Ф. 832 (Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский). Оп. 1. Д. 48; Ф. 1473 (Секретный комитет по делам раскола). Оп. 1. Д. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 36, 38, 42–46.

Рыков Ю. Д. Новонайденная повесть о разорении Иргизского Средне-Никольского монастыря в 1837 г. // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.) / отв. ред. Е. М. Юхименко. М., 1999. С. 310–313.

Скворцов Г. А. Саратовский высочайше учрежденный секретный совещательный комитет по делам о раскольниках, сектантах и отступниках от православия: [Краткий очерк его учреждения и деятельности]. Саратов : Тип. Союза печ. дела, 1915. 44 с.

СППЧР, 1856 – Собрание постановлений по части раскола. СПб. : Тип. МВД., 1856. 771 с.

СППЧР, 1860 – Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Св. Синода. СПб. : Тип. МВД., 1860. Кн. 1. (1716–1800). 790 с.; Кн. 2 (1801–1858). 851 с.

Соколов Н. С. Раскол в саратовском крае. Опыт исследования по неизданным материалам. Поповщина до пятидесятих годов настоящего столетия. Саратов : Штерцер и Ко, 1888. 480 с.

Суслова Л. Н. Старообрядческие молитвенные здания в Тобольской губернии в XIX – начале XX в. // Проблемы истории России. Вып. 6. Екатеринбург, 2005. С. 240–271.

Шкерин В. А. Закрытие старообрядческих часовен в Нижне-Тагильском заводском округе в 30–40-е годы XIX века // Религия и церковь в Сибири. Вып. 8. Тюмень, 1995. С. 94–102.

Шкерин В. А. Генерал Глинка. Личность и эпоха. 3-е изд., доп. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2008. 228 с.

Шлеев С. И., свящ. Единение в своем внутреннем развитии (в разъяснение его малораспространенности среди старообрядцев) // Путь на Голгофу. М. : Изд-во ПСТГУ, 2005. Т. 2. Духовное наследие священномученика Симона, епископа Охтенского. С. 105–508.

Юхименко Е. М. Старообрядческий центр за Рогожской заставой. М. : Языки славянской культуры, 2005. 240 с.

Ageev, S. S. & Mikityuk, V. P. (1998). *Ryazanovy' – kupcy' ekaterinburgskie* [The Ryazanovs – Ekaterinburg merchants]. Ekaterinburg: UrO RAN.

Bajdin, V. I. (1983). *Staroobryadchestvo Urala i samoderzhavie (konecz XVII – seredina XIX vv.): diss. ... kand. ist. nauk* [Old Belief of Ural and autocracy (late 17th – mid. 19th cc.)]. (Dissertation). Sverdlovsk.

Bajdin, V. I. (1996). O social'noj prirode volnenij staroobryadcev na Nizhetagil'skikh zavodah v 1840 g. [About social nature of disorders of the Old Believers at Nizhny Tagil plants in 1840]. In *Problemy' istorii Rossii: ot tradicionnogo k industrial'nomu obshchestvu: sb. nauch. tr.* (Iss. 1, pp. 69–76). Ekaterinburg: Volot.

Bajdin, V. I. (2003). U vlasti. Kupcy'-staroobryadcy' i obshchestvo staroobryadcev Sibirskogo kraja [In power. Merchants-Old Believers and the society of Old Believers of Siberian land]. *Rodina*, 8, 117–120.

Beloborodov, S. A. (2009). Staroobryadcheskie svyashenniki Nizhnego Tagila v konce XVII – pervoj treti XIX v. [Priests-Old Believers in Nizhny Tagil in the late 17th – first third of 19th c.]. In *Ural'skij sbornik. Istoriya. Kul'tura. Religiya.* (Iss. 7: in 2 parts). (Part 1, p. 167–178). Ekaterinburg: Izd-vo UrGU.

Eroshkin, N. P. (1981). *Krepostnicheskoe samoderzhavie i ego politicheskie instituty' (pervaya polovina XIX v.)* [Villeinage autocracy and its political institutions (first half of the 19th c.)]. Moscow: My'sl'.

Gosudarstvennyj arhiv Permskogo kraja, Perm' [The state archive of the Perm region, Perm]. Stock 65 (Perm governor office). List 2, Dossier 863. List 4, Dossier 136, 145, 148, 153; Stock 280 (Central board of prince S.S. Abamelek-Lazarev's estates). List 1. Dossier 816; Stock 297 (Historical archive of Perm provincial scientific archival commission). List 1. Dossier 767; List 2. Dossier 890.

Gosudarstvennyj arhiv Sverdlovskoj oblasti, Ekaterinburg [The state archive of Sverdlovsk region, Ekaterinburg]. Stock 1 (Kazantsev Gavriil Fomich, merchant-Old Believer). List 1. Dossier 3; Stock 6 (Ekaterinburg history). List 1. Dossier 497, 519, 534, 540, 546, 547, 561, 596; Stock 43 (Office of the chief of Ural mining plants). List 3. Dossier 18, 24, 25, 32, 41, 45, 52, 85, 91, 93, 95, 97, 117.

Kel'siev, V. (1861). *Sbornik pravitel'stvenny'h svedenij o raskol'nikah* [Collection of governmental information about dissenters]. (Iss. 2). London: Vol'naya russkaya tip.

Kratkij ocherk vozniknoveniya i rasprostraneniya edinoveriya v predelakh Ekaterinburgskoj eparhii [Brief essay on the rise and spread of coreligion within Ekaterinburg eparchy]. (1902). In *Prihody' i cerkvi Ekaterinburgskoj eparhii* (pp. 578–612). Ekaterinburg: Izd. Br-va St. pravednogo Simeona Verhoturskogo.

Kut'ev, O. L. (1998). Edinoverie v Permskikh votchinah Stroganovy'h (30–50-е гг. XIX v.) [Coreligion in Stroganovs' Perm estates (30–50s of the 19th c.)]. In *Mir staroobryadchestva.* (Iss. 4, pp. 275–282). Moscow.

Laboratoriya arheograficheskikh issledovanij UrFU. Shalinskoe (XIV) sobranie [Laboratory of archaeological researches of the Federal University of Ural. Shalinsk collection]. (n.d.).

Nachalo edinoveriya na raskol'nicheskom Preobrazhenskom kladbishhe v Moskve [The beginning of coreligion at Preobrazhenskoe cemetery in Moscow]. (1866). *Pravoslavnoe obozrenie*, 5, 117–128.

Naumlyuk, A. A. (2009). *Centr staroobryadchestva na Irgize: poyavlenie, deyatel'nost', vzaimootnosheniya s vlast'yu* [The center of Old Belief on Irgiz: rise, activity, relations with the authorities]. Saratov: Nauchnaya kniga.

Pochinskaya, I. V. (2009). Istoricheskie sochineniya o protivostoyanii staroobryadcev i vlasti iz sobraniya LAI UrGU [Historical essays about confrontation of Old Believers and authority from the collection of LAI UrGU]. In *Ural'skiy sbornik. Istoriya. Kul'tura. Religiya*. (Iss. 7, part 2, pp. 183–191). Ekaterinburg.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii [Complete collection of laws of the Russian empire]. Collection 2. Vol. 1. № 584; Vol. 2. № 1257; Vol. 3. № 2356; Vol. 11. № 9107; Vol. 19. № 14409.

Polozov, S. P. (n.d.). *Iz istorii Priirgizskogo staroobryadchestva XVIII–XIX vv.* [From history of Preirgiz Old Belief of 18th–19th cc.]. Retrieved from: <http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/109-1-0-891>.

Preobrazhenskoe kladbishhe i ego proshloe [Preobrazhenskoe cemetery and its past]. (1901). (pp. 56–63). Moscow.

Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv, St. Petersburg. [Russian state historical archive, St. Petersburg]. Stock 796 (The office of synod). List 88. Dossier 534; List 205. Dossier 190. Stock 832 (Filaret (Drozdov), metropolitan of Moscow and Kolomenskoe). List 1. Dossier 48. Stock 1473 (The secret committee for split affairs). List 1. Dossier 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 36, 38, 42–46.

Ry'kov, Yu. D. (1999). Novonajdannaya povest' o razorenii Irgizskogo Sredne-Nikol'skogo monasty'rya v 1837g. [Newly found story about devastation of Sredne-Nikol'skij monastery in Irgiz in 1837]. In E. M. Yuhimenko (Ed.), *Staroobryadchestvo v Rossii (XVII–XX vv.)* (pp. 310–313). Moscow.

Shkerin, V. A. (1995). Zakry'tie staroobryadcheskikh chasoven v Nizhne-Tagil'skom zavodskom okruge v 30–40e gody' XIX veka [Closing of Old Belief chapels in Nizhny Tagil factory district in 30–40s of the 19th century]. In *Religiya i cerkov' v Sibiri* (Iss. 8, pp. 94–102). Tyumen.

Shkerin, V. A. (2008). *General Glinka. Lichnost' i e'poha* [General Glinka. Personality and epoch]. (3rd ed. enlarged). Ekaterinburg: Bank kul'turnoj informacii.

Shleev, S. I., svyashh. (2005). Edinoverie v svoem vnutrennem razvitii (v raz"yasnenie ego malorasprostranennosti sredi odryadcev) [Coreligion in its internal development (in explanation of its rarity among believers)]. In *Put' na Golgofu*. (Vol. 2, pp. 105–508). Moscow: Izd-vo PSTGU.

Skvorczov, G. A. (1915). *Saratovskij vy'sochajshe uchrezhdennyj sekretnyj soveshhatel'nyj komitet po delam o raskol'nikah, sektantah i otstupnikah ot pravoslaviya: [Kratkij ocherk ego uchrezhdeniya i deyatel'nosti]* [Saratov highly established secret advisory committee on dissenters, sectarians and apostates from Orthodoxy: brief essay on its establishment and activity]. Saratov: Tip. Soyuzu pech. dela.

Sobranie postanovlenij po chasti raskola [Collection of resolutions on split]. (1856). St. Petersburg: Tip. MVD.

Sobranie postanovlenij po chasti raskola, sostoyavshihsya po vedomstvu Sv. Sinoda [Collection of resolutions on split adopted on the advice of the Synod]. (1860). (Book 1, 1716–1800). (Book 2, 1801–1858). St. Petersburg: Tip. MVD.

Sokolov, N. S. (1888). *Raskol v saratovskom krae. Opy't issledovaniya po neizdannym materialam. Popovshhina do pyatidesyaty'h godov nastoyashhego stoletiya* [Split in Saratov region. Experience of research on unpublished materials. Clericalism till 50s of the current century]. Saratov: Shtercer i Ko.

Suslova, L. N. (2005). Staroobryadcheskie molitvenny'e zdaniya v Tobol'skoj gubernii v XIX – nachale XX v. [Old Belief places of worship in Tobolsk province in the 19th – early 20th c.]. In *Problemy istorii Rossii* (Iss. 6, pp. 240–271). Ekaterinburg.

Varadinov, N. (1863). *Istoriya ministerstva vnutrennih del. Istoriya rasporyazhenij po raskolu* [History of the Ministry of Home Affairs. History of orders on split]. (Book 8 enlarged). St. Petersburg: Tip. Vtorogo otdeleniya S.E.I.V. Kancelyarii.

Varushkin, N. svyashh. (1866; 1867). O edinoverii v Nizhnetagil'skom zavode i ego okruge [About coreligion in Nizhy Tagil plant and its vicinity]. *Pravoslavnyj sobesednik*, Part 1, 1, 3–36; Part 2, 7, 167–218; Part 3, 9, 48–79; 11, 169–204; Part 1, 4, 3–42; 6, 272–311.

Yuhimenko, E. M. (2005). *Staroobryadcheskij centr za Rogozhskoj zastavoyu* [The center of Old Belief beyond Rogozhskaya gate]. Moscow: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury'.

The article was submitted on 18.05.2014

Александр Сергеевич Палкин

к. и. н.

Россия

Уральский федеральный

университет

alexander.palkin87@gmail.com

Alexander Palkin, Dr

Russia

Ural Federal University

alexander.palkin87@gmail.com

**КОНФОРМИЗМ ПРИХОДСКОЙ РЕФОРМЫ
К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА**

Alexey Beglov

**THE CONFORMISM OF K. P. POBEDONOSTSEV'S
PARISH REFORM**

The article is devoted to the measures taken by chief procurator of the Holy Synod Konstantin Pobedonostsev between the 1880s–1890s and aimed at the reduction of the severity “of the parish question” in the Russian Empire. The measures included the revision of the parish reforms of the epoch of Great reforms, resulting in a parish counter-reform. It introduced the policy abolishing the enlargement of parishes, which was supported by the episcopate. It also included an unachieved attempt to change *The Regulations of the Parish Wards in Orthodox Churches* (1864). A new edition of *The Instruction to the Church (Parish) Elders* was published at that time, and new attempts were made to solve the issue of material support of the clergy, primarily through the introduction of a government salary. The author agrees that in his parish reform K. P. Pobedonostsev was maneuvering between different social forces, especially between the bishops and the active *zemstvo* members, trying to make concessions to both, but not changing anything substantially. As a result, his “reform” consisting of half-measures was not only incomplete, but, in fact, could not enhance the life of the parish and therefore met the challenges of the time.

Keywords: Russian history of the 19th century; history of the Russian Orthodox Church; Church reform; reform of the Orthodox parish; the spiritual estate; “public Ministry”; Church warden; parochial guardianship; K. P. Pobedonostsev.

Рассматривается комплекс мероприятий 1880–1890-х гг. обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева, направленных на снижение остроты «приходского вопроса» в Российской империи. Часть этих мероприятий представляла собой ревизию приходских преобразований эпохи Великих реформ, своего рода приходскую контрреформу. В их числе были поддержанный епископатам отказ от политики укрупнения приходов, а также незавершенная попытка изменения Положения о приходских попечительствах при православных церквях 1864 г. Кроме того,

в этот период была издана новая редакция Инструкции церковным (приходским) старостам и предприняты новые попытки решения вопроса материального обеспечения духовенства, прежде всего путем введения казенного жалованья. Автор солидаризуется с той точкой зрения, что К. П. Победоносцев, проводя свою «приходскую реформу», лавировал между различными общественными силами, в первую очередь между епископатом и активными земцами, стремясь сделать уступки тем и другим, не меняя ничего по существу. На основе анализа свода постановлений и законов, а также архивных материалов делается вывод о том, что его реформа не только осталась незавершенной, но и не могла в принципе активизировать жизнь прихода, а значит, и ответить на вызовы времени.

Ключевые слова: история российской православной церкви, реформа православного прихода, духовное сословие, «народное пастырство», церковные старосты, приходские попечительства, К. П. Победоносцев.

Время, наступившее после Великих реформ, традиционно именуется в историографии периодом контрреформ. В сфере идеологии и церковной политики контрреформы связывают с именем К. П. Победоносцева. Действительно, Победоносцев стремился пересмотреть



Константин Петрович Победоносцев. Портрет работы В. А. Серова. 1902 год

наследие своего предместника в обер-прокурорском кресле Д. А. Толстого, повернуться «лицом к иерархии», мнениям которой последний так явно бросал вызов [Полунов, с. 31]. В области приходского строительства новый обер-прокурор намеревался отказаться от самых одиозных шагов Д. А. Толстого, прежде всего от политики укрупнения приходов (подробнее см.: [Римский, с. 518–546]. Между тем приходские преобразования 1860–1870-х гг. были настолько неудачны, недовольство ими в церковной среде было настолько велико, что взяться за их коррекцию требовала логика самой жизни (подробнее см.: [Руновский; Папков; Смолич, 1997, с. 79–81; Freeze; Федоров; Римский; Алексеева].

С другой стороны все громче свою позицию в области приходских преобразований заявляли новые общественные силы, прежде всего земцы [Беглов, 2014a]. С их публичными выступлениями следовало считаться или, по крайней мере, как-то реагировать на них. В этом контексте вырисовывались контуры того, что можно обозначить как «приходская реформа» К. П. Победоносцева. Конечно, о ней мы можем говорить с большой долей условности. Речь шла скорее об отдельных мероприятиях, которые могли бы успокоить общество, иерархию, но оставили бы в неприкосновенности основу существующей системы государственной церковности в целом и приходского устройства в частности.

Реализация «реформы» предполагала следующие действия: отмену укрупнения приходов, решение вопроса о материальном обеспечении духовенства, пересмотр инструкции церковным старостам, реформу приходских попечительств.

Отмена урезанных штатов приходских церквей 1869 г. была самым естественным и ожидаемым шагом со стороны нового обер-прокурора. Хотя в этом вопросе К. П. Победоносцев действовал со свойственными ему осторожностью и постепенностью. В первые месяцы после своего назначения он только собирал мнения иерархов по поводу политики укрупнения приходов, пытался предугадать их возможную реакцию на отмену этой политики. Вскоре в Синод начали поступать с мест многочисленные прошения прихожан о восстановлении закрытых приходов, удовлетворению которых, по словам самого обер-прокурора, была открыта «широкая дорога». Первые законодательные шаги были совершены в конце 1881 г., когда было принято официальное определение об усилении причтов Санкт-Петербургской и Московской епархий. Окончательная отмена штатов 1869 г. последовала 19/28 февраля 1885 г. одновременно с закрытием Присутствия по делам православного духовенства. Восстанавливать ранее упраздненные приходы епархиальные власти теперь могли без обращения в Синод. Впрочем, полностью восстановить прежнюю приходскую сеть было уже невозможно. Во многих местах возобновление приходов вызывало глухое сопротивление духовенства, ожидавшего уменьшения своих доходов, и даже консисторий. Особенно священников раздражало возвращение в причты штатных диаконов. Где-то восстановление приходов превращалось в кампанию со стороны преосвященных, так что храмы появлялись там, где уже не было прихожан. В любом случае все это вновь обостряло актуальность вопроса о материальном обеспечении духовенства [Айвазов, с. 39–42; Freeze; Полунов, с. 49–50; Римский, с. 542–546.].

Неудачный опыт решения этой проблемы через учреждение приходских попечительств оживил дискуссии начала 1860-х гг. Тогда, как и 20 лет спустя, обсуждались две основные стратегии решения этого вопроса. Общественные круги, близкие к славянофилам, выступали против идеи государственного жалования духовенству и ратовали за обеспечение священнослужителей силами приходов, что одновременно предполагало выборность клириков, передачу приходам всех церковных доходов и принятие на счет казны содержания духовно-учебных заведений. Авторы из священников, напротив, единодушно и горячо доказывали необходимость полного обеспечения причтов за счет государства. При этом последние подвергали раздраженной и массовой критике позицию славянофильских органов печати. К. П. Победоносцев поначалу не был готов солидаризоваться ни с одной из этих точек зрения. По замечанию А. Ю. Полунова, первое его не устраивало потому, что означало демократизацию приходской жизни, второе – потому, что окончательно превращало священников в чиновников и вело

к полному разрыву с прихожанами. Материальные проблемы духовенства казались обер-прокурору надуманными; решить эти вопросы он полагал возможным, сократив его потребности. Подобные взгляды были изложены в 1880 г. в записке близкого тогда к К. П. Победоносцеву епископа Дмитровского Амвросия (Ключарева). Он предлагал, с одной стороны, назначать в бедные приходы священников бездетных, престарелых, несемейных, с другой стороны – сделать ставку на традиционную религиозность народа и начать формирование клира из мирян-простолюдинов. Так, пожалуй, впервые мы встречаемся с идеей «народного пастырства», которая еще неоднократно в самых разных вариациях будет появляться в контексте приходской реформы. Обратим внимание, что здесь «народное пастырство» мыслилось не выборным; такой «народный пастырь» не выдвигался самостоятельным приходом, а по-прежнему приходил в него по назначению епископа. Идея «народного пастырства», очевидно, тогда была особенно симпатична обер-прокурору. Но в ней его привлекала не столько возможность тесного единения пастырей и пасомых, возможность действительного демонтажа духовного сословия, сколько возможность получить клир, не прошедший специальную богословскую школу. К. П. Победоносцевым руководило прежде всего недоверие к высокой богословской культуре, которая в его глазах была источником повышенных материальных запросов и «умничанья». Однако большинство епископов отнеслись скептически к предложениям епископа Амвросия. Они не были готовы отказаться от «важнейшей традиции имперской государственности – просвещения» клириков [Самарин 1908, с. 97–115; Знаменский, с. 843–844; Полунов, с. 46–49.].

В результате обер-прокуратура вернулась к идее казенного жалованья. Перспектива назначения жалованья обсуждалась еще в конце обер-прокурорства Д. А. Толстого. Тогда уже было ясно, что ни учреждение попечительств, ни укрупнение приходов не привели к существенному повышению благосостояния духовенства и государственное жалованье остается единственным реальным способом решения этой проблемы. В 1880 г. проект обеспечения жалованьем сельского (и только сельского) духовенства империи рассматривало Присутствие по делам православного духовенства. Предполагалось, что будет установлен особый налог с земель, принадлежащих как крестьянам, так и казне и помещикам, и с другого имущества, облагаемого земскими сборами. Раскладку этого сбора планировали поручить «губернскому по крестьянским делам и особому о земских повинностях присутствиям» на тех же основаниях, что раскладываются земские повинности. Аналогичный сбор был установлен в юго-западных губерниях в 1867 г., а затем и в северо-западных. Предполагалось, что эта мера даст средства, которые позволят выплачивать 600 руб. настоятелю, 400 руб. помощнику настоятеля и 200 руб. в год псаломщику. При этом духовенство должно было полностью отказаться от взимания платы за обязательные требы, к которым Присутствие относило

молитву над новорожденным и родильницей, крещение и миропомазание, венчание, исповедь и причастие, соборование и предсмертное напутствие, отпевание. Был подсчитан и размер проектировавшегося налога. Для обеспечения штатного сельского духовенства тридцати семи внутренних губерний требовалось собирать 15 652 277 руб. в год (при отпускаемых 2 118 922 руб.) [О мерах, с. 7, 32–39]. Но реализован этот проект не был. В 1890 г. печать активно обсуждала новый проект отмены платы за требы и назначения жалованья уже всему духовенству империи. Писали, что этот проект был «подробно разработан» в Синоде и находился на согласовании с министерствами финансов и внутренних дел. Средства для такой реформы должен был дать особый налог со всего православного населения империи. Судя по суммам, которые предполагалось выплачивать священнослужителям (1200 руб. в год благочинным и протоиереям, 600 руб. священникам, 300 руб. диаконам, 200 руб. псаломщикам), между этим проектом и проектом 1880 г. существовало некоторое преемство. Впрочем, Присутствие по делам православного духовенства считало, что назначение подушных сборов, которые легли бы только на податные сословия, было бы «сколь обременительно, столько же и несправедливо». На этот раз для обеспечения жалованьем всего духовенства империи, по подсчетам духовного ведомства, ежегодно требовалось 32 841 600 руб. [Известия и заметки; О мерах, с. 32–33], в два раза больше, чем по проекту десятилетней давности. Как бы то ни было, этот проект также не был реализован. В следующем, 1891 г. в России разразился голод, во время которого пострадало и духовенство. Это стало определенным толчком для реализации планов по обеспечению духовенства казенным содержанием. С 1893 г. этот процесс шел особенно активно, тем более что такая стратегия обеспечения духовенства пользовалась личной поддержкой императора Александра III [Полунов, с. 52]. Для этих целей из средств государственного казначейства дополнительно выделялось сначала 250, а затем по 500 тыс. руб. в год без назначения каких-либо дополнительных сборов. Однако этих субсидий было недостаточно, чтобы решить вопрос о материальном обеспечении духовенства принципиальным образом. Поэтому полемика о необходимости введения казенного жалованья для духовенства продолжалась.

Наиболее острая критика идеи жалованья и сословности духовенства в этот период принадлежала автору анонимной книги «Церковные вопросы в России», вышедшей в Брайле в 1896 г. С. И. Алексеева считает, что ее авторство принадлежало Н. Н. Дурново, публицисту и в прошлом издателю московской газеты «Восток» (закрыта в 1886 г.), пропагандировавшей идеи «византизма» и церковные реформы [Алексеева, с. 101–104]. Книга Н. Н. Дурново – жесткий политический памфлет, в котором К. П. Победоносцев именуется не иначе как «главой» Русской Церкви. Окончательный перевод духовенства на жалованье от казны, по мнению автора, только способствовал бы замыканию духовенства в своем сословии, по его выражению,

в своей «касте», сделал бы его привилегированным, подобно дворянству. «Какие гарантии, – задавался он вопросом, – получит народ, что обеспеченное правительством духовенство, не будет “драть с живого и мертвого”... и будет уставно отправлять богослужение» и учить паству христианским истинам? В качестве примера «ненасытности» духовенства он приводил юго-западные епархии, где оно было обеспечено высоким жалованьем, но плата за требы не исчезала, а священники, по его словам, предпочитали «разъезжать на четверках, в дормезах и колясках» и вести большое хозяйство, вместо того чтобы совершать богослужения [Церковные вопросы в России, с. 107–108, 113, 127–129]. Противовес «кастовости» духовенства автор видел в пастве в наследственном, профессиональном, а не сословном, вышедшем из среды народа, подобно тому как это имеет место на православном Востоке, то есть в «народном пастырстве». Он писал, что

народу нужен священный клир, из него вышедший, ему близкий, знающий его нужды и могущий переносить с ним и горе и радость. Между тем для него с Петровских времен создали какую-то особую духовную касту, которая своею нетерпимостью и обособленностью поражает иностранцев, в особенности приезжих людей с православного Востока. Кастовый характер духовенства имеет отношение к способу комплектования его рядов, к его браку, воспитанию, его быту, к его земным, житейским интересам, но отнюдь не к религиозной жизни [Церковные вопросы в России, с. 127].

«Но почему же, – восклицал он, – народ не может иметь своих собственных, из его среды вышедших пастырей? Или царствие Божие принадлежит лишь детям духовной касты, единственно только в России и существующей?» [Там же, с. 114–115].

Кроме того, он ратовал за самостоятельность прихода и облегчение лежащего на нем финансового бремени (подробнее об этом см.: [Беглов, 2014б]). «Перестаньте обирать храмы Божии на кастовые нужды духовенства, и тогда целые десятки миллионов рублей пойдут на просвещение народа», – писал Н. Н. Дурново [Церковные вопросы в России, с. 112]. Обер-прокуратуру и лично К. П. Победоносцева он обвинял в том, что они смешали «церковь с известным сословием в России и этим способствовали не оживотворению, а умерщвлению духа церковного, что еще более отдалило духовенство от народа и послужило к усилению в России раскола и ересей» [Там же, с. V, 128]. Как видим, для автора «Церковных вопросов в России», как и для других современников славянофильского направления, альтернативой казенному жалованью было участие прихода или земства в вопросе обеспечения духовенства. Но предложения земств, звучавшие в 1870–1880-х гг., либо блокировались духовным ведомством [Полунов, с. 92], либо не были реализованы по другим причинам (подробнее см.: [Беглов, 2014а]). Однако К. П. Победоносцев находил нужным успокоить активных

прихожан, которыми для него были прежде всего земцы. Такую роль, видимо, должна была сыграть новая инструкция церковным старостам.

Вопрос о пересмотре инструкции церковным старостам достался К. П. Победоносцеву в наследство от обер-прокурорства Д. А. Толстого. В декабре 1879 г. при Синоде была учреждена комиссия, перед которой была поставлена задача пересмотреть «правила о церковном хозяйстве». Во главе ее встал присутствовавший тогда в Синоде епископ Рязанский Палладий (Раев), будущий Санкт-Петербургский митрополит (1892–1898). В нее вошли сплошь синодальные чиновники (некоторые из них со своими сотрудниками): помощник управляющего синодской канцелярией Н. И. Павловский, управляющий контролем при Синоде Терленский, ревизор учебного комитета И. К. Зинченко, исполняющий обязанности вице-директора хозяйственного управления Остроумов и юрисконсульт обер-прокурора. Впрочем, председатель комиссии мог пригласить к участию в заседаниях по одному лицу из священнослужителей и старост столицы, согласовав их кандидатуры с Петербургским митрополитом [РГИА, ф. 796, оп. 161, д. 1837, л. 1–4 об.]. В определении Синода довольно прозрачно говорилось о цели работы комиссии. Утверждалось, что старосты, вопреки установленной для них инструкции, являются «совершенно безотчетными сборщиками, хранителями и распорядителями церковных доходов» и поэтому причты, благочинные и епархиальные начальства не имеют точного учета церковных доходов и расходов [РГИА, ф. 796, оп. 161, д. 1837, л. 2 об.]. Вывод, который должны были сделать члены комиссии, был довольно ясен: старост необходимо поставить под еще более жесткий контроль духовенства. К. П. Победоносцев, пришедший в обер-прокуратуру в апреле 1880 г., видимо сочувствовал этой идее. Комиссия епископа Палладия работала в 1880 г., а весной 1881 г. ее председатель был возведен в сан архиепископа [Смолич, 1996, с. 744]. Судя по всему, обер-прокурор был в целом доволен его деятельностью в этом качестве. Однако, когда информация о работе комиссии стала просачиваться в общество, намерения комиссии вызвали серьезное беспокойство и даже организованное сопротивление. Церковные старосты Москвы, по сообщениям печати, были намерены войти в Синод с прошением, «чтобы церковные имущества, а равно и контроль церковно-финансовых операций были в заведывании выборных от прихода». Старосты северной столицы весной 1881 г. «составляли съезд» против комиссии. Характерно, что в обществе были убеждены: если проекты комиссии будут проведены в жизнь и права старост будут ограничены, «тогда все люди дела откажутся от этой должности» [Н. П., с. 316; Богданович, с. 63, 64 (записи от 28 и 30 марта 1881 г.); ср.: Полунов, с. 91]. В этой ситуации К. П. Победоносцев решил не идти на конфронтацию с влиятельными церковными ктиторами, которые и составили оппозицию этой реформе. Комиссия епископа Палладия закончила свою работу без каких бы то ни было последствий. Однако, делая уступку старостам, обер-прокурор одновременно давал им понять, что независим в своих решениях от обществен-

ного мнения: бывший глава комиссии, как мы сказали, вскоре получил почетный титул, а через год – гораздо более важную, чем Рязанская, Казанскую кафедру. Между тем дело с пересмотром инструкции церковным старостам не было забыто. Правда, оно приобретало совсем другое направление. В 1882 г. в осведомленных кругах говорили, что теперь предполагается усилить и сделать «более обязательным» участие прихожан в наблюдении за церковными суммами [Иванцов-Платонов, с. 53]. Как заметил А. Ю. Полунов, Победоносцев, проводя свою «реформу» прихода, лавировал между иерархией, духовенством и мирянами.

Новая редакция Инструкции церковным старостам действительно появилась, но только через восемь лет. Она была утверждена Александром III 12 июня 1890 г. [ПСЗ-3 (12 июня 1890 г. № 6923)]. Она состояла теперь из 58 статей (вместо прежних девятнадцати). Такое существенное расширение ее произошло в основном за счет включения в состав Инструкции тех положений, что были введены законодателем за время действия прежней ее редакции. С этой точки зрения новая Инструкция представляла собой более современный и юридически выверенный документ. Кроме того, в нее входили некоторые новые положения, которые, видимо, отражали воззрения на дальнейшую судьбу прихода, существовавшие в определенных кругах обер-прокуратуры.

Церковный староста определялся теперь как «поверенный прихода, избираемый к каждой приходской церкви для совместного с причтом приобретения, хранения и употребления церковных денег и всякого церковного имущества, под надзором и руководством благочинного и епархиального начальства» (ст. 1). Таким образом, в новой редакции более отчетливо обозначалось подчиненное положение старосты клиру приходской церкви и епархиальным властям. Инструкция вводила ряд ограничений на занятие этой должности. Старостой не мог быть мужчина моложе 25 лет, сектант, неисповедующийся и непричащающийся, подвергавшийся по суду тюремному заключению или более строгому наказанию, несостоятельный должник или состоящий под опекой за расточительность, исключенный из службы по суду или снявший с себя священный сан, содержатель, приказчик и сиделец питейных заведений и волостные старшина и писарь, пока они состоят в этих должностях (ст. 7).

Наряду с этим инструкция содержала положения, которые явно предполагали более активное участие прихожан в приходских делах. В Инструкции описывалось приходское собрание, которое избирало церковного старосту, определялись его состав и процедура проведения (ст. 11–16). В собрание включались живущие в пределах прихода лица не моложе 25 лет, имеющие право участвовать в собраниях органов местного и сословного самоуправления, то есть, как правило, обладающие статусом самостоятельных домохозяев (ст. 8). Эта замена «всех прихожан», которые ранее имели право выбирать старосту, на цензовые элементы была существенным нововведением, на которое

обращали внимание современники [К. И., с. 19]. Новая инструкция также предлагала городским причтам заранее составлять списки возможных участников такого приходского собрания (ст. 10). Такие списки были одним из прообразов приходской книги, введение которой обсуждалось в контексте реформы прихода в 1906–1917 гг. Характерно, что упоминание о согласии причта на избрание старосты в новой инструкции было опущено. Теперь выборы должны были проходить только «*в присутствии причта и под наблюдением*» (курсив наш. – А. Б.) благочинного» (ст. 12). Тем самым роль прихожан в избрании старосты как будто усиливалась. Интересно, что теперь староста и помощников мог приглашать себе, также не испрашивая согласия причта (ст. 24). Кроме того, новые постройки могли теперь осуществляться в приходе только с согласия общего собрания прихожан (ст. 36): причт и староста должны были ходатайствовать перед архиереем о разрешении их только после приговора общего собрания. Впрочем, расходы староста по-прежнему осуществлял с согласия причта (ст. 34).

Согласно статье 2 староста мог избираться и к приписным церквям, у которых не было своих причтов. Утверждалось положение, действовавшее с 1872 г.¹, об избрании старост к домовым церквям разных ведомств начальством этих ведомств с согласия причта домовых церквей; этот выбор, как и в других случаях, требовал утверждения со стороны епархиального архиерея (ст. 3). С 1858 г. старосты бесприходных городских церквей (соборных, кладбищенских) избирались городскими думами «на общем основании выборов в городские должности» по представлению благочинных [ПСЗ-2 (13 декабря 1858 г. № 33888; Указ Св. Синода от 12 января 1859 г. № 406); см. также: Инструкция, с. 9]. Для этого благочинные (то есть фактически причты этих церквей) представляли в думы список возможных кандидатов, из которых городские гласные производили выборы; результаты их представлялись на утверждение архиерея. Инструкция 1890 г. закрепила этот порядок, сделав важное дополнение: «В городах, в коих городское управление состоит преимущественно из лиц неправославного исповедания, выборы производятся непосредственно православными обывателями, созываемыми городским головою» (ст. 18). В любом случае значение городских обществ при таком порядке выбора старост возрастало². Вместе с тем Инструкцией предусматривалось проведение повторных выборов, если архиерей не утверждал избранного собранием кандидата, а в случае повторного неутверждения староста мог быть назначен решением епархиальной власти по представлению причта, причем им мог быть и один из членов причта (ст. 17).

Важным отличием новой редакции Инструкции церковным старостам было то, что она сделала обязательным избрание на срок в один год двух представителей прихожан для участия в ежемесячных поверках церковных сумм (ст. 42) (см.: [Правила о порядке выбора, с. 62–64]).

¹ Указ Св. Синода от 8 августа 1872 г. № 42. См. также: [Инструкция, с. 9–10].

² Несколько иную интерпретацию этих положений см. в: [Полунов, с. 93].

Они должны были удовлетворять тем же требованиям, что предъявлялись по новой Инструкции к церковному старосте. Одним из косвенных следствий этой новой нормы было то, что теперь для избрания этих поверенных лиц становился обязательным по крайней мере ежегодный созыв приходского собрания. В этом тоже проявлялась попытка законодателя возвысить роль прихожан в приходских делах. Однако если представители от прихода не являлись на освидетельствование дохода и расхода, то это освидетельствование, согласно Инструкции, «не останавливалось», хотя о неявке их и делалась специальная отметка (ст. 46). Тем самым складывалась двойственная ситуация: избрание приходских представителей было необходимо, но их присутствие – не вполне обязательно. Кроме того, учреждение института выборных представителей было призвано нейтрализовать приходские попечительства. Ведь в прежней редакции присутствовать при проверке церковных сумм должны были «почетнейшие прихожане» (ст. 10). Это положение члены приходских попечительств толковали в том смысле, что именно они и призваны осуществлять контроль за церковными средствами [ср.: Самарин 1868, с. 30; Самарин 1908, с. 88–96; см. также: Беглов, 2014а]. Теперь возможность такого толкования была устранена.

Обязанности старосты в 1890 г. были по-новому систематизированы, но в целом остались в прежнем своем круге. Разве что новой обязанностью старосты было наблюдение за порядком среди богомольцев во время богослужений и крестных ходов (ст. 22, п. 10). Инструкция 1890 г. конкретизировала параметры денежного оборота в приходах и тем самым ужесточала финансовые требования в отношении приходских церквей. Так, сумма наличных денег, которая могла оставаться в церкви, не должна была превышать 200 руб. (ст. 30)³; остальные деньги должны были отсылаться в Государственный банк (ст. 32). Четко оговаривался размер суммы, на расходование которой староста мог не испрашивать разрешение епархиального начальства (ст. 34): в столицах и в кафедральных соборах староста мог тратить по своему усмотрению до 300 руб. в год, в остальных городских церквях – до 150 руб., в селах – до 50 руб. в год. Также разрешения епархиальной власти требовали теперь не только ремонтные работы в алтаре, но и работы по изменению иконостаса и росписи храма, возведение любых новых церковных построек (колоколен, приделов, оград, домов), любые строительные и ремонтные работы в древних церквях (ст. 35). Покупка недвижимого имущества для обеспечения причта обуславливалась санкцией Синода (ст. 38), как того требовал Устав духовных консисторий. Разрешение выдавать ссуды из церковных денег другим церквям или причтам было обусловлено разрешением архиерея (до 300 руб.) и Синода (более 300 руб.) (ст. 39). В церкви не могли помещаться на хранение деньги, документы и вещи ни старосты, ни причта, ни иных лиц (ст. 33).

³ В 1865–1890 гг. эта сумма не могла превышать 100 руб. См.: [Устав духовных консисторий, с. 52 (ст. 131)].

В инструкцию были включены упоминания о всех видах поощрения церковных старост, которые ранее вводились отдельными законодательными актами. В частности, старосты-крестьяне освобождались от общественных повинностей и от телесных наказаний (ст. 54); старостам, не принадлежавшим к крестьянскому сословию, предоставлялось право носить мундир духовного ведомства 9-го класса в столицах и губернских городах, старостам уездных и сельских церквей – мундир 10-го класса, а старостам из крестьян – кафтан, аналогичный кафтану хоругвеносцев московских соборов (ст. 55, 56); старосты могли награждаться медалями по представлению епархиальной власти (ст. 57). Подобные формы поощрения по-прежнему, как и восемьдесятю годами ранее, рассматривались как главный способ привлечь прихожан к исполнению должности церковного старосты.

Таким образом, в Инструкции церковным старостам 1890 г. можно проследить тенденцию к усилению роли прихожан – конечно, не всех, а только «благонадежных» цензовых элементов. Такие прихожане должны были собираться как минимум раз в год на приходское собрание, избирать уже без санкции причта старосту и своих уполномоченных для проверки его деятельности. Также Инструкция демонстрировала попытку привлечь к делам соборных и кладбищенских церквей городские общества. Между тем и новая Инструкция не создавала механизм контроля над деятельностью старосты со стороны прихожан. Отчетность старосты перед приходским собранием не предусматривалась, пристальный надзор за ним со стороны причта и благочинного сохранялся. Положение старосты как представителя причта, а не прихода качественным образом не изменилось. Как писал один из современников, оценивая новую редакцию Инструкции,

учреждение это <институт церковных старост> никого не удовлетворило: ни общества, которое стоит в стороне от деятельности церковного старосты и даже не знает, какой именно смысл заключается в этом названии, – ни начальства, которое не может добиться точных сведений о церковных доходах, – ни, наконец, самих старост, которые тяготеют данною им инструкцией, которую они не исполняли, да едва ли когда и будут исполнять, несмотря на установленную для них присягу [К. И., с. 21].

«Приходская реформа» К. П. Победоносцева, как и многие его начинания, носила двойственный и противоречивый характер. Делая уступку мирянам, которые для него ассоциировались в основном с активными земцами, он усиливал роль цензовых элементов, но все же не давал им власти в приходе, шел на уступку, но малозначащую, которая показывала бы желание преобразований, но, по сути, не меняла ничего [ср.: Полунов, с. 93]. Следующим шагом «приходской реформы» был пересмотр Положения о приходских попечительствах 1864 г. В 1893 г. обер-прокуратура предприняла опрос епархиальных преосвященных, желая детально выяснить состояние приходских

попечительств в епархиях и собрать мнения епископов о необходимых изменениях в Положении 1864 г. Соответствующий указ Синода был издан 27 октября 1893 г. Основная часть отзывов преосвященных поступила в Петербург в 1893–1895 гг., хотя некоторые из отзывов приходили и в 1896-м, и в 1897-м, и даже в 1903–1905 гг. (в числе последних были, например, отзывы от Казанской и Уфимской епархий)⁴. Некоторые епархии не прислали отзывов вовсе⁵. Те же отзывы, что поступили в Синод, представляют значительный интерес в силу того, что в них мы можем найти программу приходских преобразований, как они виделись епархиальным преосвященным в конце XIX в.

Основным лейтмотивом этой программы была идея о необходимости «оцерковления» попечительств. Эти организации рассматривались большинством преосвященных как структуры скорее светские, «гражданские», а не церковные, существующие при приходе, а не внутри него, неорганичные для русской церковной традиции (см., например: [РГИА, ф. 796, оп. 174, д. 1292, л. 471 об., 478 об., 844 и др.]). Эти тезисы перекликались с основным содержанием отзывов их предшественников тридцатилетней давности, которые критиковали тогда еще проект Положения о приходских попечительствах. Некоторые отзывы 1890-х гг., например от Воронежской епархии, прямо цитировали мнения 1863 г. митрополитов Киевского Арсения (Москвина) и Московского Филарета (Дроздова) ([РГИА, ф. 796, оп. 174, д. 1292, л. 475–476]; о критике проекта Положения о приходских попечительствах в 1860-е гг. см.: [Римский, с. 333–349]).

«Оцерковление» попечительств, согласно рассматриваемым нами отзывам, могло идти по двум путям. С одной стороны, речь могла идти об усилении епархиального, консисторского, благочиннического контроля над этими организациями, о включении их в существующие структуры церковного управления, отчасти о превращении по-

⁴ В 1905 г. вопрос о приходских преобразованиях стоял уже под другим углом и проблемы приходских попечительств отошли далеко на задний план. Обширные и наверняка представляющие значительный интерес доклады благочинных Уфимской епархии, присланные в Синод в феврале 1905 г., остались в синодальной канцелярии даже нераспечатанными. Так они до сих пор и хранятся в РГИА – в прошитом пакете и под несломанной сургучной печатью [РГИА, ф. 796, оп. 174, д. 1292, л. 920–985 об].

⁵ С явной апатией к делу о пересмотре Положения о приходских попечительствах отнеслись не только епархиальные власти, но и чиновники духовного ведомства. В 1898 г. К. П. Победоносцев поручил составить на основании полученных из епархий заключений записку с предложениями о дальнейшей судьбе попечительств иркутскому епархиальному наблюдателю церковных школ Брызгалову. Очевидно, последний был лично известен обер-прокурору, который, скорее всего, обсуждал с ним возможность составления и содержание такой записки. В июне 1898 г. синодальная канцелярия выслала полученные материалы в Иркутскую духовную консисторию, а в 1899 г. получила их обратно, но «без всякого заключения Брызгалова». В Петербурге ждали три года. В октябре 1902 г. синодальная канцелярия, наконец, телеграммой запросила у иркутского чиновника долгожданную записку и получила обнадеживающее сообщение: «Записка о попечительствах составлена, представлю». Однако на деле проект, видимо, так и не был представлен: в соответствующем деле записки Брызгалова нет. Что заставило епархиального наблюдателя духовных школ так настойчиво испытывать терпение обер-прокурора, остается только гадать [РГИА, ф. 796, оп. 174, д. 1292, л. 866, 871–872].

печительств в своего рода коллективные церковные старосты. Этот тип реформирования прихода условно можно назвать *административным*. С другой стороны, речь могла идти о мобилизации прихожан на церковное дело, о сплочении их вокруг своего приходского пастыря, о создании условий для проявления их инициативы. Условно этот тип реформирования прихода можно назвать *органическим*. С определенной долей схематизации можно сказать, что представленные в Синод отзывы тяготели к одному или к другому сценарию реформирования попечительств.

Большинство преосвященных стремились административно подчинить себе попечительства, но одновременно они хотели возложить ответственность за бесперебойное финансирование этих организаций на сельские сходы и волостные власти. Тем самым реформа попечительств 1890-х гг. могла бы повторить судьбу реформы прихода 1808 г.: прихожане снова должны были собирать средства (теперь на храмы и благотворительность, как раньше на духовные учебные заведения), а распорядителями их снова оказывались причт и епархиальные власти. Попечительства же (как прежде церковные старосты) оказывались подконтрольными клиру структурами для сбора этих средств. Недаром многие епископы уподобляли в своих предложениях попечительства церковным старостам. Понятно, что в результате такой реформы недовольство прихожан не снизилось бы, а только выросло. Сомнительно, что новой для себя ролью были бы довольны и сельские власти. Скорее всего, вокруг административным образом реформированных попечительств завязался бы новый узел постоянно тлеющих конфликтов.

В этом нас убеждает и то обстоятельство, что наряду с административным «оцерковлением» попечительств преосвященные фактически настойчиво предлагали передать сбор средств для них в компетенцию сельских сходов. Таким образом, в этом подходе к реформе попечительств содержалось явное противоречие: с одной стороны, предлагалось как можно глубже интегрировать попечительства в систему церковного управления, а с другой – привлечь такие нецерковные с точки зрения синодальной логики институты, как сельские сходы, для решения приходских задач. Конечно, преосвященные, будучи хорошо знакомы с реальным функционированием приходского хозяйства и с той ролью, какую играл сельский сход в этом деле, стремились сделать уступку реальной жизненной практике. Но при этом многие из них не видели иного способа превратить попечительство в церковный институт, кроме как подчинить его контролю структур разного уровня, требовать от него регулярные отчеты и направлять в его адрес инструкции.

Другая стратегия преобразования попечительств, которую сформулировало меньшинство епископов (хотя среди них были и довольно влиятельные архиереи, в частности митрополит Киевский), предполагала превращение их в добровольные приходские братства. Это означало выделение из индифферентного, а иногда и враждебного к Церкви

крестьянского «мира» религиозного костяка прихода, консолидацию активных, равнодушных к религии прихожан вокруг священника, который тем самым становился в первую очередь лидером религиозного союза и активной работы в приходе [ср.: РГИА, ф. 796, оп. 174, д. 1292, л. 196–196 об. (Тульская епархия), 601–605 (Орловская)]. Причем и институционально, и по существу речь в этом случае шла о размежевании, дезинтеграции с «миром», о формировании в виде приходского братства такого религиозного ядра, вокруг которого мог бы образоваться новый приход, новые приходские институты. Однако из проектов пяти преосвященных не всегда было ясно, как они собирались решить одну из центральных проблем приходской жизни пореформенной России – проблему эффективности приходского хозяйства. Из них только епископ Тульский Ириней настаивал на наделении братств правами юридического лица с возможностью широкой хозяйственной деятельности. Другие, как епископ Полтавский Иларион, снова возвращались к идее привлечь к делу обеспечения средствами приходов местные власти, подобно тому как об этом писали преосвященные, отстаивавшие административный способ реформирования попечительств.

Впрочем, к концу 1890-х гг. сам обер-прокурор уже не проявлял заметного интереса к реформе попечительств. Его «приходская реформа» осталась незавершенной. Но даже если бы она была полностью реализована, это мало что изменило бы в положении православного прихода. Противоречивые полумеры, призванные законсервировать существующую ситуацию, не соответствовали политической и общественной обстановке начала XX в.

Айвазов И. Г. Законодательство по церковным делам в царствование императора Александра III-го. М. : Печатня А. И. Снегиревой, 1913. 222 с.

Алексеева С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений пореформенной России. 1856–1904 гг. СПб. : Наука, 2006. 276 с.

Беглов А. Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 1860–1890-е гг. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014а. № 1(32). С. 172–200.

Беглов А. Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной политики светских и церковных властей в конце XIX – начале XX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II. «История. История Русской Православной Церкви». 2014б. № 2(57). С. 56–81.

Богданович А. В. Три последних самодержца. М. : Новости, 1990. 608 с.

Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времен реформы Петра. Казань : Типография Казанского университета, 1873. 851 с.

Иванцов-Платонов А. М., прот. О русском церковном управлении. Двенадцать статей из №№ 1–16 газеты «Русь» 1882 года. СПб. : Типография А. А. Пороховщикова, 1898. 87 с.

Известия и заметки. Проект положения о материальном обеспечении духовенства // Руководство для сельских пастырей. 1890. № 41. С. 153.

Инструкция церковным старостам (Высочайше утвержденная 17 апреля 1808 г.) и последовавшие с того времени законоположения, относящиеся к обязанностям их / сост. протоиерей Иоанн Чижевский. Харьков, 1883. 94 с.

К. И. Что такое церковный староста? Опыт историко-критического исследования о происхождении и развитии института церковных старост в России. СПб. : Типография А. П. Лопухина, 1902. 23 с.

Н. П. Об отношении духовенства к церковному хозяйству // Руководство для сельских пастырей. 1880. № 31. С. 313–324.

О мерах к улучшению материального положения православного сельского духовенства. (По Высочайше учрежденному Присутствию по делам Православного духовенства). СПб. : Синодальная типография, 1880. 38 с.

Папков А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя. СПб. : Типография А. П. Лопухина, 1902. IV, 184 с.

Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. М. : АИРО-XX, 1996. 141 с.

Правила о порядке выбора представителей от прихожан для проверки церковных сумм, предложенные Преосвященным Викарием Подольской епархии Епископом Димитрием и утвержденные Преосвященнейшим Донатом Епископом Подольским и Брацлавским // Права и обязанности благочинного приходских церквей. М. : Университетская типография, 1900. С. 62–64.

ПСЗ-2 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. 33. Отд. 2. 1858. СПб. : В типографии II Отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1860. 595 с..

ПСЗ-3 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 10. Отд. 1. 1890 г. СПб. : В государственной типографии, 1893. 843 с., 245 с.

РГИА. Ф. 796 (Канцелярия Святейшего Синода).

Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ: (Церковные реформы в России 1860–1870-х годов). М. : Крутицкое Патриаршее Подворье, Общество любителей церковной истории, 1999. 568 с.

Руновский Н. Церковно-гражданские законоположения относительно православного духовенства в царствование императора Александра II. Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1898. 341 с.

Самарин Д. Приход. Ч. 2. М. : Типография А. И. Мамонтова, 1868. 39 с.

Самарин Д. Ф. Собрание статей, речей и докладов. Т. 2: Статьи о приходе. Статьи различного содержания. М. : Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1908. 277 с.

Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 1. М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 799 с.

Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 2. М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. 799 с.

Устав духовных консисторий. СПб. : Синодальная типография, 1883. VI, 200 с.

Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917. М. : Русская панорама, 2003. 480 с., 11 табл.

Церковные вопросы в России: I. Русское духовное ведомство под управлением... статс-секретаря Константина Петровича Победоносцева. II. Старообрядческая церковь. III. Церковно-приходские школы и жалованье российскому духовенству. IV. Палестинское общество в России и другие вопросы. Браила : Первая типо-литография П. М. Пестемалджиоглу, 1896. V, 252 с.

Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton : Princeton University Press, 1983. XXXII, 507 с.

Aivazov, I. G. (1913). *Zakonodatel'stvo po cerkovny'm delam v czarstvovanie imperatora Aleksandra III* [Legislation on ecclesiastical matters during the reign of Emperor Alexander III]. Moscow: Pechatnaya A. I. Snegirevoj.

Alekseeva, S. I. (2006). *Svyatejsnij Sinod v sisteme vy'sshih i central'nyh gosudarstvennyh uchrezhdenij poreformennoj Rossii. 1856–1904 gg.* [Holy Synod in the system of highest and central state institutions in post-reform Russia. 1856–1904 yrs.]. St. Petersburg: Nauka.

Beglov, A. L. (2014). *Pravoslavny'j prihod Rossijskoj imperii kak ob'ekt fiskal'noj politiki svetskikh i cerkovnyh vlastej v konce XI – nachale XX v.* [Orthodox parish of the Russian empire as an object of fiscal policy of temporal and ecclesiastical authorities in the late 19th – early 20th c.]. *Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo humanitarnogo universiteta. Seriya II "Istoriya. Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi"*, 2 (57), 56–81.

Beglov, A. L. (2014). *Zemskie proekty' pereustrojstva pravoslavnogo prihoda. 1860–1890-e gg.* [Zemsky projects of reorganization of the Orthodox parish. 1860–1890s yrs.]. *Gosudarstvo, religiya, cerkov' v Rossii i za rubezhom*, 1 (32), 172–200.

Bogdanovich, A. V. (1990). *Tri poslednih samoderzhczha* [The three last tsars]. Moscow: Novosti.

Cerkovny'e voprosy' v Rossii: I. Russkoe duhovnoe vedomstvo pod upravleniem stats-sekretarya Konstantina Petrovicha Pobedonosceva. II. Staroobryadcheskaya cerkov'. III. Cerkovno-prihodskie shkoly' i zhalovan'e rossijskomu duhovenstvu. IV. Palestinskoe obshhestvo v Rossii i drugie voprosy' [Church issues in Russia: I. Russian Department of religious affairs directed by State Secretary Konstantin Petrovich Pobedonostsev. II. Old Believer church. III. Parochial schools and salary of Russian clergy. IV. Palestinian society in Russia and other questions]. (1896). V. Braila: Pervaya tipo-litografiya P. M. Pestemalzhioğlu.

Chizhevskij Ioann, archpriest. (Comp.). (1883). *Instrukciya cerkovny'm starostam (Vy'sochajshe utverzhdannaya 17 aprelya 1808 goda) i posledovavshie s togo vremeni zakonopolozheniya, otnosyashiesya k obyazannostyam ih* [Instructions to church wardens (the highest approved on 17 April, 1808) and subsequent statutes on their responsibilities]. Kharkov.

Fedorov, V. A. (2003). *Russkaya Pravoslavnaya Cerkov' i gosudarstvo. Sinodal'ny'y period. 1700–1917* [Russian Orthodox Church and state. The Synodal period. 1700–1917]. Moscow: Russkaya panorama.

Freeze, G. L. (1983). *The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform*. XXXII. Princeton: Princeton University Press.

Ivantsov-Platonov, A. M., archpriest. (1898). *O russkom cerkovnom upravlenii. Dvenadzat' statej iz №№ 1–16 gazety "Rus" 1882 goda* [About Russian church government. Twelve articles from the newspaper "Rus" №№ 1–16 1882 year]. St. Petersburg: Tipografiya A. A. Porohovshhikova.

Izvestiya i zametki. Projekt polozheniya o material'nom obespechenii duhovenstva [News and notes. The project of regulations concerning material security of clergy]. (1890). *Rukovodstvo dlya sel'skih pasty'rej*, 41.

K. I. (1902). *Chto takoe cerkovny'y starosta? Opy't istoriko-kriticheskogo issledovaniya o proishozhdenii i razvitiy instituta cerkovny'h starost v Rossii* [What is a church warden? Attempt of historical-critical study on origin and development of the church warden institute in Russia]. St. Petersburg: Tipografiya A. P. Lopuhina.

N. P. (1880). Ob otnoshenii duhovenstva k cerkovnomu hozyajstvu [On relation of clergy to church economy]. *Rukovodstvo dlya sel'skih pasty'rej*, 31, 313–324.

O merah k uluchsheniyu material'nogo polozheniya pravoslavnogo sel'skogo duhovenstva. (Po Vy'sochajshe uchrezhdenному Prisutstviyu po delam Pravoslavnogo duhovenstva) [About measures conditioning financial standing of the Orthodox rural clergy. (On the highest established Presence on the Orthodox clergy matters)]. (1880). St. Petersburg: Sinodal'naya tipografiya.

Papkov, A. (1902). *Cerkovno-obshhestvenny'e voprosy' v e'pohu czarya-osvoboditelya* [Church-public issues in the times of Tsar-liberator]. St. Petersburg: Tipografiya A. P. Lopuhina.

Polunov, A. Yu. (1996). *Pod vlast'yu ober-prokurora. Gosudarstvo i cerkov' v e'pohu Aleksandra III* [Under the reign of chief-prosecutor. State and church in the times of Alexander III]. Moscow: AIRO-XX.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 2. [Complete collection of laws of the Russian empire. Collection 2. Vol. 33. Dep. 2. 1858]. (1860). St. Petersburg: V tipografii II Otdeleniya sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 3. [Complete collection of laws of the Russian empire. Collection 3. Vol. 10. Dep. 1. 1890]. (1893). St. Petersburg: V gosudarstvennoj tipografii.

Pravila o poryadke vy'bora predstavitelej ot prihozhan dlya proverki cerkovny'h summ, predlozhenny'e Preosvyashchenny'm Vikariem Podol'skoj eparhii Episkopom Dimitriem i utverzhdeny'e Preosvyashchennym Donatom Episkopom Podol'skim i Braczlavskim [Rules on the procedure for the election of representatives from the church congregation for the purpose of checking the amounts proposed by Reverend Vicar Bishop of Podolsk diocese Demetrius and approved by His Grace Bishop of Podolsk and Bratslav Donat]. (1900). In *Prava i obyazannosti blagochinnogo prihodskih cerkvej* (pp. 62–64). Moscow: Universitetskaya tipografiya.

RGIA. F. 796 (*Kancelyariya Svyatejshego Sinoda*) [Russian state historical archive. Stock 796 (Office of the Holy Synod)].

Rimskii, S. V. (1999). *Rossiyskaya cerkov' v e'pohu Velikih reform: (Cerkovny'e reformy' v Rossii 1860–1870-h godov)* [Russian church in the epoch of Great reforms: (Church

reforms in Russia 1860–1870s yrs.)). Moscow: Kruticzkoie Patriarshee Podvor'e, Obshhestvo lyubitelej cherkovnoj istorii.

Runovskii, N. (1898). *Cerkovno-grazhdanskie zakonopolozheniya otnositel'no pravoslavnogo duhovenstva v czarstvovanie imperatora Aleksandra II* [Church and civil statutes concerning the Orthodox clergy during the reign of Emperor Alexander II]. Kazan: Tipolitografiya Imperatorskogo Universiteta.

Samarin, D. (1868). *Prihod* [Parish]. (Part 2). Moscow: Tipografiya A. I. Mamontova.

Samarin, D. F. (1908). *Sobranie statej, rechej i dokladov. T. 2: Stat'i o prihode. Stat'i raznogo soderzhaniya* [Collection of articles, speeches and reports. Vol. 2: Articles on parish. Articles of different contents]. Moscow: Tipolitografiya T-va I. N. Kushnerev i Ko.

Smolich, I. K. (1996). *Istoriya Russkoj Cherkvi. 1700–1917* [History of Russian church. 1700–1917]. (Part 1). Moscow: Izdatel'stvo Spaso-Preobrazhenskogo Valaamskogo monasty'rya.

Smolich, I. K. (1997). *Istoriya Russkoj Cherkvi. 1700–1917* [History of Russian church. 1700–1917]. (Part 2). Moscow: Izdatel'stvo Spaso-Preobrazhenskogo Valaamskogo monasty'rya.

Ustav duhovny'h konsistorij [Ecclesiastical consistory statute]. (1883). St. Petersburg: Sinodal'naya tipografiya.

Znamenskij, P. V. (1873). *Prihodskoe duhovenstvo v Rossii so vremen reformy' Petra* [Parish clergy in Russia since the time of Peter's reform]. Kazan: Tipografiya Kazanskogo universiteta.

The article was submitted on 10.05.2014

Алексей Львович Беглов

к. и. н.

Россия

Институт всеобщей истории РАН;

МИФИ

beglov.al@yandex.ru

Alexey Beglov, Dr

Russia

Institute of World History,

Russian Academy of Sciences;

MEPhI

beglov.al@yandex.ru

УДК 27-47 + 316.3(470)

Марина Нечаева

**ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.¹**

Marina Nechaeva

**ORTHODOX SOCIAL INSTITUTIONS
AND RUSSIAN CIVIL SOCIETY
AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY**

The article explores the peculiarities of creation and function of Russian Orthodox social institutions of the second half of the 19th – early 20th centuries in the relation to church reforms that were part of the modernization social life process. The author's research focuses on whether it is possible to consider organizations created "from above" civil social institutions, and refers to the all-Russian, regional and local organizations. The author analyzes the correspondence and interaction of initiatives put forward by the authorities and the public during the establishment of the aforementioned organizations, as well as whether the regional peculiarities were taken into consideration during the process, as well as the public's reaction to their activity. Using the historical-typological, structural-functional, and comparative approaches, the author concludes that church organizations should be regarded more as a means of learning the fundamentals of civil values and social initiative than as established social institutions as such.

Keywords: religious social institutions; history of the Orthodox Church; civil society; history of imperial Russia.

Рассматриваются особенности создания и функционирования российских православных общественных организаций второй половины XIX – начала XX в. в контексте церковных реформ, происходивших в русле модернизации общественной жизни. Основная научная проблема – можно ли считать создаваемые «сверху» организации институтом гражданского общества – изучается на материалах всероссийских, региональных и местных организаций. Анализируются соотношение и взаимодействие власт-

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-01625).

ных и общественных инициатив в процессе становления и развития этих организаций, учет региональной специфики, общественные отзывы о их деятельности. На основе применения историко-типологического, структурно-функционального, сравнительно-исторического подходов автор приходит к выводу, что существовавшие православные общественные организации целесообразно оценивать скорее как «школу гражданственности и общественной инициативы», чем как сложившиеся общественные организации в классическом понимании этого термина.

Ключевые слова: религиозные общественные организации, история православной церкви, церковь и государство, гражданское общество, история императорской России.

Одним из элементов гражданского общества считается сеть общественных организаций, рассматриваемых как проявление общественной инициативы, гражданской позиции, сознательной самоорганизации местных сообществ. В России, где многие институты гражданского общества формировались «по инициативе сверху», практика функционирования таких организаций зачастую сочетала бюрократические и самодеятельные элементы, поэтому нередко возникают определенные сомнения в том, могут ли эти организации считаться «общественными» в полном значении этого слова. Когда речь заходит о религиозных общественных организациях², действовавших по благословию иереев, всегда включавших в свои ряды представителей духовенства, вопрос о степени их «общественности» и инициативности становится еще более сложным.

В конце XIX – начале XX в. уже существовала целая сеть православных организаций, функционировавших как во всероссийском масштабе, так и в региональном и локальном. К числу всероссийских православных организаций относятся Православное Миссионерское общество и Православное Палестинское общество. Обе организации придавали большое значение открытию своих епархиальных отделов.

Существовал значительный спектр и региональных (епархиальных) православных общественных организаций: общества хоругвеносцев, церковно-археологические общества, братства. Но шире всего была представлена сеть локальных (приходских) организаций, тесно сочетавших задачи социальные и сугубо религиозные: церковно-приходские попечительства, приходские общества трезвости, общества ревнителей православия.

² На этапах исторического развития, для которых был характерен тесный симбиоз между властными и церковными структурами, когда некоторые религии имели статус государственных, т. е. когда секуляризация общественной жизни еще отсутствовала или находилась в начальной степени развития, на наш взгляд, не следует причислять к религиозным общественным организациям сами церкви, которые, как известно, на современном этапе общественного развития также считаются «общественными организациями». Для таких, менее секуляризированных этапов логичнее подразумевать под «религиозными общественными организациями» те, которые не входили в иерархическую структуру церкви, но формулировали свои задачи как религиозные.

Инициаторами открытия всероссийских православных общественных организаций преимущественно были высокопоставленные лица, изначально мыслившие новые организации как всеобщие.

Председателем и вдохновителем создания Православного Миссионерского общества был «русский апостол Америки» святитель митрополит Иннокентий (Вениаминов), считавший, что миссия должна быть общим делом «всех православных империи». Митрополит Иннокентий полагал, что такое общество должно состоять под покровительством государства, и Миссионерское общество имело высочайшей покровительницей императрицу Марию Александровну. Декларировались в качестве принципов православного миссионерства любовь к ближнему, терпимость, отказ от всех форм национализма и насилия [Курляндский].

Православное Палестинское общество было прежде всего детищем Василия Николаевича Хитрово, высокопоставленного государственного деятеля, который после своего паломничества в Иерусалим в 1871 г., познакомившись с состоянием дел русской миссии в Палестине, с деятельностью Палестинской комиссии, пришел к мысли о необходимости создания совершенно иного типа организации – «частной», неправительственной и лишенной бюрократического начала, которая объединяла бы истинных почитателей святых мест. Даже его единомышленники – начальник Русской Духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин), архимандрит Леонид (Кавелин), прежде также работавший в этой миссии, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев и др. – относились



Церковь-школа, построенная
Екатеринбургским братством

к мысли о создании общественной организации с большой долей скепсиса, но В. Н. Хитрово продолжал отстаивать идею именно такой организации, в которой он видел альтернативу бюрократизму существовавшей Палестинской комиссии [Дмитриевский, с. 121–195].

Однако Василия Нико-

лаевича иногда обуревали грустные сомнения в успешности мероприятия, причина которых крылась в той общественной апатии, о которой его предупреждали сочувствовавшие идее Общества лица. Так, в письме к архимандриту Леониду от 13 января 1880 г. Хитрово признавался: «Правда, бьешься, из себя выходишь, суетишься *среди всеобщей апатии* и иногда, ох, как часто, руки опускаются, овладевает не скажу отчаяние, а просто сознание своего бессилия» [Там же, с. 135–136]. С появлением

высокого покровителя Общества в лице великого князя Сергея Александровича, совершившего в 1881 г. поездку по Святой земле, планы В. Н. Хитрово получили реальное воплощение, и в 1882 г. Палестинское общество было создано, его председателем стал князь Сергей, сам же В. Н. Хитрово был избран его почетным членом и помощником председателя, а затем стал секретарем Общества.

Отзывы В. Н. Хитрово об «апатии» и «безмолвии» весьма показательны для характеристики общественного настроения того времени. Создаваемые православные организации не столько воплощали в жизнь общественные стремления, сколько пробуждали, формировали их, будучи поначалу инициативой немногих. Первые годы существования Палестинского общества продемонстрировали сочувствие его идеям значительно большего круга общественности, чем изначально предполагалось: уже в 1883 г. было пересмотрено возможное количество почетных членов с 50 до 100, поскольку предписанная уставом планка в 50 человек оказалась достигнута [см.: Отчет Православного... за 1882–1883 год, с. 35]. К 1885 г. в Палестинском обществе уже состояло 615 членов, а Советом был поставлен вопрос об увеличении лимита действительных членов до 300, прежняя планка (200 человек) была преодолена [см.: Отчет Православного... за 1884–1885 год, с. 50–51].

Вместе с тем в условиях активного пополнения Палестинского общества активисты предчувствовали скорое замедление его темпов, чем и было обусловлено стремление создать определенную «сеть агентов» Общества по всей стране. Сначала такими «агентами» стали своего рода уполномоченные, появившиеся в разных городах и при некоторых монастырях России, а затем были созданы епархиальные отделы Общества, правила для которых были утверждены 2 марта 1885 г.

Первый отдел Палестинского общества возник в Якутской епархии (21 марта 1893 г.) – и это была всецело заслуга епископа Якутского и Вилуйского Мелетия (Якимова), который впоследствии открыл еще и отдел в Рязани. Столь же последовательно служил целям Палестинского общества и Владыка Феогност (Лебедев), открывший отделы в Новгороде и Киеве [см.: Деятельность... в 1902/3 году, с. 1–2]. В некоторых регионах значимой оказывалась роль светской власти. Например, Калужский отдел открылся «по инициативе и приглашению» уполномоченного Общества вице-губернатора А. А. Офросимова при поддержке других членов Общества и епископа Калужского и Боровского Александра [см.: Деятельность... в 1902/3 году, с. 165], Тифлисского отдела [см.: Сообщения, т. 21, с. 457].

Но первейшее значение имела инициатива руководства Общества, что подчеркивалось в отчетах: «...ни разу не были потеряны подходящие минута или условие. Совет был всегда настороже и всегда наготове» [Сообщения, т. 13, с. 84].

Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) было «Императорским» не только по названию, но и по роли в нем представителей царствующего дома Романовых. Открытие епархиаль-

ных отделов сделалось массовым после того, как с конца 1893 г. князь Сергей стал рассылать свои рескрипты на имя правящих архиереев с предложением открыть местные отделы.

Православные братства имели давние традиции существования. Первые такие организации появились еще в XVI в. на Украине и в Белоруссии. С 60-х гг. XIX в. количество братств в Российской империи стало расти. Но если раньше инициатива их создания исходила от клира и прихожан отдельных храмов и сами братства носили приходской характер, то теперь братства создавались в русле проведения церковной политики российского правительства и инициализировались обычно правящими архиереями. Каждое братство имело свой устав, основу которого составляли типовые «Основные правила для учреждения православных церковных братств», опубликованные в 1864 г., проект которых был составлен министром внутренних дел П. А. Валуевым. Особенно активно создание братств пропагандировалось Синодом в 1880-е гг.

Зачастую инициатива создания епархиального братства исходила от правящего архиерея, стремившегося в такой форме аккумулировать дополнительные ресурсы для решения задач епархиального управления в деле миссионерства и христианского просвещения. Бывали случаи адаптации уже сложившихся организаций в епархиальные братства. Таким образом было создано в 1882 г. Пермское епархиальное братство святителя Стефана.

В связи с юбилеем деятельности Стефана Пермского 12 ноября 1879 г. протоиерей Евгений Попов выступил с инициативой строительства в городе часовни во имя святителя Стефана. Живая поддержка этого проекта жителями натолкнула Е. Попова на мысль о создании при часовне религиозно-общественной организации, цель которой виделась в заботе о народной нравственности. Замысел Е. Попова получил благословение епископа Пермского Вассиана. 19 сентября 1881 г. архиерей одобрил создание Совета духовных чтений, председателем которого был избран Е. Попов. Местом чтений определили Воскресенскую церковь, в которой чтения должны были проводиться в каждое воскресенье и двенадесятые праздники поочередно членами организации, причем было признано «возможным и полезным принять участниками чтений и светских лиц, но только с богословским образованием, и не в церкви и единично, а собственно в артельных квартирах рабочего класса и в присутствии одного из членов Совета священнослужителей». Была отмечена необходимость открытия читальни при будущей часовне и желательность «изустных бесед и увещаний к рабочему классу» [Нечаева, 2008, с. 69–79; Казакова-Апкаримова, с. 240–242].

1 августа 1882 г. на основе этого Совета было открыто Общество св. Стефана, епископа Пермского, с целью содействия «распространению в народе Пермской епархии религиозного просвещения и возвышению в нем христианской нравственности». Епископ Пермский Ефрем, заступив на кафедру (1883), утвердил новый устав Общества

(1888), общество получило название Братства и его цели были расширены: теперь это было не только содействие распространению христианской нравственности, но и «содействие к ослаблению раскола и к обращению в недра православия отпадших от Св. Церкви чад ее, а вместе с тем к предохранению православных от соращения в раскол и от привязанности к обрядам и обычаям, содержащим старообрядцами». Таким образом, устав Братства стал отражать местную специфику религиозной жизни и сама организация получила миссионерскую направленность.

Однако год спустя в русле политики массового открытия церковно-приходских школ силы Общества, как кадровые, так и материальные, оказались направлены в большей степени на просветительские цели, а сама структура организации приобрела более официальный характер. 31 декабря 1889 г. был принят новый устав, снова корректировавший задачи Братства. Согласно ему перед Братством ставились четыре основные цели: заведывание церковно-приходскими школами; содействие духовенству в проведении внебогослужебных собеседований и открытие церковных библиотек и книжных складов; содействие духовенству в организации церковного пения в сельских храмах; «руководство делами противораскольнической миссии в пределах епархии, заведение главной центральной миссионерской библиотеки и содержание своих миссионеров из начетчиков, обратившихся из раскола» [Братство св. Стефана].

Таким образом, по мере превращения организации из приходского общества в епархиальное братство задачи религиозно-просветительские и нравственно-воспитательные (в форме бесед) трансформировались в руководство церковно-приходскими школами и противораскольнической миссией, организацию библиотек и книжных складов, организацию церковного пения – задачи епархиального управления, на фоне которых внебогослужебные собеседования стали отходить на второй план, хотя форма братства как общественной организации помогала привлекать к их решению не только духовенство, но и мирян.

Это было актуально и в деле организации церковно-приходских школ, и в деле миссии, особенно противораскольнической. В Екатеринбургском братстве св. праведного Симеона Верхотурского чудотворца, например, существовали так называемые миссионеры-сотрудники – приглашенные Братством «лица из народа», в значительной степени бывшие старообрядцы, принявшие православие. Среди таких миссионеров были купцы, чиновники, учителя, одним из миссионеров-сотрудников даже была женщина. Добровольные миссионеры либо просто помогали противораскольническим комитетам проводить собеседования, либо сами, помимо комитета, проводили такие беседы, правда под наблюдением священника. В 1901–1902 гг., например, в Екатеринбургской епархии сотрудников-миссионеров было 31 человек [ЕЕВ, 1903, № 1–2, с. 32].

Понимая, что человек, вышедший из старообрядчества, лишался поддержки своих бывших единоверцев, Екатеринбургское братство в случае нужды оказывало материальную помощь возвратившимся в лоно официального православия. В апреле 1901 г. был учрежден «миссионерский фонд». Начало ему было положено суммой 1 000 руб., выделенной Съездом духовенства в 1900 г. В дальнейшем эта сумма пополнилась пожертвованиями, и к концу 1911 г. капитал достиг 5 484 руб. 98 коп. [ЕЕВ, 1912, с. 18–19].

Другой типичной формой епархиальных общественных организаций были общества хоругвеносцев. Открывая таковое в Перми 18 марта 1907 г., епископ Никанор собрал церковных старост всех храмов в количестве около 20 человек и предложил им учредить «по примеру г. Москвы, Н.-Новгорода и некоторых других епархиальных городов России» общество хоругвеносцев, главная цель которого состояла бы «в непосредственном участии членов этого Общества в ношении хоругвей и икон во время крестных ходов». В речи епископа Никанора необходимость открытия общества обосновывалась особо благотворным, духовно-очищающим влиянием крестных ходов, каждый из которых «единством веры и любви сплачивает, примиряет и объединяет членов Православной Церкви в одну церковно-общественную семью». Хотя организационное собрание было устроено по приглашениям от епископа Никанора, инициатива создания общества, по словам епископа, исходила не от него, а от «одного из иногородних членов Общества Хоругвеносцев (здешнего деятеля)», имя которого епископ не назвал [ПЕВ, 1907, с. 179–181].

Более выраженной была инициатива общественности при создании епархиальных церковно-археологических обществ. Мысль о создании такого общества возникала обычно в ходе обсуждения вопроса о сохранении памятников церковной старины и об устройении особого церковно-археологического музея.

В Пермской епархии, например, такая идея впервые была высказана в печати членом Пермской ученой архивной комиссии преподавателем Д. Скрынченко. В 1902 г. он побывал на XII Археологическом съезде в г. Харькове, где участвовал в работе церковного отдела, и по возвращении поделился с читателями епархиальной газеты мыслями, «навеянными» съездом: «Не пора ли и духовенству Пермской епархии заняться собиранием и изучением церковных памятников своего края. Ведь если кому-либо, то именно прежде всего духовенству надлежит исполнить эту задачу. Церковные памятники – не только показатель религиозной жизни прошлого известной местности, но и богатая, наглядная церковно-историческая школа... Вот почему мы позволим себе высказать пожелание, чтобы духовенство Пермской епархии позаботилось об устройстве *церковно-археологического музея* при семинарии».

В ходе обсуждения заметки была высказана идея составления программы собирания и изучения церковной старины, которая стала бы руководством к действию для желающих поучаствовать в этом

деле. За основу был взят аналог, разработанный Харьковским предварительным комитетом по устройству XII Археологического съезда [ПЕВ, 1902, с. 500, 537–541]. Публикация этой программы в 1902 г. имела большое значение, поскольку дала руководство к действию для всех любителей церковной старины на ближайшие годы. Открытие же музея и комитета затянулось на несколько лет, и только 17 октября 1912 г. состоялось открытие Пермского епархиального церковно-археологического общества.

Локальные религиозные организации также были достаточно типичны для всех епархий России. Их создание активно пропагандировалось церковной прессой, а сами организации считались одним из средств реформирования церкви.

2 августа 1864 г. император Александр II утвердил «Положение о приходских попечительствах при православных церквях». Для попечительства устанавливались три направления деятельности: благоустройство и благосостояние храма и причта; начальное обучение детей; социальная благотворительность в рамках прихода [Римский, с. 340–350]. Главной заботой попечительств должно было быть «изыскание средств» на эти цели. В 1903 г. деятельность попечительств привлекла внимание императора Николая II, после чего епархиальные архиереи издали указы, предписывавшие открыть попечительства во всех приходах [ЕЕВ, 1903, № 6, с. 120–125]. Основная инициатива по созданию таких организаций обычно исходила от приходского духовенства, но динамика возникновения во многом показывала наличие активистов на местах.

В конце XIX – начале XX в. в приходах стали создаваться общества ревнителей православия. В это же время весьма активно пропагандировалось церковной прессой создание приходских обществ трезвости, инициаторами открытия которых также были приходские священники.

Создавая ту или иную религиозную общественную организацию, их задумывали прежде всего как форму единения мирян и духовенства. Даже в одной и той же всероссийской организации местные комитеты могли задавать различные линии формирования членского состава и руководящих советов. Например, в двух соседних епархиях – Екатеринбургской и Пермской – на стадии формирования местных отделений Миссионерского общества уже имелись различия. Членами созданного в 1872 г. Пермского совета Миссионерского общества стали два протоиерея г. Перми – А. М. Луканин и Е. А. Попов, уже хорошо известные своей проповеднической деятельностью, а также светские лица, имевшие репутацию благотворителей и активных общественных деятелей: коллежский советник П. Д. Дягилев, коллежский асессор В. В. Болотов, городской голова, купец и потомственный почетный гражданин И. И. Любимов, купцы 1-й гильдии Ф. К. и Г. К. Каменские и А. П. Кропачев. Казначеем комитета был избран управляющий Пермской почтовой конторой коллежский асессор Д. О. Гавриленко [ПЕВ, 1872, № 52, с. 516–517]. Пожертвования на Миссионерское общество при открытии комитета сделали 83 человека,

из них 53 – светские лица, 1 архиепископ, 7 протоиереев, 15 священников, 3 диакона, 1 псаломщик, 3 иеромонаха [ПЕВ, 1872, № 49, с. 599–600]. В Екатеринбурге при создании епархиального отделения в 1886 г. поначалу избрали двух товарищей председателя – А. Г. Бутакова и Н. А. Клепинина. В Совет было избрано восемь членов – четверо купцов, являвшихся церковными старостами (Я. И. Панфилов, Я. Е. Ключин, Е. М. Ошурков, А. А. Волков) и четверо священников (Игнатий Левитский, Василий Луканин, Роман Новоспаский, Петр Кротков). Казначеем комитета был избран В. И. Логинов, купец и староста Екатеринбургской Знаменской церкви [ЕЕВ, 1886, с. 866].

Легко заметить, что первоначальный состав Совета Общества в Перми был более светским, тогда как в Екатеринбурге стремились соблюсти паритет между духовенством и мирянами. Некоторую разницу в принципах формирования епархиальных советов Миссионерского общества можно наблюдать и позднее. Так, в 1902 г. в Пермском совете товарищем председателя было лицо светское – губернатор генерал-лейтенант Д. Г. Арсеньев, из мирян в Совет входили: директор народных училищ действительный статский советник А. П. Раменский, потомственные почетные граждане А. П. Кропачев, В. И. Шайдуров, А. Г. Каменский, купцы П. П. Елтышев и П. И. Мартынов; из духовенства: ректор духовной семинарии протоиерей К. М. Добронравов, протоиереи А. А. Воскресенский, А. А. Никитин, И. А. Будрин, священник Н. И. Пономарев, казначеем состоял протоиерей Е. М. Кудрявцев. В Екатеринбургском совете в 1902 г. было два товарища председателя – кафедральный протоиерей Н. М. Кибардин и председатель уездной земской управы статский советник Н. А. Клепинин. Совет состоял из духовенства и служителей епархиального ведомства: протоиереи И. Д. Знаменский, В. С. Луканин (он же казначей комитета) и Н. А. Диомидовский, священники А. П. Антонинов и Ф. М. Баженов, преподаватель духовного училища В. И. Лазарев, преподаватель епархиального училища В. А. Казанский, епархиальный миссионер А. И. Обтемперанский, делопроизводитель – секретарь консистории С. Г. Павловский [ЕЕВ, 1903, № 12, с. 291–292; ПЕВ, 1903, № 33, с. 357–358].

В численности и социальном составе этих комитетов также имеются различия. В Пермском комитете в 1902 г. состояло 103 человека, из которых 67 (65 %) – лица духовного звания. Были случаи коллективного членства, уставом непредусмотренного: например, среди действительных членов в 1902 г. указаны причты пяти церквей Красноуфимского уезда и братия Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Состав Екатеринбургского комитета в том же году был почти в три раза больше – 285 человек, из которых 246 человек (86,3 % – больше, чем по Пермскому комитету) являлись представителями духовенства [ПЕВ, 1903, № 39, с. 459–460; ЕЕВ, 1903, № 12, с. 311–315]. Случаев коллективного членства не было.

Местные комитеты имели свою «кадровую политику», отражавшую их взгляды на предназначение организации. Но было и общее: с момента создания местных комитетов в них неизменно нарастал и превалировал процент духовенства в числе членов. Эта тенденция была характерна и для других епархиальных комитетов Миссионерского общества, варьировались только процентные показатели³.

Такую же тенденцию показывало Палестинское общество. В конце 1882/83 г. в нем состояло 405 членов, из них только 103 (25 %) из духовного звания [Отчет Православного... за 1882–1883 год, с. 69]. К 1 июня 1885 г. из 646 членов только 164 (тоже 25 %) были из числа духовенства. Больше половины светских членов проживали в Санкт-Петербурге (174 человека) и Москве (75 человек). К середине 1885 г. светских членов Общества не было только в шести губерниях (из тех территорий, где вообще существовали члены Общества), а из духовного звания отсутствовали в десяти. В 25 губерниях среди членов Палестинского общества не было епископата, в 41 – монашествующих, в 28 – приходского духовенства [Отчет Православного... за 1884–1885 год, с. 87–114].

С созданием местных отделов картина стала меняться. Поскольку возглавлять отделы должны были местные архиереи, епископат стал активнее пополнять ряды членов Общества не только своими персонами, но и подведомственным им духовенством (в основном приходским). По статистике Совета ИППО в 1901/02 г., например, из числа 526 вновь вступивших членов 276 были из духовного звания (52 %) [Сообщения, т. 13, прил. 1, с. 15–16]. Постепенное увеличение числа духовенства в рядах ИППО можно наблюдать в истории практически всех отделов, хотя динамика была разная. Например, в Екатеринбургском отделе, организованном в 1894 г., к концу первого года существования из 94 членов 39 (41 %) были представителями духовенства, еще 55 (59 %) – мирянами (24 купца, 21 представитель местного чиновничества и интеллигенции, 10 крестьян). В 1901/02 г. из 248 членов духовенство составляло 76 %, причем львиная доля приходилась именно на приходское (177 человек). Монашествующих было только пять. Из мирян больше всего было представлено купечество (32 человека), имелись представители крестьянства (7 человек), мещанства (4 человека) [ЕЕВ, 1896, с. 455, 458–464; ЕЕВ, 1903, № 3, с. 38–52]. В соседнем Пермском отделе, значительно меньшем по количеству членов (на 1902/03 г. – 46 человек), 51 % составляли представители духовенства (правлящий архиерей, игуменья Руффина и 21 священник). Из мирян больше всего было представлено купечество (14 человек), имелись также мещане, крестьяне и др. [ПЕВ, 1903, № 40, с. 484–485; ПЕВ, 1903, № 41, с. 484–485].

³ Например, в том же 1902 г. Оренбургский комитет состоял из 138 членов, из них представителей духовенства – 101 человек (72,3 %). В соседней Уфимской епархии комитет Миссионерского общества был самым многочисленным на Урале: в 1902 г. в нем состояло более 500 человек, из них подавляющее большинство (около 92 %) составляли представители духовенства [ОЕВ; УЕВ].

Постепенное изменение социального состава этих общероссийских организаций в сторону повышения процента духовенства отражало реалии общественного сознания: временный всплеск интереса к новым организациям, сопровождавшийся активным ростом числа членов в первые годы, сменялся спадом, обусловленным многими причинами, в числе которых и существовавшая конкуренция между различными общественными организациями, и уровень благосостояния населения России, менявшийся в зависимости от стадии экономического роста/упадка страны в целом, и даже фактор неурожайных лет. Испытывая проблемы не только с пополнением, но и просто поддержанием на прежнем уровне членского состава местных отделов, правящие архиереи – неперемненные председатели местных комитетов этих организаций – пытались задействовать «административный ресурс» и влиять на более подконтрольное им духовенство. Участие большинства членов местных комитетов обществ в их деятельности сводилось к уплате членских взносов, внесение которых для духовенства становилось полупринудительным.

Епархиальные братства, создававшиеся по инициативе правящих архиереев, с самого начала в значительной степени были ориентированы на духовенство, поскольку дела миссии и религиозного просвещения являлись логичным продолжением их прямых профессиональных обязанностей. В уставе Екатеринбургского братства 1886 г., например, значилось: «Желательно, чтобы все состоящие на службе священнослужители, как преемники апостольского служения, были членами Братства». В 1902 г. 86,7 % членов Братства Симеона Верхотурского были представителями духовенства или епархиальными чиновниками [ЕЕВ, 1903, № 8–9, с. 209–211; ЕЕВ, 1903, № 10, с. 250–256].

Такие организации, как общества хоругвеносцев и в еще большей степени церковно-археологические общества, были менее обязательны и менее распространены в епархиях, и эта «факультативность» позволяла формировать их состав на более добровольной основе.

Главной задачей создания общественных организаций приходского уровня была активизация общинных начал религиозной жизни, христианская благотворительность, поэтому успех их деятельности зависел от того, как священнику и церковному старосте удавалось организовать активистов из числа мирян [Римский, с. 349–351]. Некоторые из таких приходских организаций по численности членов намного превосходили даже епархиальные, например, в Нижне-Тагильском братстве Св. Животворящего Креста Господня при Входа-Иерусалимском соборе к 1908 г. было более 800 членов, а в епархиальном Екатеринбургском братстве в это время – только 263 [Нечаев, с. 77].

В целом в реалиях развития общественного сознания и общественной деятельности России конца XIX – начала XX в. членство в религиозных общественных организациях в большей степени было добровольным для мирян и в меньшей – для духовенства, для которого это скорее являлось продолжением обязанностей пастырского служения, к которому активно побуждали епархиальные власти.

Духовенство вполне благожелательно относилось к целям и задачам религиозных организаций, готово было способствовать им сколько возможно своими трудами, однако необходимость уплаты при этом еще и членских взносов могла оказаться для них в тягость. Многие из них выбирали такую форму членства, которая предусматривала не слишком высокий взнос, – членом-сотрудником или действительным членом. Но при этом им хотелось, чтобы их труды на поприще миссионерства и религиозного просветительства были отмечены со стороны организаций почетными знаками, которые в основном выдавались за единовременные крупные взносы.

Священник с. Ольховатка Екатеринославской губ. Александр Мирошниченко в 1914 г., например, так сформулировал в письме секретарю Совета Палестинского общества эти настроения: «Из разговоров со священнослужителями выяснилось, что многие не прочь попасть в члены О[бщест]ва и сделать соответствующие взносы... Может, есть какие-нибудь льготы для свящ[енников], побывавших во Св[ятой] Земле со своими прихожанами? Да вообще для свящ[енников] должны быть какие-нибудь льготы: все они должны, по идее, быть членами О[бщест]ва, причем ежегодные взносы должны давать право на ношение знака. Тогда число членов О[бщест]ва значительно возросло бы» [АВПРИ, оп. 7, д. 52, л. 281–281 об.].

Надо признать, что в мотивации членства в религиозных общественных организациях (как, впрочем, и в нерелигиозных) значительное место занимали честолюбие и любовь к почетным знакам, ничего общего не имевшие с гражданской позицией. Получение почетного знака от общественной организации было немаловажным стимулом к участию в ней. И это желание проявляли и духовенство, и миряне, причем всех сословий⁴.

Религиозные организации, несомненно, знали и об этой мотивации, но старались «держат марку» и не потакать ей. Например, Совет ИППО получал «отклики с мест» и от лиц, только желавших вступить в организацию, и от многолетних ее членов, предлагавших смягчить условия получения почетного знака и сделать его более привлекательным внешне, однако не пошел на коренные перемены, согласившись только на выдачу почетных знаков как за крупные единовременные взносы, так и за внесение такой же суммы несколькими порциями [Сообщения, т. 17, с. 116–117].

Общественные организации использовали свои почетные знаки и для награждения активистов, особо отличившихся своей религиозно-просветительской деятельностью. Этот человеческий «золотой фонд» имела каждая организация, и хотя численность его была не очень велика, но именно он являл пример сознательной гражданской позиции и привлекал на мероприятия и в ряды организаций представителей различных кругов российского общества.

⁴ См. примеры такой мотивации: [Нечаева, 2011].

Каждая организация действовала в рамках того круга задач, которые были сформулированы в ее уставе. Всероссийские организации устанавливали направления работы для всех епархиальных отделений и старались обеспечить их необходимыми пособиями. Особо четко это проявилось в деятельности Палестинского общества, Совет которого многократно подчеркивал, что палестинские чтения на местах должны проводиться по утвержденной Обществом программе и по издаваемым им брошюрам, а также стремился обеспечить отделы наглядными материалами («волшебными фонарями» и световыми картинами).

Первые чтения были проведены еще в 1895 г. и с того времени распространялись все шире. К 1901–1902 гг. Совет уже весьма позитивно оценивал текущее положение дел: «Введенные, в виде опыта, сначала в губернских городах, чтения скоро привились в уездных городах, посадах, заводах и селах, а затем стали постепенно проникать и в малонаселенные деревни, хутора и поселки... За последние два-три года, не говоря уже о 50–100 слушателях, собирающихся одновременно на чтение, даже упоминание в отчетах о 200 слушателях теперь довольно обычное явление и не только для городов, но и для сел... Полагаем, что мы будем близки к истине, если за отчетный год общее число слушателей чтений во всех отделах определим в 5 000 000» [Деятельность... в 1901/2 году, с. 98–101]. Из «рекордсменов» были названы городские церкви в Ромнах и Полтаве (Полтавской губ.) – до 2 000 и 2 500 слушателей, храмы в селах Татарбунары (Кишиневской губ.) и Песчанка (Подольской губ.) – до 1 500 слушателей, железнодорожные мастерские на ст. Одесса-Товарная – до 4 000 слушателей одновременно. В некоторых регионах чтения велись на национальных языках (например, в Одесском и Кишиневском отделах – на молдавском языке, в Казанском – на татарском, черемисском и удмуртском).

Устроителями чтений чаще всего выступали священнослужители, за ними шли «лица педагогического персонала», в значительно меньшем количестве – монашествующие, воинские и земские начальники, судебные приставы, землемеры, мировые судьи, ветеринарные фельдшеры, офицеры, частные поверенные, врачи, судебные следователи, служащие в конторах, студенты университетов, воспитанники семинарий. Попадали в этот список единичные представители крестьянства, генеральские жены и представительницы знати [см.: Деятельность... в 1901/2 году, с. 20, 26–31, 33–34, 45, 98–101].

Развитием опыта чтений стала организация палестинских вечеров, которые предлагали развернутую музыкальную программу, номера художественного слова. Везде, где организовывались такие вечера, они проходили с аншлагом. Для двух городов – Симбирска и Перми – организация палестинских вечеров была связана с деятельностью члена ИППО надворного советника Н. И. Колосова, впервые организовавшего такой вечер в зале Симбирского дворянского собрания 27 марта 1911 г. [АВПРИ, оп. 1, д. 164, л. 53–53 об.]. Традиция проведения палестинских вечеров в Симбирске после его отъезда продолжа-

лась [см.: Отчет о деятельности], а потом сложилась и в Перми, где он стал преподавателем философских наук в духовной семинарии. Доход от палестинского вечера 1914 г. составил 42,6 % всех поступлений в Отдел в 1914/15 г. [ПЕВ, 1915, с. 343–345]. Палестинские вечера проводили и в других отделах ИППО, складывалась даже практика обмена опытом между организаторами концертов.

В этом отношении очень повезло еще двум отделам ИППО – Костромскому и Ярославскому, в которых организацией вечеров занимался В. А. Андроников. Умевший вдохновить и сплотить вокруг себя энтузиастов, он искренне и бескорыстно служил Палестинскому обществу, организовывая концерты в Костроме (1908–1910) и Ярославле (с 1911 г.) [см.: АВПРИ, оп. 7, д. 32, л. 239–243 об., 260; Сообщения, т. 23, с. 99–101, 249–251; т. 24, с. 95–96; т. 25, с. 113].

Деятельность местных отделов Миссионерского общества очень глубоко инкорпорировалась в миссионерскую деятельность епархий: обществу была отведена роль помощника в деле миссии, прежде всего финансового. Местные комитеты учреждали миссии, школы, строили часовни и церкви в приходах с нехристианским населением, содействовали поездкам епархиальных миссионеров в районы кочевий, создавали школы и приюты для детей коренных народов.

Епархиальные братства направляли свои усилия на старообрядцев, стремясь ослабить их влияние на официальное православие и привести их в церковь. Содействие «противораскольнической миссии» со стороны братств выражалось не только в ее финансировании и издании литературы, но и в организации собеседований со старообрядцами, носивших публичный характер. В Пермском комитете к 1896 г. на этом поприще подвизались семь человек: учитель Кизеловского народного училища А. Кычигин, крестьяне И. Симонов и А. Алабушев, мастеровые А. Чазов и И. Бояршинов, учитель Чуровской школы грамоты Ф. Некрасов и купеческий сын Л. Ершов. Привлечению мирян в качестве миссионеров Братство придавало принципиальное значение. Согласно отчетам миссионеров, подобные мероприятия вызвали широкий интерес как у старообрядцев, так и у православных [ПЕВ, 1896, с. 365, 366, 369]. С 1910 г. в епархии действовала построенная на собранные Братством пожертвования богословско-миссионерская школа имени Иоанна Кронштадтского с трехгодичным курсом обучения, которую могли посещать и духовенство, и миряне [ПЕВ, 1909, № 32, с. 676–682; ПЕВ, 1913, с. 557–571]. Братства занимались также организацией религиозно-нравственных чтений, проводимых членами братства, преподавателями местных школ и священниками в своих приходах. Таким образом, братствам удавалось объединять усилия и мирян, и духовенства в делах миссии и религиозно-нравственного просвещения, хотя главной направляющей силой при этом оставались все-таки епархиальные структуры.

Более активны и свободны в выборе форм своей деятельности были члены церковно-археологических обществ, основное направле-

ние их деятельности было связано с сохранением и изучением церковной старины (в виде книг, нотных текстов, построек, предметов искусства, архивных документов). Результаты творческой деятельности членов этих обществ (исторические описания церквей, монастырей, населенных пунктов, предметов церковной старины, материалы археологических раскопок) и в настоящее время имеют научную ценность. Организованные общества публичные лекции пользовались большим успехом у современников⁵.

Организации приходского уровня, прежде всего церковно-приходские попечительства, могли сами определять актуальность тех или иных форм и адресно аккумулировать средства на самое необходимое: иногда это было строительство или ремонт церкви, иногда – содержание народного училища, где-то – богадельни, чайные и столовые, ночлежные дома, приюты для нищих и сирот, странноприимные дома [см.: Благотворительные учреждения, с. 128–146, 478–483, 507–537, 903–913; ЕЕВ, 1887, с. 441–450; Казакова-Апкаримова, с. 207–239]. Именно эта адресность в наибольшей степени способствовала пробуждению активности их членов и позитивной оценке их общественной значимости.

Непосредственное участие в деятельности религиозной организации делом, а не деньгами предлагали прихожанам и общества ревнителей православия или кружки «ревнителей благочестия и доброй христианской жизни». Особое внимание уделялось привлечению женщин, слабо представленных во всех остальных религиозных организациях. Задачу ревнителей было две: содействие противораскольнической миссии и духовно-нравственное «вразумление» православных прихожан. Первая задача была посильна не всем, предполагалось, что местные священники подготовят мирян-ревнителей для такой проповеди путем катехизаторских бесед и распространения специальных брошюр. Зато вторая стезя была открыта любому и очень органична для женщин [см.: ПЕВ, 1897, с. 329; ПЕВ, 1909, № 16, с. 336–340; ПЕВ, 1911, с. 384–386]. В некоторых приходах удавалось привлечь много активистов. Например, в 1898 г. члены Общества ревнителей при Камбарской единоверческой церкви Пермской епархии, как мужчины, так и женщины, в праздники и воскресные дни собирались в здании чайной и проводили частные беседы с раскольниками. Священник усматривал явные успехи деятельности ревнителей: «Убеждения заблуждающих начали замечательно слабеть: в нынешнюю Св. Четыредесятницу говеющих было более 200 человек, между тем как ранее, лет шесть или семь тому назад, исповедывалось и приобщалось в Великий пост не более 10–15 человек». Священник удовлетворенно отметил, что на богослужениях стали появляться даже те, кто лет тридцать назад обратился в раскол [см.: ПЕВ, 1898, с. 223–224]. Общества ревнителей оказывали материальную помощь бедным, сиротам, престарелым, а также новообращенным в православие. В некоторых приходах создавались особые сестричества – объединения женщин, наблюдавших за порядком и чистотой в храмах, а также обучавших общесемейной молитве по домам.

⁵ См. подробнее, например: [Нечаева, 2008, с. 128–147].

В конце XIX в. стали активно появляться общества трезвости. Во главе их стояли священники, которым приходилось проводить частые беседы на нравственные темы. Общества пытались закрывать пивные лавки, организовывали религиозные чтения с показом «туманных картин», музыкальные вечера, певческие общества, устраивали праздники трезвости, распространяли религиозные и антиалкогольные журналы и брошюры. К религиозным праздникам беднейшим членам обществ выдавалась материальная помощь [см.: ЕЕВ, 1903, № 15, с. 380; ЕЕВ, 1905, с. 289–302; ЕЕВ, 1913, № 48, с. 1155–1156; ЕЕВ, 1913, № 49, с. 1188–1189; ЕЕВ, 1913, № 50, с. 1220–1222].

Обобщая опыт приходских общественных организаций, следует отметить, что в отличие от епархиальных и общероссийских они всегда сочетали религиозную деятельность с социальной, их деятельность была адресной, объединяющей наибольшее число верующих.

Итак, были ли православные общественные организации России конца XIX – начала XX в. подлинно «общественными»? Мы бы определили их скорее как школу гражданственности и общественной инициативы. В каждой из этих организаций были активисты, действовавшие из осознанных и принятых ими общественных целей, были и «сопутствующие», оказавшиеся в рядах организаций из различных соображений – престижа, честолюбия, служебного статуса. Но и один такой активист мог сделать многое – привлечь к целям организации внимание тех, кто оставался вне ее, создать репутацию организации. Политика создания таких обществ как элемента реформирования церкви была вполне разумна и целесообразна, хотя и насаждалась сверху. Значительный спектр религиозных общественных организаций предоставлял поле для деятельности, на котором стала проявляться общественная инициатива. Однако для ее полноценного развития требовался более длительный временной промежуток, чем был отпущен российской историей общественным организациям до революционных потрясений начала XX в.

АВПРИ ИДД МИД России. Ф. 337-2. Оп. 1. Д. 164; Оп. 7. Д. 32, 52.

Благотворительные учреждения Российской империи. Т. 2. СПб., 1900.

Братство св. Стефана, епископа Пермского, по уставу, принятому в общем собрании членов Братства 31-го декабря 1889 года // Пермские епархиальные ведомости. 1890. № 2. Отдел неофиц. С. 45–48.

Деятельность отделов Императорского Православного Палестинского общества в 1901/2 году // Сообщения Императорского Православного Палестинского общества. Т. 13. Приложение 1. СПб., 1902.

Деятельность отделов Императорского Православного Палестинского общества в 1902/3 году. СПб., 1903. 102 с.

Дмитриевский А. А. Императорское Православное Палестинское Общество и его деятельность за истекшую четверть века (1882–1907). СПб, 1907. 332 с.

ЕЕВ – Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1886. № 39–40. Отдел неофиц.; 1887. № 20–21. Отдел неофиц.; 1896. № 20–21. Отдел офиц.; 1903. № 1–2. Отдел неофиц., № 3. Отдел офиц., № 6. Отдел офиц., № 8–9. Отдел офиц., № 10. Отдел офиц., № 12. Отдел офиц., № 15. Отдел офиц.; 1905. № 13. Отдел офиц.; 1912. № 2. Приложение; 1913. № 48. Отдел неофиц., № 49. Отдел неофиц., № 50. Отдел неофиц.

Казакова-Анкаримова Е. Ю. Формирование гражданского общества: городские сословные корпорации и общественные организации на Среднем Урале (вторая половина XIX – начало XX в.). Екатеринбург : УрО РАН, 2008. 280 с.

Курляндский И. А. Митрополит Московский и Коломенский Иннокентий (Вениаминов) – председатель Православного Миссионерского общества в Москве (1870–1879 гг.) [Электронный ресурс] // Миссионерское обозрение. 2000. № 3. URL: http://www.seminaria.bel.ru/pages/mo/2000/mo3_sod.htm (дата обращения: 10.08.2014).

Нечаев М. Г. Миссионерская деятельность церкви на Урале (1905–1916 гг.) // Христианское миссионерство как феномен истории и культуры (600-летию памяти святителя Стефана Великопермского) : материалы междунар. науч.-практ. конф. Т. 1. Пермь, 1997. С. 69–82.

Нечаева М. Ю. Единение во имя Христа: Православные общественные организации Среднего Урала середины XIX – начала XX века. Екатеринбург : Издательство Екатеринбургской епархии, 2008. 194 с.

Нечаева М. Ю. «Желая посвятить себя Святым местам...» // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 12. Екатеринбург, 2011. С. 429–455.

ОЕВ – Оренбургские епархиальные ведомости. 1903. Отдел офиц. № 16, 17, 18.

Отчет о деятельности Симбирского отдела Императорского Православного Палестинского общества за время с 1 марта 1913 года по 31 декабря того же 1913 года. Симбирск, 1913. 22 с.

Отчет Православного Палестинского общества за 1882–1883 год. СПб., 1883. 124 с.

Отчет Православного Палестинского общества за 1884–1885 год. СПб., 1885.

ПЕВ – Пермские епархиальные ведомости. 1872. № 49. Отдел офиц., № 52. Отдел неофиц.; 1896. № 17. Отдел офиц.; 1897. № 10. Отдел неофиц.; 1898. № 11. Отдел неофиц.; 1902. № 39. Отдел неофиц.; 1903. № 33. Отдел офиц.; 1899. № 39. Отдел офиц., № 40. Отдел офиц., № 41. Отдел офиц.; 1907. № 10. Отдел неофиц.; 1909. № 16. Отдел неофиц., № 32. Отдел неофиц.; 1911. № 18. Отдел неофиц.; 1915. № 11. Отдел неофиц.

Римский С. В. Российская церковь в эпоху великих реформ (Церковные реформы в России 1860–1870-х годов). М. : Грааль, 1999. 568 с.

Сообщения Императорского Православного Палестинского общества. Т. 13. СПб., 1903; Т. 17. СПб., 1906; Т. 21. СПб., 1910; Т. 23. СПб., 1912; Т. 24. СПб., 1913; Т. 25. СПб., 1914.

УЕВ – Уфимские епархиальные ведомости. 1903. Прибавления к № 12, 13, 14, 15.

AVPRI IDD MID Rossii. F. 337-2. Op. 1. D. 164; Op. 7. D. 32, 52. [Archive of the foreign policy of the Russian Empire of the Historical documentary department of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Stock 337-2. List 1. Dossier 164; List 7. Dossier 32, 52].

Blagotvoritel'ny'e uchrezhdeniya Rossijskoj imperii. (1900). (Vol. 2). St. Petersburg.

Bratstvo sv. Stefana, episkopa Permskogo, po ustavu, prinyatomu v obshhem sobranii chlenov Bratstva 31-go dekabrya 1889 goda [St. Stephen Brothers, bishop of Perm, by the rule, accepted at the general meeting of the members of the brotherhood on 31st December, 1889]. (1890). *Permskie eparhial'ny'e vedomosti. Otdel neoficz.*, 2, 45–48.

Deyatel'nost' otdelov Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo obshhestva v 1901/2 godu [Activity of the departments of the Imperial Orthodox Palestinian community in 1901–1902 yrs.]. (1902). In *Soobshheniya Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo obshhestva. T. 13. Prilozhenie I.* (Vol. 13). St. Petersburg.

Deyatel'nost' otdelov Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo obshhestva v 1902/3 godu [Activity of the departments of the Imperial Orthodox Palestinian community in 1902–1903 yrs.]. (1903). St. Petersburg.

Dmitrievskij, A. A. (1907). *Imperatorskoe Pravoslavnoe Palestinskoe Obshhestvo i ego deyatelnost' za istekshuyu chetvert' veka (1882–1907)* [The Imperial Orthodox Palestinian community and its activity for the passed quarter of the century (1882–1907). St. Petersburg.

Ekaterinburgskie eparhial'ny'e vedomosti [Ekaterinburg eparchial news]. (1886). 39–40. Unofficial section; (1887). 20–21. Official section; (1896). 20–21. Official section; (1903). 1–2. Official section, 3. Official section, 6. Official section, 8–9. Official section, 10. Official section, 12. Official section, 15. Official section; (1905). 13. Official section; (1912). 2. Supplement; (1913). 48. Unofficial section, 49. Unofficial section, 50. Unofficial section.

Kazakova-Apkarimova, E. Yu. (2008). *Formirovanie grazhdanskogo obshchestva: gorodskie soslovny'e korporatsii i obshchestvenny'e organizatsii na Srednem Urale (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.)* [Formation of civil society: town estate corporations and social organizations at the Middle Urals (late 19th – early 20th cc.). Ekaterinburg: UrO RAN.

Kurlyandskij, I. A. (2000). Mitropolit Moskovskij i Kolomenskij Innokentij (Veniaminov) – predsedatel' Pravoslavnogo Missionerskogo obshchestva v Moskve (1870–1879 gg.) [Metropolitan of Moscow and Kolomna Innocent (Veniamoniv) – the chairman of the Orthodox Missionary Society in Moscow (1870–1879)]. *Missionerskoe obozrenie*, 3. Retrieved from: http://www.seminaria.bel.ru/pages/mo/2000/mo3_sod.htm.

Nechaev, M. G. (1997). Missionerskaya deyatel'nost' cerkvi na Urale (1905–1916 gg.) [Missionary activity of the church in the Urals (1905–1916 yrs.)]. In *Hristianskoe missionerstvo kak fenomen istorii i kul'tury' (600-letiyu pamyati svyatitelya Stefana Velikopermskogo): materialy' mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* (Vol. 1, pp. 69–82). Perm.

Nechaeva, M. Yu. (2008). *Edinenie vo imya Hrista: Pravoslavny'e obshchestvenny'e organizatsii Srednego Urala serediny' XIX – nachala XX veka* [Unity in Jesus' name: Orthodox social organizations in the Middle Urals in the middle of 19th – early 20th century]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ekaterinburgskoj eparhii.

Nechaeva, M. Yu. (2011). “Zhelaya posvyatit' sebya Svyaty'm mestam...” [“Wishing to make a commitment to Holy sites...”]. In *Dokument. Arhiv. Istoriya. Sovremennost'*. (Vol. 12, pp. 429–455). Ekaterinburg.

Orenburgskie eparhial'ny'e vedomosti, 16, 17, 18. (1903). [Orenburg eparchial news. Official section].

Otchet o deyatel'nosti Simbirskogo otдела Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo obshchestva za vremya s 1 marta 1913 goda po 31 dekabrya togo zhe 1913 goda [Report on the activity of the department of the Imperial Orthodox Palestinian community for the period from 1st March, 1913 to 31st December, 1913]. (1913). Simbirsk.

Otchet Pravoslavnogo Palestinskogo obshchestva za 1882–1883 god [Report of the Orthodox Palestinian community for 1882–1883 year]. (1883). St. Petersburg.

Otchet Pravoslavnogo Palestinskogo obshchestva za 1884–1885 god [Report of the Orthodox Palestinian community for 1884–1885 year]. (1885). St. Petersburg.

Permskie eparhial'ny'e vedomosti [Perm eparchial news]. (1872). 49. Official section, 52. Unofficial section; (1896). 17. Official section; (1897). 10. Unofficial section; (1898). 11. Unofficial section; (1902). 39. Unofficial section; (1903). 33. Official section, 39. Official section, 40. Official section, 41. Official section; (1907). 10. Unofficial section; (1909). 16. Unofficial section, 22. Unofficial section, 32. Unofficial section; (1911). 18. Unofficial section; (1913). 22. Unofficial section; (1915). 11. Unofficial section.

Rimskij, S. V. (1999). *Rossiyskaya cerkov' v e'pohu velikih reform (Cerkovny'e reformy' v Rossii 1860–1870-h godov)* [Russian church in the epoch of great reforms (Church reforms in Russia in 1860–1870s yrs.)]. Moscow: Graal'.

Soobshheniya Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo obshchestva [News of the Imperial Orthodox Palestinian community]. (1903). Vol. 13. St. Petersburg; (1906). Vol. 17. St. Petersburg; (1910). Vol. 21. St. Petersburg; (1912). Vol. 23. St. Petersburg; (1913). Vol. 24. St. Petersburg; (1914). Vol. 25. St. Petersburg.

Ufimskie eparhial'ny'e vedomosti [Ufa eparchial news]. (1903). Supplement to 12, 13, 14, 15.

The article was submitted on 11.06.2014

Марина Юрьевна Нечаева

д. и. н.

Россия

Институт истории и археологии

УрО РАН

atlasch@narod.ru

Marina Nechaeva, Dr

Russia

Institute of History and

Archaeology,

Ural Branch of the Russian

Academy of Sciences

atlasch@narod.ru

ORTHODOX EDUCATION IN THE BALTIC PROVINCES OF IMPERIAL RUSSIA AND INDEPENDENT ESTONIA FROM 1840s TILL 1941¹

The article is dedicated to the educational activities of the Orthodox church in the Baltic provinces, focusing on the Estonian Orthodoxy. The network of elementary schools, the ecclesiastical seminary and the teaching of Orthodox religion in the secondary schools were the typical forms of Orthodox education before 1917. Despite the break-up of the Russian Empire and the nationalisation of education in Estonia, the Orthodox Church had continued its educational activities. In interwar Estonia this education had bifurcated: the Russian Orthodox had actively engaged with children and youth through the civil society organisations, while the Estonian Orthodox primarily focused on the education of the clergy.

Keywords: The Russian Orthodox Church, the Estonian Apostolic Orthodox church, education, religious instruction, Empire, clergy, schools, the Russian Student Christian Movement, emigration, Russification, secularisation.

Статья посвящена образовательной деятельности православной церкви в прибалтийской губернии, в частности деятельности Эстонской православной церкви. Вплоть до 1917 г. православное образование можно было получить в одной из ряда начальных школ, духовных семинарий и общеобразовательных школ, преподающих основы православной веры. Несмотря на распад Российской империи и национализацию образования в Эстонии, православная церковь продолжила свою образовательную деятельность в стране. Во время межвоенного периода в Эстонии подобное образование разделилось на два направления: Русская православная церковь активно занималась образованием детей и молодежи через гражданские общественные организации, тогда как Эстонская православная церковь сосредоточивалась на образовании священнослужителей.

Ключевые слова: Русская православная церковь, Эстонская апостольская православная церковь; образование; религиозное образование; империя; духовенство; школы; русское студенческое христианское движение; эмиграция; русификация; секуляризация.

¹ The article is written with the support of the grant from the Estonian Science Foundation (PUT 428).

The history of the Russian Orthodox Church, which had experienced revival in the last two decades both in Russia and Anglo-American historical literature, cannot be complete without attention to its educational activities, especially outside its traditional geographical boundaries. This paper aims at bringing the problem of Orthodox education in one of the former provinces of the Russian Empire as a case-study that has important bearing on both the Russian Orthodox Church history and on the history of education.

Following the pioneering work of Gregory Freeze on social history of the Russian Orthodox Church in the 1970–80s [Freeze, 1983; Freeze, 1985] a rich field of the Orthodox Church studies have emerged in the Anglo-American historiography since the 1990s [Coleman; Dixon, 1993; Kizenko; Kenworthy; Shevzov; Wagner; et al]. Even though the attention to Orthodox education has been marginal within these studies, one cannot fail to mention the work of Laurie Manchester on the formation of the identity of the clergy's sons, whose experience of ecclesiastical seminaries was essential to their collective self imbued by a sense of urgent social mission, moral superiority and martyrdom [Manchester, p. 123–154]. Much of the post-Freezian oeuvres have provided a multi-faceted and often quite positive view of the Russian Orthodox Church. In contrast to these, the recent studies of the Russia's Imperial space have treated the Synodal church as an instrument of Imperial power characterised by intolerance to other faiths. The works of historians of North-Western provinces, including the Great Duchy of Poland and the Baltic realm, in particular, emphasised the role of the church as an agent of the state's interests in assimilating the non-Russian people through the imposition of the Orthodox faith and suppression of religions that were rooted in those lands including Roman Catholicism (including Uniates) and Lutheranism [Dixon, 2004; Долбилов; Skinner; Staljunas; Werth, 2000; Werth, 2002]. Focussing on the Orthodox education in Imperial provinces some of the contradictions can be addressed: has the education sponsored and controlled by the church served the assimilatory aims of the Imperial state; did the Orthodox education cease to exist with the end of the Empire?

Within the Orthodox Church's long historical engagement with non-Russian nationalities the promotion of literacy cannot be separated from the christianisation of the heathen people. However, not until the 19th century that Orthodox impact on non-Russian people of the Empire had resulted in a confessional makeover of the Imperial space. The educational activities of Nikolaj Il'minskij (1821–1891) among the Tatars and Finno-Ugric people of the Volga region are studied better than educational experiments among other non-Russian people [Geraci; Werth, 2000]. Nevertheless, before Il'minskij had initiated his schools in the 1860s, there were already established schools for the Orthodox Latvians and Estonians which carried teaching in native languages. Thus the problem of Orthodox education among non-Russians put forward the question of the vernacular language (both as a language of tuition and the

language of church service). It seems that at least before the 1890s it was widely accepted that Orthodoxy should be preached through the tongues of the various people of the Empire.

Despite the principle of toleration and voluntary character of conversions, there had always been a danger of insincere conversions and outflows from Orthodoxy, or apostasy, which had to be persecuted according to law. The formal character of religious identification in the Russian Empire was termed by Werth "religious ascription" [Werth, 2000]. Education of the non-Russian Orthodox subjects could not be separated from the problems of conversion and apostasy. The converts lived in an environment that was culturally and religiously antagonistic to Orthodoxy, and maintaining Orthodox faith without receiving some social or economic benefits proved a challenge to many. Orthodox education therefore had to be understood in this context: it meant to integrate converts into Orthodox faith and bring them closer to Russian culture. It was believed to be only possible through the use of the local language in education and liturgy.

The emergence of the non-Russian Orthodox education and culture in the context of the Empire had a potential of cultural and religious autonomy; it seems that the tension between the dominant nationality and minorities had existed within the Russian Orthodox Church already in the 19th century. The secular nationalism had impact on the demands for ecclesiastical autonomy.

Estonia is treated here as a case-study for the understanding of the social activity of the Russian Orthodox Church outside its traditional target-group, the rural Russian Orthodox population. The educational projects that emerged within the framework of the Orthodox church in this region shed the light on the strengths and limitations of the social engagement of the church. Estonia, of course, is unique case: here a first chair of the Orthodox theology was established in Tartu University already in the 19th century²; education was carried through the means of two languages, Estonian and Russian; the alumni of the Orthodox institutions occupied key political positions after 1918.

This article will focus on various forms of Orthodox education in the Baltic provinces, focussing on Estonia that included elementary Orthodox schools, teaching of Orthodox religion in public schools, ecclesiastical education and informal work with children and youth. It will cover two major periods: the Imperial (1840–1917) and the period of Estonian Republic (1917–1941). The inclusion of the period of independent Estonia is paramount because it raises the question of endurance of Orthodoxy in the post-Imperial context. How did the breakdown of the Russian Imperial ecclesiastical structure affect the Orthodox education? If the Orthodox Church is understood as a means of Russian Imperial power, how should we evaluate its social and educational activities in the interwar period?

² Orthodox religious instruction in the University of Tartu was introduced in 1833, however regular classes started only in 1842. The chair of Orthodox theology was officially established in 1865.

The Orthodox Education in Estonia: Imperial Period

In Estonia, the Orthodox education cannot be separated from the conversion movement of the 1840s when – after initial hesitation – the tsarist government had committed itself to the support of the converts and decreed the setting up of Orthodox schools in parallel to the parish system. This was the lower level elementary education that had a clearly expressed pastoral aim. The setting up of Riga Spiritual Seminary in 1846³ had showed a commitment of the government to provide Estonian and Latvian parishes with the clergy that was locally trained. About two-thirds of the Riga Seminary graduates came not from the ethnically Russian, socially exclusive clergy estate (*duhovnoe soslovie*), but from the Estonian and Latvian peasantry, which was a remarkable difference compared to other Orthodox seminaries. In addition, the teaching of Orthodox religion in state schools was the law for the Russian Empire.

The Orthodox elementary schools, called the schools of Russian faith, had two types: parish and auxiliary. According to the law, a school had to be set up for an area that had at least 500 Orthodox men and women. By the 1850s Estonian Orthodox had 117 schools. The active development of popular education following the period of Great Reforms 1861–1874, increased funding from central government and the improved administrative control through the Council of Orthodox Schools set up in 1870, teachers' seminaries led to the further increase of the number of Orthodox schools in Ostsee provinces. By the mid-1880s this number increased threefold! According to the calculations of the Estonian historian of education Elmar Ernits the number of Orthodox schools in 1884/85 was 315, with total number of pupils 10 439 [Ernits, p. 851–853; Исаков, с. 34].⁴ Compared with the number of Lutheran schools, the schools of “Russian faith” made up to 26,5 % in Livonia and 7,1 % in Estonia (before the second wave of conversions in Estonia), and 19,5 % of primary schools in Estonia in total [Ernits, p. 853].

The curricula in the Orthodox schools followed the one set up by the Ministry of Education, but differed from the one adopted for the Russian Church schools after 1884. For example, the Orthodox pupils in Estonia had opportunity to study natural science while their Russian counterparts did not. Estonian schools provided teaching of Estonian (4 hours during first two years) [Отчет, с. 40]. The teaching of religion (6 hours a week) too was carried through the medium of the native language of the pupils. In the 1890s with an intention to increase the number of hours for Russian, the attempt was made to transfer religion in Russian language. This measure proved quite unpopular among the Estonian clergy. Despite the emphasis on the teaching of Russian in the Orthodox schools, in practice, the provision of Russian was uneven. Many schools used the permission to transfer

³ Initially it has been set up as a spiritual school (*uchilishhe*) and after 1851 as a seminary.

⁴ In 1880 there were 395 parish and auxiliary Orthodox schools in three Baltic provinces, in 1887–1888 this number was 465.

to Russian only during the last year of school, yet many others lacked the resources and qualified teachers [EAA, f. 384, n. 1, s. 1316, lk 48–49].

While the Orthodox schools in general provided a reasonable elementary schooling, and attracted the Lutheran pupils as well as Orthodox, by the late 19th century they have not received sufficient funding to compete with the schools run by the Ministry of Education. Thus the position of the Orthodox school was only slightly better than that of Lutheran schools that had been deprived of the support of the nobility after the Russification reforms.

The graduates of the parish schools with good command of Russian had a chance to study in the Riga Spiritual Seminary whose program was equal in status to state gymnasiums. Despite the Imperial decree on the foundation of the five-class spiritual school in Riga from 1846, the seminary had opened its doors to students in October 1851. The students have been recruited equally from three groups: the children of the ethnic Russian clergy, Latvian and Estonian graduates of parish schools. The curricula of Riga seminary was primarily based on the Russian seminaries only with the teaching of local languages. Under Bishop Filaret (Filaretov, 1877–1882) the Riga seminary had improved its recruitment and teaching staff. The number of scholarship had been increased from 33 to 60; the families of students of peasant origin had been exempted from the payment of taxes and dues. This had increased popularity of Riga seminary among the Estonian and Latvian peasants despite the long period of study and expenses that previously made many parents hesitant about sending their child to Riga for no less than 8 years! [Гаврилин, p. 270]. Under Filaret the teacher salaries increased too: from 1000 roubles a year in 1851–1856 to 1300–1400 roubles [Ibid, c. 271].

The level of education received in Riga Seminary was relatively high, as many graduates could continue education in universities. According to calculations of Anu Raudsepp, 21 % of Estonian graduates from RVS received higher education (compare to 7 % Tartu Teacher Seminar graduates who received higher education). However, compared to the education of the Lutheran clergy who graduated from the Theology department of Tartu university, the Orthodox priests appeared less able to engage in inter-confessional disputes. On the other hand, because the priests of Estonian and Latvian origin (as well as many priests of Russian origin who became rooted in the Baltic provinces) came from the peasants, they shared culture and social experience with their parishioners. Between 1847 and 1918 at least 663 Estonians had studied in the Riga Spiritual Seminary, many of whom became not just priests but leading figures in education and administration [Raudsepp, p. 153].

What was the experience of the seminary like? Laurie Manchester, for example, argued that despite the criticism of Bursa (a degrading term for the Orthodox seminary) by the writers such as Nikolaj Pomyalovskij (1835–1863) many autobiographers “actually idealised certain aspects of bursa life, such as comradeship, leisure, patriarchy, paternalism, self-ed-

ucation, and ironically, their suffering” [Manchester, p. 154]. The Latvian student of the seminary in Riga Pavlis Gruzna in his autobiographical “Bursaki” presents the atmosphere in the seminary as both patriarchal and riveted by tensions. The students from Latvia were not allowed to sing their folk songs, because it was regarded as pagan, nor to read Latvian language newspapers. The half-literate servant in the seminary did not make a distinction between Latvian and Estonians, considering them Germans. Yet, unlike Pomyalovskij’s recollection, Gruzna did not condemn his *alma mater*. On the contrary, he provides portraits of the seminary teachers that were patriarchal, sometimes comic but sympathetic. For example, there is a humorous portrait of an old priest-confessor Nikita, who was so innocent that he naively believed all lies his students told me. He also tolerated mischief: once students replaced his bottle of wine with a bottle of ink, to make him wonder whether it was God’s punishment for his sins [Инфантьев, с. 162]. How did the seminary affect careers of their graduates? Many of the Estonian seminary graduates who studied in Riga in the 1880–90s had become prominent in the political and cultural life of the Republic of Estonia. Among the Estonian graduates of Riga Spiritual Seminary were Konstantin and Nikolai Päts, Jaan Poska, Ado Birk, Theodor Rõuk, Tõnis Vares.

Teaching Orthodox Religion in City Schools

As is known, morning prayers and religious instruction (*Zakon Bozhij*) had been an important part of secondary education. Yet the share of religious instruction (*usuõpetus*) in the school curricula began to decline during the last years of Tsarist era. Compared to the 1870s when it occupied 5–6 hours a week, in 1913–1917 the number of hours for religion was 2–3 hours a week.

Religion was an obligatory subject in all Imperial state schools. The mixed confessional background of the school-children in the Baltic provinces caused some problems with the teaching of religion. In the parish schools that were funded by church and by rural councils, confessional differences had to be addressed: the Lutheran children who studied in the Orthodox schools had to learn Lutheran catechism. In the Lutheran schools that came under the Ministry of Education, a presence of Orthodox children had caused concern for the authorities. They argued that such children had the right to the Orthodox tuition, and the right to study in such schools in general. It was ruled that the Lutheran schools had to notify an Orthodox priest about Orthodox children in their class [Приложение, с. 5–7]. The priests had to attend the schools to provide catechism and ensure that such children had made annual confession and took communion. According to the Manifesto on Religious Tolerance in 1905 children of minority faiths (including Old Believers) could demand a religious instructor of their own confession [Сборник, с. 210]. In that case, it was the parents that had to pay to the teacher. It is noteworthy, however, that the members

of minority faiths had received the right to study in teachers' seminaries that had been founded by the Orthodox Church [Сборник, с. 219].

After the revolutionary crisis of 1905–1907, facing general secularisation of society the state made an effort to strengthen religious instruction regardless of confession. Moral and religious upbringings of youth combined with physical development were deemed to be the goals of education, leading to “national renewal and improvement of national health” [Ibid, c. 191]. Efforts have been made to implement new methods of teaching and generally strengthen the quality of religious instruction. In 1909, for example, the national congress of the Orthodox religious instructors that took place in St Petersburg had worked out a program of improvements of confessional teaching. In Riga Teaching District the summer courses for teachers had been addressed to teachers of religion too. For example, in 1913–1914 the teachers of religion attended the summer courses organised in Viljandi (Fellin) and Kuuresaare (Arensburg). In 1913 in Viljandi Summer courses priest Nikolai (Luzik) had presented new methods for teaching religion to Orthodox pupils. He evaluated the positive and negative sides of three contemporary methods of organising the material: gradual, combined and concentric, as well as discussing three teaching techniques, akroamatic, heuristic and dialogical, their specific features and applications [EAA, f. 384, n. 1, s. 2221, lk. 60].

Orthodox Education and Estonian Independence

The birth of the Republic of Estonia in 1918 resulted in many notable changes in the field of education, including the elimination of Orthodox elementary schools. The closing of these schools had begun already in 1917 at the time of German occupation when the Russian central government was unable to continue supporting such schools and the German military authorities tried to impede Orthodox education in the Baltic provinces by shutting down Orthodox schools or handing them over to Lutherans. On 19 November, 1918, after the end of the German occupation the Estonian Ministry of Education decided to return all former Orthodox schools to their original owners, i. e. Orthodox parishes. On 27 December, 1918 the Ministry clarified that all such schools may continue operating as private schools and they will not be forcibly nationalised. However, in cases where parishes did not have sufficient means to continue providing elementary education they were allowed to turn to county administrations, asking the schools to be nationalised [Õigeusu koolide kohta, p. 6]. Although there were a few Orthodox schools that attempted to survive as private schools, most such attempts resulted in failure and the majority of Orthodox schools were turned into public elementary schools, governed by the Elementary School Act of 1920. These schools did not operate any more on confessional basis [Avalikkude algkoolide]. In a letter from 7 March, 1919 the Ministry of Education had allowed the hiring

of Orthodox priests and sacristans as teachers in public schools, provided they had official qualification as teachers and could devote enough time for teaching. At the same time the Ministry recommended hiring candidates who were not employed somewhere else and could therefore teach full time [Kõrvalistest ametitest, p. 23]. Based on this recommendation the school boards of county administrations often refused to register Orthodox clergy for teaching in public schools. As such cases occurred mainly in areas with Lutheran majority, many Orthodox priests and sacristans came to interpret it as one form of discriminating against the Orthodox believers [EAA, f. 1655, n. 3, s. 251, lk. 290–291, 328].

Religious education that had occupied a central position in the curriculum of all schools was designated as a voluntary subject by the Provisional Government on 2 December, 1918 [Eesti Ajutiste, p. 20]. The Constituent Assembly elected in 1919 was dominated by Social Democrats and another left-wing movement, the Estonian Labour Party. The Assembly moved to abolish religious education in public schools completely. The second paragraph of the Elementary School Act from 2 May, 1920 declared that education in elementary schools was to be free, in the native language and without religious instruction. In the same year the Minister of Education Jüri Annusson from the Labour Party prohibited all religious ceremonies on school premises. The Secondary School Act approved by the Riigikogu (parliament) in 1922 would have abolished religious education also in secondary schools. These decisions caused outrage among both Lutherans and Orthodox. The majority of the population did not support the removal of religious education from the curricula and the official protests by clergymen were supported also by common lay people. When the proposition to restore religious education to schools put forward by the Lutheran-dominated Christian People's Party failed in the Riigikogu in autumn 1922, a referendum was organised. It took place on 17–19 February, 1923. Referendum drew 461 005 votes, 328 369 of them in support of restoring religious education to schools [Haava; Valk, p. 22–31]. The desire of the people was confirmed in an amendment to the Elementary School Act that came into force on 19 March, 1923 [Asutava; Valk, p. 34–35].⁵ It is interesting to note that although the majority of Orthodox believers supported the restoration of religious education, some clergymen also invited people to vote against it. The religious education in Estonian schools could be either denominational (where there were at least 10 members of the same religious group in the same grade) or interdenominational. Some Orthodox priests and lay activists were worried that as Orthodox children formed a minority in most schools and as most teachers of religion were Lutherans, their children would be forced to learn Lutheran doctrines anyway. The Orthodox Church contacted repeatedly the Ministry of Education where the issue was investigated thoroughly; however, no proof for such allegations was found

⁵ The Secondary School Act was to come into force only in autumn 1923 and therefore it did not require an amendment, just nullification of the paragraph regarding the abolishment of religious education.

[EAA, f. 1655, n. 3, s. 251, lk. 72].⁶ The general principles for providing religious education remained unchanged until 1940, only the structure and accents of the curricula were revised: for elementary schools in 1931 and 1937, for secondary schools in 1925 and 1938 [Valk, p. 71–91].

In the early years of the Republic of Estonia the training of priests was another issue that had to be solved. The Riga Seminary had been evacuated due to approaching front to Russia in 1915 and this evacuation had ended the training of Orthodox priests in the Baltic provinces. Even if the Seminary were still in existence, many Estonian Orthodox priests had deemed its curriculum outdated and had demanded already back in 1917 that the training of priests should be transferred to a university, similarly to the training of Lutheran pastors [EAA, f. 1655, n. 3, s. 62, lk. 8]. First steps in that direction had been made by the Vicar Bishop of Tallinn, Platon (Kulbusch). He had turned in spring 1918 with this request to the University of Tartu and had been granted an approval by the Council of Professors in May 1918. However, due to war the founding of the Chair of Orthodox Theology was postponed and it was officially opened only with the decision of the University Board on 7 September, 1919 [EAA, f. 1655, n. 3, s. 243, lk. 428, 431]. At first no decision was made about which faculty the Chair should belong to – only in 1925 it was designated as part of the Faculty of Theology. In autumn 1919 Archpriest Karp Tiisik, a graduate of the Moscow Theological Academy became the first holder of the Chair. However, Tiisik passed away on 30 June, 1922. After his death Archpriest Vassilij Martinson was presented as a new candidate for the Chair. He was a graduate of the St. Petersburg Theological Academy, had served as Rector of the St. Petersburg Seminary in 1910–1918 and had only recently returned from Russia to Estonia. Martinson started his work at the University in October 1922 and became a Full Professor in 1931 [EAA, f. 2100, n. 2, s. 615, lk. 6–8, 48]. Students studying Orthodox theology were required to subscribe to the general curriculum of the Faculty of Theology and pass the same exams as other, Lutheran students. Only a handful of subjects were taught by the Chair of Orthodox Theology: dogmatics, systematic theology, canon law and history of the Orthodox Church in Eastern and Baltic countries. The Professor of Orthodox Theology also supervised their training in systematic theology and a seminar in practical theology, graded an essay and took tests in catechetics and homiletics [EAA, f. 1655, n. 3, s. 243, lk. 103–104]. Due to high academic requirements and high tuition fees the Chair of Orthodox Theology was plagued by scarcity of students, not alleviated even by scholarships provided by the Church and congregations. In years 1925–1940 there were only 29 full-time students and only five of them graduated:

⁶According to the Ministry there were 80.2% of Lutheran students and 19.1 % of Orthodox pupils in elementary schools. The percentage of teachers was 79.1 for Lutherans and 20 for Orthodox. In secondary schools there were 88.4 % of Lutheran pupils and 84.9% of Lutheran teachers, 11.2 % of Orthodox pupils and 12 % of Orthodox teachers. Therefore the Ministry concluded that actually there were more Orthodox teachers than Orthodox pupils and the cases where Orthodox pupils were taught religion by a Lutheran teacher should have been very rare.

Vladimir Karinskij and Rostislav Lozinskij in 1934, Aleksandr Osipov and Edvald Õunapuu in 1935, Aleksander Jürisson in 1938. Lozinskij, Osipov and Jürisson also became priests. Four other students – Theodor Bleive, Nikolaj Hindov, Vitalij Tähe and Artemij Pops – were elected and ordained priests before graduation and had to drop out in order to start serving their congregations [EAA, f. 2100, n. 2, s. 615, lk. 92]. At the same time the Synod of the Estonian Apostolic Orthodox Church (EAOOC) estimated that every year they needed at least five candidates for priesthood from the University [Ibid, f. 1655, n. 3, s. 243, lk. 162]. Therefore the Chair failed to fully meet the expectations of its founders.

As the EAOOC came to a conclusion that smaller rural congregations do not necessarily need people with higher education as priests, some clergymen had already in 1919 come up with an idea to found a theological secondary school or a seminary. However, over the course of many years this idea was hindered by the lack of finances and appropriate facilities. Only in 1929 the Church Council made an official decision to open a seminary but even then the process took more than 3 years to complete [Laar]. The new institution of education was opened on 3 September, 1933 with a festive meeting and prayer service by the Head of the EAOOC, Metropolitan Aleksander (Paulus). The first academic year began two days later. The Seminary was located in the Petseri Monastery where it had a classroom, two dormitories, a washing room, a wardrobe and a teachers' room at its disposal. Nikolai (Leisman), Bishop of Petseri and Superior of the Petseri Monastery, was appointed as Rector of the Seminary. Everyday business of the Seminary was carried out by his deputy, Archpriest Joann Paavel. When Paavel became ill, Archpriest Joann Envere was appointed as new deputy in November 1939. The duration of studies was two years and the curriculum was designed to provide a wide theoretical and practical training for future priests through the medium of Estonian language. The theoretical part of the curriculum included moral theology, exegesis, dogmatics, philosophy, church history and comparative religious studies. The practical side of the curriculum covered church music, homiletics, Estonian and Russian but also the basics of economics, gardening and first aid [EAA, f. 1655, n. 3, s. 361, lk. 675–676]. In 1934 didactics and pedagogy of religion were added to the curriculum. However, the Seminary was not certified to give qualification to teach religion at schools. That is why students who wanted to become teachers had to take additional two year course in the pedagogical colleges in Tallinn or Tartu [Ibid, s. 361, lk. 299, 308]. The Seminary accepted secondary school male graduates men not older than 40 years. Men who had only elementary education could attend classes without becoming full students. If they passed all the required tests, they were considered qualified to work as sacristans. Ten seminarians had full support from the monastery, others had to pay a relatively low tuition fee of 15 Estonian Kroons a month [Ibid, s. 361, lk. 578]. A light curriculum, reasonable academic requirements and low costs resulted in a high number of candidates and seminarians. Already

in the first year 50 young men applied to the Seminary, 20 of them were admitted. At first new seminarians were admitted every two years but from 1938 onwards a new course was opened every year. All in all there were 45 graduates of the Seminary, most of whom found work as clergymen [EAA, f. 1655, n. 3, s. 361, lk. 24–25, 55, 176, 263, 354]. Most of the seminarians were ethnic Estonians, however, there was always also a minority of Russian-speaking seminarians. In 1936 there were 12 Estonians and 5 Russians. In 1937 there were 7 Estonians and 4 Russians. In 1939 there were 10 Estonians and 6 Russians.

Orthodox Education and the Russian Diaspora in Estonia 1917–1941

Even though Estland and Liivland had a number of ethnic Russians before 1917, as a result of the war and revolution Estonia had acquired a much larger proportion of the Russian-speaking Orthodox population that comprised the members of the White armies, refugees from the Soviet Russia, as well as the peasant population of Petseri and Narova River (*Prinarov'e*) region. The refugee part of this population was in flux: many have stayed in Estonia temporarily before moving to the West European countries. There was also a network of social and family connections between the Russian emigrants in European countries. Overwhelmingly the emigrants, who came from the middle or upper classes, have received a good education and wanted their children to have the same. The instability, poverty and trauma of revolution have led these men and women, who may have not been before very religious, to turn to the Orthodox Church. The emigrant organisations focused their efforts on youth and children, hoping to infuse them with Orthodox values and love for Russian culture. The leading role was played the Russian Student Christian Movement that had support of YMCA and World Christian Student Federation. The congress of the Russian Student Christian Movement (hereafter RSCM) in Psherov near Prague in 1923 had marked a new stage in the cooperation between the Western Evangelical Christians and the Russian emigrant youth: the charismatic presence of father Sergij Bulgakov and other Orthodox speakers made the connection with the Orthodox church very palpable.⁷ The RSCM operated as a confederation of national organisations, representatives of which gathered at regular conferences. In Estonia, the RSCM circles emerged on the basis of the YMCA/YWCA network in Tallinn, Narva, Tartu and Petseri, incorporating the Christian Union of the Russian Students in Tartu [Шувалова, с. 194].

⁷ The origins of RSCM (*Russkoe Studencheskoe Hristianskoe Dvizhenie*) go back to 1905 when YMCA founded a Russian branch "Lighthouse" (*Mayak*) in Moscow with Marcinovskij as the leader. In 1913 the Russian branches were transformed into the Russian student Christian movement.

The work of the RSCM among children and youth consisted of the organisation of the Bible-study groups⁸, kindergartens and Sunday schools, and scout organisations: “Vityazi” for boys and “Druzhinnici” for girls. These Orthodox scout organisations for children from the age 12 to 18 had their own summer camps where prayer and sermons were part of the programme. The girls scouts wore uniforms: navy blue shirts, the same colour skirts and a white neck-scarf. In the morning a girl-scout put two knot on her scarf. If during the day she made two good deeds, she was allowed to undo the knots [Ганьжин].

Even though schools had state program in which the teaching of religion had been made optional and non-confessional, the Russian schools had retained their connection with the Church. In the Russian gymnasium in Tallinn the prayer was said before the start of classes, and icons carried out solemnly by the school children. The Russian private elementary school (1–4 grades), run by the organisation “The Russian Child’s House” was located in the church house of Kanan Nativity of Mother of God church in Tallinn. The head of the school was Tat’yana Dezen, an active member of the RSCM. According to the memoir of Metropolitan Kornelius (Jakobs), it was thanks to Dezen’s moral influence that he had made a commitment to church. Priest Aleksandr Osipov had run a Bible-group in the Kanan church every Sunday, which attracted many young people.

Among the active leaders of the RSCM in Estonia were I. A. Lagovskij (1889–1941), the Dezen family (especially T. Dezen), T. M. Fomina, T. Milyutina (Bezhaniczka). The organisers and active force of the movement were lay people. In addition, the majority of the Russian-speaking priests of EAOK participated in the activities of the RSCM including Fr Ioann Bogoyavlenskij, Fr Rostislav Lozinskij and Fr Aleksandr Kiselev. Bishop Pavel (Dmitrovskij) was the confessor of the RSCM in Narva. Priests Aleksandr Osipov and Anatolij Ostroumov were also involved in many activities of the RSCM.

In Petseri region the Russian Christian Movement of Peasant Youth had been launched by one of the members of RSCM Ivan Pen’kin who worked as a primary school teacher in Petseri, organising a dormitory for poor children whose families could not afford sending children to school. The Estonian state had appreciated the educational and missionary work among the peasant population in Petseri and promised to provide some material support for “the peasant youth” movement.

The problem of Christian education and catechisation of youth had been pressed by the Russian clergy. During the diocese conference in 1939 Bishop Pavel (Dmitrovskij) of Narva had criticised the teaching of religion in state schools in Estonia, pointing out that often this subject was taught by teachers who were not practicing believers. He believed that the clergy had to have a larger role in teaching religion at schools [Второй Пастырский

⁸ These groups were not called “Bible-study”, but they focussed on the reading the Gospel. The members of RSCM organised such groups among the young people. See footnote below.

съезд, с. 196]. During the same conference Fr Rostislav proposed a programme of catechisation of youth that comprised 33 hours and included the New Testament, church history and the liturgy. This was analogue of the Lutheran confirmation classes was intended for 15–16 years old youth and was to take place during Great Lent.⁹

The Russian Student Christian movement meetings in Tallinn took place in the underground floor of the Aleksander Nevskii Cathedral, which had been named jokingly “catacombs”. Estonia hosted two annual congresses of RSCM: in Petseri in 1929 and in 1930, and in Dormition of Mother of God Pjuhtitsa Convent in Kuremäe in 1932, attended by father Sergij Chetverikov, archpriest Pavel (Dmitrovskij), father Vasilij Zen'kovskij and mother Mariya (Skobczova). The Estonian press gave negative reviews of the congress, suggesting that this was a gathering of the Russian nationalistic pro-monarchist youth [Плюханов, с. 201–230]. In 1934 the congress of the peasant youth in Estonia gathered in Rāpina which was attended by 70 representatives.

Conclusion

In contrast to the studies that emphasise the instrumental role of the Russian Orthodox church in the non-Russian provinces of the Russian Empire, this article proposes to focus on the social activity of the Orthodox church in one of the Baltic provinces as largely driven by social demand rather than Imperial policies. It argues that the Orthodox education in Estonia emerged as a response to the needs of the young Orthodox parishes that faced an unequal competition with the Lutheran parishes and schools that had more material and cultural resources. Even though the Orthodox education had received funding from the central state, it served the needs of the local population, allowing the formation of the native intelligentsia and an autochthonic ecclesiastical culture. During the nineteenth century the network of the Orthodox elementary schools had grown, teachers' colleges existed for the talented graduates of parish schools, while the candidates for the clergy could study in Riga Spiritual Seminary. While the elementary education was largely through the medium of Estonian, in the secondary institutions it was through the medium of Russian. Starting from the era of Alexander III the aim of the education, including Orthodox schools, had become more assimilationist, placing the Russian language – not Orthodoxy – as the means of integration of non-Russian people of the

⁹ The Lutheran confirmation (leer) took place twice a year, in spring and in autumn, but it depended if there were enough youngsters in the parish for holding it twice a year. Usually it was completed before the 18th year of life, most attendees were 15–16 years old. The courses could last from 2 weeks to 3 months. In many Orthodox congregations it was organised in a similar way already in the late 19th century (<http://www.eelk.ee/~eelk96/tekstid/sundmused.htm>).

Empire. This had been followed by the growing secularisation after the revolution of 1905–1907: the number of hours for religious instruction has been reduced, Orthodox schools generally underfunded, while many graduates of the spiritual seminary taking the path of secular salvation. All in all, the Orthodox education sponsored by the church and the Imperial state had been in crisis by the beginning of the First World War.

The break-up of the Russian Empire in 1917 did not lead to the disappearance of Orthodoxy, but rather to the emergence of a local Orthodox church with two clearly expressed ecclesiastical and linguistic cultures within it, one shaped by the Russian-speaking parishes, another by Estonians. The educational efforts of the Russian and Estonian-speaking parts of the EAOC in 1917–1941 developed independently, even though, the clergy – both Russian- and Estonian-speaking – was trained in the same institutions. However, what concerns the education of children, the Russian émigrés have been more active than the Estonian Orthodox: the activity of the Russian Student Christian Movement have resulted in the emergence of new educational forms, children's and youth movement, pedagogical theories and creative exchange between contemporary Western Christian and Orthodox educationalists. All of these, of course, came to an end in 1941 with the occupation of Estonia. The Soviet period is characterised by the Russo-centric forms of education, primarily the clergy training and the stagnation of all other forms of religious work with children and youth.

Второй Пастырский съезд Нарвской епархии в г. Нарве 10–11 августа 1939 г. Выборки из протокола // Православный собеседник. 1939. № 9. С. 126.

Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии (19 век). Рига: Филокалия, 1999. 368 с.

Ганьжин С. Уроки мудрости // Журнал Московской патриархии. 2002. № 6. URL: http://www.srcc.msu.ru/bib_goc/jmp/02/06-02/12.htm

Долбилов М. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: НЛЮ, 2010. 999 с.

Инфантьев Б. Неприязни и конфликты между русскими и латышскими православными семинаристами в 80-е – 90-е годы: По роману Павила Грузны «Бурсаки» // Русский мир и Латвия. 2011. № 27. С. 160–163.

Исаков С. Г. Русский язык и литература в учебных заведениях Эстонии XVII–XIX столетий. Вып. 2. Тарту, 1974. 226 с.

Отчет о состоянии православных народных училищ Прибалтийских губерний за 1904–1905 учебный год // Рижские епархиальные ведомости. Приложение. 1906. № 11–12.

Приложение к № 3 циркуляров по Рижскому учебному округу за 1903 г.

Плюханов Б. В. РСХД в Латвии и Эстонии: Материалы к истории Русского Христианского Студенческого Движения. [Париж]: YMCA-Press, 1993. 311 с.

Сборник распоряжений по Рижскому учебному округу (13.04.1911). Рига: Типография А. Нитавского, 1913. 480 с.

Шувалова Е. Начало деятельности Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД) в Эстонии // Русские в Эстонии на пороге XXI в. Прошлое, настоящее, будущее / ред. В. Бойков. Таллинн, 2000. С. 193–199.

Asutava Kogu poolt 2. mail 1920 a. vastuvõetud algkooli seaduse muutmise seadus // Riigi Teataja. 1923. № 35/36.

Avalikkude algkoolide seaduse eelnõu // Kasvatus. 1919. № 1. P. 6–16.

- Coleman H. *Orthodox Christianity in Imperial Russia. A Source book on Lived Religion*. Bloomington: Indiana University Press, 2014. 333 c.
- Dixon S. *Church, State and Society in Late Imperial Russia: the Diocese of St. Petersburg, 1880–1914*. PhD diss. London: University of London, 1993. 300 c.
- Dixon S. Sergii (Stragorodskii) in the Russian Orthodox Diocese of Finland: Apostasy and Mixed Marriages, 1905–1917 // *The Slavonic and East European Review*. 2004. Vol. 82. № 1. P. 50–73.
- EAA – Eesti Ajaloo Arhiiv. F. 384, 1655, 2100.
- Eesti Ajutise Valitsuse määrused koolide kohta // *Kasvatus*. 1919. № 2.
- Ernits E. Õigeusu koolid 1840. aastatest 1880. aastate koolireformideni // *Nõukogude kool*. 1973. № 10. P. 847–854.
- Freeze G. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered // *Journal of Ecclesiastical History*. 1985. Vol. 36. № 1. P. 82–102.
- Freeze G. *The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform*. Princeton: Princeton University Press, 1983. 507 c.
- Geraci R. P. *Window on the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia*. Cornell University Press, 2001. 356 c.
- Haava U. Kristliku poliitika õnnelik aasta // *Kirik ja Teoloogia*. 2013. № 94.
- Kenworthy S. *The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism and Society after 1825*. New York: Oxford University Press, 2010. 528 c.
- Kizenko N. *A Prodigal Saint: Father John of Kronstadt and the Russian People*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2000. 376 c.
- Kõrvalistest ametitest // *Kasvatus*. 1919. № 2.
- Laar A. Meie kõige hädalisem vajadus // *Uus Elu*. 1932. № 4/5. P. 7–8.
- Manchester L. *Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia and the Modern Self in Revolutionary Russia*. DeKalb: The Northern Illinois University Press, 2008. 288 c.
- Raudsepp A. Riia Vaimulik Seminar, 1846–1918. Tartu, 1998. 158 c.
- Shevzov V. *Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution*. New York: Oxford University Press, 2004. 358 c.
- Skinner B. *The Western Front of the Eastern Church. Uniate and Orthodox conflict in 18th-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia*. DeKalb: The Northern Illinois University Press, 2009. 295 c.
- Staljunas D. *Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863*. Amsterdam; New York: Rodopi, 2007. 465 c.
- Valk P. Ühest heledast laigust Eesti kooli ajaloos. Tallinn: Logos, 1997. 188 c.
- Wagner W. The Transformation of Female Orthodox Monasticism in Nizhnii Novgorod Diocese, 1764–1929, in *Comparative Perspective* // *Journal of Modern History*. 2006. Vol. 78. № 12. P. 793–845.
- Werth P. *At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance and Confessional Politics in Volga-Kama region, 1827–1905*. Cornell University Press, 2002. 285 c.
- Werth P. The limits of Religious ascription: Baptized Tatars and the Revision of “Apostasy”: 1840s – 1905 // *The Russian Review*. 2000. Vol. 59. № 4. P. 493–511.
- Õigeusu koolide kohta. Haridusministeeriumi seletus 27.12.1918. // *Kasvatus*. 1919. № 1.

Asutava Kogu poolt 2. mail 1920 a. vastuvõetud algkooli seaduse muutmise seadus. (1923). *Riigi Teataja*, 35/36.

Avalikkude algkoolide seaduse eelnõu. (1919). *Kasvatus*, 1, 6–16.

Coleman, H. (2014). *Orthodox Christianity in Imperial Russia. A Source book on Lived Religion*. Bloomington: Indiana University Press.

Dixon, S. (1993). *Church, State and Society in Late Imperial Russia: the Diocese of St. Petersburg, 1880–1914*. PhD diss. London: University of London.

Dixon, S. (2004). Sergii (Stragorodskii) in the Russian Orthodox Diocese of Finland: Apostasy and Mixed Marriages, 1905–1917. *The Slavonic and East European Review*, 82, 1, 50–73.

Dolbilov, M. (2010). *Russkij kraj, chuzhaya vera: e'tnokonfessional'naya politika imperii v Litve i Belorussii pri Aleksandre II*. [Russian region, foreign faith: ethnoconfessional Imperial policy in Lithuania and Bielorrussia]. Moscow: NLO.

- Eesti Ajaloo Arhiiv. F. 384, 1655, 2100.
- Eesti Ajutise Valitsuse määrused koolide kohta. (1919). *Kasvatus*, 2.
- Ernits, E. (1973). Õiguseu koolid 1840. aastatest 1880. aastate koolireformideni. *Nõukogude kool*, 10, 847–854.
- Freeze, G. (1983). *The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform*. Princeton: Princeton University Press.
- Freeze, G. (1985). Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered. *Journal of Ecclesiastical History*, 36, 1, 82–102.
- Gavrilin, A. (1999). *Ocherki istorii Rizhskoj eparhii (19 vek)* [Essays on the history of Riga diocese] Riga: Filokaliya.
- Gan'zhin, S. (2002). Uroki mudrosti [Lessons of wisdom]. *Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii*, 6. Retrieved from http://www.srcc.msu.ru/bib_roc/jmp/02/06-02/12.htm.
- Geraci, R. P. (2001). *Window on the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia*. Cornell University Press.
- Haava, U. (2013). Kristliku poliitika õnnelik aasta. *Kirik ja Teoloogia*, 94.
- Kenworthy, S. (2010). *The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism and Society after 1825*. New York: Oxford University Press.
- Infant'ev, B. (2011). Nepriyazni i konflikty' mezhdru russkimi i laty'shskimi pravoslavny'mi seminaristami v 80–90e gg. Po romanu Pavila Gruzny' "Bursaki" [Tensions and conflicts between the Russian and Latvian Orthodox seminarists in 1880–90s. According to the novel of pavil Gruzna "Bursaki"]. *Russkij mir i Latviya*, 27, 160–163.
- Isakov, S. G. (1974). *Russkij yazyk i literatura v uchebnyh zavedeniyah E'stonii XVII–XIX stoletij* [Russian language in the teaching establishments in Estonia 17th – 19th cc]. (Iss. 2.). Tartu.
- Kizenko, N. (2000). *A Prodigal Saint: Father John of Kronstadt and the Russian People*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Kõrvalistest ametitest. (1919). *Kasvatus*, 2.
- Laar, A. (1932). Meie kõige hädalisem vajadus. *Uus Elu*, 4/5, 7–8.
- Manchester, L. (2008). *Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia and the Modern Self in Revolutionary Russia*. DeKalb: The Northern Illinois University Press.
- Otchet o sostoyanii pravoslavny'h narodny'h uchilishh Pribaltijskih gubernij za 1904–1905 uchebny'j god [Report on the conditions of the Orthodox elementary schools of the Baltic provinces for 1904–1905 school year]. (1906). *Rizhskie eparhial'ny'e vedomosti*. (Supplement to 11–12).
- Prilozhenie k № 3 cirkuliarov po Rizhskomu uchebnomu okrugu za 1903 g.* [Addition to the no. 3 of the circulars of riga educational district]. (1903). Riga.
- Plyuhanov, B. V. (1993). *RSHD v Latvii i E'stonii: Materialy' k istorii Russkogo Hristianskogo Studencheskogo Dvizheniya* [RSCM in Latvia and Estonia: Materials to the history of Russian Student Christian Movement]. [Paris]: YMCA-Press.
- Raudsepp, A. (1998). *Riia Vaimulik Seminar, 1846–1918*. Tartu.
- Sbornik rasporyazhenij po rizhskomu uchebnomu okrugu* [The volume of the decrees for Riga educational District]. (1913). Riga.
- Shevzov, V. (2004). *Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution*. New York: Oxford University Press.
- Shuvalova, E. (2000). Nachalo deyatel'nosti Russkogo Studencheskogo Hristianskogo Dvizheniya v E'stonii [Beginning of the activity of the Russian Student Christian Movement in Estonia]. In V. Boikov (Ed), *Russkie v E'stonii na poroge XXI v. Proshloe, Nastoyashhee, budushhee*. Tallinn.
- Skinner, B. (2009). *The Western Front of the Eastern Church. Uniate and Orthodox conflict in 18th-century Poland, Ukraine, Belarus, and Russia*. DeKalb: The Northern Illinois University Press.
- Staljunas, D. (2007). *Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863*. Amsterdam, New York: Rodopi.
- Valk, P. (1997). Ühest heledast laigust Eesti kooli ajaloos. Tallinn: Logos.
- Vtoroj pastyr'skij s'ezd narvskoj eparhii v g. Narve 10–11.09.1939 [The second pastoral congress of Narva diocese in Narva]. (1939). *Pravoslavny'i sobesednik*, 9, 126.
- Wagner, W. (2006). The Transformation of Female Orthodox Monasticism in Nizhnii Novgorod Diocese, 1764–1929, in Comparative Perspective. *Journal of Modern History*, 78, 12, 793–845.
- Werth, P. (2000). The limits of Religious ascription: Baptized Tatars and the Revision of "Apostacy": 1840s – 1905. *The Russian Review*, 59, 4, 493–511.

Werth, P. (2002). *At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance and Confessional Politics in Volga-Kama region, 1827–1905*. Cornell University Press.

Õigeusu koolide kohta. Haridusministeeriumi seletus 27.12.1918. (1919). *Kasvatus*, 1.

The article was submitted on 20.09.2014

Ирина Пярт, PhD

Эстония,

Тартуский университет

irina@paert.com

Irina Paert, PhD

Estonia

University of Tartu

irina@paert.com

Тоомас Швак

аспирант

Эстония,

Тартуский университет

toomas.schvak@gmail.com

Toomas Schvak

Doctoral Student

Estonia

University of Tartu

toomas.schvak@gmail.com

РОССИЯ: ОБРАЗЫ И СТЕРЕОТИПЫ

УДК 811.161.1'373.211.1 + 81'286

Елена Березович,
Юлия Кривошапова

ОБРАЗЫ МОСКВЫ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. «ГЕОГРАФИЯ» МОСКВЫ

Elena Berezovich,
Iulia Krivoshchapova

THE IMAGES OF MOSCOW IN THE MIRROR OF THE RUSSIAN AND FOREIGN LANGUAGES. MOSCOW'S GEOGRAPHY

The authors focus on the linguistic image of the capital of Russia, Moscow, and its dwellers, as reflected in the Russian language (mainly, in its subdialects and the colloquial language). The image in question is studied referring to the data of foreign languages and dialects, mainly, Slavic (more particularly, East Slavic ones) along with the Romance, Germanic, Turkic, and Finno-Ugric languages. The linguistic image is based on the analysis of words derived from the name of Russia's capital as a result of semantic derivation as well as set expressions containing such words (e.g. Russian dialectal *Moskva* meaning *the core of a watermelon*, *Moskvu vidat'* (*to see Moscow*) of *thin tea or soup*, etc., Polish *moskal* of a species of small herring, Italian *Moscovita* – of frost meaning *severe, polar*, etc.) The authors take into account that in foreign languages the derivatives of the toponym quite frequently designate the idea of Russia as a whole, and not of Moscow. The article is the first of a two-article cycle on the subject. It explores popular ideas of Moscow's *geography* as reflected in the mirror of language. The authors single out a number of aspects of the image in question, i. e. *City space*; *The Role of Moscow in Russia's Space and Abroad*; *A Trip to Moscow*; A quality characteristic of space; Climate; *The World of Nature*. The analysis reveals the motivation of words and idioms, derived from the name of the capital. The authors also compare the Russian and non-Russian perception of Moscow.

Keywords: Russian studies; Slavic studies; ethnolinguistics; semantic derivation; Russian dialectal vocabulary; phraseology; derivatives of toponyms.

В центре внимания авторов – языковой образ столицы России (Москвы) и ее жителей, представленный в русском языке (преимущественно в говорах и просторечии). Этот образ изучается на фоне данных

иностранных языков и диалектов – главным образом, славянских (особенно восточнославянских), а также романо-германских, тюркских, финно-угорских. Языковой образ строится на основе анализа слов, образованных от названия российской столицы в результате семантической деривации, а также устойчивых сочетаний с участием таких слов (например, рус. диал. *москва* ‘сердцевина арбуза’, *Москву видать* ‘о жидком чае, супе’, польск. *moskal* ‘род мелкой сельди’, итал. *Moscovita* ‘о морозе: суровый, полярный’). Авторы учитывают, что в иностранных языках дериваты от изучаемого топонима нередко выражают представления не собственно о Москве, а о России в целом. Настоящая статья является первой в цикле из двух статей на эту тему. В ней изучаются народные представления о «географии» Москвы, отраженные в языковом зеркале. Выделяются различные аспекты изучаемого образа: «Внутригородское пространство»; «Роль Москвы в пространстве России и за ее пределами»; «Путешествие в Москву»; «Качественная характеристика пространства»; «Климат»; «Природный мир». В ходе анализа выявляются мотивировки слов и фразеологизмов, образованных от названия столицы. Осуществляется сопоставление «внутрироссийского» и «зарубежного» восприятия Москвы.

Ключевые слова: русистика, славистика, этнолингвистика, семантическая деривация, русская диалектная лексика, фразеология, топонимические производные.

Литература о Москве и ее роли в истории и культуре огромна. «Москвоведение» (публицистическое, беллетристическое и научное), ярко заявившее о себе в прошлые века произведениями П. И. Богатырева, В. А. Гиляровского, И. Е. Забелина, И. Т. Кокорева, И. А. Слонова, И. М. Снегирева, Н. Д. Телешова и др., насчитывает ныне тысячи наименований. В последние два десятилетия культурологи и литературоведы говорят о «московском тексте» или «московском мифе» русской культуры (из сборников и монографий, авторы которых оперируют этими понятиями, можно назвать, например, [Володихин; ММТ 1998; ММТ 2004; ММТ 2007; Люсый] и др.; в указанных книгах имеется также библиография вопроса). Не обойден вниманием исследователей и образ Москвы в русском фольклоре; среди последних работ ср., к примеру, [Иванова; Муравьев; Ястребова].

Менее изучен собственно языковой образ Москвы. Есть исследования, авторы которых показывают колорит речи столичных жителей, используя местную фразеологию, микротопонию, наименования специфических кушаний, одежды, карточных игр, имена известных купцов, трактирщиков, героев городских легенд и многое др. (например, [Елистратов; Иванов]). Эти данные рисуют в первую очередь внутреннюю жизнь столицы и ее обитателей, но гораздо в меньшей степени – представления о Москве и москвичах за ее пределами. Исследователи обращали внимание и на некоторые особенности восприятия топонима *Москва*. Так, женский род топонима (а также системные связи *Москвы* и *Петербурга*) способствовал именованию

Москвы *матушкой* (это имя встречается в фольклоре и литературе начиная с конца XVIII в. [Неклюдов, с. 373–379]) и созданию языкового мифа о брачных отношениях двух столиц [Ахметова, с. 119].

В то же время не стало объектом систематического изучения деривационно-фразеологическое гнездо «Москва». Так можно обозначить комплекс лексических фактов, в который входят семантические дериваты от слов *Москва, московский, москвич* etc. в русском языке (и их аналогов в иностранных языках), а также фразеологизмы с участием указанных слов. Ценность данных такого рода в том, что семантические дериваты и фразеологизмы составляют системно-языковое ядро образа Москвы и ее жителей, так как содержат непосредственное и регулярно воспроизводимое указание на связь с соответствующим топонимом и катойконимом. Именно этот материал будет в центре внимания авторов настоящей работы.

Обращение к наивному образу столицы, который на протяжении многих веков складывался в сознании носителя русского и иностранных языков, приобрело особую актуальность и даже злободневность в настоящее время, когда взаимоотношения России с ее ближайшими и дальними соседями подвергаются серьезному испытанию.

Основной массив изучаемых фактов принадлежит русскому языку. Используются данные, относящиеся к разным формам его существования, но упор делается не на книжную, а на народную языковую традицию – лексические единицы, функционирующие в русских говорах, просторечии и общенародном языке. Рассматривается не только нарицательная лексика, но и проприальная – вторичные топонимы (появившиеся в результате переноса – как правило, метафорического – имени *Москва* на микротопонимии), а также индивидуальные и коллективные прозвища, образованные от названия столицы. В иностранных языках деривационные гнезда имеют гораздо меньший объем, многие фрагменты образа в иноязычном языковом воплощении дают лакуны, но тем не менее эти лексические единицы представляют немалый интерес: они позволяют увидеть трансформацию образа в разных зонах удаления от номинируемой реалии – удаления как «физико-географического», так и политического, социального, культурного etc. В данной статье к анализу привлекается в первую очередь материал славянских языков и диалектов (особенно восточно- и западнославянских), реже – германских и романских, эпизодически – тюркских и финно-угорских.

Такой подбор материала призван раскрыть диалектику образа Москвы, который с позиций лингвистической прагматики устроен довольно сложно. Если учесть точку зрения говорящего, то в изучаемом образе следует предполагать наличие нескольких пластов («поясов»): языковые факты могут транслировать, во-первых, точку зрения жителей Москвы, во-вторых, населения России за пределами столицы, в-третьих, тех, кто живет за пределами России. Конечно, это «трехпоясное» деление грубое и условное, но определенные закономерности

сти в формировании образа оно отражает. При этом взгляд из Москвы дает внутреннюю позицию, взгляд из «заграницы» – внешнюю, а взгляд из «немосковской» России может быть как внешним (Москва ≠ Россия), так и внутренним (Москва – часть России)¹. Труднее всего обнаружить в языковом материале «внутримосковскую» точку зрения – более того, можно априорно предположить, что она будет реализована в незначительном количестве лексических единиц, поскольку внутри Москвы «московская маркировка» не должна обладать различительной силой. Кроме того, изучаемый материал (данные устной языковой традиции) практически не дает возможности установить, где могла образоваться лексическая единица (допустим, название одежды, типичной для жителей Москвы или ассоциируемой с ними) – собственно в Москве или на соседних территориях. Наиболее полно будут представлены те языковые факты, которые отражают второй «пояс» образа Москвы, связанный с точкой зрения жителей России за пределами столицы.

Нельзя не отметить, что многие дериваты (главным образом иноязычные) от слова «Москва» отражают не только значения 'столица России, Москва', 'московский', 'москвич', но и 'русский; российский', 'Россия': серб. *мо̀скѡвка* 'вид оружия (русская винтовка, заряжающаяся пятью патронами)', тур. *Moskof* 'житель России', англ. *Muscovy glass* («московское стекло») 'калиевая слюда, добывавшаяся в России' и др. В подобных словах и фразах закреплён метонимический перенос «имя столицы страны → имя страны», который был активен в разных языках в различные исторические периоды, ср. такие обозначения России (Великороссии), как англ. *Muscovia*, серб. *Московија*, укр. *Московщина*, польск. *Moskwa* etc. Получается, что изучаемые данные воссоздают концепт не только Москвы, но и России. Во многих случаях трудно отделить одно от другого: к примеру, практически невозможно установить, какая этнографическая реальность стоит за польск. *moskal* 'вид старой темной водки' (имеется в виду московское производство напитка или российское?). По этой причине мы решили не ограничивать материал только теми фактами, которые однозначно связываются с Москвой. В статье анализируется именно деривационно-фразеологическое гнездо «Москва», что позволяет реконструировать фрагмент языковой картины мира, связанный как с российской столицей, так и с Россией в целом.

Оговорим некоторые особенности подачи материала. Слова и фраземы русского языка даются с территориальными и социолингвистическими пометами. При диалектных фактах иностранных языков

¹ Еще раз отметим условность такого деления: так, «заграничная» позиция может отражать видение Москвы представителями тех народов, которые когда-то входили в состав Российской империи (Советского Союза), – сближаясь тем самым с «внутри-российской». Неоднородность «заграничной» позиции, разумеется, будет зависеть и от характера социально-политических связей, соединявших (или разъединявших) народы. Кроме того, «заграничная» позиция не проецируется однозначно на понятие «иностранные языки»: допустим, факты мордовского языка следует рассматривать в связи с выражением «внутрироссийской» позиции. Все эти обстоятельства, разумеется, будут учитываться в ходе анализа.

территориальные пометы в большинстве случаев не ставятся; иногда они приводятся для лексических единиц тех языков, народы-носители которых входили в состав Российской империи (Советского Союза). При широко известных и стандартных данных русского литературного языка или иностранных литературных языков паспортизирующие справки опускаются. Кроме того, не паспортизируются сведения (чаще всего внелингвистического характера), извлеченные из Интернета по стандартным поисковым запросам и повторяющиеся на нескольких сайтах. Следует оговорить также особенности подачи контекстов из художественной литературы и публицистики. Если контекст выбирается из какого-либо лексикографического источника, то паспортизируется соответствующий словарь. Если контексты найдены в Национальном корпусе русского языка [НКРЯ], то документирующая помета опускается (при этом даются указания на автора текста).

Анализируемый материал весьма обширен, поэтому для его освещения подготовлен цикл из двух статей. В настоящей статье будет изучаться один (наиболее объемный) тематический блок материала – «география» Москвы. Здесь будут рассматриваться представления о Москве (России) как городском² и природном пространстве. Языковые данные будут распределены по следующим рубрикам:

1. Внутригородское пространство.
2. Роль Москвы в пространстве России и за ее пределами.
3. «Путешествие в Москву».
4. Качественная характеристика пространства.
5. Климат.
6. Природный мир.

1. Внутригородское пространство

В наивном языковом сознании жителей России Москва предстает как город, где много больших домов. Этот признак реализуется, к примеру, в названии болота *Москва* в бассейне сибирской реки Казым: по мнению информантов, болото названо так потому, что на нем огромные кочки, похожие на многоэтажные дома, между которыми легко заблудиться (устное сообщение Т. Н. Дмитриевой).

Облик Москвы немыслим без церквей, ср. костр. *Москва* 'о деревне, где много домов и есть большая церковь': «Подойдут к нашей деревне, удивляются: церковь-то большая, выше домов. Скажут: "Вон Москва!"», «Идут куда, подойдут к большой деревне. В ей дома боль-

² Топоним *Москва* обозначает как город, так и реку, однако вторичные употребления в подавляющем большинстве случаев основаны на названии города. Косвенную связь с гидронимом *Москва* можно заподозрить, кажется, в рус. печор. *Москву без весел переехать* 'скандалить, проявлять необычайную храбрость и ловкость в ругани' [ФСГНП, т. 1, с. 411], но трудно быть в этом уверенным, поскольку вариант этого выражения – перм. *на языке через Москву переехать* 'говорить много; быть словоохотливым' [СПП, т. 2, с. 86] – допускает и «сухопутное» прочтение образа.

шие, церква высокая. “Ну, – скажут, – Москва!”» [ЛКТЭ]. И в народной, и в книжной традиции образ московских церквей непременно включает в себя золотые купола. В системе языка закреплено устойчивое сочетание *Москва – золотые маковки*³. Этот эпитет переосмысливается в названии поля *Москва – золотые маковки* (Верхнетоемск. р-н Архангельск. обл.) [ТЭ], а также в арх. *прощай, Москва – золотые маковки* ‘отом, что безвозвратно утрачено’ [КСГРС], простореч. *прощай, Москва – золотые маковки* ‘слова прощания со столицей – Москвой; также выражение может употребляться и при любом расставании’ [Кузьмич].

Устойчив также образ московских колоколов (московского звона)⁴, ср. жарг. *устроить московский звон* (*звон московских колоколов*) ‘ударить кого-л. с двух сторон по ушам’ [БСЖ, с. 221]. Ироническая трансформация образа (превращение колоколов в лапти) наблюдается в перм. фраземе *в Москве в три лаптя звонят* ‘о чьей-л. мнимой известности’: «Верно, Оля, про тебя в Москве в три лаптя звонят – все уж тебя знают» [СПГ, т. 1, с. 322].

Москва имеет большую протяженность. Мотив огромных расстояний характеризует Россию в целом и разные ее регионы (ср. устойчивые сочетания типа *российские расстояния, сибирские расстояния*). Что касается городов России, то этот мотив проявляется именно в образе Москвы, ср. типичные контексты: «Учитывая московские расстояния и многочисленные пробки, вы будете с персональным водителем проводить много времени вместе в машине»; «Задрали меня безумные московские расстояния»⁵. Мотив протяженности, трансформируясь в идею большого количества, косвенно реализуется в перм. *на языке через Москву переехать* ‘говорить много; быть словоохотливым’: «Ноги-то не ходят у меня, язык-от пока ходит – я бы на языке-то через Москву переехала» [СПГ, т. 2, с. 86], костр. *москву и питер* (*наговорить*) ‘наговорить, наболтать очень много’ [ЛКТЭ].

2. Роль Москвы в пространстве России и за ее пределами

Москва задает вектор в ориентационном поле. В различных регионах европейской части России (как северных, так и южных) выделяют ветер, дующий со стороны Москвы: влг. *москаль*, арх. *москов-*

³ Ср. примеры употребления этого сочетания: «Но вот уж и совсем близко; бульвар по сторонам дороги пресекался, вдали мелькнул шлагбаум, и перед глазами нашими развернулась громадная масса церквей и домов... Вот она, Москва – золотые маковки!» (М. Е. Салтыков-Щедрин); «И в Ромен ходил, и в Синбирск – славный град, и в самую Москву – золотые маковки...» (И. С. Тургенев).

⁴ Ср.: «Бурный вздох, пушечный удар, вопль восторга, рев пропеллера, взрыв, крик иступленного горя, московский звон дайте нам в революционном гимне» (С. Т. Григорьев), «Вы не смотрите, что маленькая <книжечка>, – в ней весь московский звон!» (М. И. Цветаева).

⁵ Гораздо реже встречается сочетание *питерские расстояния*; в образах других городов (в том числе очень крупных) данный мотив практически не проявлен (подробнее об этом см. в [Березович, Кривошапова, с. 114–115]).

ский ветер 'юго-восточный ветер' – «Московский ветер на полдень дует» [КСГРС], дон. *москвич* 'холодный северный ветер' – «Ну, падул масквищ, типерь забирают <начнется ветренная погода>» [БТДК, с. 287], брян. *ветер московский*, тул., курск., ряз. *московский ветер* 'северный ветер' [СРНГ, т. 4, с. 191; т. 18, с. 285], тамб. *московец* 'то же' [СРНГ, т. 18, с. 285] и т. п. Подобные «ориентированные» названия ветров отмечены также в русских говорах Латвии (*москвич* 'холодный северный ветер' [СРНГ, с. 284]) и в северных диалектах Болгарии (*московец* 'северо-восточный осенний и зимний ветер' [БЕР, т. 4, с. 253]). Со стороны Москвы не только дует ветер, но и идет талая вода во время половодья: дон. *московская вода* 'холодное половодье с верховьев Дона' – «Спирьва халодная, маскофская вада прайдеть» [БТДК, с. 81]. «Синонимом» *Москвы* в указанных значениях может быть *Русь*, ср., например, арх. *русский (русской) ветер*, *ветер с Руси* 'южный или юго-восточный ветер' – «Русский ветер пошёл, из центра дует, с России» [КСГРС; Подвысоцкий, с. 85], дон. *русская вода* 'второй после разлива подъем воды в реке вследствие таяния снега в верховьях Дона' [СРНГ, т. 35, с. 272]. Ср. пояснение В. И. Даля к слову *московский* – «все русское, кроме Дона или Украины, то же, что в Сибири *русский* – не сибирский, из европейской Руси» [Даль, т. 2, с. 349].

В русской диалектной лексике акцентируется центральное расположение Москвы: кубан. *москва* 'сердцевина арбуза' – «Маскву фсигда детям аддавали» [Борисова, с. 151]. По отношению к Москве «центральность» воспринимается, разумеется, не столько в пространственном, сколько в социальном ключе. Статус Москвы как административного, социального и культурного центра подчеркивается в устойчивых выражениях, построенных по модели «Х – Москвы уголок», где Х – областной или районный центр, «добившийся» возможности сравниться с Москвой: *Коломна – Москвы уголок*, *Арзамас-городок – Москвы уголок*, *Ярославль-городок – Москвы уголок*, *Кострома-городок – Москвы уголок* и проч. Эта фраза употребляется и по отношению к крупным деревням, ср. арх. *Москвы уголок* 'о большой деревне, являющейся административным и культурным центром' – «Раньше наша деревня считалась Москвы уголок: народу было много, школа, сельсовет, клуб, почта, библиотека», «*Борок – Москвы уголок*: много народу, вот и звали так» [КСГРС]. Несмотря на широкое распространение таких выражений и вариативность объекта сравнения с Москвой, жители каждой области или района считают свой «малый центр» уникальным (к примеру, ср. о Костроме в [Шапошников, с. 3]).

Представление о высоком статусе Москвы может находить воплощение в признаке верхнего положения, который мотивирует словац. диал. *moskál* 'верхний сноп в кладке снопов, уложенных в поле' [SSN, т. 2, с. 191] (сходный образ лежит в основе игрового термина *москва*, называющего верхний сучок на палке в одноименной игре, см. раздел «Путешествие в Москву»).

Пространственные связи, задаваемые Москвой, нередко воплощаются в оппозиции «центр, столица – периферия». Показательно выражение *далеко от Москвы* ‘о городах, поселках и т. п., удаленных от центра, о провинции’: «Я так, например, перестала писать о книгах, выпускаемых “далеко от Москвы”» («Литературная газета», 01.01.1986) [ТСЯС, с. 345; РФ, с. 450]. Авторы указанных словарей считают, что выражение обязано своим появлением одноименному роману В. Н. Ажаева (1948) [Там же]. Кажется, это утверждение небесспорно: по данным [НКРЯ], контексты, реализующие указанный смысл, фиксировались задолго до появления романа Ажаева, ср., к примеру: «Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь; но не женился бы на тебе, видит бог, не женился бы!» (А. К. Толстой, 1842–1862). Можно предположить, что Ажаев использовал в названии романа известную ему фразу, а роман, в свою очередь, способствовал ее более широкому распространению. Некоторые авторы «закавычивают» это выражение в своих текстах, подчеркивая тем самым, вероятно, восприятие его как цитаты: «Теперь, когда Вы так “далеко от Москвы”, я еще больше, поверьте мне, думаю о Вас...» (Вен. Ерофеев).

Довольно широко употребительно на протяжении последних восьми десятилетий (особенно в советское время) другое «цитатное» выражение – *от Москвы до самых до окраин*, которое представляет собой строку из знаменитой «Песни о родине» И. О. Дунаевского на стихи В. И. Лебедева-Кумача (из кинофильма «Цирк», 1936), ср.: «Не десять и даже не пять лет, а пройдет два-три года – и они заполнят все политическое пространство от Москвы до самых до окраин» (М. Симашко, 2001). В значении этого выражения (‘о распространении, действии чего-либо на всей территории Советского Союза <а после 1991 г. – России. – Е. Б., Ю. К.>’ [ТСЯС, с. 345]) есть указание, во-первых, на охват пространства, во-вторых, на центробежное движение, заданное столичным положением Москвы.

3. «Путешествие в Москву»

В предшествующей рубрике говорилось о том, что выражение *от Москвы до самых до окраин* позволяет реконструировать некий сценарий, предполагающий центробежное движение. Характерно, что в крестьянской традиции выделяется иной вектор движения, связанного с Москвой, – центростремительный.

Так, в разных губерниях бывшей Российской империи была известна детская игра, моделирующая путешествие из дома в Москву. До нас дошли описания этой игры (которую иногда называли *Москва*) из Симбирской, Смоленской, Могилевской губерний [ИНС, с. 535–536; МД, с. 498; Покровский, с. 294–295] и др. Играющие выбирали палочку со множеством сучков, торчащих в одну сторону

в виде крючков. Первый сучок обычно назывался именем той деревни, где играют, а самый верхний сучок – *Москвой*. У каждого играющего была своя палочка с крючком, и эти палочки вешали на сучки основной палки. Цель игры – добраться до верха, до *Москвы*. В числе промежуточных станций назывались те, которые можно было встретить на пути из своей деревни в Москву (например, при движении из Гомельского уезда – *Гомель, Белица, Климовск, Чернигов, Козельск, Бровары, Киев* и т. п., из Смоленской губернии – *Королево, Тушино, постоялый двор, кабак* [ИНС, с. 535–536]). Кто раньше других возвратится из Москвы, тот делается царем, победителем, который наказывает отставших щелчками в лоб [ИНС, с. 536; МД, с. 498]. Москва здесь – аксиологически выделенный пространственный предел, пункт, имеющий самую высокую (в буквальном смысле этого слова) значимость, некий «центр мира».

Москва задает визуальный предел, определяет виртуальную линию горизонта, что своеобразно преломляется в выражениях, описывающих слабый чай (= «настолько прозрачный, что, глядя через стакан, можно увидеть Москву»): простореч. *Москву видать*, арх., влг., костр., печор. *Москва (Москву) видко (видно, видать)* – «Завари чай, а то совсем белый чай-то, Москву видать» (печор.) [ЛКТЭ; ФСГНП, т. 1, с. 411; КСГРС], костр. *Москва из чайника видна, Москву и Питер видно* – «Долей ещё заварки, а то вон у тебя Москва из чайника видна!» [ЛКТЭ], влг. *в стакане Москву видно* – «Бабка заварила – в стакане Москву видно – некрепкий и есть» [СГРС, т. 2, с. 201], арх. *Москва и Вологда видать* [КСГРС], влг. *(на Красной Площади) москвичи бегают* [Там же], арх. *московский чай* [Там же] и др. Этот же образ представлен в обозначениях жидкого супа, тонко нарезанного хлеба, сыра (простореч. *Москва на воде 'жидкий суп'* [Елистратов, с. 354], костр. *Москва видать 'о прозрачном пустом супе'* – «Это суп прозрачный, там ничего нет, в тарелку нальёшь, так и Москва видать, там рисунок видно» [ЛКТЭ]; селигер. *Москву видать 'о жидком чае, супе'* [Селигер, т. 3, с. 299]; костр. *Москва-родня видно 'о тонком куске хлеба или сыра'* – «Как тонкий отрежешь – так вся Москва-родня видно» [ЛКТЭ]) и даже широких ноздрей (влг. *Москва видать* – «Ноздри-то большие у мужика. В ноздю поглядишь, так Москва видать» [КСГРС]).

При виртуальном центростремительном движении к Москве подчеркивается ее удаленность, ср. поговорку «В тереме высоко, а до Москвы далеко» [Муравьев, с. 342]. Дистанционная символика Москвы проявляется во многих экспрессивных фраземах, включающих конструкцию *до Москвы*, с помощью которой передается образ дальнего расстояния. Это расстояние «измеряется» или в путевых мерах (печор. *как до Москвы пешком (идти) 'далеко идти куда-то'* – «До их пожни как до Москвы пешком» [ФСГНП, т. 1, с. 306], блр. диал. *як да Маскву ра́кам 'о далеком и долгом путешествии'* [СБНП, с. 258]), или через другие образы большого количества, чаще всего социальные (множества людей, обычно родни): простореч. *до Москвы не пере-*

вешать (кого, чего) 'очень много кого-, чего-либо' – «Мало ли у нас родни по купечеству, – ответила Марфа Семеновна с деланно глупым лицом. – До Москвы не перевешать, а пообедать не у кого» (Д. Мамин-Сибиряк) [ССРЛЯ, т. 9, с. 477], влг. *до Москвы не переставишь* 'то же' – «Что я ей наговорила, до Москвы не переставишь» [СГРС, т. 3, с. 251], простореч. *до Москвы раком не переставить* 'то же'⁶, дон. *до Москвы не перевешаешь* 'то же' [Брысина, с. 53], костр. *до Москвы родня (родни)* 'о дальней родне' [ЛКТЭ], пск. *знать до Москвы (до Москвы знать)* 'знать обо всем' – «Мать балтуха на язык-та тожэ, да Масквы знае, фсих знае, фсё у ней празрэна» [ПОС, т. 18, с. 377; СПП, с. 54] и др. В таких выражениях тоже может проявляться ценностное отношение к Москве, ее нерядоположенность другим объектам окружающего мира: блр. диал. *як да Маскву ра́кам* 'о тех, кто не ровня друг другу, между кем большая разница' [СБНП, с. 258].

Если в предыдущих выражениях измерялась дорога до Москвы, то нижеследующие воплощают мотив поездки в Москву, который весьма значим для жителя провинции. Многие мечтали осуществить такую поездку хоть раз в жизни, воспринимали ее как особо радостное событие (влг. *как в Москву съездить* 'о состоянии блаженства, полного удовлетворения чем-либо' – «Выпили да закусили – хорошо, как в Москву съездили» [СГРС, т. 5, с. 23]), которое резко выбивается из будничной жизни, является приятным увеселением⁷, ср. рифмованное просторечное выражение (*поехать*) *в Москву разгонять тоску*: «Нам в Москву сперва надо. – В Москву, разгонять тоску! Чего там забыли?» (А. Приставкин); «Я и ну катать, – да потом как опомнился, что такое натворил, – шапку в охапку, да марш большою дорогою через забор в Москву, разгонять тоску» (Н. Лесков) (ср. также присловье: «Поезжай в Москву продавать тоску, купи радости-веселости» [Муравьев, с. 349]). Однако такое развлечение не всегда считалось оправданным: рус. сиб. *поехать в Москву за песнями* 'поехать, пойти куда-либо без определенной цели' [ФСРГС, с. 141], блр. диал. *пайсці як у Маскву за песнямі* 'об ушедшем человеке, которого никак не дождутся' [СБНП, с. 258]. Поездка в Москву могла быть тяжелой и очень дорогой: рус. пск. *в Москву съездить* 'о неудачной или слишком дорогой поездке куда-н.' [ПОС, т. 18, с. 377]⁸. Несбыточность

⁶ Здесь иронически переосмыслиется образ, который был представлен выше, в выражении *як да Маскву ра́кам* 'о далеком и долгом путешествии'. Во фраземе, характеризующей путешествие, имеется в виду зооним (рак, как известно, символ медлительности), а выражение *до Москвы раком не переставить* основано на обороте *поставить раком*, который является грубо-вульгарным обозначением позы человека. Ср. также влг. *раком до Москвы поставлю!* 'угроза кому-либо' [КСГРС].

⁷ В картине мира, характерной для «высокой интеллигенции», поездка (отъезд) в Москву воспринималась и как отрыв от пошлой повседневности, прорыв к культуре и духовности, ср. героинь чеховских «Трех сестер» с их рефреном «В Москву! В Москву!», который стал крылатым.

⁸ Ср. «В Москву бресть – последнюю деньгу снести» [Муравьев, с. 338], «Хотел с Москву сапоги снести, ан дай Бог голову унести» [Там же], «Не хвались в Москву, а хвались из Москвы» [Там же, с. 339], укр. «В Москву з грішми, з Москви з вішми» [Номис, с. 601].

мечты о московской поездке (вкупе с представлением о ее развлекательном, «нерабочем» характере) отражена в шутливых выражениях типа перм. *на языке в Москву уехать* 'словесно описать и представить многое' – «Бойка она, на языке-то в Москву уедёт, а на деле-то ничё-ка, нискоко» [СПГ, т. 2, с. 468], сиб. *поедет до Москвы на языке* 'о человеке, который все может разузнать, найти' [ФСРГС, с. 141]. Кроме того, в этих идиоматических сочетаниях могли «рикошетом» отразиться представления о болтливости москвичей.

Возвращались из путешествия в Москву обычно с подарками. Московские гостинцы вышучиваются в укр. паремии «“Якого ти мені, тату, гостинця купив?” – “Московську бурульку”» [Номис, с. 544]. *Бурулька* – 'сосулька'; возможно, в основе этого выражения – представление о том, что подарки из Москвы очень дороги (привезти можно разве что сосульку), а путь настолько долог, что их трудно сохранить⁹.

Поездка в Москву повышала социальный статус путешественника, ср. *Москвич* 'прозвище жителя дер. Малая Стрелка Октябрьск. р-на Костромск. обл.' – «Мужик в Москву съездил, дак все уважали его» [АКТЭ].

Переосмысление названных обстоятельств (высокий статус побывавшего в Москве и возвращение не с пустыми руками) отражается в целом ряде шутливых фразеологизмов эвфемистического характера, в которых такая поездка сравнивается с родами: селигер. *ехать в Москву за песней* 'шутл. собираться рожать' [Селигер, т. 2, с. 68], новг. *съездить в Москву* 'родить ребенка' [СРНГ, т. 43, с. 111], пск. *жёнка в Москву съездила, жёнка с Москвы приехала* 'жена родила (эти выражения употребляются у крестьян особенно тогда, когда муж зовет священника на крестины)' [Опыт, с. 58], тюмен. *до Москвы съездить* 'то же' [Лютикова, с. 39] и др.¹⁰ Интересное развитие этого образа наблюдается во фразеологии пермских говоров: поездка в Москву трактуется как рождение мальчика, в то время как рождение девочки воспринимается как «нестатусное» путешествие (под лавку или в деревню *Ватюки*¹¹): *доехать до Москвы* – «Парня родишь – до Москвы доедешь, а девка – это чужой товар» [СРГЮП, т. 1, с. 237], *съездить в Москву, до Москвы* – «Я за жизнь 7 раз в Москву ездила – 7 сынов у меня» [СПГ, т. 2, с. 428], *съездить в Ватюки* – «Дарья-та в Ватюки съездила, двух девок привезла» [Там же], *под лавку съездить* – «Ждали сына, а родилась девка – под лавку съездила» [ФСПГ]. Это противопоставление лишний раз подчеркивает высокую социальную «стоимость» поездки в Москву в глазах диалектоносителей.

⁹ Ср. также укр. «Цить-цить: мати принесе московську бурульку <сосульку>» [Номис, с. 409], «Матері твій московська бурулька!» (это выражение имеет тот же смысл, что и «Матері твій дуля!») [Там же, с. 176].

¹⁰ Ср. также эротическую песню «Поедемте в Москву, купим колокольчик», где поездка в Москву символизирует половой акт [РЭФ, с. 298–299].

¹¹ По всей видимости, имеется в виду деревня *Вотяки* Пермск. р-на Пермск. края, см. подробнее в [Березович, 2012а, с. 46–47].

Печальная ирония судьбы в том, что с поездкой в Москву связывается не только рождение, но и смерть человека. Это косвенно проявляется в вологодском топониме *Московская Тропинка*, который является обозначением дороги на кладбище: «Многие у нас мечтали в большой город поехать. Да не вышло. Все уж поумирали. А после смерти пусть им будет большой город» (дер. Дресвяново Бабушкинск. р-на Вологодск. обл.) [ТЭ]. Помимо идеи дальнего путешествия (с которой связаны представления о смерти и захоронении), здесь учитывается и «густонаселенность» кладбища. Можно предполагать и то, что «московская мечта», существующая в сознании русских крестьян, сближает этот «сказочный» город с раем.

Таким образом, мотив поездки в Москву дает сомкнувшийся круг человеческой жизни – приехавший из Москвы человек, прожив жизнь, уезжает туда же.

Следует сказать и о мотиве показать Москву, который тоже фиксирует яркий «стоп-кадр» в картине взаимодействия приезжих со столицей, ср. простореч. *показать Москву* ‘подойдя к кому-л. сзади, обхватить ладонями уши и потянуть вверх или приподнять’, *показать Москву в решете* ‘обмануть, одурачить кого-л.’ [БСРП, с. 413]. Не обошел вниманием язык и «реакцию» того, кому *показали Москву*: простореч. *увидеть Москву* ‘сощуриться, съев что-либо кислое’, костр. *Москву видать* ‘то же’ – «Ну, проглотил, – аж Москву видать» [ЛКТЭ], ср. также блр. диал. *Маскву ўвидзець* ‘зжмуриться от кислого вкуса’, *Масква відна* ‘о зжмуривании от кислого вкуса’ [Юрчанка, с. 91], укр. *аж Москва (Київ) видно* [Номис, с. 543].

4. Качественная характеристика пространства

В нашем материале имеются лексические единицы, в которых отражено самое общее представление о том, что Москва – «о человеческое», заселенное, свое пространство, ср. влг. *москва* ‘о береге озера, где находятся деревни, жилье’ – «Москва уже видать, скоро приплывём» [КСГРС]. *Москва* в этом смысле – «синоним» *Руси*, ср. арх. *выйти на русь* ‘возвращаясь из открытого моря, подойти ближе к жилью’ [СГРС, т. 2, с. 226], арх. *выйти на русь* ‘прийти на родные места’ [АОС, т. 6–7, с. 240] (подробнее о семантике выражения *выйти на русь* см. в [Березович, 2011, с. 9–11]). Таким образом, *Москва*, как и *Русь*, – эталон заселенного места, противопоставленного неосвоенной водной стихии. Восприятие Руси как своего пространства может «интерпретироваться», приобрести психофизический смысл: «русскость» характеризует нормальное, привычное физическое состояние человека. Отмечены слова, внутренняя форма которых читается так: «становиться русским = самим собой, хорошо себя чувствовать»; к этим словам можно отнести влг. *русеть, русовать* ‘чувствовать себя хорошо, быть в своей тарелке (обычно с отрицанием)’, влг., костр. *обрусеть* ‘выздо-

роветь', орл. *выйти на руссь* 'то же' (подробнее см. [Березович, 2011, с. 13–14]). Возможно, сходную мотивацию имеет костр. *московать* – «Не москвует тело, не москвует и душа» (нет силы, нет мочи) [СРНГ, т. 18, с. 285]. В этом случае следует предполагать, что этот глагол образован от топонима *Москва* (исходно **москвовать*?), а его внутренняя форма раскрывается как «быть в Москве = в привычном месте и состоянии».

Во вторичных микротопонимах ярко проявляется мелиоративная оценка *Москвы*: поле *Москва* – «Там хорошая земля, вот поле Москвойто и назвали» (дер. Хребтово Великоустюгск. р-на Вологодск. обл.); дер. *Москва* – «Кто-то сказал, что эта деревня лучше всех» (дер. Мондур Кичменьгско-Городецк. р-на Вологодск. обл.); часть дер. *Москва* – «На горе там получше жили, всё кофе пили, вот и звали их Москва, Москвы уголок» (дер. Кунгурка Ревдинск. р-на Свердловск. обл.) [ТЭ].

5. Климат

В изучаемом лексико-фразеологическом комплексе проявляется и тема климатических условий, при этом упоминается исключительно мороз. В русском языке сочетания *московский мороз* (*московские морозы*) и *московские холода* являются относительно устойчивыми, но не частотными (разумеется, они уступают в популярности оборотам типа *сибирские морозы*, *уральские морозы* и проч.), ср.: «А тогда, на прощание – дело было в конце декабря, и на улице стоял несвойственный Парижу суровый, почти московский, мороз, – она пригласила нас с Сашей на Рождественскую мессу» (Н. Воронель), «Отцу он радостно вручил енотовую шапку с ушами – на московские холода» (А. Цветаева). Мотив мороза встречается в других европейских языках, при этом, вероятно, «московский» скорее понимается как «русский (российский)»: польск. *mróz moskiewski* – «*Mróz moskiewski, gdy z paszczęki swej kozioróžec wypuści, niepochybnie winogrod pomrozi*» («Мороз “московский”, который из пасти своей Козерог выпустит, обязательно виноград поморозит») ‘о зиме, сильных морозах’ [Linde, t. 2, s. 144], итал. *Moscovita* ‘особенно интенсивный, суровый, полярный (гипербола холода)’ – «*Ci avevano cacciati come buci in un carrozzone in gennaio; faceva un freddo moscovita e tirava un vento agghiacciato*» («Нас гнали, как быков, в вагоне третьего класса без крыши и стекол; был январь; стоял “московский” холод и дул ледяной ветер») (Арриги) [Battaglia, v. 10, s. 992].

6. Природный мир

Наиболее распространены «московские» названия культурных растений – как правило, это морозоустойчивые, неприхотливые сорта, выведенные для климатических условий средней полосы Рос-

сии. К примеру, в русской ботанической номенклатуре отмечается название сорта яровой пшеницы *московка*: сорт выведен для нечерноземной полосы, в условиях которой устойчив к полеганию и осыпанию [БСЭ, т. 28, с. 390]. Некоторые из наименований такого рода фиксируются в диалектных и литературных словарях: рус. ряз. *московка* 'сорт моркови' – «Нонешний год москoвку посеяла, какая морковь вырастет, не знаю... тады все удавалась сладкая» [Ванюшечкин, с. 233], укр. *москаль* 'сорт чеснока'¹² [Гринченко, т. 2, с. 447], нем. *Moskowiterapfel* («московская (русская) яблоня») 'вид морозоустойчивых яблонь, сибирская яблоня' [DWB, bd. 6, s. 2597], польск. *moskalec* 'вид картофеля' [SW, t. 2, s. 1046] (ср. в русской ботанической номенклатуре название морозоустойчивого раннеспелого сорта картофеля «Московский»).

Наряду с полезными растениями «московскую маркировку» получают их дикие собратья или же растения с менее ценными свойствами, которые оказываются «сниженными двойниками» культурных. «Московские» номинации такого рода характерны в первую очередь для иностранных языков. Показательно, к примеру, нем. *Moskowiterkohl* («московская (русская) капуста») 'снять обыкновенная, Aegorodium podagraria' [DWB, bd. 6, s. 2597] – дикий аналог капусты, чьи неразвернувшиеся листья и молодые листовые черешки употребляют для приготовления щей, борща и ботвиньи. В болгарских говорах отмечены названия злостного сорняка, игольчатого дурнишника (*Xanthium spinosum*) – *московски бодил* («московская колючка, московский чертополох»), *московско трънне* («московский терн») [БЕР, т. 4, с. 253]¹³: растение оценивается через образ инородца – как дикое, вредное, сорное и проч. В украинском языке 'сорт льна, семя которого не вылушивается само собой' называется *москаль* [Гринченко, т. 2, с. 447] (ср. рус. *сибирский лен* – 'на месте, дикий, плоше сеяного' [Даль, т. 4, с. 180]). Подобные наименования следует рассматривать как ксенонимы – специфические лексические единицы, возникшие в результате семантической деривации на основе этнонимов и топонимов и мотивированные обобщенными представлениями о чужих народах и землях. Эти воззрения содержат оценку, которая чаще всего негативна (чужое оценивается как аномальное, «ненастоящее», примитивное, дикое, «неокультуренное», вредное etc.). Анализируя подобные фитонимы, следует учитывать и альтернативную географическую мотивацию, ср., например, польск. *korzenie moskiewskie* 'ревень' [SW, t. 6, s. 296]: вполне возможно, здесь мотивирующую роль играет не оценка (помимо окультуренного известен дикий ревень, который

¹² Как указывается на различных сайтах Интернета, этот сорт, известный не только на Украине, но и в России, отличается морозоустойчивостью. В то же время растениеводы говорят, что этот чеснок имеет крайне острый, «ярый», «пекущий» вкус. Возможно, этот признак тоже сыграл мотивирующую роль – и в названии в образной форме отражены представления о «воинственности» москалей-солдат.

¹³ Ср. параллельное название этого растения – *казашки бодил* («казацкая колючка») [БЕР, т. 4, с. 253].

мог бы оцениваться негативно), а распространение растения (разные сорта ревеня практически повсеместно произрастают в Азии, а Москва (Россия) имеет стойкие «азиатские» ассоциации).

Несколько «московских» названий прилагаются к грибам. «Внутренним» номинативным «взглядом» отмечен в первую очередь гриб боровик: рус. перм. *москаль* – «Раньше эти грибы звали москали – сейчас боровики зовут, боровик хороша губа-та считается; москали – их мостками: один, дак москаль» [СПГ, т. 1, с. 525], морд. *московский гриб* [СРГМ, т. 1, с. 160], арх. *московик, московский гриб (дорогой гриб)* [КСГРС]. Боровик – благородный гриб, ценнейший в грибной «иерархии», что позволяет определить для его обозначений мотивационный признак «хороший, качественный»; ср. также костр. *русский гриб* ‘белый гриб’ [ЛКТЭ], демонстрирующее семантику «настоящего», высоко оцениваемого. Подобные факты могут быть рассмотрены на фоне других мелиоративных коннотаций, свойственных элементам деривационно-фразеологического гнезда «Москва».

В польских говорах фиксируется *moskalik* ‘гриб подосиновик, *Leccinum rufum*’ [Тугра, s. 109]. Возможно, для этого миконима значим внешний вид гриба: речь идет о красном подосиновике, очевидно напоминающем солдата-москаля в красной шапке¹⁴.

Рыба. Дериваты топонима «Москва» встречаются в украинских и польских обозначениях морской рыбы, чаще всего сельди, ср. укр. *москалик* ‘род морской рыбы’ [Гринченко, т. 2, с. 447], польск. *moskal* ‘род мелкой сельди’ [SJPD], *moskal, moskalik* ‘маленькая рыбка, известная в торговле под названием российской сардинки’ [SW, t. 2, s. 1047].

«Московские» определения сельди поддерживают «русскую» модель обозначений рыбных консервов, а именно шпрот и сардин, изготавливаемых из балтийской селедки: чеш. *rus* ‘балтийская сельдь’ [Machek, s. 525], *rus, ruska sardinka, rusňáček* ‘маленькая маринованная рыбка, русская сардинка’ [PSJČ, t. 4/2, s. 1075, 1077], словац. *rus* ‘шпрота обычная’ [SSJ, t. 3, s. 894], словен. *rús, rúsel* ‘маринованная сельдь с большой луковицей’ [SSKJ, knj. 4, s. 556], польск. диал. *rusy* ‘маринованные сельди’ [SGŚC, s. 294] и др. В названиях такого рода в первую очередь отражены представления о балтийских шпротах, которые производились в Прибалтике и Калининграде, откуда их завозили в Европу (шпроты считаются русскими, поскольку прибалтийские республики входили в СССР, а Калининград находится на территории Российской Федерации) (подробнее о «русской» селедке см. [Березович, 20126, с. 179–181]).

Кроме прибалтийских консервов «русскими» («московскими») считались и черноморские рыбные маринады, изготовленные из анчоуса (хамсы) и не имеющие к реальным сардинам никакого отношения, ср. укр. простореч. *москалик* ‘селедка, маринованная в уксусе’ –

¹⁴ Неясен мотивационный признак, положенный в основу пск. *москвич* ‘гриб со шляпкой темной сверху и зеленой снизу, который синее при засолке’ [ПОС, т. 18, с. 377]. Возможно, имеет место метонимический перенос на основе названия боровика.

«До войны из Советского Союза экспортировали на всю Европу маринованные селедочные спинки. Вкусно приготовленные и закрученные колечками. Их продавали в стеклянных банках. В Польше их совсем официально звали “москальки”» (Крушельницкая) [ЛЛ, с. 460]. Украинские этимологи указывают, что укр. *москаль*, *москалик* ‘черноморско-азовский анчоус, хамса, *Engraulis encrasicolus* L.’ заимствовано из польск. *moskal* ‘род мелкой сельди’, ср. также укр. *російська сардинка* [ЕСУМ, т. 3, с. 519].

Очевидно, сходную с названиями селедки мотивацию имеет и обозначение рыбы семейства окуневых – барабульки: румын. *muscalic* ‘барабулька, *Mullus barbatus ponticus*’ [DLR, t. 9, s. 1022]. Этой рыбой издавна славилось Черное море.

Таким образом, «русской» (= «московской») извне считается рыба, имеющая, условно говоря, российское (прибалтийское или черноморское) происхождение. Можно допустить, что дополнительную мотивацию для названий сельди дает стереотипное представление о пищевых привычках русских: селедка (с луком) – распространенная в России закуска (часто под водку)¹⁵.

«Московская» номинативная модель встречается и в названиях насекомых. Через слово *москаль* (*moskal*) определяются: 1) клоп-солдатик, *Pyrrhocoris apterus* (укр. *москаль москалик, москальчик* [Гринченко, т. 2, с. 447]); 2) пчеловидная муха (рус. сев., новосиб. *москаль* – «Строку москалем зовут, вот в 60-м году москалей появилось, летают густо, шли на запад» [КСРНГ]; 3) черный таракан, *Blatta orientalis* (словац. диал. *moskál* [SSN, t. 2, s. 191]); 4) божья коровка, *Coccinella quinquemaculata* (укр. *москалик* [Гринченко, т. 2, с. 447]); 5) стрекоза, *Libellula* (блр. гомельск. *маскаль, мыскаль* [ЭСБМ, т. 6, с. 246]). Очевидно, приведенные лексемы реализуют этнонимическую модель, которая широко представлена в обозначениях самых разных насекомых – например, тараканов (рус. литер. *прусак*, диал. *немец, киргиз*, укр. *швед, жидочок*, польск. *francuz, hiszpan, jaroniec, mazur, moskal, rus*, серб. *бубашваба, бубаруса* и др.), вредителей посевов (рус. литер. *шведская муха, шпанка*, блр. *жмодзь*, укр. *шваб*), кусающих насекомых и паразитов (рус. новг. *американец*, блр. *нимцы, австрийцы*, болг. *турчин-кукурчин*, укр. *москаль*) etc., подробнее об этой модели см. [Березович, 2007, с. 426–432]. Думается, базовым признаком, лежащим в основе семантического переноса «представитель чужого этноса → насекомое», является способность этих насекомых скапливаться, подобно солдатам, и наносить «удар» (особенно это касается тараканов и мух). Что касается названия клопа-солдатики, то здесь есть дополнительный мотивирующий момент: внешний вид клопа как нельзя

¹⁵ Завершая разговор о рыбах с «московскими» названиями, приведем также пск. *москва* ‘молока’ – «Силётка с ыкрой – самка, а с москвой – самик» [ПОС, т. 18, с. 377]. Происхождение этого слова неясно. Если оно производно от топонима, то можно допустить, что мотивировано признаком ценных питательных свойств этой части рыбы (что соответствует мелиоративным коннотациям, присутствующим в семантике имени *Москва*).

лучше соответствует русской амуниции XIX в. (на черном фоне выделяются переднеспинка и надкрылья с красным рисунком, что, по всей видимости, напоминает красные канты погон и кителя офицерского обмундирования). «Военная» версия подтверждается и тем, что у белорусского названия одного из видов стрекоз (*маскаль*) есть параллель в словац. устар. *žandár*, польск. *szandar* 'то же' [ЭСБМ, т. 6, с. 246]; исходное значение этих метафорических энтомонимов – 'жандарм'.

Отмечаются и «столичные» обозначения п т и ц. Отдельно следует прокомментировать орнитоним *московка*, который в русских говорах служит именем для нескольких видов синиц: арх. 'синица сибирская, *Parus sibiricus*', симб., оренб. 'гаичка бурая, *Poecile patustris*', север. 'гаичка серая, *Parus borealis*' [СРНГ, т. 18, с. 285]. В литературном языке [ССРЛЯ, т. 6, с. 1286] *московкой* именуется черная синица, *Periparus ater*. Высказывалось предположение о том, что первоначальное русское название птицы не *московка*, а *ма́сковка*; это мотивировано наличием черной «маски» из перьев, расположенной на голове синицы. По этой версии, исходное название приобрело «столичный оттенок» впоследствии¹⁶. Решение данного вопроса требует дополнительных изысканий, но, думается, более вероятно все же оттопонимическая версия. Во-первых, название *ма́сковка* нам пока не удалось обнаружить в словарях (неизвестно, существовало ли оно). Во-вторых, черная синица водится преимущественно в хвойных лесах (ассоциирующихся с Россией); кроме того, в латинском названии одной из птичек, называемых *московкой*, есть определение *sibiricus* (см. выше). Интересно, что в Словаре Академии Российской слово *московка* дается с комментарием «только возле Петербурга употребительно» [САР, т. 4, с. 261]. Указанный ареал входит в ту зону, которую дают русские диалектные словари: Русский Север и Сибирь. Все это говорит в пользу понимания москочки как «северной» («русской») синицы.

Кроме синицы «московские» определения получают удод (укр., блр. *московська зозуля* («московская кукушка») [Гура, с. 600]), ворона (польск. *zieziulka moskiewska* («московская кукушка») [SW, t. 8, s. 503]) и галка (манс. конд. *Maskâu kwörəχ* («московская ворона») [Аникин, с. 374]). Этот ряд орнитонимов следует рассматривать на фоне других ксенонимических обозначений птиц, ср. рус. *чухонский попугай* 'клевст', дон. *панская сорочка* 'маленькая птица семейства вороновых', влг. *татарка-воронка* 'порода птиц', блр. *жыдоўски голубь* 'дикий голубь', болг. *турче* 'щегол' и т. п. (подробнее см. [Березович, 2007, с. 432–433]). Довольно легко убедиться, что этнономинации с «шовинистическим» уклоном получают так называемые «нечистые» птицы, часто отличающиеся от своих сородичей необычной внешностью или поведением. Характерный пример – обозначения удода, в образе которого есть следующие черты: «перелетная птица», «издает глухой крик», «имеет необычный вид»; дополнительный момент – резкий неприятный запах у мяса этой птицы (ср. устойчиво фиксируемое в народной куль-

¹⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Московка>

туре представление о неприятном запахе многих инородцев [Белова, с. 58–61]). Кроме того, обращает на себя внимание такая особенность, как обозначение нечистых птиц через имена их более «благородных» двойников: например, ворона – это «московская кукушка» (польск. *zieziulka moskiewska*). Топоним «московская» при этом приобретает значение «псевдо», что, впрочем, не исключает и географической мотивационной составляющей («московская» = «русская», из России).

* * *

Итак, внимание авторов статьи было сосредоточено на комплексе языковых фактов, зафиксированных в русском и иностранных (преимущественно славянских) языках и составляющих деривационно-фразеологическое гнездо «Москва». Выявлялись основные смысловые линии, проявленные в этом гнезде, а также особенности языкового образа столицы, представленного в наивном сознании носителя языка.

Оказалось целесообразным расположить материал по тематическим рубрикам, позволяющим увидеть те сферы действительности, которые оказываются важны для говорящего при объективированном в лексике «размышлении» о столице. Выявленные рубрики, как и следовало ожидать, заполняются языком неравномерно.

В настоящей статье, открывающей цикл из двух текстов на эту тему, рассматривалась доминантная для языкового портрета Москвы пространственная характеристика, своего рода «наивная география» российской столицы.

В сознании немосковского наблюдателя явно существует оппозиция периферии и центра и актуализируется центральное расположение Москвы внутри России, ср. кубан. *москва* ‘сердцевина арбуза’. При этом, конечно, важнее оказывается административная (социальная), а не географическая «центральность» города. Кроме того, Москва является своего рода крайней видимой точкой обзора, упирающейся в горизонт, о чем свидетельствует комплекс выражений, описывающих прозрачные жидкости (чай или суп), через которые *Москву видать*. Примечательно, что в сознании крестьян (как русских, так и их ближайших соседей по Российской империи) существует сценарий путешествия в Москву. Символика неближнего пути до «центра мира» проявляется во многих фраземах с предложной конструкцией *до Москвы*, например, *как до Москвы пешком (идти)* ‘далеко идти куда-то’. При этом представления о внутригородском пространстве Москвы оказываются максимально схематичными: это город, имеющий значительную протяженность, в котором можно заблудиться; в нем много больших домов и церквей с золотыми куполами и колоколами. Это взгляд приезжего, смотрящего на Москву издалека, как на картинку (ср. также мотив *показать Москву*).

География Москвы характеризуется и по таким параметрам, как климатические условия и природный мир. Эти идеограммы выделяются преимущественно со «страноведческих» позиций, в иностранных языках. Они реализуются в лексическом материале довольно лаконично и, по большей части, приравнены к российскому климату и русской природе. Внешнему взгляду «московская» (российская) погода представляется холодной и суровой, ср. польск. *mróz moskiewski*, итал. *Moscovita* 'о сильных морозах'. «Московская» флора представлена преимущественно названиями морозоустойчивых растений, пригодных для климата средней полосы России; фауна включает рыб, насекомых и птиц, названия которых по большей части указывают на «российскую» зону обитания (для птиц) или место улова (для рыбы). В наименованиях некоторых представителей фауны и флоры активизируется метафорическая ксенонимическая модель: например, укр. *москаль* 'клоп-солдатик', блр. *маскаль* 'стрекоза', польск. *moskalik* 'гриб подосиновик' воплощают представления о сходстве насекомых и грибов с солдатами русской армии.

Для внутрироссийского наблюдателя важна качественная оценка столичной «географии». Москва – «свое», обжитое, «цивилизованное» пространство, ср. арх. *Москвы уголок* 'о большой деревне, являющейся административным и культурным центром'; она обладает высоким социальным статусом, что, в частности, находит отражение в признаке верхнего положения, мотивирующем словац. диал. *moskál* 'верхний сноп в кладке снопов'. Следствием поездки в Москву может стать состояние удовольствия, ср. влг. *как в Москву съездить* 'о состоянии блаженства, полного удовлетворения чем-либо': «Выпили да закусили – хорошо, как в Москву съездили».

Изучаемый образ создан на основе системно-языковых данных, поэтому в его формировании участвуют не только когнитивно-прагматические факторы, но и факторы собственно языковые. Так, дериваты рассматриваемого гнезда обнаруживают семантическую диффузность вершинного слова: в некоторых регионах России (на Дону, в Сибири, в Архангельском Поморье) *Москва* иногда трактуется как Европейская Россия; в иностранных языках «московское» может приравниваться не только к «русскому», но и к «сибирскому», «азиатскому». Это вытекает из системных связей соответствующих макротопонимов, которые в языковом сознании дальнего наблюдателя могут выступать как своеобразные «аналоги» по отношению друг к другу.

Более полная картина будет получена в дальнейшем, при публикации второй статьи цикла.

- Аникин А. Е. Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири. Новосибирск : Наука, 2003.
- АОС – Архангельский областной словарь. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1980 – . Вып. 1 – .
- Ахметова М. В. Города как родственники (об одном типе метафорического употребления терминов родства в русском языке) // Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства. Вып. 13. СПб. : МАЭ РАН, 2012. С. 111–147.
- Белова О. В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М. : Индрик, 2005.
- БЕР – Български етимологичен речник. София, 1971– . Т. 1– .
- Березович Е. Л. Деривационная семантика *русского* в русских народных говорах // Русский язык в научном освещении. 2011. № 2 (22). С. 5–32.
- Березович Е. Л. Местные топонимы в свете деривационной и фразеологической семантики // Язык и прошлое народа: сб. науч. ст. памяти проф. А. К. Матвеева. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2012а. С. 25–52.
- Березович Е. Л. Русская пища в зеркале иностранных языков (на материале производных от слов «русский», «Россия») // Антропологический форум. 2012б. № 17. С. 173–197.
- Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
- Березович Е. Л., Кривошапова Ю. А. Сибирь в русской языковой традиции (на иноязычном фоне) // Пространство и время в языке и культуре. М., 2011. С. 110–157.
- Борисова О. Г. Кубанские говоры. Материалы к словарю. Краснодар, 2005.
- Брысина Е. В. Этнокультурная идиоматика донского казачества. Волгоград, 2003.
- БСЖ – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона СПб., 2000.
- БСРП – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. М., 2008.
- БСЭ – Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1949–1958. Т. 1–51.
- БТДК – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.
- Ванюшечкин В. Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Мещеры: материалы по русской диалектологии. Воронеж, 1983.
- Володихин Д. М. Московский миф. М. : Вече, 2014.
- Гринченко – Словарь украинского языка / сост. Б. Гринченко. Киев, 1907–1909. Т. 1–4.
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М. : Индрик, 1997.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб. ; М., 1880–1882 (1989). Т. 1–4.
- Елистратов В. С. Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. М. : АСТ : Астрель : Русские словари : Транзиткнига, 2004.
- ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–2012. Т. 1–6.
- Иванов Е. П. Меткое московское слово: Быт и речь старой Москвы. М. : Московский рабочий, 1982.
- Иванова Т. А. Киев и Москва в севернорусских былинах (на материале записей в Архангельском крае) // Київ і слов'янські літератури. Београд, 2013. С. 79–91.
- ИНС – Игры народов СССР: сб. материалов. М. ; Л., 1933.
- КСГРС – Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- КСРНГ – Картотека Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург).
- Кузьмич В. Жгучий глагол: словарь народной фразеологии. М. : Зеленый век, 2000.
- ЛКТЭ – Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- ЛЛ – Хобзей Н., Симович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський поважно і на жарт. Львів, 2009.
- Люсый А. П. Московский текст: Текстологическая концепция русской культуры. М. : Вече : Русский импульс, 2013.
- Лютикова В. Д. Словарь диалектной личности. Тюмень, 2000.

- МД – Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1: Младенчество; Детство. М., 1991.
- ММТ 1998 – Москва и «московский текст» русской культуры. М. : РГГУ, 1998.
- ММТ 2004 – Москва и «московский текст» в русской литературе и фольклоре: материалы VII Виноградовских чтений. М. : МГПУ, 2004.
- ММТ 2007 – Москва и «московский текст» в русской литературе XX века: материалы междунар. науч. конф. (Москва, 11–12 нояб. 2005 года). М. : МГПУ, 2007. Вып. 3.
- Муравьев В. Б. История Москвы в пословицах и поговорках. М. : Алгоритм, 2007.
- Неклюдов С. Ю. Тело Москвы: К вопросу об образе «женщины-города» в русской литературе // Тело в русской культуре. М., 2005. С. 361–385.
- НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://ruscorpora.ru>.
- Номис – Українські приказки, прислів'я і таке інше / Укл. М. Номис. Київ, 1993.
- Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1852.
- Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
- Покровский Е. А. Детские игры: преимущественно русские. СПб., 1994.
- ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967– . Вып. 1 – .
- РФ – Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. М. : АСТ : Астрель : Люкс, 2005.
- РЭФ – Русский эротический фольклор / сост. А. Л. Топоркова. М. : Ладомир, 1995.
- САР – Словарь Академии Российской (1789–1794). М., 2001–2005. Т. 1–6.
- СБНП – Слоўнік беларускіх народных параўнанняў / уклад. Т. В. Валодзіна, Л. М. Салавей. Мінск, 2011.
- СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001– . Т. 1– .
- Селигер: Материалы по русской диалектологии: словарь. СПб., 2003 – . Вып. 1– .
- СПГ – Словарь пермских говоров. Пермь, 2000–2002. Вып. 1–2.
- СПП – Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001.
- СРГМ – Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. СПб., 2013. Ч. 1–2.
- СРГЮП – Словарь русских говоров Южного Прикамья. Пермь, 2010–2012. Вып. 1–3.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965 – . Вып. 1 – .
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948–1965. Т. 1–17.
- ТСЯС – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб. : Фолио-Пресс, 1998.
- ТЭ – Топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- ФСГНП – Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры / сост. Н. А. Ставшина. Сыктывкар, 2008.
- ФСПГ – Прокошьева К. Н. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002.
- ФСРГС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1983.
- Шапошников В. Твои века, Кострома // На Костромской земле: лит.-худ. сб. Кострома, 2009. С. 3–18.
- ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978 – . Т. 1– .
- Юрчанка Г. Ф. І сячэ і паліць: Устойлівыя словазлучэнні ў гаворцы Мсціслаўшчыны. Мінск, 1974.
- Ястребова Н. Г. Москва в творчестве Ф. Н. Глинки и в фольклоре // Русская речь. 2012. № 5. С. 107–115.
- Battaglia S. Grande dizionario della lingua italiana. Torino, 1961–2002. Voll. 1–21.
- DLR – Dicționarul limbii Române. T. IX. București: Editura Academiei Române, 2010.
- Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1885. Bd. 6. – DWB.
- Linde S. Słownik języka polskiego. T. I–VI. Warszawa, 1807–1814.
- Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968 (1971).

- PSJČ – Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. 1–8.
 SGŚC – Krop J., Twardzik J., Pilch J., Wronicz J. Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Wisła; Ustroń, 1995.
 SJPD – Słownik języka polskiego / red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. T. 1–11.
 SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991. Knj. 1–5.
 SSJ – Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1959–1968. D. 1–6.
 SSN – Slovník slovenských nářečí. Bratislava, 1994 – . T. 1 – .
 SW – Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1927. T. 1–8.
 Tyrpa A. Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich. Kraków, 2011.

Ahmetova, M. V. (2012). Goroda kak rodstvenniki (ob odnom tipe metaforicheskogo upotrebleniya terminov rodstva v russkom yazy'ke) [Cities as relatives (on one type of metaphorical usage of relationship terms in the Russian language)]. In *Algebra rodstva: Rodstvo. Sistemy' rodstva. Sistemy' terminov rodstva* (Vol. 13, pp. 111–147). St. Petersburg: MAE' RAN.

Anikin, A. E. (2003). *E'timologicheskij slovar' russkikh zaimstvovaniy v yazy'kah Sibiri* [Etymology dictionary of Russian loan words in languages of Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
Antroponimicheskaya kartoteka toponimicheskoy e'kspedicii Ural'skogo federal'nogo universiteta (kafedra russkogo yazy'ka i obshhego yazy'koznaniya UrFU, Ekaterinburg) [Anthroponymic card-index of toponymic expedition of the Ural Federal University (chair of the Russian language and General linguistics, Ekaterinburg)].

Arhangel'skij oblastnoj slovar' [Arkhangelsk regional dictionary]. (1980). (Iss. 1). Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta.

Battaglia, S. (1961–2002). *Grande dizionario della lingua italiana*. (Vols. 1–21). Torino.

Belova, O. V. (2005). *E'tnokul'turny'e stereotipy' v slavyanskoj narodnoj tradicii* [Ethnocultural stereotypes in the Slavic popular tradition]. Moscow: Indrik.

Berezovich, E. L. (2007). *Yazy'k i tradicionnaya kul'tura. E'tnolingvisticheskie issledovaniya* [Language and traditional culture. Ethnolinguistic researches]. Moscow: Indrik.

Berezovich, E. L. (2011). Derivacionnaya semantika russkogo v russkikh narodny'h govorah [Derivational semantics of 'russian' in Russian folk dialects]. *Russkij yazy'k v nauchnom osveshhenii*, 2 (22), 5–32.

Berezovich, E. L. (2012). Mestny'e toponimy' v svete derivacionnoj i frazeologicheskoy semantiki [Local toponyms in the light of derivational and phraseological semantics]. In *Yazy'k i proshloe naroda: sbornik nauchny'h statej pamyati prof. A. K. Matveeva* (pp. 25–52). Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta.

Berezovich, E. L. (2012). Russkaya pishha v zerkale inostranny'h yazy'kov (na materiale proizvodny'h ot slov "russkij", "Rossiya") [Russian food in foreign languages (on the examples of derivatives from "Russian", "Russia")]. *Antropologicheskij forum*, 17, 173–197.

Berezovich, E. L. & Krivoshepova Iu. A. (2011). Sibir' v russkoj yazy'kovoj tradicii (na inoyazy'chnom fone) [Siberia in Russian language traditions (on foreign language background)]. In *Prostranstvo i vremya v yazy'ke i kul'ture* (pp. 110–157). Moscow.

Birih, A. K., Mokienko, V. M. & Stepanova, L. I. (2005). *Russkaya frazeologiya. Istoriko-e'timologicheskij slovar'* [Russian phraseology. Historical-etymological dictionary]. Moscow: AST: Astrel': Lyuks.

Bol'shaya sovetskaya e'nciklopediya [Great Soviet Encyclopedia]. (1949–1958). (2nd ed.). (Vols. 1–51). Moscow.

Bol'shoj tolkovy'j slovar' donsogo kazachestva [Great explanatory dictionary of Don Cossacks]. (2003). Moscow.

Borisova, O. G. (2005). *Kubanskie govory'. Materialy' k slovarju* [Kuban dialects. Materials for the dictionary]. Krasnodar.

Bry'sina, E. V. (2003). *E'tnokul'turnaya idiomatika donsogo kazachestva* [Ethnocultural study of idioms of Don Cossacks]. Volgograd.

B"lgarski etimologichen rechnik [Bulgarian etymology dictionary]. (1971). (Vol. 1). Sofia.

Dal', V. I. (1880–1882 (1989)). *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. (2nd ed.). (Vols. 1–4). St. Petersburg: Moscow.

Dicționarul limbii Române. (2010). (Vol. 9). București: Editura Academiei Române.

Doroszewski, W. (Ed.). (1958–1969). *Słownik języka polskiego*. (Vols. 1–11). Warszawa.

Elistratov, V. S. (2004). *Yazy'k staroj Moskvy': Lingvoe'nciklopedicheskij slovar'* [Language of Old Moscow: Linguistic encyclopedia]. M0scow: AST: Astrel': Russkie sloviri: Tranzitkniga.

E'timologichnij slovník ukrains'koj movi [Etymological dictionary of the Ukrainian language]. (1982–2012). (Vols. 1–6). Kiev.

E'tymalogichny' slounik belaruskaj movy' [Etymological dictionary of the Belorussian language]. (1978). (Vol. 1). Minsk.

Frazeologicheskij slovar' russkih govorov Sibiri [Phraseological dictionary of Russian dialects in Siberia]. (1983). Novosibirsk.

Grimm, J. & Grimm, W. (1885). *Deutsches Wörterbuch*. Leipzig.

Grinchenko, B. (Comp.). (1907–1909). *Slovar' ukrainskogo yazy'ka* [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vols. 1–4). Kiev.

Gura, A. V. (1997). *Simvolika zhivotny'h v slavyanskoj narodnoj tradicii* [Symbolism of animals in Slavic folk tradition]. Moscow: Indrik.

Hobzej, N., Simovich, K., Yastremska, T. & Didyk-Meush, G. (2009). *Leksikon l'vivskij: povazhno i na zhart* [Lexicon of Lvov: official and unofficial]. Lvov.

Igry' narodov SSSR: sb. materialov [Games of the nations of the USSR: collection of materials]. (1933). Moscow; Leningrad.

Ivanov, E. P. (1982). *Metkoe moskovskoe slovo: By't i rech' staroj Moskvy'* [Choice word of Moscow: life and speech of old Moscow]. Moscow: Moskovskij rabochij.

Ivanova, T. A. (2013). Kiev i Moskva v severnorusskih by'linah (na materiale zapisej v Arhangel'skom krae) [Kiev and Moscow on northern Russian bylinas (on the materials of notes made in Arkhangelsk region)]. In *Kiev i slavyanskaya literatura* (pp. 79–91). Belgrad.

Karłowicz, J., Kryński, A. & Niedźwiedzki, W. (1900–1927). *Słownik języka polskiego* (Vols. 1–8). Warszawa.

Kartoteka slovaryá govorov russkogo severa (kafedra russkogo yazy'ka i obshhego yazy'koznaniya UrFU, Ekaterinburg) [Card-index of the dictionary of dialects of Russian north (chair of the Russian language and General linguistics of the Ural Federal University, Ekaterinburg)].

Kartoteka slovaryá russkih narodny'h govorov (Institut lingvísticheskikh issledovanij RAN, Sankt-Peterburg) [Card-index of the dictionary of Russian folk dialects (Institute of linguistic researches Russian Academy of Sciences, St. Petersburg)].

Krop, J., Twardzik, J., Pilch, J. & Wronicz, J. (1995). *Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego*. Wisła; Ustroń.

Kuz'mich, V. (2000). *Zhguchij glagol: slovar' narodnoj frazeologii* [Pungent word: dictionary of popular phraseology]. Moscow: Zelenyj vek.

Leksicheskaya kartoteka toponimicheskoy e'kspedicii Ural'skogo universiteta (kafedra russkogo yazy'ka i obshhego yazy'koznaniya UrFU, Ekaterinburg) [Lexical card-index of toponymic expedition of the Ural University (chair of the Russian language and General linguistics of the Ural Federal University, Ekaterinburg)].

Linde, S. (1807–1814). *Słownik języka polskiego*. (Vols. 1–6). Warszawa.

Lyusy'j, A. P. (2013). *Moskovskij tekst: tekstologicheskaya koncepciya russkoj kul'tury'*

[Moscow text: textological concept of Russian culture]. Moscow: Veche: Russkij impul's.

Ljutikova, V. D. (2000). *Slovar' dialektnoj lichnosti* [Dictionary of dialect personality]. Tyumen.

Machek, V. (1968 (1971)). *Etymologický slovník jazyka českého*. Praha.

Mokienko, V. M. & Nikitina, T. G. (1998). *Tolkovyj slovar' yazy'ka Sovdep'ii* [Explanatory dictionary of the Sovietdom language]. St. Petersburg: Folio-Press.

Mokienko, V. M. & Nikitina, T. G. (2000). *Bol'shoj slovar' russkogo zhargona* [Great dictionary of Russian jargon]. St. Petersburg.

Mokienko, V. M. & Nikitina, T. G. (2008). *Bol'shoj slovar' russkih pogovorok* [Great dictionary of Russian sayings]. Moscow.

Moskva i "moskovskij tekst" russkoj kul'tury' [Moscow and "Moscow text" of Russian culture']. (1998). Moscow: RGGU.

Moskva i "moskovskij tekst" v russkoj literature i fol'klore: materialy VII Vinogradovskih chtenij [Moscow and "Moscow text" in Russian literature and folklore: materials of VII Vinogradov readings]. (2004). Moscow: MGPU.

Moskva i "moskovskij tekst" v russkoj literature XX veka: materialy' mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (Moskva, 11–12 noyabrya 2005 goda) [Moscow and "Moscow text" in Russian literature of 20th century: materials of international research conference (Moscow, 11–12 November 2005)]. (2007). (Iss. 3). Moscow: MGPU.

Mudrost' narodnaya. Zhizn' cheloveka v russkom fol'klore. Vy'p. 1: Mladenchestvo; Detstvo [Folk wisdom. Life of man in Russian folklore. Iss. 1: Infancy; Childhood]. (1991). Moscow.

Murav'ev, V. B. (2007). *Istoriya Moskvy' v posloviczhah i pogovorkah* [History of Moscow in proverbs and sayings]. Moscow: Algoritm.

Nacional'ny'j korpus russkogo yazy'ka [National corpus of the Russian language]. Retrieved from: <http://ruscorpora.ru>

Neklyudov, S. Yu. (2005). Telo Moskvy': K voprosu ob obraze "zhenshhiny'-goroda" v russkoj literature [Body of Moscow: On the image of "city-woman" in Russian literature]. In *Telo v russkoj kul'ture* (pp. 361–385). Moscow.

Nomis, M. (Comp.). (1993). *Ukrainski prikazki, prisliv'ya i take inshe* [Ukrainian sayings, proverbs and so on]. Kiev.

Opy't oblastnogo velikorusskogo slovary'a, izdannyy' Vtory'm otdeleniem Imperatorskoj akademii nauk [Attempt of regional Great Russian dictionary published by the Second department of Imperial academy of science]. (1852). St. Petersburg.

Podvy'soczkij, A. I. (1885). *Slovar' oblastnogo arhangel'skogo narechiya v ego by'tovom i e'tnograficheskom primenenii* [Dictionary of regional Arkhangelsk dialect in its domestic and ethnographic use]. St. Petersburg.

Pokrovskij, E. A. (1994). *Detskie igry': preimushhestvenno russkie* [Children games: mostly Russian]. St. Petersburg.

Příruční slovník jazyka českého. (1935–1957). (Vols. 1–8). Praha.

Prokosheva, K. N. (2002). *Frazeologicheskij slovar' permskih govorov* [Phraseological dictionary of Perm dialects]. Perm.

Pskovskij oblastnoj slovar' s istoricheskimi dannyy'mi [Pskov regional dictionary with historical data]. (1967). (Iss. 1). Leningrad.

Seliger: Materialy' po russkoj dialektologii: slovar' [Seliger: materials on Russian dialectology: dictionary]. (2003). (Iss. 1). St. Petersburg.

Shaposhnikov, V. (2009). Tvoi veka, Kostroma [Your ages, Kostroma]. In *Na Kostromskoj zemle: literaturno-hudozhestvenny'j sbornik* (pp. 3–18). Kostroma.

Slovar' Akademii Rossijskoj (1789–1794) [Dictionary of Russian Academy (1789–1794)]. (2001–2005). (Vols. 1–6). Moscow.

Slovar' govorov russkogo severa [Dictionary of dialects of Russian north]. (2001). (Vol. 1). Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta.

Slovar' permskih govorov [Dictionary of Perm dialects]. (2000–2002). (Iss. 1–2). Perm.

Slovar' pskovskih poslovic i pogovorok [Dictionary of Pskov proverbs and sayings]. (2001). St. Petersburg.

Slovar' russkih govorov na territorii Respubliki Mordoviya [Dictionary of Russian dialects on the territory of the Republic of Mordovia]. (2013). (Part 1–2). St. Petersburg.

Slovar' russkih govorov Yuzhnogo Priam'ya [Dictionary of Russian dialects of the southern Kama region]. (2010–2012). (Iss. 1–3). Perm.

Slovar' russkih narodny'h govorov [Dictionary of Russian folk dialects]. (1965). (Iss. 1). Moscow; Leningrad.

Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazy'ka [Dictionary of modern Russian literary language]. (1948–1965). (Vols. 1–17). Moscow; Leningrad.

Slovar' slovenskega knjižnega jezika (1970–1991). (Vols. 1–5). Ljubljana.

Slovník slovenského jazyka (1959–1968). (Vols. 1–6). Bratislava.

Slovník slovenských nářečí (1994). (Vol. 1). Bratislava.

Stavshina, N. A. (2008). *Frazeologicheskij slovar' russkih govorov Nizhnej Pechory'* [Phraseological dictionary of Russian dialects of Lower Pechora]. Syktyvkar.

Toponimicheskaya kartoteka toponimicheskoy e'kspedicii Ural'skogo universiteta (kafedra russkogo yazy'ka i obshhego yazy'koznaniya UrFU, Ekaterinburg) [Toponymic card-index of toponymic expedition of the Ural University (chair of the Russian language and General linguistics of the Ural Federal University, Ekaterinburg)].

Toporkova, A. L. (Comp.). (1995). *Russkij e'roticheskij slovar'* [Russian erotic dictionary]. Moscow: Ladomir.

Tytpa, A. (2011). *Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich*. Kraków.

Vanyushechkin, V. T. (1983). *Slovar' russkih narodny'h govorov Ryazanskoj Meshhery': materialy' po russkoj dialektologii* [Dictionary of Russian folk dialects of Ryazan Meshchera: materials on Russian dialectology]. Voronezh.

Volodihin, D. M. (2014). *Moskovskij mif* [Moscow myth]. Moscow: Veche.

Volodina, T. V. & Salavej, M. (Comp.). (2011). *Slounik belaruskich narodny'h parau-nannyau* [Dictionary of Belarussian folk comparisons]. Minsk.

Yurchanka, G. F. (1974). *I syache' i palicz': Ustojlivy'ya slovazluche'nni u gavorczy' Mscislaushchy'ny'* [And cuts and burns: idiomatic expressions in the speech of Mstislavl region]. Minsk.

Yastrebova, N. G. (2012). Moskva v tvorchestve F. N. Glinki i v fol'klore [Moscow in works of F. N. Glinka and in folklore]. *Russkaya rech'*, 5, 107–115.

The article was submitted on 15.09.2014

Елена Львовна Березович
профессор
Россия
Уральский федеральный
университет
berezovich@yandex.ru

Elena Berezovich
Professor
Russia
Ural Federal University
berezovich@yandex.ru

**Юлия Александровна
Кривошапова**
к. филол. н.
Россия
Специализированный учебно-
научный центр УрФУ
insekt@yandex.ru

Iulia Krivoshchapova, Dr
Russia
Specialized Educational Scientific
Center,
Ural Federal University
insekt@yandex.ru

**ТОРЖЕСТВО САМОДЕРЖАВИЯ:
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ПРОТИВ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА.
КОНФЛИКТ «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» В ГОЛЛАНДСКОЙ
ДРАМАТУРГИИ XIX В.**

Emmanuel Waegemans

**THE TRIUMPH OF AUTOCRACY: ALEXEI PETROVICH
VERSUS PETER ALEXEEVICH. THE CONFLICT
OF FATHERS AND SONS IN THE DUTCH DRAMA
OF THE 19TH CENTURY**

The author explores an episode of 18th century Russian history: i.e. the conflict between Peter I and his son Alexei Petrovich, reflected in the plays of Dutch playwrights in the first half of the 19th century. Referring to *Peter de Groote, Zar van Rusland* of Arent van Halmael, the author describes the peculiarities of the Dutch writer's understanding of the conflict. The writer focuses on showing the reader the tsar's inner conflict caused by the necessity to execute his son as a traitor while sensing his paternal attachment to him. It is in Johannes de Wal's *Peter de Groote, Treurspel*, that the discrepancy between the love of a father and the tsar's duty as head of the country takes on an even more pronounced shape. The young playwright portrays the son's deep attachment to his father, demonstrating a theme that power exacts a heavy price. The Dutch reader's attention is stimulated through the unique Russian portrayal of events.

Keywords: Arent van Halmael; Johannes de Wal; historical drama; 19th century Dutch literature; conflict between Peter I and tsarevich Alexei.

Автор рассматривает художественное воплощение сюжета из русской истории XVIII в. – конфликт между Петром Первым и его сыном Алексеем Петровичем – в пьесах голландских драматургов первой половины XIX в. Обращение к произведению Арента ван Халмаля (Arent van Halmael) «Петр Великий, царь России» (*Peter de Groote, Zar van Rusland*) показывает особенности понимания конфликта автором пьесы. Для него оказывается важным открытие зрителю переживаний государя, связанных с трагическим конфликтом между необходимостью казни сына как изменника и отцовской привязанностью. В еще большей степени диссо-

нанс родительской любви и государственного долга запечатлен в произведении Йоханнеса де Валя (Johannes de Wal) «Петр Великий. Трагедия» (Peter de Grootе. *Treurspel*). Молодой драматург передает искреннюю привязанность сына к отцу, поднимая в историческом сюжете общечеловеческую тему неизбежной и жестокой платы за обладание властью. Усиливает интерес голландского читателя российский контекст описываемых событий.

Ключевые слова: Арент ван Халмаль, Йоханнес де Валь; историческая драма, голландская литература XIX в., конфликт Петра Первого и царевича Алексея.



Йоханнес де Валь

Известный голландский историк Якоб Шелтема, автор четырехтомной истории отношений России и Голландии, в конце главы о второй поездке русского царя в Голландию в 1717 г. пишет:

Das vereinte Gejauchze seines Volkes begleitete ihn bis zu seinem Palast, wo ihn jedoch das jämmerlichste Trauerspiel erwartete. Der Kronprinz Alexis war während seiner Abwesenheit aus dem Reiche geflohen und als Gefangener zurückgeführt. Jetzt mußte der Vater über den Sohn Richter sein [Scheltema, Bd. 3, S. 427–428]¹.

В четвертой части своей работы историк продолжает:

Der Vater Richter über den Sohn! Wer kennt eine andere Handlung, in der solche zärtliche und so zahlreiche Beziehungen zusammenkommen? Und wer ist nicht der Meinung, dass solche Handlung verschieden beurteilt werden muss? Diejenigen, die nur das väterliche Gefühl heranziehen, werden bestimmt mit uns in Zweifel geraten bei der Frage: ob die Pflicht des Fürsten je so weit gehen kann, dass man dieses Gefühl völlig außer Acht lassen kann? Man möge Peter nicht beurteilen nach unserem eigenen Gefühl und nach den engen Kreisen unserer Bestimmung. Er fühlte sich dazu berufen, das russische Reich zu festigen; er handelte im großen Gefühl dieser erhabenen Berufung; aus diesem Gesichtspunkt muss unseres Erachtens diese Affäre betrachtet

¹ «Ликуя, весь народ провожал его <Петра> до дворца, где его ожидала ужасная трагедия. Во время отсутствия Петра царевич Алексей совершил побег из страны, был пойман и заключен в темницу. Теперь отец должен был вершить суд над сыном». (Здесь и далее перевод цитат наш. – Прим. перев.)

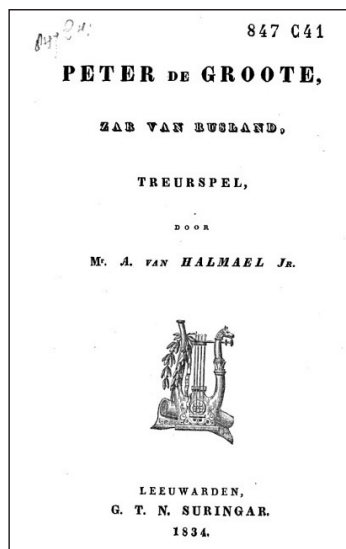
werden, und dann wird der bedächtige Nachkomme mehr Kraft und Ernst in der Nötigung bei ihm vorfinden als Grausamkeit mit Absicht oder durch Hetzen und Irreführung [Scheltema, Bd. 4, S. 1–2]².

Голландский посол в России Якоб де Би летом 1718 г. свидетельствует: «Seit den Zeiten König Philipps II. von Spanien und seines Sohnes Don Carlos hat die Christenheit nichts gesehen, was diesem Ereignis ähnlich wär» («Со времен Филиппа II, испанского короля, и его сына дона Карлоса христианский мир не наблюдал ничего подобного этому событию») [цит. по: Wittram, S. 402]³.

Сам Петр сетовал в связи с необходимостью ужасного выбора: «Страдаю, а всё за отечество, желая ему полезное; враги пакости мне деют демонские; труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо, Бог зрит правду» [цит. по: Соловьев, с. 302].

В 1834 г. во фризской столице Леувардене была опубликована трагедия «Петр Великий, царь России» (*Peter de Groote, Zar van Rusland*) голландского юриста и литератора Арендта ван Халмаля (Arent van Halmael, 1788–1850) [Halmael], бывшего также известным историком Фрисландии⁴. Его перу принадлежали пьесы на различную историческую тематику. Говоря о своих драматургических опытах, автор утверждал, что он «не стремится к известности и славе, а только хочет быть полезным» ('strebe nicht Ehre und Ruhm nach, sondern wolle nur nützlich sein').

Примечательно, что голландский автор перемещает действие драмы о Петре в старую столицу, хотя исторически все события происходили в Санкт-Петербурге. Пьеса начинается с центрального эпизода, в котором Петру необходимо принять решение о судьбе сына-заговорщика и в котором зритель становится свидетелем его пере-



² «Отец должен судить сына! Кто еще знает ситуацию, в которой переплетаются такие близкие и такие многогранные отношения? И кто не считает, что эта ситуация может быть разрешена по-разному? Те, кто ориентируются только на отцовские чувства, наверняка будут смущены нашим вопросом: может ли царь, ведомый долгом, пойти так далеко, чтобы полностью игнорировать эту привязанность? Нельзя осуждать Петра, исходя только из наших чувств и узких представлений о собственной судьбе. Царь чувствовал свою миссию в том, чтобы укрепить Российскую империю; он действовал исходя из этого высокого призвания; по нашему мнению, нужно рассматривать это дело с его точки зрения, и тогда осторожные потомки заметят проявления силы и уверенности в сложной ситуации, а не только жестокость, совершенную намеренно или в спешке и по причине заблуждений».

³ См. также: [Schwarz; Рыженков].

⁴ Фрисландия – провинция в Голландии. – Прим. перев.

живаний. В разговоре с Меншиковым и Крюйсом государь признается:

Mein Aleksej, ach, mein eigner Sohn,
was für ein Schmerz,
Dass ich es aussprechen muss,
durchsticht mein Vaterherz!⁵

Царя мучает то, что Алексей из-за ложных опасений за свою жизнь тайно покинул отечество, оклеветал отца при австрийском дворе и искал там защиты, полагая, что ему грозит наказание. Автор не лишает Петра родительской привязанности к сыну, он открывает внутренний конфликт в его душе – столкновение государственного долга и отцовских чувств:

...verdiene er den Tod, der Schurke!
Doch möge er leben, er ist und bleibt mein Sohn,
ich bin sein Vater und vergebe ihm⁶.

Сердцем царь тянется к сыну:

Habe ich auch Evdokija, seine Mutter, verstossen müssen,
Für ihren Spross jedoch war nie dies Herz verschlossen⁷.

Вопрос о престолонаследии приводит государя в ужас:

Kein Aleksej darf je Peters Platz innehaben!
Alles was ich habe, würde er verlieren,
Zerstören was ich gebaut, und dem Bösen vor dem Guten Vorschub geben,
Und euch wieder in die greifbare Finsternis stürzen,
Die ich vertrieben hab⁸.

PERSONEN.

PETER ALEXEWITSCH, Zar van Rusland.
KATHARINA, zijne gemalin, Zarin.
EUDOKIA LAPORCHIN, zijne vroegere en verfoetene gemalin.
ALEXEI, zijn zoon, Zarwitsch.
DOSITHIEI, Metropolit van Raskof.
ALEXANDER MESTTSCHILKOF, Prins en eerste Minister.
CORNELIS CAUY, Vice-Admiraal.
ALEXANDER KIKIN, Raad ter Admiraliteit.
STEFAN GLENOR, Generaal-Majoor.
LIMINOF, Kapitein in het Regiment Preobrazhensky.
EEN DUTSCHNIK van den Zar.

MINISTERS.
SENATORS.
GEHEITENLIJDE.
KNABEN.
WOLVEN.
BOEREN.
OFFICIEREN der Zee- en Landmacht.
GRENADIERS van het Regiment Preobrazhensky.
ZAMENGEVOEREN.
DUTSCHNIJEN.

Het stuk speelt te Maskwa, in den winter van het jaar 1718.

De orde, in welke de optredende personen genoemd worden, bepaalt hunnen stand ten toneele, van de rechterzijde af te rekenen.

⁵ «Мой сын, мой Алексей, он не знает, что это за боль, Слова, которые я должен произнести, пронзают мое сердце».

⁶ «...он, негодяй, заслуживает смерти! Но несмотря на то, будет ли он жить, он был и останется моим сыном, а я его отец и прощаю его».

⁷ «Я должен был мать Алексея, Евдокию, отвергнуть, Но для потомка это сердце никогда не было закрыто».

⁸ «Никогда Алексей не сможет быть на месте Петра! Все, что у меня есть, он потеряет, Разрушит то, что я построил, зло будет торжествовать над добром И повергнет нас снова в кромешную тьму, Которую я смог прогнать».

Петр просит соратников отречься от Алексея в пользу сына Екатерины. От своего же сына царь требует отказаться от претензий на трон и назвать имена заговорщиков. После этого у Алексея происходит разговор с одним из заговорщиков – Кикиным: царевич резко критикует своего отца, считая его «бастардом», необразованным варваром, который презрел обычаи предков, приветает инакомыслящих, ограничил права бояр и оскорбил его честь перед лицом русской аристократии. Он задает риторический вопрос: «Kann man das einen Vater nennen, ist er Vater oder Henker?» («Можно ли назвать его отцом, он отец или палач?). Алексей настроен воинственно и с пафосом возглашает: «So gehen wir – zum Altar, zur Kirche, zum Kerker, und wär's zum Grabe!» («Идем же – к алтарю, в церковь, в тюрьму и, возможно, – к могиле!»). В союзе с матерью и епископом Досифеем он намеревается поднять восстание против отца. На тайной встрече Евдокии, Алексея и духовенства скрытой от государевых глаз активной стороной выступает Евдокия – первая жена Петра. Отвергнутая царем, она поддерживает заговор против своего мужа:

Die Stunde naht,
In der Boshaftigkeit Rache findet !
Ich unterwarf mich, bis das Wort von Gottes Gesandten
Zur Rache und zur Rettung unseres Landes mich aufrief⁹.

Евдокия видит себя законной правительницей, а своего сына – русским царем и предрекает горе тем, кто выступит против них. В ее словах слышится боль обманутой женщины и матери. Петр был «ehrenlose Vater, der Barbar, der Tyrann, der Verräter» («отцом без чести, варваром, тираном, предателем»). Действие трагедии развивается так, что, когда замысел убийства государя внезапно открывается Алексею, он ошеломленно произносит, отказываясь его поддерживать:

Hab ich ihn geliebt? Ich verabscheue ihn, ja, ich hasse ihn
Ihn zu ermorden jedoch, oder des Mordes Mitwisser zu sein!
Das ist mir unmöglich!¹⁰

Автор морально оправдывает царевича, который не готов наследовать власть через преступление – «Nie durch Greuel den Thron!» («взойти на престол через злодейство»). Тогда к убеждению наследника прибегает епископ, доказывая Алексею, что убийство царя-тирана не противоречит христианской добродетели.

⁹«Час пробил, чтобы
Коварно отомстить!
Я покорялась, пока слово посланника божьего
К мести и спасению Родины меня не призвало!»

¹⁰«Разве я его любил? Я презираю его и даже ненавижу,
Но убить его или стать сообщником убийцы
Для меня немисливо!»

На данном этапе развития действия пьесы Петр еще собирается сохранить жизнь своему сыну: «Den Kummer, den ich als Zar Euch heut' antue, den ich Euch antun musste, will ich als Vater heilen» («Горе, которое я должен причинить, будучи царем, я исправлю как отец»). Если сын захочет сблизиться с царем, то Петр ощутит себя «von neuem ganz Vater sein» («снова настоящим отцом»). Автор показывает, как задевают Петра обвинения сына в том, что в молодости, оставив жену, он был равнодушен к судьбе наследника. Арент ван Халмаль вводит образ Екатерины – второй жены царя, которая в разговоре с Петром призывает его пощадить сына, обращаясь не только к чувству милосердия, но и к представлениям о родовой чести:

Schont Aleksej, lasst ihn wieder Eure Gunst genießen <...>
Beschwert ihn nicht mit Schande und seid nicht all zu grausam.
<...>
Ihr dürft den Rang und Namen Eures Sprösslings nicht mehr besudeln,
Und sollt seine Missetat mit Gnaden bedecken.
Des Vaters Schand' und Schuld werden auf der Nachkommenschaft ruhen,
Die noch nach Jahren, sogar nach Jahrhunderten, schamrot wird,
Und trauert und leiden muss und unverschuldet die Scham tragen muss¹¹.

Екатерина предлагает отправить Алексея в монастырь:

Möge ein Kloster ihn aufnehmen, möge seine Seele dort genesen,
Und die Erde vergessen, mit all dem was ihn jetzt quält und drückt¹².

Впечатляюще описана встреча Петра, Екатерины и Евдокии. Автор заостряет конфликт, соединяя в нем политические и семейно-родовые мотивы. Евдокия упрекает Петра в том, что он не только несправедливый правитель, но и плохой отец, и бросает ему обвинение в предательстве Отечества, поскольку настоящий государь должен чтить закон. В ответ Петр жестко дает ей понять, что право на престол теряет не только Алексей, но и его дети – наследование трона переходит к сыну Петра и Екатерины¹³. Разгневанная Евдокия называет Петра «einen Bastardfürsten» («князем-ублюдком»), и, покидая дворец, бывшая царица произносит злые, ядовитые слова:

¹¹ «Пощади Алексея, пусть он будет под нашей защитой...
Давай не будем срамить его, жестоко с ним поступать.
<...>

Не позорить честь и имя нашего потомка мы должны,
А смягчить его проступок своей милостью.
Отцовский позор и вина лягут на потомство,
Которое спустя годы и даже столетия будет стыдиться,
И печалиться, и страдать, и незаслуженно нести позор».

¹² «Если бы его приняли в монастырь, его душа там бы возрадовалась
И забыла бы все то земное, что сейчас его терзает и мучает».

¹³ На самом деле, известно, что Петр не оставил завещания о передачи власти. –
Прим. ред.

Ich gehe, um für immer von Euch, Tyrann, zu scheiden!
 Ich will Euch, Ehebrecher, für immer entkommen,
 Gebe Gott, Euch niemals wiederzusehen!¹⁴

Для оправдания причин отцовской жестокости Петра автор вводит эпизод с готовящимся военным переворотом. Меншиков получает новости из Мекленбурга, что находящиеся там русские войска проявляют недовольство, они ненадежны и готовы бунтовать. Он добавляет, что «es auch in diesen Wänden unruhig sei» («в этих стенах также неспокойно»). Заговорщики в лице Алексея, его матери и епископа готовятся к восстанию, и царевич произносит слова, в которых также звучит патриотическая идея:

Rechtschaffene Freunde, der Kummer Russlands steigert sich
 Jeden Tag, jeden Augenblick.
 Keine Handlung des Zaren, die aller Furcht und Angst
 Vor dem Untergang des Landes nicht steigen liesse!¹⁵

Досифей метафорически называет Алексея «Schutz und Hort der abgeplagten Kirche und des grausam unterjochten Staates» («защитой и убежищем гонимой церкви и жестоко поработщенного государства»). Он говорит о бывшем ему видении, в котором святой Дмитрий – небесный покровитель России – предрек скорую смерть царя и указал епископу на Алексея, который вместе со своей матерью должен управлять Россией после Петра.

Но неудачные заговорщики пойманы царем с поличным, а Кикин убит лично Петром. С раскрытием заговора терпению царя приходит конец:

Jetzt ist das Schicksal meines Sohnes bestimmt ; jeden Tag mehrten sich
 Seine Freveltaten ; ihr Lauf wird endlich völlig gehemmt.
 Möge man noch heute Nacht seiner Schuld ein Urteil fällen!¹⁶

В последнем действии на сцене появляются Крюйс и Екатерина. Крюйс понимает, что Алексей может рассчитывать теперь только на милость царя, но «nicht auf Vergebung der Schuld» («не на прощение вины»). В отличие от милосердной Екатерины он поддерживает решение государя. В его речи реанимируется образ жертвенной крови, пришедший в литературу эпохи романтизма из глубокой древности:

¹⁴ «Я навеки собираюсь расстаться с тобой, тиран!
 Я хочу навсегда уйти от тебя, изменник!
 Дай Бог никогда тебя больше не увидеть!»

¹⁵ «Верные друзья, горе России возрастает
 Каждый день, каждое мгновение.
 Никакое действие царя не может превозмочь
 ужас и страх перед упадком страны».

¹⁶ «Теперь судьба моего сына предрешена; с каждым днем возрастают
 Его преступления; они в конце концов полностью прекратятся.
 Желательно уже этой ночью вынести приговор его преступлению».

Wenn Russlands Herrscher jetzt sein Blut vergießt,
So ist es Russlands Heil, dem er es zum Opfer bringt¹⁷.

В словах Екатерины возникает идея общественного порицания. Она боится за репутацию Петра:

Ich wäre untröstlich, wenn nach so vielen grossen Taten,
Durch Aleksejs Tod, sein Ruhm verloren ginge¹⁸.

Однако Петр уже все решил:

Nein, fallen muss er ! fallen, sterben !
Das will des Volkes Wohl, mein höchstes Gesetz¹⁹.

В последней сцене происходит разговор между отцом и сыном. Петр зачитывает ему приговор «der Auslese der Heeresmacht und der Spitze der Reichsgroßen» («высших чинов войск и главы империи») и сурово предупреждает, чтобы тот не думал просить у него пощады. Автор добавляет в это жестокое решение ноту сентиментальности. Чтобы избавить сына от позорной смерти на эшафоте, государь предлагает ему чашу с ядом. Опустошив чашу, Алексей приходит к отцу и долго обнимает его. Вскоре Меншиков сообщает всем, что царевич умер; Екатерина заливается слезами, а Крюйс замирает как пораженный громом.

Сразу же после своей публикации трагедия подверглась критике. Важным замечанием рецензента (помимо указания на некоторые лингвистические и поэтические неточности в не очень удачных фрагментах) было отсутствие, по его мнению, нравственной цели. Критик задавался вопросом: может ли мораль пьесы быть заключена в выражении «*salus populi suprema lex esto*» («благо народа – высший закон»), которое представляется опасным для народа и для политиков? [Vaderlandsche, S. 77].

Спустя два года в Гронингене (опять в провинции) была опубликована другая пьеса, написанная молодым драматургом Йоханнесом де Валем (Johannes de Wal): «Петр Великий. Трагедия» (*Peter de Groote. Treurspel*) [Wal]. С поэтической точки зрения это произведение гораздо более удачно²⁰. Язык пьесы стилистически выверен, и можно говорить об успешном драматическом опыте (за исключением некоторых слишком затянутых сцен). Удивляет то, что даже во второй четверти XIX в. драма русского царя могла взволновать голландскую публику, в чьей стране никаких исторических предпосылок для этого не было.

¹⁷ «Если владыка России сейчас прольет свою кровь,
Это спасение России, которой он приносит жертву».

¹⁸ «Я буду безутешна, если после стольких великих дел
Его слава будет потеряна из-за смерти Алексея».

¹⁹ «Нет, он должен пасть! Пасть, умереть!»

Этого требует благо народа, которое для меня высший закон».

²⁰ По крайней мере по мнению одного из критиков. См.: [Vaderlandsche, 1837, S. 182].

В этой трагедии речь также идет о восстании: друзья царевича и приверженцы старых, допетровских порядков вынашивают план по освобождению наследника престола из темницы. Среди них, вероятнее всего, есть предатель, так как рискованный план доходит до ушей царя, и кружок заговорщиков оказывается под арестом. Царевичу грозит смерть, и изменники убеждены, что за суровым приговором стоит русская царица Екатерина:

Die List der Kaiserin
Beherrscht und zwingt sein Herz völlig nach ihrem Sinn;
Ihre höllische Staatskunst fordert, dass er das Leben lässt,
Und dass für ihr Glück die Hoffnung Russlands stirbt²¹.

Не все из заговорщиков «священного союза» убеждены в невиновности Алексея:

...ganz ohne Schuld ist er nicht,
Da er sein Vaterland nach eignem Willen verliess,
Und den kaiserlichen Befehl missachtete²².

Молодой голландский писатель изображает царя в момент раздумий о судьбе сына, которые доставляют ему тяжкие муки:

Jetzt, Peter, ist die Stunde der Schmerzen angebrochen
Dass Ihr entscheiden müsst. Eine schwere Aufgabe !
Der Vater muss dem Sohn ein gerechter Richter sein,
Im fürchterlichen Todesgericht²³.

Драматург даже оставляет Петру возможность примирения с сыном:

Ach, wenn Ihr meiner Stimme und sanftem Rate gehorchet
Und nicht oftmals das Elternherz durchbohret,
Durch Schand' und schlechte Aufführung²⁴.

²¹ «Хитростью императрицы

Его сердце полностью побеждено и покорено ее волей;
Ее дьявольская политика добьется того, что он расстанется с жизнью
И что во имя ее счастья надежда России умрет».

²² «...он отчасти виноват,

Так как он покинул отечество по собственной воле,
И пренебрег приказом императора».

²³ «Теперь, Петр, настал час горя,

Когда вы должны решить. Тяжкое бремя!
Отец должен быть справедливым судьей сыну
На страшном смертельном суде».

²⁴ «О, если бы вы послушались моего голоса и мягкого совета
И не часто пронзали насквозь родительское сердце
Бесчестием и дурными поступками».

Но в итоге государь приходит к выводу, что этого сына он потерял:

Ihr seid mein Sohn nicht mehr. Nein, ich habe andere Nachkommen
Sie werden in meinem Alter mich trösten und lieb für mich sein,
Sie werden mir helfen, das Leiden geduldig zu ertragen,
Sie werden mit mir Gott um Vergebung beten²⁵.

Разговаривая с мужем, Екатерина упрекает царя:

Ihr Urteil, Peter, schwankt, das Vaterherz gebietet,
Ihr hört die schwere Stimme des Rechtes und der Pflichten nicht!²⁶

Отвечая на его вопрос, может ли отец мстить своим детям, она переводит вопрос в другую плоскость – речь идет не о мести, а о судьбе России:

Ihr rächt nicht Euch selber, Ihr rächt Russlands Ehre,
Ihr gebt Eurem Volke und Euch selber die Ruhe wieder,
Ihr wollt nie Eure große Macht zu Russlands Elend missbrauchen,
Oder wird er deshalb dem gerechten Lohn entkommen,
Weil er sich Euren Sohn nennt, wenn gleich dieses Namens unwert ?
Er, der Aufsässigkeit und Pflichtvergessenheit in sich vereint,
Der Eid und Gesetz vergisst, was sag' ich ! der sein' Vater
Verkennt, seinen Fürsten bedrängt ! Und solch' Landesverräter,
Der jegliches Pflichtgefühl vergisst, schmäh't und höhnt,
Wird, Ordnung und Gesetz zuwider, als Fürstenkind verschont !²⁷

Екатерина обвиняет Петра в том, что его мягкость делает из него раба, и называет его злосчастливым царем. В конце долгого монолога она произносит:

Zeigt, Peter, wer Ihr seid,
Willt auch Sieger sein, wenn Ihr Euch selber bekämpft,
Gebt nicht nach, Recht und Ehre und Pflicht zu betrachten,

²⁵ «Вы больше мне не сын. Нет, у меня есть другие потомки, Они в старости утешат меня и будут мне милы, Они помогут мне терпеливо перенести страдания, Мы вместе попросим Бога о прощении».

²⁶ «Ваш приговор, Петр, сомнителен, сердце отца повелевает, Вы не слушаете убедительный голос правды и долга!»

²⁷ «Вы мстите не за себя, вы мстите за честь России, Вы вновь даруете вашему народу и себе самому покой, Своей огромной властью вы же не хотите принести беду России. Возможно ли, чтобы он избежал справедливого возмездия, Потому что называет себя вашим сыном, хотя недостойн этого имени? Он, кто сочетает в себе упрямство и отсутствие чувства долга, Присягу и закон забывает, что еще сказать! Кто своего отца Не признает, его звать преследует! И этот предатель, Который всякую честь презирует, оскорбляет и высмеивает, Будет, вопреки закону и порядку, помилован как сын царя!»

Sorget um Euer Vaterland, bewachtet Euer eigen' Leben.
 Ich fleh Euch an als Gattin, ich beschwöre bei unserer Liebe,
 Ich bitte als Untertan, ich fordere als Fürstin!²⁸

Конфликт формулируется автором в словах Меншикова, который спрашивает себя: «Kann Vaterliebe den Fürsten vom Wege des Rechts abbringen?» («Может ли любовь отца заставить сойти с пути правды?»). Толстой в ответ утверждает, что только сильное влияние Екатерины приводит царя к подлинно государственному поступку: «Nur des Fürsten grosser Gattin ist es zu danken, dass wir auf eine Lösung hoffen dürfen, / Die dem Reiche nützlich ist» («Стоит благодарить только супругу царя за то, что мы можем надеяться на решение, которое нужно империи»). Меншиков надеется, что Петр поведет себя как Брут и внемлет голосу своей страны.

В молитве к Богу Петр выражает надежду на то, что Господь подскажет ему решение «das der Fürstenpflicht entspricht, das der Vaterliebe entspricht!» («которое соответствует и царскому долгу, и отцовской любви!»). Даже заступничество графини фон Кёнигсмарк не может спасти царевича²⁹. Духовнику Петра, который в отличие от церковников из пьесы Арента ван Халмаля не примыкает к заговорщикам, также не удастся удержать царя от вынесения приговора, имеющего большое значение для страны:

Nein, Kaiser, kein Gericht von Menschen
 Verpflichtet einen Menschen zu Kindermord³⁰.

На что Петр возражает:

Leider ist es mir nicht vergönnt ;
 Die gesamte Bürgerschaft wird mir diesen Schritt übel vermerken³¹.

После того как «dem niederträchtigen Verrat die Kraft entnommen ist» («низкое предательство потеряло силу») и заговорщики были арестованы, выясняется, что австрийский и голландский послы (Плейер и де Би) состояли в заговоре:

²⁸ «Покажите, Петр, кто вы есть,
 Станьте победителем, если вы победите самого себя,
 Не забывайте чтить правду, честь и долг,
 Заботьтесь о своей стране, охраняйте свою собственную жизнь,
 Я умоляю вас как жена, я клянусь нашей любовью,
 Я прошу как подданная, я призываю как царица!»

²⁹ Немного наивно и неуместно в пьесе звучит ее похвала в адрес Голландии: «Hol-land hat das Fundament für Russlands Wohl gelegt / Ihm gebührt bis Russlands End unser Dank» («Голландия заложила фундамент для блага России, / Ему <царю> следует вечно благодарить нас»). Далее следует поэтически выверенное признание в любви Голландии длиной в пять строф.

³⁰ «Нет, император, никакой людской суд
 Не принуждает убивать ребенка».

³¹ «К сожалению, это мне не суждено
 Этот поступок не понравится всему обществу».

Dass der österreichische Gesandte ihrem Streben wohlgesinnt war,
Und im Namen seines Fürsten aus der Reichskasse
Ihnen Unterstützung leistete. Welch' Schnödigkeit!³²

По приказу фельдмаршала голландский дипломат должен был отдать австрийскому послу задаток, чтобы поддержать заговорщиков. Плейер, конечно же, отрицает обвинения³³ и берет голландца де Би под свою защиту:

De Bie, Gesandter der holländischen Staten ?
Nie wird dieser edle Mann den heiligen Weg verlassen.
Er ist Bataver: das erklärt alles³⁴.

Плейер, в отличие от Петра, продолжает надеяться, что Алексей может быть прощен своим отцом, хотя «*nie wird seinetwegen meine Pflicht Ihnen gegenüber nachlassen!*» («из-за него мой долг перед вами никогда не будет забыт!»). Но эти надежды не могут сбыться: Алексей должен умереть. Голландский автор оставляет царевича умирать на руках у отца, от которого он получает *отцовское благословение*. Как именно умер Алексей, не показано. В любом случае его смерть была безболезненной.

В этой статье я остановился только на двух пьесах. Между тем в голландской литературе существуют десятки художественных произведений, в которых речь идет о трагической истории приговоренного к смерти наследника престола Алексея Петровича [см. также: Вагеманс, 2007, с. 53–68]. Как бы то ни было, эту тему я намерен продолжить изучать.

Вагеманс Э. Петр Великий в Бельгии. СПб. : Гиперион, 2007. 232 с.

Вагеманс Э. Царь в республике. Второе путешествие Петра Великого в Нидерланды. СПб. : Европейский дом, 2013. 253 с.

Рыженков М. Преступник или жертва // Ausstellungskatalog „Die Flucht des Zarewitsch“. Wien, Österreichs Staatsarchiv, 2012. S. 25–32.

Соловьев С. М. Царевич Алексей // Император Петр I Великий: энциклопедия / под ред. М. Л. Вольпе. М. : АСТ : Зебра Е, 2007. 416 с

Halmael, A. van. Peter de Groote, Zar van Rusland: Treurspel. Leeuwarden : G. T. N. Suringar. 1834. 84+12 p.

Koningsbrugge H. van. Het verhaal van twee verloren vriendschappen. De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714–1725. Groningen, 2013. 220 p. Ills.

Scheltema J. Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen. Amsterdam, 1818. Bd. III, IV.

³² «...что австрийский посол благоволил его стремлениям
И от имени своего правителя из государственной казны
Оказывал поддержку. Какое коварство!»

³³ О Плейере (Pleyer) см.: [Вагеманс, 2013, с. 127]; о роли голландского посланника Якоба де Би (Jacob de Bie) см.: [Koningsbrugge, p. 112–125].

³⁴ «Де Би, посол голландского государства?
Этот благородный человек никогда не свернул бы с верного пути.
Он голландец — это объясняет все».

- Schwarcz I. Die Flucht des Thronfolgers Aleksej // Ausstellungskatalog „Die Flucht des Zarewitsch“. Wien : Österreichisches Staatsarchiv, 2012. S. 7–10.
 Vaderlandsche Letteroefeningen. 1835; 1837.
 Wal J. de. Peter de Groote. Treurspel. Groningen, 1836.
 Wittram R. Peter I Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit. Göttingen, 1964. Bd. II.

- Koningsbrugge, H. (2013). *Het verhaal van twee verloren vriendschappen. De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714–1725*. Groningen.
 Ryzhenkov, M. (2012). Prestupnik ili zhertva [Criminal or victim]. In *Ausstellungskatalog “Die Flucht des Zarewitsch”* (pp. 25–32). Wien: Österreichisches Staatsarchiv.
 Scheltema, J. (1818). *Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkerige betrekkingen*. (Bd. III, IV). Amsterdam.
 Schwarcz, I. (2012). Die Flucht des Thronfolgers Aleksej. In *Ausstellungskatalog “Die Flucht des Zarewitsch”* (pp. 7–10). Wien: Österreichisches Staatsarchiv.
 Soloviev, S. M. (2007). Czarevich Aleksej [Tsarevich Alexei]. In M. L. Volpe (Ed.), *Imperator Petr I Velikij: e'nciklopediya*. Moscow.
 Vaderlandsche Letteroefeningen. 1835; 1837.
 Vagemans, E. (2007). *Petr Velikij v Bel'gii* [Peter the Great in Belgium]. St. Petersburg: Giperion.
 Vagemans, E. (2013). *Czar' v respublike. Vtoroe putesthestvie Petra Velikogo v Niderlandy'* [Tsar in republic. The second trip of Peter the Great to the Netherlands]. St. Petersburg: Evropejskij dom.
 Wittram, R. (1964). *Peter I Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit*. (Bd. II). Göttingen.

The article was submitted on 23.08.2014

Translated by Evgeniia Kosych

Эммануэль Вагеманс
 профессор
 Бельгия, Левен
 Католический университет
 emmanuel.waagemans@telenet.be

Emmanuel Waagemans
 Professor
 Belgium, Leuven University
 emmanuel.waagemans@telenet.be

**ON THE TRANS-SIBERIAN
WITH SYLVESTER STALLONE:
NATIONAL IDENTITY AND BRAND IDENTITY
IN POST-SOCIALIST RUSSIA**

In our short paper we look at how certain brands in post-socialist Russia appeal to consumers' patriotism in order to build brand identity. In order to ensure thematic coherence, we restrict our discussion to the alcohol sector. In the first part, we analyse the packaging of certain vodka and brandy brands. Our focus then shifts to beer and specifically the Facebook page of *AB-InBev's* 'Siberian Crown' brand (entitled 'The Map of Russian Pride'). Our paper is conceptual, and we use a visual studies methodology following Schroeder (2002) and Manning (2010). As we demonstrate, a number of brands in today's Russia generate certain types of myths, both about Russia and Russianness and – by extension – about themselves as brands. They do so by recreating the past, or rather, by carefully selecting from that past those elements which contribute to the grand narrative that is both the brand, and the nation. Our paper's contributions lie in a number of areas. First of all, it adds to the literature on social media networks, and especially to discussions of the role those networks play in branding. Second, it explores the relationship between building brand legitimacy and (re)constructing national identity. Third, and perhaps most importantly, it extends the pioneering work on 'iconic' branding by Holt (2006) into a non-Western context. Given our findings, more work clearly needs to be done on the difference that social networks make to brands, on the role they play both in legitimizing the brand and in promoting myths of national identity – not just in Russia but in a wide variety of markets.

Keywords: packaging, social media, branding, nostalgia, Russia, alcohol.

В этой короткой статье мы рассматриваем, как при создании брендовой идентичности в постсоветской России происходит обращение к патриотическим чувствам потребителей. В рамках темы исследование ограничивается сферой алкогольной продукции. В первой части статьи анализируется оформление упаковки различных видов водки и бренди. Далее мы обращаемся к анализу пивной продукции, а именно к странице бренда «Сибирская корона», принадлежащего международной пивоваренной корпорации *AB InBev*, в социальной сети Facebook (страница озаглавлена 'The Map of Russian Pride'). Наша статья носит концептуальный характер, и мы прибегаем к методологии визуального исследования, опираясь на труды Шредера (2002) и Маннинга (2010). В статье показано, что некоторые бренды в современной России порождают определенные виды мифов о России и русскости и в итоге – о самих себе как брендах. Это делается путем обращения к прошлому или, скорее, методичным

выбором элементов прошлого, которые вписываются в великое повествование, охватывая и бренд, и нацию. Статья затрагивает разные области. Во-первых, она касается исследований социальных сетей, в особенности посвященных обсуждению роли, которые такие сети играют в построении образа бренда. Во-вторых, исследует соотношение между построением легитимности бренда и (вос-)становлением национальной идентичности. И, возможно, самое главное, статья расширяет посвященный иконическим брендам новаторский труд Холта (2006) рассмотрением незападного контекста. Результаты анализа показывают, что дальнейшее исследование должно быть посвящено изменениям, которые вызывают в образе бренда социальные сети, а также роли, которую они играют в процессе узаконивания бренда и продвижении мифа о национальной идентичности – не только на российском, но и на других рынках.

Ключевые слова: упаковка; социальные СМИ; брендирование; ностальгия; Россия; алкоголь.

*'Been away so long I hardly knew the place,
Gee, it's good to be back home!'*
The Beatles. Back in the USSR

Introduction

The aim of our paper is to examine how certain brands in Russia exploit consumers' patriotism and nostalgia in order to build identity and gain legitimacy. This paper, a revised and extended version of Roberts [2013], is part of a larger book-length study into the aesthetics of branding in Russia, following Schroeder [2002]. The main focus of our study will be the Facebook page of the beer 'Sibirskaya korona'. Before looking at social media, however, we should like to say something about packaging design in Russia. This is because we believe that, from a branding point of view, there are important parallels between the *material* culture of packaging and the *immaterial* culture of social media. In particular, we should like to take up the central themes of two articles published recently on the *Material World* blog by Makarenko and Borgerson [2009] and Glass [2012].

It could be argued, of course, that packaging is not 'material culture' in the usual sense of the word. In some sense it is a hybrid phenomenon, neither immaterial (like the brand), nor material (like the product [see Manning, 2010; Heilbrunn and Barré]). We would maintain, however, that packaging is indeed part of material culture in the sense described by Woodward: 'In its popular scholarly usage, the term "material culture" is generally taken to refer to any material object (e. g. shoes, cup, pen) or network of material objects (e. g. house, car, shopping mall) that people perceive, touch, use, handle, carry out social activities within, use or contemplate' [Woodward, p. 14]. Packages are indeed objects, since they are handled, and – especially in the cases which we shall be looking at – they are aesthetic objects designed to be contemplated [see for example Borgerson, Schroeder].

Packaging in Russia has almost always been ideologically and politically loaded [see for example Hilton]. This is even more true in today's, post-socialist Russia, especially in the case of vodka [Kravets; Roberts, 2014]. This is perhaps to be expected. First, for Russians, vodka is not just 'a pervasive mediator and sign of relations of sociability of all kinds', as in neighbouring Georgia [Manning, 2012, p. 183]; it is *the* national drink par excellence. Second, Kravets makes the important observation that 'the official ban on mass advertising [of vodka in today's Russia] makes other techniques of branding, such as naming, labelling, and packaging, a primary mode of promotion for the industry' [Kravets, p. 363]. Third, vodka is an alcoholic beverage which tends to be relatively uniform in colour, smell and taste. To quote Hine, 'it is no accident that vodka, the most characterless of spirits, has the highest profile packages' [Hine, p. 4]. With over six hundred different vodkas on the Russian market, eye-catching packaging design can help a brand both establish legitimacy and differentiate itself from the competition.

Discussion (1) – Packaging

Politically charged references were generally rare on vodka labels produced during the Soviet period. In the post-Soviet era, however, there are countless examples of ideologically loaded vodka labels, bottles and boxes. When it comes to vodka packaging design in Russia today, there are few examples more impressive than '*Legenda Kremlya*' ('Legend of the Kremlin').

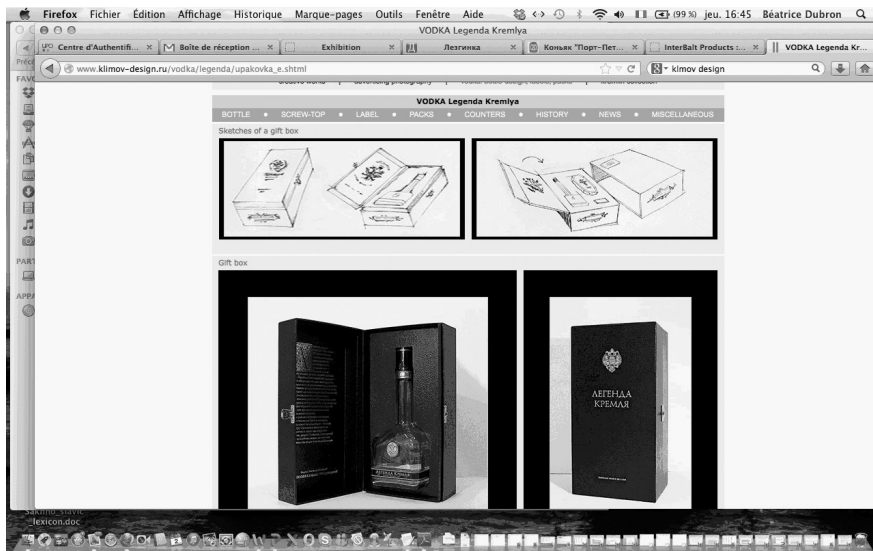


Figure 1: The box and bottle design for 'The Legend of the Kremlin' vodka (http://www.klimov-design.ru/vodka/legenda/upakovka_e.shtml)

This vodka's long-necked bottle comes in a hollow black and gold box designed to resemble an imposing medieval manuscript (see Figure 1). When one opens the 'manuscript', the first thing one sees is the portrait of 'Monk Isidore' above the date '1430', written in an ancient calligraphic style. As one leafs further through the pages of the 'manuscript', one learns all about how Isidore stumbled across the recipe for the first Russian vodka one night working alone in his cell in the monastery that once stood on the site of the modern-day Kremlin in Moscow – the 'legend' to which the vodka's name refers. There is a reproduction of an ancient map of the Kremlin, as well as a story about the bottle itself, purportedly designed by an 'unknown craftsman' in the late eighteenth century. In sum, the story behind this brand (con)fuses the origin of vodka and the centre of Russian political power; mythologizing the brand and sacralizing the State go hand in hand in Russia.

Something similar happens with the design for the '*Russkij Led*' ('Russian Ice') vodka bottle. This time, however, the glorious past to which the brand refers is military, rather than spiritual. Etched onto the bottle itself is a representation of one of the most famous battles in Russian history, namely that fought against the Teutonic Knights on a frozen Lake Peipus in 1242 (see Figure 2).



Figure 2: The bottle design for 'Russian Ice' vodka
(<http://icapturemarketing.com/russianice/about-us>)

The victory on the 'Russian Ice' is deeply imbricated with Russian national identity, since Russia's defeated enemies were finally forced to recognise the inviolability of her frontiers (its significance prompted Eisenstein to make it the centrepiece of his film *Alexander Nevsky* in 1936). In an

attempt to underline still further the brand's patriotic credentials, a horizontal band of white, blue and red (the colours of the Russian flag) was added around the base of the bottle during a rebranding in 2008. In the same year, 'Russkij Led' vodka launched a press and TV advertising campaign, using Sylvester Stallone. Stallone is of course best known for his screen roles Rocky Balboa and Rambo, in which he embodied the all-American action hero – and, it should be noted, successfully fought against the 'red menace' from the East. The 'Russkij Led' ad, however, actually pointed out that Stallone's great-grandmother was Russian – from Odessa! – and claimed that 'everyone of us has a bit of Russian in them'.

'Russkij Led' is not the only alcoholic drink to celebrate the inviolability of the Russian land (although it is surely alone in insisting on the ubiquity of Russian genes). This theme is also featured on the bottle of 'Port Petrovsk' 25-year old brandy, produced since 1997 by the *Derbentskij kon'yachnyj kombinat* in the southern Russian republic of Dagestan. The back of the bottle tells the story of how Peter the Great arrived at the head of a fleet of ships in a quiet bay, and placed the first stone of what was to become Port-Petrovsk. The ideological significance of this event is immense, since Port-Petrovsk is the modern capital of Dagestan (although today it is known as Makhachkala), an autonomous, and extremely dangerous, Russian republic located in the heart of the historically disputed Caucasus, right next door to Chechnya. Significantly, the story told on the bottle of the founding of Port-Petrovsk emphasises the consensual nature of this event (Peter, we are told, places the first stone, and then *invites all those accompanying him to do the same*; the bottle design can be viewed at – see Figure 3).

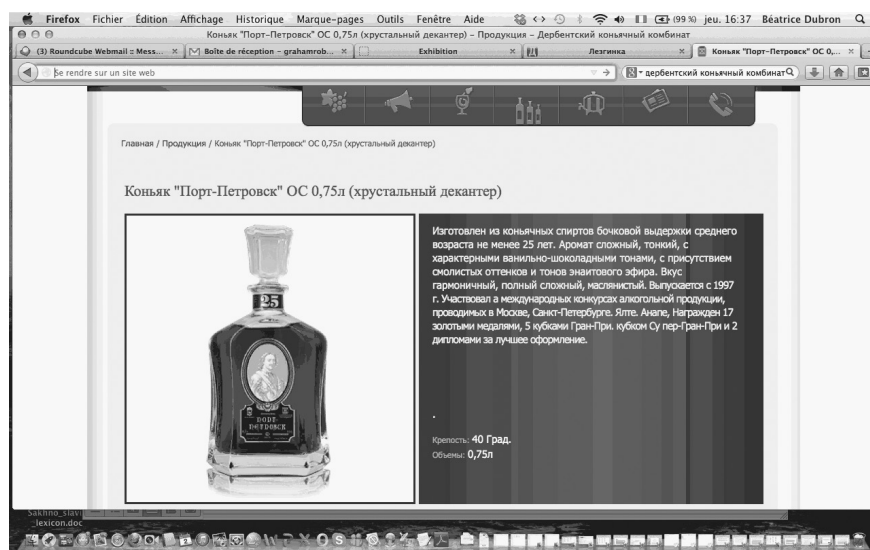


Figure 3: The bottle design for 'Port-Petrovsk' brandy (<http://www.derkonyak.ru/items/65>)

Discussion (2) – Social Media: the case of ‘Sibirskaya korona’

To turn now to social media, a number of Russian alcohol brands exploit consumers’ patriotism and nostalgia on their social media pages. These include the vodka ‘Russkij Standard’, and the Russian champagne house ‘Abrau-Durso’. A number of beer brands do this too, such as ‘Ochakovo’, which has a Facebook page devoted to its ‘*Muzej Tradicionnyh Russkih Napitkov*’ (‘Museum of Traditional Russian Drinks’, essentially beer and kvass). It is not difficult to explain why Russian brewers should position themselves around notions, however spurious, of national identity. It could be argued that beer is the ultimate collective tippie [Manning, 2012] – which may be one reason why it has become so closely associated with national identity in other ex-Soviet republics, such as Georgia [Manning, Uplisashvili]. One of the most ‘patriotic’ beer brands in today’s Russia is Baltika, jointly owned by brewing giants Carlsberg and Scottish & Newcastle. In late 2004, the company launched a series of five TV advertisements which traced the progress of a group of passengers on the Trans-Siberian railway from Vladivostok to Saint Petersburg. Apart from containing shots of spectacular Russian scenery, each ad ended with the slogan ‘*Baltika – tam, gde Rossiya*’ (‘Baltika – where Russia is’ [see Morris, 2007]). In these remarkable advertisements, brand identity – and by extension consumer identity – is inextricably linked not to collective memories but rather to an imaginary geography. With their flagrant use of both Russian and Soviet iconography, these ads are perfect examples of what French semiotician Jean-Marie Floch calls ‘mythical advertising’ [Floch, p. 203; see Roberts, 2008].

The beer brand which does most to arouse Russian consumers’ patriotism, however, is ‘*Sibirskaya korona*’ (‘Siberian Crown’). This brand is market leader in Russia, and was voted ‘No. 1 beer in Russia’ in 2007 and 2009. It was launched at a local brewery, ‘Rosar’ in the Siberian city of Omsk in 1996, before being acquired by Russian brewer SUN Inbev in 1999. SUN Inbev in turn became part of the brand portfolio of the Belgian-Brazilian Anheuser Busch-Inbev group in 2005. According to SUN Inbev’s Russian company website, ‘The brand’s contemporary image is based on concepts such as quality, style, pride in one’s country, prosperity, generosity of spirit, and nobility’. In the early to mid 2000s it advertised aggressively in a successful attempt to transform itself from a regional, into a national brand. To quote Morris: ‘Siberian Crown (Sibirskaya korona), another low-end brew, presented Imperial Russia in all its luxurious glory: candle-lit balls, splendid military uniforms and the Russian tricolour flying from every available pole’ [Morris, 2007, p. 1399].

The ‘Sibirskaya korona’ bottle also evokes this imperial theme; the label’s centrepiece is a rather ornate golden crown, set atop a dark green shape that represents Russia itself. The bottle itself is not visually striking, however – it rather resembles a Russian version of Tuborg. What makes it interesting for our purposes is that since June 2012 the brand has accelerated its transition from a regional to a national brand. And it has done so not by modifying

the packaging, but instead thanks to a rather extraordinary use of social media sites Facebook and vkontakte. Its Facebook page, which currently has around 7,500 ‘friends’, and its vkontakte page (over 25,000), are updated on an almost daily basis with facts, images and quotations all designed to make the viewer feel proud to be Russian. These pages are virtually identical, although for the sake of simplicity, we will focus on the Facebook page. The title of the page is ‘The Map of Russian Pride’, ‘*Karta Rossijskoj gordosti*’, which echoes its advertising slogan, ‘*Est’ chem gordit’sya*’ (‘Something to feel proud about’; see Figure 4).



Figure 4: The ‘Siberian Crown’ beer Facebook home page (<https://www.facebook.com/gordostrossii?fref=ts>)

On this page, one finds countless photographs of, and quotations by, Russian and Soviet military heroes, artists, writers, scientists, cosmonauts and politicians (some very famous, others rather less so). Even foreign figures, such as the French General de Gaulle and Frédéric Beigbeder, are included, if they contribute to the central purpose of the page – to extol the virtues of the Russian national character, to celebrate the country’s glorious past, and to make the viewer feel ‘proud’ to be Russian (Figure 5).

There are also countless images of natural features, such as Lake Baikal, or man-made structures, such as the fountains at Peterhof, or the Sochi 2014 Winter Olympics stadium. No opportunity is lost to compare Russia favourably with the West – we learn, for example, that Moscow’s Ostankino TV tower is much higher than New York’s Empire State Building. The ‘*Sibirskaya korona*’ page makes little or no distinction between Soviet and pre-Soviet eras. For example, on 17 February 2013, there was a quotation

from 19th-century writer Nikolay Gogol, next to a reference to the cosmodrome at Bajkonur and the exploits of Yuri Gagarin (Figure 6).

While most of the time, these quotations are so generalising as to be practically meaningless, sometimes they can be highly tendentious – as for example, the quotation by Russian aphorist Konstantin Kushner (born 1944), suggesting cultural similarities between Russia, Ukraine and Belorussia. Most recently, to coincide with 68th anniversary of the end of the Great Patriotic War, and victory over Nazi Germany, the company has launched a sub-page, entitled '*Pobeda, kotoroj my' gordimsya*' ('A victory to feel proud about': Figure 7).

A post on the main page contains the following: 'Thank you for your victory! The Great Patriotic War [= WWII] touched every family. For each 'like' on the page <http://pomnim-pobedu.ru/> we will donate one rouble to the monument renovation fund! Share the post with your friends and help renovate these monuments to a great Russian victory, the victory of our forefathers!'. These monuments are in the *goroda-geroi* (hero-cities) of Moscow, St Petersburg, Nizhny Novgorod and Volgograd (Figure 8).

In the summer of 2013, the brand published dozens of photographs of citizens from its home city of Omsk, holding up placards claiming Omsk as the capital of 'Eurasia' – a barely hidden allusion to President Putin's oft-repeated desire to see Russia at the head of an Eastern political alliance to counterbalance Western (and particularly US) socio-economic hegemony.

The different ways in which Sibirskaya korona's numerous Facebook 'friends' interact with it, through their likes, their (overwhelmingly positive) comments and their shares, and by agreeing to appear themselves on the page in the series of Omsk photographs, underline the fact that branding is as much about constructing the consumer's identity, as it is concerned with positioning the brand itself. We might even go so far as to say that what links packaging and social media networks – at least those examples discussed here – is precisely the 'dialectic of mutual creation' that Miller sees as central to material culture [Miller, 2010, p. 114]. Of course, from the brand's point of view, there is a crucial difference between packaging and social media: the higher the number of 'dislikes' and negative posts on a brand's Facebook, vkontakte or YouTube page, the more control of the brand will pass from managers to consumers [see Champoux, Durgee, McGlynn]. In the Web2.0 era, brand managers ignore at their peril the threats posed by what Pongsakornrungrasri and Schroeder refer to as 'co-consuming brand communities' [Pongsakornrungrasri, Schroeder].

Conclusion

To conclude, in his ground-breaking article on Russian cigarette advertising in the Yeltsin era, Morris made the following comment: 'both Russian and multinational companies have attempted to connect the brand identity

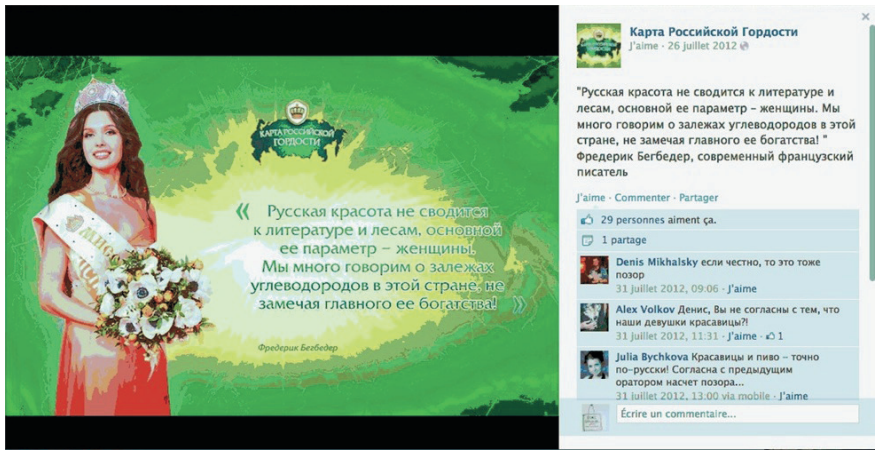


Figure 5: A post quoting French novelist Frédéric Beigbeder praising the beauty of Russian women



Figure 6: From Gogol to Bajkonur



Figure 7: 'A Victory We Are Proud Of'



Figure 8: The 'Volgograd' page from the 'Victory' series, which tells the story of Mihail Panikaha, and the monument dedicated to his memory

of products to national origin and national identity' [Morris, 2005, p. 660]. Our brief survey suggests that this phenomenon is just as much a feature of post-socialist Russian packaging and social media sites as it is of advertising – at least where alcohol is concerned. Since the collapse of the USSR, and especially since the rise to power of Vladimir Putin, a number of alcohol brands have positioned themselves around the myth of the Great Russian Past. In an unpredictable age, Russia emerges as the ultimate umbrella brand, a welcome source of reliability and reassurance for the Russian consumer in today's troubled times [Sabonis-Chafee]. Reproducing and representing political discourses in the broader public sphere, the brands under discussion here all resemble Douglas Holt's 'iconic brands' [Holt, p. 374], in as much as they behave like 'mercenaries, following ideological demands wherever the action is' [see also Kravets, Öрге]. All countermemories that might not concord with the hegemonic view of the Great Russian Past are simply effaced.

The '*Legenda Kremlya*' vodka box and the '*Karta Rossijskoj gordosti*' Facebook page are clearly meant to appeal to Russian consumers' nostalgic (not to say nationalistic) belief in their country's great past, and may even serve to reinforce their belief in the possibility of a bright new future, a new imperial age. It is very hard not to see the re-emergence of Russian national symbols and myths as an expression of what Boym calls 'restorative nostalgia'. In uncertain times, Boym argues, restorative nostalgia 'proposes to rebuild the lost home and patch up the memory gaps' [Boym, p. 41]. 'Moreover,' she continues, 'the past is not supposed to reveal any signs of decay; it has to be freshly painted in its "original image" and remain eternally young' [Boym, p. 49]. Such nostalgia works for Boym rather like myth for Lévi-Strauss [1968], who argues that mythical thought helps to resolve the tension between on the one hand our idea of the world, and on the other our practical, everyday experience of that world. We are not suggesting, of course, that this is part of a concerted political programme. Rather we would agree with Oushakine's point [Oushakine, p. 453] that 'the cultural logic of these reincarnations has more in common with the act of mechanical retrofitting (facilitated by the digital age) rather than with the process of political restoration.'

Not only do they mythologize Russia and the Russian past, however; these brands also help construct the identity of consumers, since they appeal to consumers' collective sense of self [Hollenbeck, Kaikati]. They materialise – often literally – social relationships, as Fehérváry puts it [Fehérváry, p. 429]. One might even say, following Miller [1987], that they 'objectify' collective memories and national identity (on the Internet as a form of 'objectification', see also [Miller, 2010, p. 118]). Hine is surely right when he observes that 'packaging provides a way in which people define and understand themselves' [Hine, p. 202]. However, one could say much the same thing about social media networks such as 'Sibirskaya korona's, inasmuch as they appear to be taking over the function of packaging in today's networked, immaterial world [Kaplan, Haenlein]. In other words,

to purchase 'Russkij Led' vodka or share a post on the 'Sibirskaya korona' Facebook page is – consciously or unconsciously – to buy into a discourse about Russia as a nation, and thereby about one's own identity *as a Russian*.

Brands such as 'Russkij Led' may well seek to cover themselves in glory by depicting famous Russian military victories on their bottles, or underlining the Russian heritage of celebrated US actors in their advertisements. 'Sibirskaya korona', on the other hand, are discovering that when it comes to what Miller calls the 'ar[t] of seduction' [Miller, 2010, p. 114], exploiting social media can be a much more effective communication strategy. In the light of our discussion, more work clearly needs to be done on the relationship first, between material culture and immaterial culture (or the 'materiality of digital worlds', to quote Miller and Horst [2012]); second, between material culture and 'brand culture' [Askegaard]; and third between mythologizing the brand and sacralising the nation state.

Askegaard S. Brands as a global ideoscope // Brand culture / ed. by J. E. Schroeder, M. Salzer-Mörling. Abingdon ; New York : Routledge, 2006.

Borgerson J., Schroeder J. Packaging paradise: Sonic branding of the south pacific [Electronic resource] // Material World : [blog]. 2008. URL: <http://www.materialworldblog.com/2008/04/packaging-paradise-sonic-branding-of-the-south-pacific/> [Accessed 19.10.2013].

Boym S. The future of nostalgia. New York : Basic Books, 2001.

Champoux V., Durgee J., McGlynn L. Corporate Facebook pages: When 'fans' attack. // Journal of Business Strategy. 2012. Vol. 33. No. 2. P. 22–30.

Fehérváry K. Goods and states: The political logic of state-socialist material culture // Comparative Studies in Society and History. 2009. Vol. 51. No. 2. P. 426–459.

Floch J.-M. Sémiotique, marketing et communication: Sous les signes, les stratégies. Paris : Presses Universitaires de France, 1990.

Glass A. The material culture of (n)ostalgie [Electronic resource]. 2012. URL: <http://www.materialworldblog.com/2012/04/the-material-culture-of-nostalgie/> [Accessed 19.10.2013].

Heilbrunn B., Barré B. Le packaging. Paris: Presses Universitaires de France, 2012.

Hilton M. L. Selling to the masses: Retailing in Russia, 1880–1930. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2012.

Hine Th. The total package: The secret history and hidden meanings of boxes, bottles, cans, and other persuasive containers. Boston : Back Bay Press, 1995.

Hollenbeck C. R., Kaikati A. M. Consumers use of brands to reflect their actual and ideal selves on Facebook // International Journal of Research in Marketing. 2012. Vol. 29. No. 4. P. 395–405.

Holt D. B. Jack Daniel's America: Iconic brands as ideological parasites and proselytizers // Journal of Consumer Culture. 2006. Vol. 6. No. 3. P. 355–377.

Kaplan A. M., Haenlein M. Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance // Business Horizons. 2011. Vol. 54. No. 3. P. 253–263.

Kravets O. Russia's 'pure spirit': Vodka branding and its politics // Journal of Macromarketing. 2012. Vol. 32. No. 4. P. 361–376.

Kravets O., Örgé Ö. Iconic brands // Journal of Material Culture. 2010. Vol. 15. No. 2. P. 205–232.

Lévi-Strauss C. Structural anthropology. London : Allen Lane, 1968.

Makarenko K., Borgerson J. Ice cream and "СССР": Evoking nostalgia in post-soviet packaging [Electronic resource]. 2009. URL: <http://www.materialworldblog.com/2009/05/ice-cream-and-cccp-evoking-nostalgia-in-post-soviet-packaging/> [Accessed 19.10.2013].

Manning P. The semiotics of brand // Annual Review of Anthropology. 2010. Vol. 39. P. 33–49.

- Manning P. The semiotics of drink and drinking. London ; New York : Continuum Books, 2012.
- Manning P., Uplisashvili A. 'Our beer': Ethnographic brands in postsocialist Georgia // *American Anthropologist*. 2007. Vol. 109. No. 4. P. 626–641.
- Miller D. Material culture and mass consumption. Oxford : Basil Blackwell, 1987.
- Miller D. Stuff. Cambridge : Polity, 2010.
- Miller D., Horst H. A. Introduction. The digital and the human: A prospectus for digital anthropology // *Digital Anthropology* / ed. by H. A. Horst, D. Miller. London ; New York : Berg, 2012.
- Morris J. Drinking to the nation: Russian television advertising and cultural differentiation // *Europe-Asia Studies*. 2007. Vol. 59. No. 8. P. 1387–1403.
- Morris J. The empire strikes back: Projections of national identity in contemporary Russian advertising // *The Russian Review*. 2005. Vol. 64 (October). P. 642–660.
- Oushakine S. A. 'We're nostalgic but we're not crazy': Retrofitting the past in Russia // *The Russian Review*. 2007. Vol. 66 (July). P. 451–482.
- Pongsakornrungrasit S., Schroeder J. E. Understanding value co-creation in a co-consuming brand community // *The Marketing Review*. 2011. Vol. 11. No. 3. P. 303–324.
- Roberts G. It's (im)material: Packaging, social media and iconic brands in the new Russia [Electronic resource]. 2013. URL: <http://www.materialworldblog.com/2013/09/its-immaterial-packaging-social-media-and-iconic-brands-in-the-new-russia/> [Accessed 21.10.2013].
- Roberts G. Message on a bottle: Packaging the Great Russian Past // *Consumption, Markets and Culture*. (Forthcoming). 2014.
- Roberts G. Palimpsestes ou âmes mortes? La russification des marques européennes de grande consommation [Electronic resource]. 2008. URL: <http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?article129> [Accessed 19.10.2013].
- Sabonis-Chafee T. Communism as kitsch: Soviet symbols in post-soviet society // *Consuming Russia: Popular culture, sex, and society since Gorbachev* / ed. by A. M. Barker. Durham ; London : Duke University Press, 1999.
- Schroeder J. E. Visual Consumption. London ; New York : Routledge, 2002.
- Woodward I. Understanding Material Culture. Los Angeles ; London : Sage, 2007.

-
- Askegaard, S. (2006). Brands as a global ideoscope. In J. E. Schroeder, M. Salzer-Mörling (Eds.), *Brand culture*. Abingdon and New York: Routledge.
- Borgerson, J. & Schroeder, J. (2008). Packaging paradise: Sonic branding of the south pacific. *Material World* [blog]. Retrieved from <http://www.materialworldblog.com/2008/04/packaging-paradise-sonic-branding-of-the-south-pacific/> (last accessed on 19.10.2013).
- Boym, S. (2001). *The future of nostalgia*. New York: Basic Books.
- Champoux, V., Durgee, J. & McGlynn, L. (2012). Corporate Facebook pages: When 'fans' attack. *Journal of Business Strategy*, 33, 2, 22–30.
- Fehérvári, K. (2009). Goods and states: The political logic of state-socialist material culture. *Comparative Studies in Society and History*, 51, 2, 426–459.
- Floch, J.-M. (1990). *Sémiotique, marketing et communication: Sous les signes, les stratégies*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Glass, A. (2012). *The material culture of (n)ostalgie*. Retrieved from <http://www.materialworldblog.com/2012/04/the-material-culture-of-nostalgie/>
- Heilbrunn, B. & Barré, B. (2012). *Le packaging*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Hilton, M. L. (2012). *Selling to the masses: Retailing in Russia, 1880–1930*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Hine, Th. (1995). *The total package: The secret history and hidden meanings of boxes, bottles, cans, and other persuasive containers*. Boston: Back Bay Press.
- Hollenbeck, C. R. & Kaikati, A. M. (2012). Consumers use of brands to reflect their actual and ideal selves on Facebook. *International Journal of Research in Marketing*, 29, 4, 395–405.
- Holt, D. B. (2006). Jack Daniel's America: Iconic brands as ideological parasites and proselytizers. *Journal of Consumer Culture*, 6, 3, 355–377.
- Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2011). Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance. *Business Horizons*, 54, 3, 253–263.

- Kravets, O. (2012). Russia's 'pure spirit': Vodka branding and its politics. *Journal of Macromarketing*, 32, 4, 361–376.
- Kravets, O. & Öрге, Ö. (2010). Iconic brands. *Journal of Material Culture*, 15/2, 205–232.
- Lévi-Strauss, C. (1968). *Structural anthropology*. London: Allen Lane.
- Makarenko, K. & Borgerson, J. (2009). *Ice cream and "СССР": Evoking nostalgia in post-soviet packaging*. Retrieved from <http://www.materialworldblog.com/2009/05/ice-cream-and-cccp-evoking-nostalgia-in-post-soviet-packaging/>
- Manning, P. (2010). The semiotics of brand. In *Annual Review of Anthropology*. (Vol. 39, pp. 33–49).
- Manning, P. (2012). *The semiotics of drink and drinking*. London and New York: Continuum Books.
- Manning, P. & Uplisashvili, A. (2007). 'Our beer': Ethnographic brands in postsocialist Georgia. *American Anthropologist*, 109/4, 626–641.
- Miller, D. (1987). *Material culture and mass consumption*. Oxford: Basil Blackwell.
- Miller, D. (2010). *Stuff*. Cambridge: Polity.
- Miller, D. & Horst, H. A. Introduction. (2012). The digital and the human: A prospectus for digital anthropology. In H. A. Horst & D. Miller (Eds.), *Digital Anthropology*. London and New York: Berg.
- Morris, J. (2005). The empire strikes back: Projections of national identity in contemporary Russian advertising. In *The Russian Review*. (Vol. 64, pp. 642–660).
- Morris, J. (2007). Drinking to the nation: Russian television advertising and cultural differentiation. *Europe-Asia Studies*, 59, 8, 1387–1403.
- Oushakine, S. A. (2007) 'We're nostalgic but we're not crazy': Retrofitting the past in Russia. In *The Russian Review*. (Vol. 66, pp. 451–482).
- Pongsakornrungrasri, S. & Schroeder, J. E. (2011). Understanding value co-creation in a co-consuming brand community. *The Marketing Review*, 11, 3, 303–324.
- Roberts, G. (2008). *Palimpsestes ou âmes mortes? La russification des marques européennes de grande consommation*. Retrieved from <http://institut-est-ouest.ens-lsh.fr/spip.php?article129>
- Roberts, G. (2013). *It's (im)material: Packaging, social media and iconic brands in the new Russia*. Retrieved from <http://www.materialworldblog.com/2013/09/its-immaterial-packaging-social-media-and-iconic-brands-in-the-new-russia/>
- Roberts, G. (2014). Message on a bottle: Packaging the Great Russian Past. In *Consumption, Markets and Culture*. (Forthcoming).
- Sabonis-Chafee, T. (1999). Communism as kitsch: Soviet symbols in post-soviet society. In A. M. Barker (Ed.), *Consuming Russia: Popular culture, sex, and society since Gorbachev*. Durham and London: Duke University Press.
- Schroeder, J. E. (2002). *Visual Consumption*. London and New York: Routledge.
- Woodward, I. (2007). *Understanding Material Culture*. Los Angeles and London: Sage.

The article was submitted on 30.04.2014

Грэхам Робертс, PhD
Франция
Университет
Париж X – Нантер
groberts@u-paris10.fr

Graham H. Roberts, PhD
France, Paris Ouest Nanterre
La Défense
groberts@u-paris10.fr

**«ЧЕРНЫЙ МОНАХ», «СЛЕЗА МОНАШКИ»:
ЦЕРКОВНАЯ ТЕМАТИКА В НАЗВАНИЯХ ВИН
ПОСТСОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ**

Sergei Goryaev

***THE BLACK MONK AND THE NUN'S TEAR: CHURCH-
RELATED WINE NAMES IN THE POST-SOVIET TIMES***

The author considers the manifestation of religious ideas of the post-Soviet Russian public referring to the brands and names of widely available common wines. Unlike their Western counterparts, the *religious* names of Russian wines are not connected with monastic wine making, church vineyards, etc. Their appearance is mainly due to the general shift from the negative perception of religion characteristic of the Socialist ideological system to a positive view as well as Russian adoption of certain non-Russian pragmonyms and nomination patterns.

Keywords: pragmonym; pragmatonym; wine; Christianity.

Статья рассматривает проявление религиозных представлений постсоветского российского общества в торговых марках и брендах на примере названий ординарных общедоступных вин. В отличие от западноевропейской традиции, русские «религиозные» названия вин не связаны с идеей монастырского виноделия, церковных виноградников и т. п. Их появление объясняется общим изменением негативного в советской идеологической системе отношения к религии на позитивное, а также освоением отдельных иноязычных прагмонимов и номинативных моделей.

Ключевые слова: прагмоним, прагматоним, вино, христианство.

Объект исследования – названия популярных вин, представленных на российском рынке в настоящее время. Такие названия относятся к особому разряду собственных имен, который обозначают термином *прагмоним*. Под этим термином мы понимаем обозначение товара, то есть торговую марку, сортовое наименование, бренд и т. п.,

в рамках данной работы различия их юридических статусов не принципиальны. В современной отечественной ономастике указанное понятие может быть обозначено похожим термином *прагматоним* [Подольская, 1978] или термином словесный товарный знак [Подольская, 1988]¹.

Названия ординарных и недорогих марочных сортов, предназначенных для массового распространения среди широких слоев населения, – это результат имитаторства, отражающий современное представление языкового коллектива о подобающем для данного типа объектов названии. В более широком плане рассматриваемые названия ориентированы на «языковой вкус эпохи»², той эпохи, когда номинативное творчество в прагматонимической сфере почти не ограничено экстралингвистически: неупорядоченность, неразработанность и практическая «необязательность» исполнения законодательства о товарных знаках в конце XX – начале XXI в. приводила к тому, что номинатор, создавая название вина, мог не обращать особого внимания на законодательные ограничения. Появление и функционирование торговых марок в этот период можно обозначить термином «стихийный брендинг». Старые, советские принципы создания сортовых обозначений оказались утрачены³, а наработанные западным миром стратегии маркетинга, включая брендинг, еще не появились. В то же время в языковом сообществе сформировался запрос на товарный знак, бренд, торговую марку – на имя собственное для обозначения товара⁴. Массовое появление таких названий даже оценивается ис-

¹ Традиция употребления термина для обозначенного понятия еще только складывается, более подробно о термине и теоретических ономастических проблемах, связанных с ним, см.: [Крюкова]; автор указанной монографии предпочитает форму *прагматоним*. В зарубежной ономастической традиции можно встретить использование в данном значении термина *хремадоним* [Majtán], который в отечественной ономастике употребляется в совершенно ином смысле, для обозначения уникального предмета материальной культуры [Подольская, 1978, с. 161; Подольская, 1988, с. 146–147]. Впрочем, как замечает В. И. Супрун, «по своему «птичьему языку» ономастика, пожалуй, опередила другие направления лингвистического поиска» [Супрун].

² Характерно, что предложивший этот термин В. Г. Костомаров, начиная разговор о языковом вкусе эпохи, рассматривает изменения в системе собственных имен, хотя и не касается того разряда онимов, о котором идет речь в нашей статье [Костомаров, с. 18–29].

³ Применительно к советской ситуации правовое различие сортовых обозначений и товарных знаков, брендов и т. п. представляется несущественными. См., например: «Товарные знаки остаются у нас в преобразованном виде как сортовые обозначения» [Соболева, Суперанская, с. 154].

⁴ В связи с этим отметим концепцию С. Кара-Мурзы, которая, с его точки зрения, отчасти объясняет историческую неудачу «советского проекта». По мысли автора, негативные последствия урбанизации, приводящей человека к постоянным стрессам, были в западном мире смягчены «потреблением образов»: «Важнейшей частью жизни стали витрины – вид вещей, которые потреблялись уже только как образы, без покупки их носителей» [Кара-Мурза, с. 315]. Советский же строй пошел по другому пути: «Большая часть потребности в образах была объявлена ненужной, а то и порочной» [Там же, с. 316], но голод на образы породил социальное недовольство. Не солидаризируясь с автором в вопросах политики и истории, отметим, что товарный знак и, шире, бренд как явление как раз относятся к категории «образов», голод на которые породил их изобилие в постсоветской ситуации.

следователями как «номинативный взрыв»⁵, который коснулся и винных прагмонимов.

В настоящей статье рассматриваются названия популярных вин, произведенных различными постсоветскими компаниями⁶, не имеющими многовековой традиции винопроизводства, предполагающей, в частности, наличие брендов с долгой историей. На название падает особая «конкурентная» нагрузка, они получают яркое, оформленное как несомненное собственное имя – в кавычках, с заглавной буквы (если речь идет о текстах, например, на сайтах), графически выделенное на этикетке; тогда как марочные и тем более коллекционные вина довольствуются описаниями – указаниями на место изготовления, название которого и служит торговой маркой⁷. Все это предполагает особые творческие усилия номинатора по созданию названия вина.

Кстати, обилие названий вина, превосходящее количественно число реально представленных на рынке сортов, отмечается и виноделами:

У многих молдавских винных марок есть некоторые национальные особенности. Одна из них – недолгая жизнь. Отдельные производители под новой маркой выпускали не очень качественное вино. Как только она становилась узнаваемой, потребитель переставал ее покупать. И предприятие придумывало другую торговую марку. Поэтому появилось такое огромное количество ТМ (торговых марок. – С. Г.). Вторая особенность – сходство названий. Стоит какой-то компании зарегистрировать марку и начать ее раскрутку, как конкуренты набрасываются на производные от нее наименования, вместо того чтобы создавать что-то самому. *Особенно это заметно в церковной тематике* (выделено нами. – С. Г.) [Вопросы ребрендинга].

Разнообразие названий ординарных вин в силу сходства продуктов является скорее плодом фантазии и результатом творческой деятельности номинатора, нежели следствием качественного различия между обозначаемыми винами. Не имея опоры в разнообразии свойств и характеристик объекта, создатель названия черпает вдохновение не столько в особенностях конкретного сорта вина, сколько из представлений о вине, используя позитивно оцениваемые поня-

⁵ См., в частности: [Романова]. Хотя исследовательница говорит о так называемых *эргонимах* (названиях фирм и компаний), представление о «номинативном взрыве» вполне применимо и к прагмонимам.

⁶ Названия российских, молдавских и украинских вин рассматриваются как единый массив материала. Различие по стране-производителю игнорируется, так как все примеры – это прагмонимы, базирующиеся на русских языковых средствах, созданные для представления на российском рынке. Кроме этого, в статье рассматриваются несколько названий, переведенных с других языков, такие случаи оговариваются специально.

⁷ Говоря о российском производителе, мы во многих случаях имеем в виду не фирму, производящую вино, но фирму, бутилирующую и поставляющую его на рынок.

тия, которыми в современном обществе становятся в том числе религиозные представления.

В христианской традиции вино играет важную роль, что обусловлено и упоминанием вина в Священном Писании (в прямом и символическом смысле), и тем, что вино «употребляется за важнейшим богослужением христиан – Евхаристией, во время которой вино прелагается в Кровь Христову» [Православная энциклопедия, т. 8, с. 519].

Следует также отметить, что народное осмысление литургии находит отражение в ряде текстов, созданных в пародийном ключе, в которых богослужebные молитвенные возгласы обращаются к вину, пьянице, процессу употребления вина и т. п.⁸ Подобные пародии не являются специфичными именно для русской культуры, но вписываются в общую традицию средневекового карнавала⁹. Специфичными же для русской культурной ситуации XX в. можно считать только популяризацию вульгарной оценки существования таких текстов как знака принципиальной атеистичности или антиклерикальности русского народа¹⁰.

Кроме того, русское народное восприятие христианской культуры связывает православие и употребление алкоголя как две важные составляющие национального самоопределения: вспомним некрасовское «Чужды нравственности узкой, / Не решаемся мы скрыть / Этот знак натуры русской... / Да! “веселье Руси – пить!”» [Некрасов, с. 197], восходящее к летописному рассказу о выборе князем Владимиром веры для Руси. В плане традиционного отношения к пьянству показательна народная «Повесть о бражнике». Бражник после смерти попадает к вратам рая; когда же апостол Петр не пускает его в рай за грех пьянства, бражник последовательно обличает его, апостола Павла, Давида, Соломона, Николая Угодника, Иоанна Богослова в бoльших грехах и, побеждая в споре, попадает в рай. Характерно, что бражник не осознает свою победу как моральное превосходство и приносит покаяние за укорение праведников: «Не постави, Господи, во грех, пое[лику] Господи, в шутку, что я святых укорил, а сам в рай вшел» [Соболева, 2005б, с. 197–199] Пьянство, осознаваемое как грех и официальной церковью, и народными представлениями о морали, не оправдывается, но оказывается допустимым или хотя бы простительным. Связь христианства и вина в представлении носителя русского языка является закономерной, поэтому закономерно и появление названий вин, отражающих религиозную тематику.

⁸ См. об этом подробнее: [Соболева, 2005а].

⁹ «Это так называемая “*parodia sacra*”, то есть “священная пародия”, одно из своеобразнейших и до сих пор недостаточно понятых явлений средневековой литературы. До нас дошли довольно многочисленные пародийные литургии (“Литургия пьяниц”, “Литургия игроков” и др.), пародии на евангельские чтения, на молитвы...” [Бахтин, с. 23].

¹⁰ «Разоблачение нравственного облика духовенства – лицемерия, внешнего благочестия, *пьянства* и распутства издавна стало одной из ведущих тем русского антиклерикального фольклора» [Доманский, Новиков, с. 18].

Среди появившихся в последние два десятилетия торговых марок вина создание как минимум 70 названий мотивировано религиозными понятиями и представлениями. Нам уже случилось обратить внимание на этот интересный материал в плане семантики составляющих указанные прагматимы лексических единиц [см. Горяев, Логвинова]. В настоящей публикации ставится цель рассмотреть мотивы появления данных названий в лингвокультурном плане.

Лексема *монастырский*

Первая группа «религиозных» названий вин объединяет онимы, мотивом для появления которых являются влияние, подражание и ассоциативная связь с традиционной продукцией болгарской винной промышленности. Ядро группы составляют названия, содержащие в начальной позиции лексему *монастырский*.

Связь идеи монастыря и вина для христианской культуры естественна. Применительно к русскому языковому сознанию нужно отметить как особого рода экзотизм (то есть представление не о своей, но о чужой культуре) представление о монастыре как о месте изготовления вина. См. например: «Западные монастыри, заводя общины и возделывая громадные пространства пустых земель, проводили в жизнь знание и цивилизацию. Культура винограда, получившая впоследствии громадное экономическое и социальное значение, обязана своим существованием монахам» [Прыжов, с. 50].

Следует обратить внимание на слово «западные». Хотя в цитируемой монографии подробно рассматривается и отношение русских монастырей к производству алкоголя (вопросы производства, права налогообложения и др.), изготовление виноградного вина¹¹ не является чертой, свойственной собственно русскому монастырю, хотя бы в силу географических причин. Более разработана связь идеи вина и монастыря в народных представлениях о пьянстве монашествующих и духовенства вообще: «На горе-то монастырь стоял, / А монахов-то было многое множество. / Они все были горькие пьяницы, / Пили водочку из скляницы»¹². Однако в рассматриваемых случаях номинации эти представления составляют так называемые «фоновые» знания, не являющиеся прямым мотивом создания винных прагматимов.

¹¹ Русское слово «вино» в историческом плане обозначает вообще алкогольный напиток. «Словарь русского языка XVIII века» указывает именно это значение в качестве первого [с. 165], ср. у Даля: «растительная жидкость, перешедшая третью степень брожения... и получившая от этого пьяное свойство» [Даль, т. 1, с. 205]. Современный словарь с осторожностью указывает в качестве первого значения «Алкогольный напиток, получаемый *обычно* (выделено нами. – С. Г.) в результате брожения винограда» [Словарь русского языка, т. 1, с. 176].

¹² Песни и сказки Ярославской области (Ярославль, 1958), цит. по: [Соболева, 2005а, с. 120].

«Источником вдохновения» для таких номинаций послужило известное в России с советских времен, точнее с семидесятых годов, название вина «Монастырская изба» (болг. «Манастирска изба»), которое в больших количествах экспортировалось болгарской фирмой «Винимпекс». Показательна судьба самого исходного бренда: популярное название «к началу последнего десятилетия XX века затерялось в море производимой теперь уже и в нашей стране низкокачественной продукции с тем же названием» [Саркитов]¹³. Оставляя в стороне вопрос о качестве вина, отметим, что сам бренд (1) *Монастырская изба*¹⁴ существует на рынке до сих пор. Кроме того, он представлен на рынке в модифицированном виде – с уточнением цвета и вида вина: например, *Монастырская изба. Красное полусладкое*. Такие названия, снабженные своего рода «подзаголовком», мы не рассматриваем как самостоятельные бренды, поскольку практически любой прагмоним, представленный в нашем материале, «закрывает» четыре типа вина – красное и белое, то и другое сухое и полусладкое. Прочие же варианты модификаций названий мы считаем самостоятельными прагмонимами. Набором таких модификаций, указывающих на различные дополнительные «опции» вина, «разродилась» компания – владелец «Монастырской избы», предложив девять вариантов подназвания: (2–9) *Монастырская изба. Бархатистое / Вечернее / Классическое / Миндальный цвет / Мускатная лоза / Нежное / Нектарное / Фруктовый букет*.

В плане лексической сочетаемости производящее название, то есть *монастырская изба*, в русском языке выглядит экзотическим. В болгарском языке слово *изба* имеет значение 'подвал, подпол', а применительно к вину – 'погреб' [Кошелев, с. 182]. Таким образом, болгарское название, буквально означающее 'монастырский погреб', отражает идею монастыря как центра виноделия, лексическая связь *изба* ('погреб') – *вино* очевидна. В русском языке заимствованное сочетание выглядит оксиморонным, поскольку соединяет лексемы, относящиеся идеографически к двум разным сферам – религиозной и народно-бытовой.

Лексема *монастырский* поддержана также другим болгарским названием, которое в оригинальном написании выглядит как «Манастирско шушукане». Это вино не экспортировалось в Советский Союз, но название было достаточно известно в советское время¹⁵. Генетическая и культурная близость русского и болгарского языков позволяла носителю русского языка интерпретировать название без перевода, что привело к появлению прагмонима (10) *Монастырское шушуканье*.

Возможно, независимо от желания создателей русифицированного бренда, русское название приобрело слегка ироничный оттенок

¹³ Цит. по очерку, написанному по мотивам указанной монографии: URL: <http://drinktime.rbc.ru/library/49310.shtml> (дата обращения 15.06.2014).

¹⁴ Здесь и далее мы для удобства будем сопровождать примеры сплошной нумерацией в скобках перед названием.

¹⁵ С благодарностью отмечаем, что на этот факт внимание автора статьи обратила Ю. В. Алабугина, в настоящее время завкафедрой теологии УрГПУ.

звучания, поскольку в русском языке лексема *шушуканье* имеет разговорную стилистическую окраску [Словарь русского языка, т. 4, с. 738], в отличие от соответствующего болгарского слова¹⁶.

Таким образом, эти два болгарских вина задают ключевую лексему *монастырский*, проявленную в целом ряде русскоязычных названий.

В названии (11) *Монастырская трапеза* религиозный оттенок звучания подчеркнут церковнославянизмом «трапеза», характерным для православного религиозного дискурса¹⁷. К тому же семантика производящих апеллятивов отсылает достаточно явно к типу обозначаемого именем объекта – вино является принадлежностью трапезы.

Прочие названия такого рода не передают этого смыслового оттенка: (12) *Монастырский сад*, (13) *Монастырский очаг*, (14) *Монастырская доля*. Пример (12) вводит лексему *монастырский* в словосочетание, мотивированное в лингвокультурном плане как для западноевропейской, так и для русской традиции:

Образы сада и всего того, что саду принадлежит (цветы, благородные деревья и пр.), часто встречаются в древнерусской литературе и всегда в «высоком» значении. Эти образы принадлежали к первому ряду в иерархии эстетических и духовных ценностей Древней Руси. Как и на Западе в средневековье, особенное значение в Древней Руси имели монастырские сады. Монастырские сады помещались в ограде монастыря и служили как бы образами рая [Лихачев, с. 497].

Виноградная лоза, очевидно, является одним из таких благородных растений, которое достойно расти в монастырском саду.

Пример же (13) создает зрительный образ, в смысловом плане обусловленный скорее потенциальной валентностью лексемы *монастырский*, чем неким культурно значимым понятием. Типичным контекстом, соединяющим слова *монастырь* и *очаг* будет скорее представление о монастыре как об очаге культуры, то есть слово *очаг* в таком контексте употребляется в переносном смысле¹⁸. Что же касается примера (14), то в нем мотивированность по возможной валентности слова «перевешивает» общекультурное значение словосочетания. Лексема *доля* в русском языке имеет скорее негативную коннотацию. Показательно, что, хотя словарь определяет ее значение как «участь, судьба» и указывает как типичное словосочетание «счастливая доля», приведенная в качестве иллюстрации более объемная цитата оказывается именно с негативной коннотацией

¹⁶ См. определение производящего болгарского глагола: «шушукам *несв.* шептать кому-либо на ухо» [Кошелев, с. 831].

¹⁷ Словарное определение первого значения слова «трапеза» – «общий стол для приема пищи в монастыре, а также прием пищи (обед ужин) и сама пища, еда» [Словарь русского языка, т. 4, с. 400].

¹⁸ В значении «место возникновения, источник чего-либо; центр, средоточие» [Там же, т. 2, с. 731].

[Словарь русского языка, т. 1, с. 425]. В словаре Даля пословицы и поговорки на слово *доля* содержат негативное его понимание или тоску по возможному позитивному смыслу – например, последние два контекста: «*Не в воле счастье, а в доле. Своя волюшка доводит до горькой долишки*» [Даль, т. 1, с. 465]. Таким образом, сочетание «монастырская доля» может отсылать скорее к представлениям об уходе в монастырь из-за жизненных трудностей, несчастной любви, о тяжелой жизни в монастыре и т. п.¹⁹. Появление подобного названия мотивировано не апеллятивным значением словосочетания, а вхождением в коллекцию, где уже представлены два «монастырских» названия.

Завершая тему названий вин с опорной лексемой *монастырский* отметим наличие архитектурного образа в примере (15) *Монастырская башня*. В этом названии «общемонастырский» мотив преобладает над «винодельческим»: башни действительно являются архитектурной особенностью старых монастырей-крепостей, но этот элемент монастырской архитектуры не имеет отношения к виноделию.

В следующих примерах происходит размывание модели с формальной стороны (с уклоном в смысловую мотивацию): (16) *Монастырский домик*, (17) *Монастырский дворик*. Первое развивает ложно понятую семантику названия «Монастырская изба». По поводу примера (17) можно констатировать «исчерпанность» модификационного потенциала «монастырской модели» наименования, поскольку опорной лексемой в преамбуле становится *дворик*²⁰.

Исчерпание модификационного потенциала иллюстрирует также название, ставящее лексему *монастырский* во множественное число: (18) *Монастырские вечера*. Ритмически и аллитерационно (за счет фонем <м>–<с>–<к>) винный прагмоним перекликается с названием известной песни «Подмосковные вечера», ставшей одним из культурных символов Советской России²¹.

Следующие лексемы представляют собой неологизмы на «монастырскую тему», актуализирующие идею древности, что в массовом сознании является признаком качества вина: (19) *Старомонастырское*, (20) *Древнемонастырское*.

Появление марки «Старомонастырское» отражает влияние балканской винодельческой традиции». Название «Древнемонастыр-

¹⁹ Нам неизвестны устойчивые словосочетания «монастырская доля», «доля монастыря» с употреблением слова *доля* в первом значении, то есть в значении «часть целого»: например, доля оброка в пользу монастыря или т. п. В наших материалах есть употребление этой лексемы в данном значении – см. пример (43).

²⁰ Некоторое количество названий вина эту модель уже поддерживают: например, «Итальянский дворик», «Кавказский дворик», «Кубанский дворик», «Чешский дворик», но полет фантазии номинаторов, по-видимому, ограничивает обязательный географический компонент.

²¹ Мы опираемся на материал: [Горяев, Логвинова]. В других прагмонимических группах отмеченная тематика уже представлена; см., например, сорта мороженого: «СССР», «Пломбир ГОСТовский». Впрочем, «советская тема» в винной прагмонимии косвенно выражается в возрождении немногочисленных и достаточно одиозных советских сортов вина: например, «Агдам», «номерные» портвейны «Протвейн 33», «Протвейн 72» и т. п.

ское», насколько можно судить, использует тот же молдавский производитель²².

Одна из фирм представила название вина в усеченном варианте: (21) *Манастирское*, (22) *Белое манастирское*, (23) *Красное манастирское*. Названия представляют собой эллиптические конструкции с подразумеваемым существительным «вино».

На международном рынке представлены собственно болгарские названия: «Манастирски замък» и названия, содержащие лексему «Манастирско». Экспортер счел необходимым оставить оригинальное болгарское написание, возможно, чтобы отличить его от множества русифицированных. Название «Мускатово манастирско» встретилось нам только в одном интернет-документе²³.

На фоне гиперактивности адъективной лексики *монастырский* лексема-существительное *монастырь* почти не представлена (настолько велико формальное влияние модели «Монастырская изба»). В нашем материале есть только один «чистый» пример, также из эпохи «стихийного брендинга» – (24) *Горный монастырь*.

Кроме того, еще одно название содержит скрытую сему '*монастырь*' – (25) *Невская лавра*. В этом случае перед нами совершенно нетипичное для прагмонимов название-посвящение, мотивированное уважением к известному православному монастырю.

Продолжение темы в лексемах *монах* и *монашеский*

В данную группу выделены прагмонимы, содержащие однокоренные слова *монах* и *монашеский*. Указанная выше связь идеи монашества и винопития, выраженная, в частности, в фольклорных текстах, не является определяющей для семантики лексики *монах*, принципиальными же для нее оказываются идеи уединенного образа жизни, аскезы, религиозной глубины²⁴. В этой группе нет ядерного названия, которое бы задавало основную формальную модель подобно «Монастырской избе», группа формально более разнообразна. Но определенная лексико-тематическая общность названий в данной группе сложилась под влиянием балканского (молдаво-румынского)

²² Лексемы распространяются и на другие виды алкогольной продукции; например, на рынке представлен бальзам «Древнемонастырский», водка «Старомонастырская».

²³ «...Вино виноградное столовое “Мускатово Манастирско”, “Манастирски замък” производитель Болгария – не соответствует требованиям нормативных документов по наличию посторонних включений – данные партии алкогольной продукции изъяты из оборота, направлены на уничтожение» URL: <http://www.pkcgse.ru/news.htm?idnews=1305> (дата обращения: 15.06.2014).

²⁴ См. например: «Есть определенные клише, что монашество есть соль христианства, квинтэссенция; что именно к монахам следует обращаться за духовным советом, к людям, которые себя в наибольшей степени посвящают духовной жизни» – запись интервью иг. Петра (Мажетова) прот. А. Степанову, радиостанция «Град Петров». URL: <http://www.grad-petrov.ru/print.php?mess=257> (дата обращения: 01.03.2014).

виноделия – в частности, это касается названия (26) *Шепот монаха*. Этот прагмоним предположительно представляет собой адаптацию молдаво-румыноязычного названия «Şoapta de calugari» («шепот монахов»).

Формальную модель продолжают следующие номинации: (27) *Обитель монаха*, (28) *Исповедь монаха*, (29) *Душа монаха*, (30) *Сердце монаха*, (31) *Пророчество монаха*, (32) *Тайна монаха*. В примере (27) первый компонент, *обитель*, семантически поддерживает лексему *монах*²⁵, прочие примеры являются реализацией потенциальной валентности этой лексемы. Характерно, что, как и *обитель*, все варианты компоненты названий тематически относятся к религиозной лексике: *исповедь* – название церковного таинства, *душа*, *сердце* – слова, частотные в религиозном дискурсе, прежде всего в богослужебных текстах. Два прагмонима – (31) и (32) – связывают образ монаха с тайной, тайным знанием.

Оригинален пример, реализующий модель «шепот монаха» на фонетическом уровне: (33) *Шепот монарха*. Среди современных прагмонимов существует ряд названий, мотивированных обращением к идее монаршего достоинства и благородства – ср., например, прагмонимы «Рождение Императора», «Белая королева», «Царица ночи», «Поцелуй принцессы»²⁶. Но фонетическая и графическая структура названия, совпадающая с предполагаемым исходным вариантом («Шепот монаха»), показывает, что производитель попытался «пристроиться» к более известному молдавскому названию²⁷.

Названия, эксплуатирующие «монашескую» идею, разнообразны по формальной структуре словосочетания: кроме родительного единственного лексема используется в иных падежных формах, например (34) *Древний монах*.

Интересны три названия, связанные сложными смысловыми отношениями: (35) *Белый монах*, (36) *Черный монах*, (37) *Черный монах Кубани*. Появление лексемы *черный* может иметь различную мотивированность: черный цвет является характерным признаком монашеского одеяния (в русском языке существуют слова *чернец* и *черноризец*). Очевидно сходство с прилагательными *червлёный* и *червонный*, то есть '*красный*'²⁸. Лексема может быть мотивирована тем, что сорта винограда, из которых готовят красные вина, называют черными. Наконец, на нашем рынке эпизодически бывает представлено немецкое вино «Черный монах» («Schwarzer Mönch»), русский бренд мог появиться как перевод или заимствование. У начитанного человека на-

²⁵ Строго говоря, название тавтологично, поскольку *обитель* в основном значении и есть '*монастырь*' [Словарь русского языка, т. 2, с. 534].

²⁶ Одно время на рынке было представлено вино «Черный монах», но его название, возможно, мотивировано одноименным виноградным сортом.

²⁷ Ситуация нередкая в малоцивилизованном брендинге: вспомним почти хрестоматийный «Abibas».

²⁸ «Червлёный... *Устар.* темно-красный, багряный» [Там же, т. 4, с. 661], «Червонный... *Устар.* Красный, алый» [Там же, с. 664].

звание «Черный монах» вызывает ассоциацию с одноименным произведением А. П. Чехова. Название (37) – это попытка отечественного производителя модифицировать известный бренд.

Что же касается названия «Белый монах» – это чисто немецкая продукция. Оно обозначает сорт красного вина, а не белого, как можно было бы ожидать, и цветовая семантика обусловлена цветом одежды духовного лица, изображенного на этикетке. Немецким же влиянием объясняется название (38) *Монах-винодел*. Это приблизительный перевод немецкого бренда «Wein Mönch» – единственный случай грамматической структуры с определением-приложением среди рассматриваемых торговых марок.

Следующие несколько названий содержат лексему *монах* во множественном числе, что соответствует, кстати, исходному, по нашему предположению, названию в данной группе прагматимов «Şoarta de calugari»: (39) *Заговор монахов*, (40) *Тайна монахов*, (41) *Тайный рецепт монахов*, (42) *Любимое вино монахов*.

Как видно из примеров, в этих названиях актуализируется уже упомянутая идея тайного знания, и в примере (41) она звучит «приземленное». Последний пример (42) обозначает кагор, хотя само название не имеет прямого указания на традиционный церковный тип вина. Для русского дискурса кагор ассоциируется именно с церковным вином²⁹. Пример интересен тем, что создатель названия решил выразить религиозные ассоциации нетипичным для обозначения данного сорта вина путем. Примеры (41) и (42) представляют собой редкие попытки трехчленных словосочетаний, не типичных для обозначения ординарных вин.

Идею секрета, тайны, поддерживает также название с двойной синонимической заменой: *тайна монаха* превращается в (43) *Секрет старца*.

Развитие идеи «вина монахов» продолжают три названия, опирающиеся на лексему *монашеский*: (44) *Монашеская келья*, (45) *Монашеский орден*, (46) *Мускат монашеский*.

Название «Монашеская келья» в определенной степени синонимично названию «Монашеская обитель» и семантически избыточно. В названии «Монашеский орден» автор выходит за пределы «отечественных» церковных ассоциаций, поскольку орден – это форма организации монашеской жизни именно в западном христианстве. Открытые отсылки к западной, а не восточной или общехристианской церковной жизни в нашем материале редки и будут рассмотрены в следующем разделе. В примере (46) происходит сочетание лексемы *монашеский* с обозначением сорта винограда, что характерно для вин более высокого качества.

²⁹ Что не отражается в словарном определении лексемы *кагор*, но характерно просматривается в иллюстративном контексте: «Да кагор это был, говорю я вам, а вовсе не бургундское! простое церковное вино. М. Горький. Дети» [Большой академический словарь, т. 7, с. 528].

Тема женского монашества

Если мужское монашество воспринимается в языковом коллективе как норма, то женское – как аномалия и предмет для некой иронии, языковой игры. Прагмонимы по этой теме являются переводными или производными названиями немецких рислингов.

Название наиболее популярного на русском рынке немецкого вина «Liebfraumilch» обычно переводится: «Молоко любимой женщины», хотя более точным переводом будет «Молоко Богородицы». Видимо, для русского языка буквальный перевод названия будет находиться за гранью допустимого. В то же время само слово «Мадонна», являющееся экзотизмом для русского языка, представлено в названиях переводных вин соответственно германского и итальянского производства: (47) *Мадонна*, (48) *Ла Мадонна*.

Теперь рассмотрим названия, непосредственно отсылающие к идее женского монашества: (49) *Голубая монашка*, (50) *Веселая монашка*, (51) *Веселые монашки*.

Прагмоним (49) является переводом английского «Blue Nun»³⁰, название этого вина представлено также в транслитерированном варианте «Блу Нан». Для перевода использован сниженный в стилистическом плане, разговорный синоним *монашка* при наличии в русском языке нейтрального *монахиня*³¹, что придает звучанию названия эффект просторечия, вряд ли входивший в задачу переводчика. Тем не менее именно эта лексема поддержана в переводах других названий, что видно в примерах (50) и (51). Указанные названия – это освоение в рамках русского языка немецкой торговой марки «Lustige nonne».

Следующий пример переводного названия разрушает традицию употребления лексемы *монашка*: (52) *Грешная монашка*, (53) *Грешная монахиня*. Оба названия являются переводами немецкого «Sündige nonne». Сейчас в официальных контекстах употребляется все-таки второй вариант, то есть перевод на основе нейтральной, а не разговорной лексемы (первый вариант наблюдается в неофициальных контекстах – записях на форумах и т. п.). В христианстве само по себе употребление вина не является грехом, но как грех осуждается чрезмерное употребление вина³², предостережение от него восходит, в частности, к новозаветным текстам³³.

На наш взгляд, указанные переведенные названия должны были наложиться на популярную в массовой культуре идею об уходе в монахини в результате несчастной любви, разбитой жизни, любви как

³⁰ Происхождение названия восходит к типографской ошибке, из-за которой одевание монахини на винной этикетке было неправильно напечатано синим, а не коричневым цветом. Затем эта ошибка стала товарным знаком и привела к появлению соответствующего бренда.

³¹ См., например: [Словарь русского языка, т. 2, с. 295].

³² «Пьянство в отличие от умеренного употребления вина считается тяжелым грехом» [Православная энциклопедия, ст. Вино].

³³ Знаменит призыв апостола Павла: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство» (Еф. 5:18).

сладкого греха и т. п. Эта идея находит продолжение и в следующих прагмонимах: (54) *Раскаяние монашки*, (55) *Исповедь монашки*, (56) *Исповедь грешницы*. Хотя в примере (56) нет прямой отсылки к женскому монашеству, по лексическому составу оно коррелирует с другими названиями, представленными в данной группе³⁴.

Последний пример в данном разделе – (57) *Слеза монашки*. Традиционное сравнение со слезой, призванное подчеркнуть качество напитка (*чистый, как слеза*), обычно применяется к водке. Возможно, это род интеллектуальной пародии, возможно, и наоборот – эффект, не запланированный номинатором в силу его неосведомленности³⁵.

Тема духовного лица (немецкое влияние)

Реалии западного христианства были знакомы бывшему советскому человеку благодаря массовой культуре – фильмам, книгам, в частности очень популярным романам А. Дюма и их экранизациям. Группу составляют названия вин, включающие лексему, которая обозначает духовное лицо католической церкви. Традицию предположительно задают переведенные названия немецких рислингов: (58) *Белый кардинал*, (59) *Красный кардинал*, (60) *Черный кардинал*.

Лексема *кардинал* может обозначать сорт винограда, употребляемый как сырье, но приведенные выше прагмонимы обозначают вина, изготовленные не из этого сорта винограда.

«Белый кардинал» – это переведенное название одного из немецких рислингов, выбор цветового обозначения *белый* объясняется как типом вина, так и цветом мантии духовного лица на этикетке. «Красный кардинал» соответствует названию – красное вино, с изображением духовного лица в красной мантии. Лексема *черный* в составе винного прагмонима рассматривалась выше применительно к названию «Черный монах».

³⁴ Вот один из комментариев в Интернете, на православном форуме: «А еще видел вино – исповедь грешницы. На ярлычке – ослепительная красotka в красном платье в призывающей позе. Платье стирается монеткой... Я это вино брать не стал». URL: <http://palomniki.su/forum/topic-298.0.htm> (дата обращения 01.03.2014).

³⁵ Можно вспомнить известное произведение Венедикта Ерофеева, в котором упоминается коктейль «Слеза комсомолки»:

«Даже сам рецепт “слезы” благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, лишался.

Лаванда – 15 г.

Вербена – 15 г.

“Лесная вода” – 30 г.

Лак для ногтей – 2 г.

Зубной эликсир – 150 г.

Лимонад – 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости жимолость можно заменить повиликой. Это неверно и преступно! Режьте меня вдоль и поперек – но вы меня не заставите помешивать повиликой “слезу комсомолки”, я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают “слезу комсомолки” не жимолостью, а повиликой» [Ерофеев].

Лексема *кардинал* употреблена еще в одном прагмоне: (61) *Слеза кардинала*. Данная торговая марка обозначает импортируемое из Германии марочное вино. При этом немецкое название марки, отсылающее, что типично для марочного вина, к месту производства («Nussdorfer Bischofskreuz»), не дает основания для подобного перевода, хотя содержит определенную религиозную «зацепку» – название виноградинка *Bischofskreuz* буквально переводится как «епископский крест». Таким образом, русское название, по-видимому, плод словотворчества экспортера.

В одном примере употребляется название более высокого духовного лица: (62) *Веселый папа*. Это название содержит религиозную лексему, отсылающую к западному христианству, поскольку оно входит в серию вин «Cardinal», в нее же входят вина с названиями из примеров (59), (60). Строго говоря, титул папы носит кроме Римского епископа глава одной из православных церквей – Александрийской, но это знание не является широко распространенным. В массовом сознании лексема *папа* связана именно с католичеством.

Три следующих примера строятся на употреблении лексемы *аббат*, сочетающей в себе и отсылку к идее монашества, и ассоциацию с католическим христианством: (63) *Одинокый аббат*, (64) *Преподобный аббат*, (65) *Душа аббата*. В последнем случае интересна попытка реализовать приведенную выше модель (29) *Душа монаха* на западноевропейском материале.

Общая лексика религиозной тематики

В данную группу мы объединяем названия религиозной тематики, не вошедшие в группы, рассмотренные ранее.

Своего рода «архитектурную» группу образуют примеры (66) *Старая часовня*, (67) *Дорога к храму*, (68) *Черный колокол*. В первом названии лексема *часовня* отсылает к ряду названий, которые интерпретируют ‘монастырский’ в значении локуса или здания. Второе название – еще один случай аллюзии на художественное произведение. Возможно, оно обыгрывает известный образ, восходящий к фильму Т. Абдуладзе «Покаяние» (1984), выражающий нравственную максиму; сопоставление нравственного принципа и алкогольного напитка придает определенную игривость словосочетанию, граничащую с пародийностью. Третье название дает отсылку к религиозной символике. Все три рассмотренных марки – плоды «стихийного брендинга».

Следующие два примера содержат отсылку к религиозному событию: (69) *Крестный ход*, (70) *Тайная вечеря*. Нетипичность первого названия в том, что оно отсылает к богослужебному действию, не предполагающему употребление вина. Второе же название отсылает к евангельскому сюжету, который определяет религиозное значение вина

в христианстве. Это единственный случай, в котором название вина связано с религиозными представлениями на понятийном уровне.

Наконец, закончим обзор винных прагматимов следующим названием: (71) *Слово пастыря*. Лексема *пастырь* синонимична слову *священник* и в современном русском языке принадлежит именно к религиозному пласту лексики³⁶, отметим также созвучие со словом *пастор* со значением 'протестантский священник' [Словарь русского языка, т. 3, с. 31]. Но само словосочетание отсылает к названию одной из первых религиозно-просветительских передач на постсоветском телевидении. Эта устойчивость словосочетания, по нашему предположению, и послужила мотивом для появления названия вина, то есть с ономастической точки зрения прагматим возник в результате трансонимизации.

Заключение

Очевидно, мотивом для создания названий вин во многих случаях являются христианские религиозные представления общества, поскольку именно в христианстве вино играет важную символическую роль. Обилие названий церковной тематики, построенных по моделям, рассмотренным выше, специфично именно для современной русской языковой ситуации. Укажем в качестве сравнительного материала данные по названиям румынских сортов винограда и вина. М. Сисерман на румынском материале выделяет около сорока названий вин, обращающихся к религиозной символике [Siserman, p. 162–163], но в концепции автора весь наш материал попал бы в раздел «разное», а наиболее многочисленную группу (одиннадцать названий-примеров) составляют «упоминания персонажей», то есть святых – библейских героев, святых более позднего времени, архангелов.

Таким образом, корпус рассмотренных прагматимов может свидетельствовать о том, что в целом религиозная сфера жизни не вызывает в большей части общества неприятия; понятия и идеи, связанные с ней, обладают положительным ассоциативным потенциалом. Вместе с тем представления эти неглубоки и аморфны, что в определенных случаях приводит к появлению названий, находящихся на грани допустимого.

При этом грань эта все-таки ощущается авторами названий, что видно в переведенных названиях вин. Ряд ключевых религиозных понятий, которые в западноевропейском обиходе вполне могут отразиться в названии вина («Богородица», «Святой Крест»), в основном как производные от названий принадлежащих церкви виноградников, в нашей языковой ситуации окажутся недопустимыми.

³⁶ Словарь указывает два значения слова: 1) «пастух» (с пометой «устар.») и 2) «священник, руководитель паствы» (с пометой «религ.») [Словарь русского языка, т. 3, с. 31].

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса (1965) // Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 т. Т. 4 (2). М. : Языки славянских культур, 2010. 752 с.

Большой академический словарь русского языка / гл. ред. К. С. Горбачевич. М. ; СПб. : Наука, 2004. – .

Вопросы ребрендинга молдавских вин: Как переименовать «монахов» и «монашек»? [Электронный ресурс] // VINMOLDOVA.MD [сайт]. URL: <http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=content&id=1583> (дата обращения: 01.03.2014).

Горяев С. О., Логвинова Е. А. Прагмолемы как отражение религиозных представлений общества (на примере названий ординарных вин) // Церковь. Богословие. История: материалы II Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Екатеринбург : Информ.-изд. отдел ЕДС, 2014. С. 70–74.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М. : ГИС, 1955.

Доманский Л. В., Новиков Н. В. Русский антицерковный фольклор // Русское народнопоэтическое творчество против церкви и религии. Л. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 3–22.

Ерофеев В. Москва-Петушки [Электронный ресурс] // Электронная библиотека. URL: http://modernlib.ru/books/erofeev_venedikt/moskva_petushki/read/ (дата обращения: 01.03.2014).

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М. : Алгоритм, 2000. 376 с.

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. СПб. : Златоуст, 1999. 320 с.

Кошелев А. Болгарско-русский словарь. София, 2003. 839 с.

Крюкова И. В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Волгоград : Перемена, 2004. 288 с.

Лихачев Д. С. О садах // Лихачев Д. С. Избранные работы в 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 476–518.

Некрасов Н. А. Современники // Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем в 15 т. Т. 4. Л., 1982. С. 187–250.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / отв. ред. А. В. Суперанская. М. : Наука, 1978. 198 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / отв. ред. А. В. Суперанская. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Наука, 1988. 187 с.

Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Алексия II. М. : Православная энциклопедия, 2000. – .

Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. Ре-принт, воспроизв. изд. 1868 г. М., 2009. 320 с.

Романова Т. П. Эволюция типов рекламных имен в истории русской эргонимии (XIX – начало XXI в.) // Вестник СамГУ. 2009. № 3 (69). С. 174–180.

Саркитов Н. Д. Вина СССР. История виноделия на территории союзных республик. М. : Терра, 2007. 512 с.

Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М. : Русский язык, 1981–1984.

Словарь русского языка XVIII века. Вып. 3: Вѣк – Воздух. Л., 1978. 196 с.

Соболева Л. С. «Стих о пьянице»: морализующая сатира в старообрядческой огласовке // Соболева Л. С. Рукописная литература Урала: наследование традиций и обретение самобытности. Очерк первый: Рукописный облик русского слова. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2005а. С. 118–129

Соболева Л. С. Рукописная литература Урала: наследование традиций и обретение самобытности. Очерк второй: Рукописная традиция строгановского региона. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2005б. 228 с.

Соболева Т. А., Суперанская А. В. Товарные знаки. М. : Наука, 1986. 174 с.

Супрун В. И. Размышления над ономастической терминологией // Известия волгоградского государственного педагогического университета. Сер.: Филол. науки. 2011. № 8. С. 133–138.

Majtán M. Klasifikácia chrématonymie // Chrématonyma z hľadiska teórie a praxe. Sborník z 3. celostátného seminára “Onomastica a škola”. Ústí nad Labem 21.–22.6.1988 / ed. R. Šramek, L. Kuba. Brno, 1989. S. 7–13.

Siserman M. Nume de vinuri și de soiuri de struguri românești // Name and naming. Proceedings of the second international conference on onomastic. Onomastics in contem-

porary public space. Baia-Mare, May 9–11, 2013 / ed. by O. Felecan. Cluj-Napoca, 2013. P. 157–169.

Aleksij II, Patriarch of Moscow and All Russia (Ed.). (2000). *Pravoslavnaya e'nciklopediya* [Orthodox encyclopedia]. Moscow: Pravoslavnaya e'nciklopediya.

Bahtin, M. M. (2010). *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura Srednevekov'ya i Rennsansa* [Works of Francois Rabelais and folklife culture of the Middle Ages and Renaissance]. In Bahtin, M. M. *Sobranie sochinenij*. (Vols. 1–7). (Vol. 4 (2)). Moscow: Yazy'ki slavyanskikh kul'tur.

Dal', V. I. (1955). *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. (Vols. 1–4). Moscow: GİS.

Domanskij, L. V. & Novikov, N. V. (1961). *Russkij anticerkovnyj fol'klor* [Russian folklore against church]. In *Russkoe narodnoe'ticheskoe tvorchestvo protiv cerkvi i religii* [Russian folk poetry against church and religion] (pp. 3–22). Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR.

Erofeev, V. (n.d.). *Moskva – Petushki* [Moscow to the End of the Line]. Retrieved from: http://modernlib.ru/books/erofeev_venedikt/moskva_petushki/read

Evgen'eva, A. P. (Ed.). (1981–1984). *Slovar' russkogo yazy'ka* [Dictionary of the Russian language]. (Vols. 1–4). Moscow: Russkij yazy'k.

Gorbachevich, K. S. (Ed.). (2004). *Bol'shoj akademicheskij slovar' russkogo yazy'ka* [Great academic dictionary of the Russian language]. Moscow; St. Petersburg.

Goryaev, S. O. & Logvinova, E. A. (2014). *Pragmonimy' kak otrazhenie religiozny'h predstavlenij obshhestva (na primere nazvanij ordinarny'h vin)* [Pragmonyms as a reflection of religious views of society (by the example of the names of ordinary wines)]. In *Cerkov'. Bogoslovie. Istoriya: materialy' II Vserossijskoj nauchno-bogoslovskoj konferencii (Ekaterinburg, 12 fevralya 2014)* (pp. 70–74). Ekaterinburg: Informacionno-izdatel'skij otdel EDS.

Kara-Murza, S. G. (2000). *Manipulyaciya soznaniem* [Manipulation of consciousness]. Moscow: Algoritm.

Koshelev, A. (2003). *Bolgarsko-russkij slovar'* [Bulgarian-Russian dictionary]. Sofia.

Kostomarov, V. G. (1999). *Yazy'kovoj vkus e'pohi: Iz nablyudenij nad rechevoj praktikoj mass-media* [Lingual taste of the epoch: notes on the speech practice of the mass-media]. St. Petersburg: Zlatoust.

Kryukova, I. V. (2004). *Reklamnoe imya: ot izobreteniya do precedentsnosti* [Advertising name: from invention to precedent]. Volgograd: Peremena.

Lihachev, D. S. (1987). *O sadah* [About gardens]. In Lihachev, D. S. *Izbranny'e raboty'*. (Vols. 1–3). (Vol. 3, pp. 476–518). Leningrad.

Majtán, M. (1989). *Klasifikácia chrématonymie*. In R. Šramek, L. Kuba (Eds.). *Chrématonyma z hľadiska teorie a praxe. Sborník z 3. celostátného seminára "Onomastica a škola". Ústí nad Labem 21.–22.6.1988* (pp. 7–13). Brno.

Nekrasov, N. A. (1982). *Sovremenniki* [Contemporaries]. In Nekrasov, N. A. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem*. (Vols. 1–15). (Vol. 4, pp. 187–250). Leningrad.

Podol'skaya, N. V. (1978). *Slovar' russkoj onomasticheskoy terminologii* [Dictionary of Russian onomastic terminology]. Moscow: Nauka.

Podol'skaya, N. V. (1988). *Slovar' russkoj onomasticheskoy terminologii. 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe*. [Dictionary of Russian onomastic terminology. (2nd ed., revised)]. Moscow: Nauka.

Pry'zhov, I. G. (2009). *Istoriya kabakov v Rossii v svyazi s istoriej russkogo naroda. Reprint, vosproizv. izd. 1868 g.* [History of taverns in Russia in relation to the history of Russian people. (Reprint, reproduction of the edition of 1868 yr.)]. Moscow.

Romanova, T. P. (2009). *E'volyuciya tipov reklamny'h imen v istorii russkoj e'rgonomii (XIX – nachalo XXI v.)* [Evolution of the types of advertising names in the history of Russian ergonomics (19th – early 21st c.)]. *Vestnik SamGU*, 3 (69), 174–180.

Sarkitov, N. D. (2007). *Vina SSSR. Istoriya vinodeliya na territorii soyuzny'h respublik* [Wines of the USSR. The history of winemaking on the territory of the union republics]. Moscow: Terra.

Siserman, M. (2013). *Nume de vinuri și de soiuri de struguri românești*. In O. Felecan (Ed.), *Name and naming. Proceedings of the second international conference on onomas-*

tic. *Onomastics in contemporary public space. Baia-Mare, May 9–11, 2013* (pp. 157–169). Cluj-Napoca.

Slovar' russkogo yazy'ka XVIII veka. Vy'p. 3: Vek – Vozduh [Dictionary of the Russian language of XVIII century. Vol. 3: *Vek – Vozduh*]. (1978). Leningrad.

Soboleva, L. S. (2005). “Stih o p'yanice”: moralizuyushhaya satira v staroobryadcheskoj oglasovke [“Poem about drunkard”: moralizing satire in the Old Believer interpretation]. In Soboleva, L. S. *Rukopisnaya literatura Urala: nasledovanie traditsij i obretenie samoby'tnosti. Ocherk pervy'j: Rukopisny'j oblik russkogo slova* (pp. 118–129). Ekaterinburg: Bank kul'turnoj informacii.

Soboleva, L. S. (2005). *Rukopisnaya literatura Urala: nasledovanie traditsij i obretenie samoby'tnosti. Ocherk vtoroj: Rukopisnaya tradiciya stroganovskogo regiona* [Manuscript literature of the Urals: inheritance of traditions and finding of originality. Essay two: manuscript tradition of Stroganov region]. Ekaterinburg: Bank kul'turnoj informacii.

Soboleva, T. A. & Superanskaya, A. V. (1987). *Tovarny'e znaki* [Trademarks]. Moscow: Nauka.

Suprun, V. I. (2011). Razmy'shleniya nad onomasticheskoy terminologiej [Reflections on onomastic terminology]. *Izvestiya volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Ser.: Filol. nauki*, 8, 133–138.

Voprosy' rebrendinga moldavskih vin: Kak pereimenovat' “monahov” i “monashek”? [Rebranding issues on Moldavian wines: How to rename “monks” and “nuns”?]. (n.d.). Retrieved from: <http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=content&id=1583>

The article was submitted on 07.07.2014

Сергей Олегович Горяев

к. ф. н.

Россия

Уральский федеральный
университет

gorajev@yandex.ru

Sergei Goryaev, Dr

Russia

Ural Federal University

gorajev@yandex.ru



Disputatio



Disputatio

**ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРАВА
НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ:
ВЗГЛЯД УРАЛЬСКОГО ЗАВОДЧИКА**

Yevgeniy Neklyudov

**THE INFLUENCE OF MINING LAW SYSTEMS UPON
THE DEVELOPMENT OF WORLD METALLURGY:
THE VIEW OF A URAL MANUFACTURER**

The author focuses on the biggest miner of the Urals, duke S. S. Abamelek-Lazarev, whose views on resources management were discussed in Russian society at the turn of the 20th century. S. S. Abamelek-Lazarev opposed the *mining freedom* principle, which deprived landowners of their proprietary right to the mining land, and defended the then existing principle of accession, which stipulated that the landowner possessed the resources of his land. Using comparative and statistical research, the duke studied the mining laws of a number of countries, and drawing upon considerable statistics he revealed how laws influenced the development of mining and metallurgical industries; also, he studied Russia's historical data and current law which enabled him to draw conclusions and make observations. The duke maintained that it was essential to improve Russian legislation in a way that would stimulate the development of mining without stripping landowners of their rights. He focused on the leading countries of the 19th century and their legislation (England and the US). His writings and activities, aimed at protecting large-scale Ural mining, were crucial for the preservation of the principle of accession until the nationalization of land in 1917.

Key words: Urals; mining industry; mine owners; mining legislation; resources management; accession; mining freedom; S. S. Abamelek-Lazarev.

Представлены взгляды крупнейшего уральского горнозаводчика князя С. С. Абамелек-Лазарева на вопрос о недропользовании, обсуждаемый в российском обществе на рубеже XIX–XX вв. Отстаивая действующее в стране правило акцессии (принадлежности недр собственнику территории), князь выступал против принципа «горной свободы», подразумевающего лишение землевладельца права собственности на недра. В своих сравнительно-статистических исследованиях С. С. Абамелек-Лазарев

рассматривал горные законы разных стран и на основе значительных статистических данных выяснял последствия их воздействия на развитие мировой горной и металлургической промышленности; изучал и отечественный исторический опыт, действующее право и статистику, тоже дававшие богатый материал для наблюдений и выводов. Князь приходил к выводу о необходимости совершенствования отечественного законодательства, которое бы стимулировало развитие горной промышленности и одновременно не стесняло землевладельцев. При этом он ориентировался на законодательство тех стран, которые в XIX в. показали пример наиболее динамичного развития (Англия и США). Его труды и деятельность, направленные на защиту крупной уральской горнозаводской промышленности, сыграли свою роль в сохранении действующего в стране принципа акцессии до момента национализации земли в 1917 г.

Ключевые слова: Урал; горнозаводская промышленность; горнозаводчики; горное право; недропользование; акцессия; горная свобода; С. С. Абамелек-Лазарев.

Вопрос о недропользовании является ключевым в сфере горного права, регулирующего развитие таких важнейших отраслей промышленности, как горнодобывающая и металлургическая. Хотя до сих пор среди юристов нет согласия в использовании терминов, но, как правило, они определяют, что за длительный период существования горных разработок сложились правовые системы, в основе которых лежал либо принцип акцессии, т. е. принадлежности недр земли собственнику поверхности, либо так называемой «горной свободы», подразумевающий лишение землевладельца права собственности на недра. В первом случае распоряжение недрами зависело от собственника земли, во втором – от государства, с помощью горного законодательства устанавливавшего разнообразные правила разведки и разработки полезных ископаемых.

В основе горного права в России с 1782 г. лежали правила акцессии, введенные Екатериной II, которая под влиянием просветительских идей пыталась укоренить в стране отношение к собственности как незыблемому и неприкосновенному институту. Но произошедшие с тех пор изменения в структуре землевладения, связанные в первую очередь с землеустройством крестьян после реформы 1861 г., по мнению некоторых теоретиков горного права (А. А. Штоф, А. Е. Яновский, В. Г. Струков), привели к распространению в стране преимущественно мелкого землевладения, в результате чего акцессия стала мешать развитию частного горного промысла из-за якобы сопряженного с ней произвола землевладельца. В 1896 г. при Министерстве земледелия и государственных имуществ, к которому тогда относился Горный департамент, было предложено создать комиссию для составления проекта положения о горном промысле, предусматривавшего перемены в существующих законах о недрах не только

надельных, но и вообще всех частных земель. Один из руководителей департамента и крупнейший знаток горного права А. А. Штоф тогда же издал книгу о европейских порядках, в которой доказывал, что горная свобода «является самым совершенным из всех типов горных законов и потому представляет одно из необходимых условий развития горного промысла в тех местностях, где он действует» [Штоф, 1896]. Но в 1902 г. Николай II нашел преждевременным создание особой комиссии.

Судя по всему, на это решение могло повлиять издание другого специального труда «Вопрос о недрах и развитие горной промышленности в XIX столетии» [Абамелек-Лазарев, 1902], автор которого привел весомые аргументы против введения горной свободы. Этим автором был не менее авторитетный член Горного совета того же министерства, шталмейстер Высочайшего Двора князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев – не только известный ученый (историк по образованию), но и крупнейший уральский горнозаводчик, владелец богатейшего промышленного имения в Прикамье с Чёрмозскими металлургическими заводами, Кизеловскими каменноугольными копиями, платиновыми приисками и соляными промыслами.

Князь доказывал, что принцип акцессии действовал всего на $\frac{1}{10}$ территории империи, где существовала частная земельная собственность, и ничем не препятствовал развитию горной промышленности на остальных $\frac{9}{10}$ земли, принадлежавшей государству. Кроме того, по его подсчетам, средний размер отдельного частного владения в России был достаточно крупным и составлял 207 га (в то время как, например, в Англии, которая считалась «классической страной крупного землевладения и горной промышленности», – всего 24 га), а 100 млн десятин наделных земель принадлежали не 20 млн домохозяйств, а лишь 133 725 крестьянским обществам, в среднем владевшим 800 десятинами. Это разбивало доводы сторонников горной свободы, настаивавших на преобладании в России мелкого землевладения, которое в теории особо затрудняло развитие промышленности. Взгляд С. С. Абамелек-Лазарева и как знатока горного права, и как авторитетного предпринимателя – практика горного дела (вместе с другими формами дворянской оппозиции) – перетянул тогда чашу весов в сторону сохранения существующего положения.

Но разразившийся в начале XX в. острый металлургический кризис и начавшаяся столыпинская аграрная реформа, призванная создать из бывших общинников армию крестьян-собственников, вновь обострили вопрос о недропользовании. В 1909 г. при Министерстве торговли и промышленности открылось Совещание о праве распоряжения недрами с целью, по выражению одного из его руководителей – того же А. А. Штофа, – «решить принципиальный вопрос: признается ли необходимым введение в наше законодательство начал горной свободы?». На этот раз угроза акцессии исходила не только от теоретиков или защитников мелкой и средней горной промышленности,

но и от влиятельных горнопромышленников Южного металлургического региона России, как известно, к началу XX в. вытеснившего Горнозаводский Урал на вторые роли. В отличие от уральских заводчиков, промышленники Юга не являлись владельцами земель и вынуждены были арендовать отводы у собственников – местных помещиков и крестьянских общин. «Завышенные требования землевладельцев», по мнению председателя Совета съездов горнопромышленников Юга Н. Ф. фон Дитмара, не позволяли этим горнозаводчикам вести расширенные поиски руд. «Обнаружение естественных богатств страны только и может быть достигнуто путем введения горной свободы», – утверждал он [РГИА, ф. 37, оп. 67, д. 491, л. 1–4]. Ориентируясь на интересы этих горнопромышленников, с которыми в первую очередь связывалось тогда будущее развитие горной отрасли, многие крупные российские чиновники поддерживали эту идею.

В работе совещания вновь принял участие С. С. Абамелек-Лазарев, на этот раз подготовившийся еще более основательно. Среди членов совещания он распространил свое «отдельное мнение» и издал дополненный 400-страничный труд «Вопрос о недрах и развитие горной промышленности с 1808 по 1908 г.» [Абамелек-Лазарев, 1909а], а на статью А. А. Штофа «Нужна ли нам “горная свобода”» [Штоф, 1908] ответил публикацией «Нужно ли вводить в России горную свободу, отмененную в Германии» [Абамелек-Лазарев, 1909б]. Предполагая, что получит обвинения в предвзятости, поскольку, защищая акцессию, он защищал и свое право собственности на недра более чем 800 тыс. десятин принадлежавшего ему Пермского имения (а также и права других уральских заводчиков, как вотчинников, так и посессионеров), князь доказывал свою точку зрения путем сравнительного статистического анализа. Последовательно в главах книги он рассматривал горные законы разных стран и на основе значительного массива статистических данных, занявших $\frac{2}{3}$ объема издания, выяснял последствия их воздействия на развитие мировой горной и металлургической промышленности; изучал и отечественный исторический опыт, действующее право и статистику, тоже дававшие богатый материал для наблюдений и выводов.

К первой группе стран, где действовало правило акцессии, Семен Семенович прежде всего отнес Англию, где, как писал, «собственно и нет горного законодательства, т. е. вмешательства государства в горную промышленность, т. к. только с 1850 г. появились там отдельные горные законы, преследующие лишь ограждение безопасности рабочих». Принадлежность короне золота и серебра была единственным исключением из права собственности землевладельца на недра. В Англии существовали также «отдельные виды собственности на поверхность и недра, которые становились вполне самостоятельными... и могли быть предметом купли, продажи и отдачи в аренду».

Принципы английского права лежали и в основе законодательства британских колоний (в частности, Австралии и Канады) и Северо-

Американских Соединенных Штатов, где английское право было лишь «приноровлено к новым условиям, в которых там ему пришлось действовать». В Соединенных Штатах, к началу XX в. обогнавших по темпам горного производства свою бывшую метрополию, это выражалось в действии некоторых элементов «иноземного права или обычая» (например, в Калифорнии, отделившейся от Мексики) и в наличии незанятых земель. На этих находившихся в разных штатах общественных землях, принадлежавших федеральному правительству, Конгресс мог устанавливать свои горные законы и имел право уступить их за деньги в собственность первому частному лицу, кто обратится с заявлением о желании купить участок. Но такие общественные земли составляли лишь 29 % территории (40 %, включая Аляску), причем большинство их было сосредоточено в штатах, где горной промышленности почти не существовало. Напротив, там, где она развивалась в старых штатах, например в Пенсильвании, Нью-Йорке, Огайо, Иллинойсе, издавна совсем не было общественных земель, и там действовал принцип акцессии [Абамелек-Лазарев, 1909б, с. 3–15].

Ко второй группе стран относились те, где «недра земли или *res nullius*, т. е. никому не принадлежат (Испания и испано-американские государства), либо составляют собственность короны (Австрия, Швеция), либо принадлежат землевладельцу (Франция, Бельгия, Голландия), либо неизвестно кому принадлежат (Пруссия и большинство германских государств), но во всех этих государствах землевладелец не имел права распоряжаться большинством ископаемых, находящихся в его земле, а распоряжалось ими государство». Оно предоставляло недра тому, кто хочет их разрабатывать, по особому договору (доманиальная система), как в германских государствах, Люксембурге и в папских владениях Италии, либо устанавливало общие правила отдачи недр в разработку, как во Франции, Бельгии, Голландии, Швеции, Греции и Турции. В германских и испанских государствах выбор концессионера основывался на принципе горной свободы, т. е. в пользу первого заявителя. Но когда в результате этого в Пруссии несколько крупных монополистов завладели огромными отводами, был издан новый закон 1907 г., отменивший горную свободу для важнейших ископаемых (солей и угля) и оставлявший, по выражению С. С. Абамелек-Лазарева, «как утешение для своих теоретиков и утопистов, горную свободу для неважных ископаемых».

Действовавшая в странах второй группы еще со времен Средневековья «горная регалия» вызывала «беспреостанное вмешательство» и «своеволие» горной администрации, которое «парализовало всякое развитие горной промышленности». Осознание необходимости реформ под влиянием индустриализации привело к тому, что в XIX в. «монархи стали отказываться от своей регалии и от произвольных и весьма тяжких налогов с горной промышленности», и, наконец, новые законы Франции (1810 г.), Испании (1868 г.), Пруссии (1865 г.) учредили из права добычи минерала новый вид недвижимой

собственности, как это издавна существовало в Англии», – констатировал князь [Абамелек-Лазарев, 1909б, с. 16–32].

Сравнивая показатели развития горной промышленности, С. С. Абамелек-Лазарев обнаруживал, что по стоимости «горных продуктов» доля государств первой группы (где действовало правило акцессии) за период с 1808 по 1908 г. возросла с 40 до 70,5 %. «Первенствующее положение этих государств показывает, – пишет князь, – как странно считать права землевладельцев на недра земли тормозом развития горной промышленности. Они не только в течение XIX в. отвоевали у государств второй группы первенствующее положение, но их горная промышленность развивалась несравненно быстрее, а именно в 49 раз, а в остальных государствах – только в 14 раз. Эти цифры доказывают, что если признавать за горными законами важное влияние на развитие горной промышленности, то надо вывести заключение, что России незачем делать заимствования из законов тех стран, которые в XIX в. отстали в развитии этой промышленности» [Там же, 1909б, с. 3–4].

Обращаясь к историческому опыту самой России, Семен Семенович обнаруживал в нем примеры действия как горной свободы, так и акцессии. Он полагал, что, хотя до начала XVIII в. «частные права не были формулированы никакими законами», землевладелец все-таки считал недра принадлежащими ему, «иначе не была бы понятна сильная оппозиция землевладельцев новшествам Петра Великого». Современные исследования, скорее, подтверждают этот вывод [Курлаев, Манькова, с. 239]. Но, «следуя примеру Германии и Швеции, – пишет князь, – Петр I в 1719 г. ввел в России... чуждые ее обычаям принципы горной регалии и горной свободы» под страхом «жестокоего гнева, неотложного телесного наказания и смертной казни и лишения всех имений» для тех, кто будет препятствовать «в сыскании, устройении и расширении» горных заводов.

Многие правоведы и историки в действии горной свободы видели одну из основных причин быстрого роста горнозаводской промышленности на Урале в XVIII в. С. С. Абамелек-Лазарев же полагал, во-первых, что надо бы привести убедительные примеры изъятия в пользу заявителя частных земель под горнозаводские надобности за установленное Берг-привилегией вознаграждение владельцу, а во-вторых, доказать, что именно этот закон, а не другие факторы оказали влияние на ее развитие.

Анализируя известные ему факты, князь приходил к заключению, что «развитие горной промышленности было обязано своим существованием не горной свободе, а целому ряду других мер, принятых Петром и его преемниками» (вызов из-за границы знатоков горного дела, посылка русских для обучения, организация поисков полезных ископаемых, учреждение горной администрации, передача казенных заводов в частные руки, приписка казенных людей и лесов и пр.). «Одновременно происходит развитие строгановских заводов без вся-

ких пособий от казны... – констатирует он, – и не дошло до нас ни единого предания о том, чтобы кто-либо в силу горной свободы вздумал заводить рудники на строгановских землях. Да и вообще история не сохранила нам никаких следов применения горной свободы в России на частных землях».

Известно, что Строгановы, которые были крупнейшими землевладельцами на Урале, вскоре после введения горной свободы сами приступили к строительству металлургических заводов на своих землях. Вероятно, к этому подтолкнуло их и вызванное новыми порядками опасение изъятия ресурсов собственных земель другими горнопромышленниками, в первую очередь Демидовыми. Однако активизация промышленной деятельности Строгановых все-таки не спасла их вотчины от территориальных потерь, но не столько в пользу горнопромышленников, сколько государства. По подсчетам их контор, в XVIII в. от строгановских земель «без всякого согласия владельцев» были отмежеваны более 2,7 млн десятин под дачи уездного города Оханска, Пыскорской, Дедюхинской и Саранской экономических волостей, многих сел казенных и удельных крестьян в Оханском, Соликамском, Кунгурском, Осинском и Екатеринбургском уездах, Аннинского монетного двора, Мотовилихинского, Ягошихинского, Юговского и Серебрянского казенных заводов, а также некоторых заводов частных Суксунского, Уинского, Шайтанского, Нижнетагильского, Ревдинского, Верх-Исетского, Юго-Кнауфского и Сысертского округов, расположенных в основном в бассейнах рек Сылва и Чусовая [РГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 300, л. 137–140].

Однако многие из этих претензий еще во время строительства заводов были сочтены безосновательными, поскольку противоречили объявленным в жалованных грамотах XVI–XVII вв. границам строгановских владений. В итоге все вышеназванные частные заводы в конце XVIII в. были признаны посессионными, т. е. построенными на государственных землях, и никогда не платили Строгановым зафиксированную в Берг-привилегии $\frac{1}{32}$ долю дохода в пользу землевладельца. Выходит, что горной свободой воспользовались на Урале не столько горнопромышленники, сколько казна, причем тоже без денежной компенсации землевладельцам. Но к казне Строгановы сняли свои претензии, в 1785 и 1790 гг. в преддверии Генерального межевания заявив об отказе «от всех земель и лесов, кои из жалованных им дач заняты были казенными заводами и селениями, не требуя за то никакого вознаграждения» [ГАСО, ф. 24, оп. 2, д. 337, л. 6; Мезенина, с. 65–69]. Остававшиеся претензии Строгановых к частным заводчикам (Демидовым, Яковлевым, Турчаниновым, А. А. Кнауфу, И. М. Ярцову) были окончательно сняты в 1828 г., когда Николай I утвердил границы строгановских владений по Чусовой от ее устья до реки Межевая Утка, исключившие районы расположения заводов этих предпринимателей из гипотетической территории пожалованных Строгановым земель [ГАСО, ф. 24, оп. 2, д. 375; Неклюдов, с. 201, 206–207].

Будучи владельцем значительной части бывших строгановских вотчин, С. С. Абамелек-Лазарев не мог не знать этих фактов, которые и давали ему основание говорить об отсутствии «следов применения» горной свободы на частных землях.

В результате такой практики, писал он, «администрация ясно увидела, что начала горной свободы противны русским обычаям и взглядам, неприменимы в России и притом вполне излишни, так как в XVIII в. было так мало частной поземельной собственности и были такие необъятные пространства казенной земли, что правительство для развития горного дела должно было, прежде всего, обратить внимание на эти земли». Екатерина II, видя «это заграничное новшество, мало привившееся в России», издала «под влиянием теории свободы экономических отношений» манифест 30 июня 1782 г. Этот манифест, по мнению князя, «несмотря на его форму и громкие фразы, нового ничего не вводил; он только подтверждал то, что искони существовало в России, именно, что собственник земли один волен делать с нею, на ней и в ее недрах, что ему заблагорассудится» [Абамелек-Лазарев, 1909б, с. 33–37].

Но со временем на некоторых категориях земель или в отдельных регионах империи все-таки были введены элементы горной свободы. В 1864 г. издано Положение о горном промысле в Области войска Донского, в 1870 г. – правила о золотом промысле на землях казенных и принадлежащих Кабинету, в 1872 г. – правила о нефтяном промысле на казенных землях (действие этих правил не распространялось на земли, которые были давно известны как нефтеносные). Наконец, в 1887 г. появились правила о частной горной промышленности на «свободных казенных землях», которые допускали первого заявителя до разработки ископаемых на тех землях, которые были «не нужны казне и до тех пор, пока не нужны».

Кроме того, в 1870 г. в Царстве Польском, где, по выражению С. С. Абамелек-Лазарева, «после второго мятежа... правительство не стеснялось нарушать права польских помещиков... в подражание Прусскому горному закону было отнято от землевладельцев право распоряжения каменным углем, железной, цинковой и свинцовой рудой за скупое вознаграждение». В Великом княжестве Финляндском действовал Горный устав 1883 г., также допускавший приобретение, независимо от согласия землевладельца, права на разработку металлов с их рудами за вознаграждение или участие в прибылях.

Анализируя последствия введения этих правил, князь замечал, что на свободных казенных землях «вслед за поисковыми казенными партиями идут стаи захватчиков и спекулянтов и... открытые месторождения попадают в частные руки не горнопромышленников... а лиц, желающих их перепродать за огромные деньги... Из всех благих намерений закона ничего не осталось, а получилось явление крайне вредное для развития горной промышленности... За 15 лет действия закона 1887 г. выдано 5260 свидетельств, произведено лишь 299

отводов, а рудников открыто вообще ничтожное количество по сравнению с теми, которые за это же время открыты в частных землях». Закон же 1870 г. в Польше стал «главной причиной мирного немецкого завоевания значительной части этой страны». Горная свобода там привела к тому, что недра, принадлежавшие польским землевладельцам, «теперь закабалены несколькими немногочисленным иностранным компаниям и сотни отводов, приобретенные этими компаниями, втуне лежат» [Абамелек-Лазарев, 1909б, с. 39–45].

Развитие горной промышленности наблюдается в России именно там, утверждал князь, «где произвол, а не там, где действуют правила, основанные на горной свободе». «Именно наблюдается колоссальное развитие добычи угля на владельческих, станичных и общественных землях в Донецком бассейне, а не на войсковых землях, вообще на Юге России, а не в Польше, то же самое для нефти: колоссальное развитие добычи на Апшеронском полуострове и около Грозного, именно там, где нет горной свободы, а там, где действуют правила, близкие к принципу горной свободы, нет ни одного серьезного предприятия, несмотря на тысячи заявок». За 30 лет действия горной свободы в Царстве Польском добыча угля выросла в 14 раз, а при акцессии в Донецком бассейне – в 65 раз. «Произвол частных землевладельцев и крестьянских обществ» в Кривом Роге, вопреки жалобам горнопромышленников Юга, ничуть не помешал разработкам на их землях старых и созданию новых рудников при относительно мелком землевладении. Действующие там 79 рудников располагались всего только на 2883 десятинах собственной земли горнопромышленных фирм, а остальные 15 317 десятин (или 84 %) были заарендованы у помещиков и крестьянских обществ на взаимовыгодных условиях.

И на Урале, констатировал князь, «нигде не слыхать, чтобы встречалось затруднение в арендовании земель, как общественных, так и частных. Частных собственников на Урале очень немного, но владеют они огромными имениями, которые они сами эксплуатируют для горнопромышленных целей, причем почти все они значительно развили свою выплавку чугуна, в некоторых случаях почти утроили ее в одно десятилетие, что на древесном топливе еще нигде не было наблюдаемо. Несмотря на это, часто повторяются нарекания на крупных уральских помещиков, что они недостаточно энергически эксплуатируют недра своих земель». В опровержение князь приводил пример своих собственных угольных копей, где действовали электрические насосы и подъемы угля, электровозы для подземной прокатки, паровозы для перевозки угля, воздушные проволочные пути и копи были подготовлены для того, чтобы добывать до 50 млн пудов, но сбыть могли не более 35 млн пудов, «ибо спрос создает предложение товара, а не наоборот» [Там же, с. 54–58].

В XIX в., утверждал князь, «русская горная промышленность развивалась правильно, органически и не менее успешно, чем в прочих странах. Если же в некоторых из них развитие шло быстрее, то только

потому, что у них были факторы, отсутствовавшие у нас». Среди таковых он называл позднее начало использования минерального топлива (с 1880-х гг., когда Екатерининская железная дорога соединила Донецкий уголь с Криворожской рудой) и общую неразвитость железных дорог (к 1907 г. в России было проложено 73 870 км путей, а в САСШ – 349 800), а также поздний (с 1887 г.) переход к покровительственной политике в отношении металлов и угля. Но даже в результате этих запоздалых мер в последнее десятилетие XIX в. «развитие пошло слишком быстро и производство на многие годы опередило потребление»: в 1902 г. российские заводы были в состоянии выплавить 260 млн пудов чугуна, а продать – только 180 млн. Перепроизводство, вызвавшее сильнейший кризис, свидетельствует, что «нет надобности беспокоиться о том, что горная промышленность у нас недостаточно развивается, и изыскивать меры для искусственного ее развития». Хотя, соглашался князь, душевое потребление металла в России существенно отставало от Соединенных Штатов, Англии и Германии, но для того, чтобы преодолеть отставание, необходимо было не столько наращивать темпы развития отрасли, сколько принимать иные меры общего социального характера [Абамелек-Лазарев, с. 45–68].

Основной вывод С. С. Абамелек-Лазарева заключался в предложении не консервировать, как могло показаться на первый взгляд, а совершенствовать отечественное горное законодательство, ориентируясь и на иностранный опыт, но перенимать из него только то, что уже принесло там существенную пользу и что не нарушает «основ российской государственности». «Для чего нарушать право собственности без всякой необходимости, – вопрошал он, – почему не брать примера с культурных стран, тщательно оберегающих право собственности, почему не заимствовать из иностранных законодательств то, что может, не нарушая ничьих прав, улучшить наши законы, наконец, почему их не улучшать и без подражания иностранным образцам? Ничто не совершенно, и наши горные законы могли бы быть значительно улучшены и дополнены с целью при развитии горной промышленности одновременно не стеснять ни ее роста, ни землевладельцев» [Там же, 1909б, с. 69].

Выходом, по мнению князя, являлось бы «не умаление, а, наоборот, расширение права землевладельца» за счет введения уже существующих в динамично развивавшихся странах Европы и Америки и не принесших «ничего кроме пользы» двух видов собственности на поверхность земли и на ее недра и «разрешить продавать, дарить, завещать по желанию землевладельца поверхность земли отдельно от ее недр и недра отдельно от их поверхности». Предлагаемый закон о раздельности, по его мнению, «устранил бы почти все нарекания на произвол землевладельца, как крупного, так и мелкого». «Если капитал ищет данное ископаемое, – резюмировал князь свои наблюдения, – то никакие преграды, никакой произвол землевладельцев не

воспрепятствуют созданию горного предприятия, т. к. интерес землевладельцев побуждает их извлекать пользу из недр своей земли, а не оставлять их без разработки. Не отвлеченные принципы создают промышленность, а капитал и энергия предпринимателя» [Абамелек-Лазарев, 1909б, с. 72, 85–86].

На совещании 1909 г. мнение С. С. Абамелек-Лазарева сыграло во многом определяющую роль. Сначала ход совещания направляли сторонники горной свободы. На первом же заседании в ответ на основанные на подсчетах С. С. Абамелек-Лазарева высказывания представителя Совета съездов горнопромышленников Урала А. А. Штоф авторитетно заявил, что «необходимость введения начал горной свободы нет никакой возможности доказать какими-либо статистическими данными, так как дробление недр совершенно не поддается статистическому учету, и тип горного законодательства, построенный на принципе горной свободы, может совершенно потеряться в массе других условий, не в меньшей мере влияющих на развитие горной промышленности». Должно быть обосновано другое соображение о том, можно ли допустить в государственных интересах «некоторые ограничения по отношению к известным ископаемым такого бесспорно непоколебимого института, как право собственности». Особой подкомиссии было предложено разработать проект признания права на разработку недр частных земель «особым вещным правом в чужом недвижимом имуществе», т. е. сервитута. Лично подключившийся к обсуждению С. С. Абамелек-Лазарев сумел доказать тогда, что это «новое начало» не представляет «широкого простора» ни горнопромышленнику, ни собственнику имения [РГИА, ф. 37, оп. 67, д. 491, л. 1–4, 23].

Под влиянием его аргументов многие представители министерств и даже горнопромышленники Юга «признали желательным установление в законе особого вида права на недра», считая, что он предпочтительнее горной свободы. А. А. Штоф остался при своем мнении, полагая, что «как бы ни была полезна эта реформа, она не может заменить собой установления горной свободы, ибо не достигает главной цели последней», т. е. не устраняет произвола землевладельца [РГИА, ф. 37, оп. 67, д. 491, л. 18–21 об., 23]. При образовавшемся в итоге раскладе сил совещание не смогло выработать общего решения, в результате чего существенных перемен в недропользовании в Российской империи тогда не произошло. В последних Дополнениях 1912 г. к Своду законов по-прежнему было записано, что «право полной частной собственности в имуществах недвижимых объемлет не одну поверхность земли, но и самое ее недра; и потому оно простирается на все сокровенные минералы и на все металлы, из них происходящие» [Дополнения, ст. 193]. Уже после Февральской революции вопрос о введении горной свободы был вновь поставлен, но так и не решен до скорой национализации земли в октябре 1917 г. До этого момента Семен Семенович Абамелек-Лазарев не дожил.

Он скончался в 1916 г., до конца оставаясь защитником неограниченного права собственности на землю и сопряженного с ним принципа горной акцессии и противником ограничения прав собственника и сопряженной с этим горной свободы.

Значение этого спора, впервые поставленного тогда на научную основу исследованиями князя С. С. Абамелек-Лазарева и других горных деятелей и правоведов, на наш взгляд, заключается не только в том, что в нем отчетливо прозвучали мнения и аргументы теоретиков и практиков, выявились во многом несхожие интересы различных региональных групп предпринимателей, в частности уральских горнозаводчиков и горнопромышленников Юга, а также определилась сложность разработки в такой неоднозначной ситуации экономической политики государства. Особое звучание этому спору придает выявившееся противоречие между двумя базовыми ценностями предпринимательства: экономической свободой, с одной стороны, и частной собственностью – с другой. Проблема недропользования стала такой сферой, где эти два принципа оказались не в органичном единстве, а в известной оппозиции, сгладить которую было нелегко даже признанным авторитетам. Спор свидетельствовал о необходимости развития этих институтов и связанных с ними правовых систем с учетом всего многообразия мирового исторического опыта.

Абамелек-Лазарев С. С. Вопрос о недрах и развитие горной промышленности в XIX столетии. СПб., 1902.

Абамелек-Лазарев С. С. Вопрос о недрах и развитие горной промышленности с 1808 по 1908 г. СПб., 1909а.

Абамелек-Лазарев С. С. Нужно ли вводить в России горную свободу, отмененную в Германии. СПб., 1909б.

Дополнения к Своду законов 1893 г. СПб., 1912. Т. 7. Устав Горный.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 337, 375.

Курлаев Е. А., Манькова И. Л. Освоение рудных месторождений Урала и Сибири в XVII в.: у истоков российской промышленной политики. М. : Древлехранилище, 2005. 321 с.

Мезенина Т. Г. Пермские владения Строгановых в XVIII – первой половине XIX в.: особенности пространственной и социально-экономической организации. Нижний Тагил : НТГСПА, 2011.

Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил : НТГСПА, 2004. 600 с.

РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 300.

РГИА. Ф. 37. Оп. 67. Д. 491.

Струкгов В. Г. Курс горного права: Изложение основных начал горного законодательства России в связи с кратким обозрением принципов горных законодательств важнейших горнопромышленных государств Западной Европы. СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1907.

Штоф А. А. Горное право. Сравнительное изложение горных законов, действующих в России и главнейших горнопромышленных государствах Западной Европы. СПб. : тип. М. М. Стасюлевича, 1896. 629 с.

Штоф А. А. Нужна ли нам «горная свобода». Харьков, 1908.

Яновский А. Е. Основные начала горного законодательства и пересмотр его в России. СПб. : Тип. М-ва фин. (В. Киршбаума), 1900. 166 с.

Abamelek-Lazarev, S. S. (1902). *Vopros o nedrah i razvitie gornoj promy'shlennosti v XIX stoletii* [Question about the entrails and the development of mining engineering in the 19th century]. St. Petersburg.

Abamelek-Lazarev, S. S. (1909). *Nuzhno li vvodit' v Rossii gornuyu svobodu, otmenennuyu v Germanii* [Is it necessary to introduce the mining liberty, recalled in Germany, in Russia]. St. Petersburg.

Abamelek-Lazarev, S. S. (1909). *Vopros o nedrah i razvitie gornoj promy'shlennosti s 1808 po 1908 g.* [Question about the entrails and the development of mining engineering from 1808 to 1908 yr.]. St. Peterburg.

Dopolneniya k Svodu zakonov 1893 g. Ustav Gornyy. [Supplements to the Code of laws of 1893 yr. Mining Statute.]. (1912). (Vol. 7). St. Petersburg.

GASO. F. 24. Op. 2. D. 337, 375. [The state archive of Sverdlovsk region. Stock 24. List 2. Dossier 337, 375].

Kurlaev, E. A. & Man'kova, I. L. (2005). *Osvoenie rudny'h mestorozhdenij Urala i Sibiri v XVII v.: u istokov rossijskoj promy'shlennoy politiki* [The development of ore deposits of the Ural and Siberia in 17th c.: at the origins of Russian industrial policy]. Moscow: Drevlehranilishhe.

Mezenina, T. G. (2011). *Permskie vladeniya Stroganovy'h v XVIII – pervoj polovine XIX v.: osobennosti prostranstvennoj i social'no-e'konomicheskoy organizacii* [Perm estates of the Stoganovs in 18th–first half of 19th c.: characteristics of spatial and socioeconomic organization]. Nizhnij Tagil: NTGSPA.

Neklyudov, E. G. (2004). *Ural'skie zavodchiki v pervoj polovine XIX v.: vladel'cy' i vladeniya* [Ural manufacturers in the first half of XIX c.: owners and ownership]. Nizhnij Tagil: NTGSPA.

RGADA. F. 1278. Op. 1. D. 300. [Russian state archive of ancient acts. Stock 1278. List 1. Dossier 300].

RGIA. F. 37. Op. 67. D. 491. [Russian state historical archive. Stock 37. List 67. Dossier 491].

Shtof, A. A. (1896). *Gornoe pravo. Sravnitel'noe izlozhenie gorny'h zakonov, dejstvuyushhih v Rossii i glavnejshih gornopromy'shlenny'h gosudarstvah Zapadnoj Evropy'* [The Mining law. Coparative statement of mining laws, that are in force both in Russia and the most important mining states of Western Europe]. St. Petersburg: Tipografia M. M. Stasyulevicha.

Shtof, A. A. (1908). *Nuzhna li nam "gornaya svoboda"* [Do we need “mining liberty”?]. Kharkov.

Strukgov, V. G. (1907). *Kurs gornogo prava: Izlozhenie osnovny'h nachal gornogo zakonodatel'stva Russii v svyazi s kratkim obozreniem princy'pov gorny'h zakonodatel'stv vazhnejshih gornopromy'shlenny'h gosudarstv Zapadnoj Evropy'* [The course of minig law: the basic principles of mining law of Russia in relation to brief review of the approaches of mining legislation of the most important mining states of Western Europe]. St. Petersburg: Tipografia I. N. Skorohodova.

Yanovskij, A. E. (1900). *Osnovny'e nachala gornogo zakonodatel'stva i peresmotr ego v Rossii* [The basic principles of mining legislation in Russia and its review]. St. Petersburg: Tipografia Ministerstva finansov (V. Kirshbaum).

The article was submitted on 04.06.2014

Евгений Георгиевич Неклюдов
к. и. н.
Россия
Институт истории и археологии
УрО РАН
ntplant9@mail.ru

Yevgeniy Neklyudov, Dr
Russia
Institute of History and
Archaeology, Ural Branch of the
Russian Academy of Science
ntplant9@mail.ru

УДК 346.22 + 331.108 + 622(470.5)

Ольга Ермакова

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА УРАЛЬСКИЕ
ЗАВОДЫ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)¹**

Olga Ermakova

**STATE POLICY IN THE RECRUITMENT
OF FOREIGN SPECIALISTS IN URAL FACTORIES
(THE 1ST HALF OF THE 19TH CENTURY)**

The article considers the policy of foreign technical specialists to Russia the referring to documents reflecting the activities of state metallurgical factories in the Urals in the 1st half of the 19th century. An important element of the administrative system in the industry was the management of foreign specialists' activities. Not only did it include the regulation of their work as participants of the production process, but also a number of additional forms and methods of influence. The author draws upon studies of employment and higher payment conditions, means of recruitment, forms of social welfare and measures for maintenance of the high social status of foreigners and concludes that the provision of profitable conditions of service, welfare and comfort in everyday life was the key method of attracting foreigners. Apart from invitations and recruitment, mechanisms for keeping specialists at the factories proved significant in foreigner-related policy.

Keywords: Ural industry; foreign specialists; state factories; public policy; social welfare; technical staff.

В статье рассматривается политика по привлечению иностранных технических специалистов в Россию на основе документов, отложившихся в результате деятельности казенных металлургических заводов Урала первой половины XIX в. В системе специального управления промышленным производством особое место занимало управление иностранными специалистами. Оно включало в себя не только регулирование деятельности иностранцев как участников производственного процесса, но и ряд дополнительных форм и инструментов воздействия. На основе

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное измерение» (№ 14-18-01625).

исследования условий найма, способов вербовки, критериев выплат повышенного жалования, разнообразных видов социального обеспечения, мер по поддержанию подчеркнуто высокого социального статуса иностранцев автором сделан вывод о том, что создание выгодных условий службы и обеспечение достатка и комфорта в повседневной жизни являлись ключевыми методами привлечения иностранных специалистов. Кроме того, важными стратегическими элементами политики в отношении иностранцев выступали не только меры по приглашению и приему их на службу, но и механизмы дальнейшего удержания на заводах.

Ключевые слова: иностранные специалисты, казенные заводы, государственная политика, социальное обеспечение, Уральская промышленность, технические кадры.

Государственная политика по приглашению иностранных специалистов в Россию была обусловлена экономическими причинами, а в начале XIX в. стимулировалась еще и военной угрозой. Для перевооружения армии и увеличения объемов производства оружия возникла необходимость создать новые предприятия, эффективно и быстро устроить их работу по образцу немецких фабрик, считавшихся лучшими в Европе. Развитие уральского горнозаводского комплекса в первой половине XIX в. не было однозначным. На рубеже XVIII–XIX вв. Россия вышла на первое место по производству черных металлов, однако постепенно Урал утрачивал мировое лидерство, а к середине XIX в. стал очевиден кризис горнозаводской промышленности. Вместе с тем внешнеэкономическая конъюнктура и промышленный переворот, охватывавший постепенно европейские государства, побуждали российское правительство к поискам путей интенсификации экономического развития империи. Комплекс мер по привлечению западноевропейских специалистов стал одним из ключевых направлений этой политики. Российское правительство стремилось внедрить на уральских заводах передовые разработки стран Западной Европы, прежде всего Англии, в которой раньше всего завершился промышленный переворот.

В историографии проблема иностранного технологического трансфера на Урале и роль отдельных иностранных специалистов рассматривалась, например, в работах С. В. Устьянцева и Е. В. Логунова, которые исследовали использование английского технологического опыта на заводах Урала [Устьянцев, Логунов], В. П. Микитюка, изучившего судьбы нескольких поколений уральских инженеров немецкого происхождения по фамилии Иосса [Микитюк]. Совместная работа Ф. В. Бондаренко, В. П. Микитюка и В. А. Шкерина посвящена британским предпринимателям и механикам на Урале в XIX – начале XX в.: Джозефу Меджеру, братьям Тетам, династиям Гаксов, Гуллетов и Ятесов [Бондаренко, Микитюк, Шкерин]. В коллективной монографии «Немцы на Урале XVII–XXI вв.» рассматривается роль немцев

в развитии горнозаводского комплекса, экономике и культуре Урала [Немцы]. Среди новейших исследований данного направления необходимо отметить работы А. В. Келлера, посвященные немцу Андрею Кнауфу, ставшему московским купцом первой гильдии и крупным уральским заводчиком, чья деятельность, по мнению исследователя, в высшей степени способствовала модернизации производства [Keller, 2013; Keller, 2014].

Иностранные подданные в Российской империи обладали особым социально-правовым статусом, который, в свою очередь, зависел от их профессиональной деятельности. Приглашенные иностранные специалисты наделялись широкими правами, льготами и привилегиями, чтобы сделать привлекательной службу в России для профессиональных кадров из Западной Европы, в которых нуждались российские промышленные предприятия. Задачей специальных управленческих структур в сфере промышленности являлось обеспечение этих особых прав и контроль за их соблюдением. Иностранными специалистами, работавшими на казенных заводах, с 1806 г. ведал Департамент горных и соляных дел Министерства финансов, а до 1806 г. – Берг-коллегия. На местах иностранцы подчинялись региональным органам управления горной промышленностью и заводским администрациям. Иностранцы активно взаимодействовали с этими органами, постоянно отчитываясь о проделанной работе, а также в индивидуальном порядке или коллективно подавали жалобы и прошения.

Механизмы привлечения иностранных специалистов включали два основных способа вербовки: с помощью отправленных за границу делегатов от заводов из числа иностранцев и через российских представителей (консулов, послов) в европейских странах. После того как достигалось соглашение относительно условий работы и заключался контракт, приглашенному специалисту выдавался паспорт, который являлся гарантом свободного проезда иностранца к месту службы. В пути европейцев сопровождали специально нанятые посредники. Их задача состояла в оказании помощи иностранцам при общении с местным населением и разрешении конфликтов. К приглашенным мастерам относились с особым вниманием, заботились о их безопасности. Вот фрагмент контракта с тихвинским мещанином Василием Калашниковым, осуществлявшим доставку иностранных мастеров через Тихвин до Казани: «Лодки, суда, повозки, перевозящие иностранцев, должны быть крепкими, надежными, чтобы не причинять беспокойства иностранцам и не прибегать к остановкам. <...> Во время пути обязываюсь я (В. Калашников. – Е. О.) иметь попечение, чтоб иностранцам, не знающим вовсе русского языка, со стороны моих людей не только не делать грубости или притеснения, но и подавать в случае нужды должные пособия, так как и все им принадлежащие пожитки хранить как собственные мои и беречь от всякой траты и повреждения...» [ЦГА УР, ф. 4, оп. 1, д. 12, л. 110–111].

При помощи немецких фабрикантов Давида Гильгера и Александра Эверсмана, перешедших на российскую службу, на уральские заводы удалось пригласить квалифицированных европейских оружейников. В 1807–1808 гг. на Ижевский и Воткинский заводы приехало 149 европейских мастеров, вместе с семьями – около 300 человек. Больше половины из них в 1810–1811 гг. перешли на Златоустовский завод, где в 1820 г. насчитывалось уже 147 семейств иностранцев, вместе с женами и детьми – 454 человека [Окунцов, с. 23]. Личное знакомство Д. Гильгера и А. Эверсмана с немецкими и датскими оружейными мастерами и заинтересованность в успехе возложенной на них миссии способствовали притоку искусных иностранных мастеров в Россию и быстрому развитию новых оружейных производств на Урале. В других случаях, когда вербовка не носила массового характера, заключение контрактов с иностранцами возлагалось на российских консулов и послов в Европе, которые, отслеживая темпы развития производства, находили необходимых специалистов и вели с ними переговоры. Через их посредничество на Урал были вызваны британские инженеры, механики и корабельные мастера, а также бельгийские и немецкие оружейники.

Успех вербовки зависел от международной обстановки и внутриполитической ситуации в западноевропейских государствах. Так, в годы наполеоновских войн на Урал охотно выехали искусные немецкие оружейные мастера, не желавшие оставаться на территориях, оккупированных французами, и надеявшиеся на спокойное и обеспеченное будущее в России. Однако в периоды спокойной международной обстановки и стабилизации экономической ситуации в европейских странах иностранцы не стремились к переезду в Россию, привлечь их могли только исключительно выгодные условия службы. Поэтому российским представителям приходилось искать индивидуальные подходы к каждому специалисту, а также при необходимости изменять предложенные условия службы в пользу иностранцев. Например, в 1806 г. российский консул в Данциге статский советник Л. Трефурт узнал, что немецкому фабриканту Давиду Гильгеру, чьи изделия пользовались большим спросом не только в Европе, но и в России, поступило приглашение от британского консула переселиться в Англию. Тогда Л. Трефурту удалось переманить Гильгера на службу в Россию, предложив еще более выгодные условия. Немец запросил высокое годовое жалованье в 2500 руб. и часть прибыли от будущей инструментальной фабрики, которую предполагалось создать при Ижевском заводе. В конце 1806 г. с соизволения императора фабрикант прибыл в Петербург. Министр внутренних дел граф В. П. Кочубей в переписке с министром финансов А. И. Васильевым лестно отзывался о Давиде Гильгере: «По всем сведениям моим Гильгер есть человек отличный, и крайне жаль было бы, если бы мы не нашли способов удержать его в России». В. П. Кочубей подчеркивал, что немец может содействовать в вызове искусных мастеров в Россию.

Контракт был заключен на десять лет с учетом выставленных иностранцем требований. Давид Гильгер обязывался осуществлять надзор за новым оружейным заводом: контролировать работу мастеров, качество изделий, ведение бухгалтерии [ЦГА УР, ф. 4, оп. 1, д. 12, л. 2–10].

Поскольку особенно ценились высококвалифицированные британские специалисты, им предлагались исключительно выгодные условия службы. В 1835 г. министр финансов предписал организовать введение на Камско-Воткинском заводе английского способа выделки железа методом пудлингования. Для реализации этого проекта российским правительством был заключен контракт с английским мастером Самуилом Пенном. Британцу назначалось высокое окладное жалование – 10 000 руб. в год, а также 300 руб. на содержание прислуги. Под текстом контракта С. Пенн собственноручно подписал: «Я подписываю сей контракт с тем условием, чтобы мне оказываемо было то же уважение, каковое оказывается господам чиновникам и прочим лицам, состоящим на службе» [ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 4263, л. 50б.].

В результате переговоров с британским инженером Джеймсом Карром в 1846 г. российской стороной были приняты условия иностранца, только после этого он дал согласие на заключение контракта. Под руководством Дж. Карра в Англии уже было построено несколько пароходов высокого качества. Британец согласился приехать в Россию и занять должность корабельного архитектора на следующих условиях. Контракт заключался на пять лет с правом расторгнуть его по желанию Дж. Карра по истечении трех лет. Английский инженер запросил жалование размером в 8 800 руб. серебром в год, обеспечение казенной квартирой с отоплением, освещением и прислугой, а также конюшней и сараем, то есть всеми необходимыми удобствами для ведения хозяйства. Он подчеркнул, что желает пользоваться почетом, соответствующим чину полковника. Дж. Карр наделялся правом беспрошльного провоза принадлежащего ему и его семейству имущества, на проезд из Лондона до Санкт-Петербурга получал 500 фунтов стерлингов. В случае смерти англичанина до окончания контракта его семья имела право получить его четырехмесячное жалование, а также проживать в казенной квартире в течение шести месяцев и получить прогонные деньги для переезда в Англию. Джеймс Карр ставил условие о том, чтобы ему дозволено было выбрать себе в Англии одного помощника и двух подмастерьев [ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 5592, л. 2–3]. Требования, предъявленные инженером, были весьма значительны, но министр финансов одобрил заключение контракта на таких условиях. По словам российского посла в Лондоне барона Ф. И. Брунова, пароходы, сделанные в Англии по проектам Дж. Карра, служили «порукой» его познаний и мастерства [ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 5592, л. 7–15, 20–21, 28].

На существенное улучшение условий для иностранных оружейников пришлось пойти российскому правительству при заключении контрактов с немецкими мастерами в 1814–1815 гг. Переговоры по

выписке оружейников начались в 1811 г. и шли успешно. Золингенская фабрика простаивала без заказов, а общее представление о перспективах у немецких мастеров было туманным, поэтому возможность уехать в Россию представлялась им крайне привлекательной. Однако Отечественная война 1812 г. помешала немедленной реализации проекта создания оружейной фабрики, и к нему вернулись уже в 1813 г., но ситуация к этому времени изменилась. Во-первых, к концу 1813 г. ослабело желание самих оружейников покинуть родину, так как они снова были обеспечены здесь работой, а во-вторых, выезд искусных мастеров за границу воспрепятствовали купцы и заводовладельцы [РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 64, л. 123об.]. Александр Эверсман в своих донесениях подчеркивал: «Люди сии начинают расчет свой с того, что они здесь выработать могут, приемля при этом в уважение, что они, покинув здесь все, уезжают с великими трудами в неизвестную им землю, чтобы там избрать себе навсегда жилище; они сведали, что многие, туда же перебравшиеся, сделались несчастными, не найдя того, чего ожидали, и что многие потерпели даже истинную несправедливость». Вдобавок немецкие купцы сгущали краски. Понимая, что, уехав из Германии, они потеряют все, что имеют, а в будущем своем благосостоянии в России не могут быть уверены, оружейники неохотно шли к решению покинуть отечество [РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 64, л. 146–146об.].

В итоге, чтобы достигнуть соглашения с немецкими мастерами, Департаменту горных и соляных дел пришлось пойти на уступки и изменить некоторые условия контрактов в пользу иностранцев. Например, оружейники просили вознаграждения за издержки, связанные с оставлением заводов, на которых работали: они несли убытки в связи с продажей квартир и имущества, а также в связи с потерей жалованья, поскольку прежние заводовладельцы, узнав об их намерении покинуть страну, лишали мастеров работы. Оружейники требовали, чтобы директором новой фабрики всегда был немец, полностью знакомый с производством. Они также просили, чтобы работников фабрики производили в мастера с одобрения и утверждения старших мастеров, а не только по воле директора. Эти и другие условия, представленные иностранцами, были учтены при составлении контрактов [РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 62, л. 122–123, 220–223]. Суть привилегированного статуса немецких мастеров нашла свое выражение в словах императора Александра I, сказанных во время визита на Златоустовскую оружейную фабрику в 1824 г. Приказав содержать иностранцев наилучшим образом, государь заявил: «Для России, государства столь обширного и богатого, ничего не стоит хорошо содержать двести семейств (иностранцев. – Е. О.)». Он также отметил, что России не стыдно было бы содержать эти семьи иностранцев, даже если бы они и не приносили никакой пользы [цит. по: Бурмакин, с. 251].

Внимание к иностранцам и забота о их благополучии объяснялись заинтересованностью в их профессиональных навыках. Когда же

степень необходимости в них снижалась, сокращались и привилегии, вплоть до несоблюдения заводскими администрациями отдельных пунктов контрактов. Примером может служить ситуация, сложившаяся на Ижевском заводе. В связи с закрытием инструментального производства в 1808 г. иностранцы вскоре оказались не нужны. При их увольнении возникало много споров в связи с нежеланием заводской конторы выплачивать обещанные по контрактам прогонные деньги и доплаты за обучение [ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 161, л. 53–59, 73–106]. Однако в данном случае увольнение не было необоснованным, так как сроки контрактов иностранцев уже истекли.

Проработав положенное по контракту время, иностранные специалисты либо оставались на заводах, продолжая службу на условиях нового контракта или без него, либо получали увольнение. Процедура увольнения могла длиться неопределенное время, вплоть до года и больше. Перед увольнением со службы иностранного мастера составлялись отчет о его работе и счет использованных им инструментов и материалов. Иностранец должен был выплатить долги, если таковые имелись. На обратный проезд до Санкт-Петербурга мастера получали прогонные деньги [ЦГА УР, ф. 4, оп. 1, д. 55, 75].

Иностранцы, которые работали на казенных уральских заводах, безусловно, различались по профессиональной принадлежности, уровню квалификации и образования, поэтому разными были и условия их службы. Однако в целом иностранные специалисты находились на привилегированном положении. Они были свободны от рекрутской повинности, налогов и податей, а по уровню материального достатка не уступали горным администраторам и чиновникам. Материальное положение и уровень жизни западноевропейских специалистов на Урале характеризовались высокими доходами, комфортными условиями проживания, наличием дополнительных пособий от казны. Иностранцы бесплатно обеспечивались квартирами, строевым лесом, прислугой. Средний размер жалованья иностранного специалиста в первой половине XIX в. составлял 1 500–2 000 руб. ассигнациями, наиболее же высокооплачиваемые инженеры получали по 8 000–10 000 руб. серебром [ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1309, л. 6–7; д. 1347, л. 3–5об.; ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 5701, л. 2; д. 5592, л. 63; д. 6610, л. 235; д. 6018, л. 8]. Практиковались дополнительные выплаты за обучение русских учеников: от 50 до 500 руб. [ГАСО, ф. 43, оп. 1, д. 8, л. 61–63; РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 63, л. 137–139; ЦГА УР, ф. 212, оп. 1, д. 161, л. 53–59, 73–106]. Основными критериями для определения размера жалованья служили звание, опыт работы и семейное положение иностранца.

Западноевропейские специалисты пользовались социальной поддержкой государства, а также собственными силами обеспечивали себе социальные блага и гарантии. Существовали специальные школы для детей иностранцев, создавались церкви, католические и протестантские приходы, оказывалась материальная помощь вдовам

и сиротам иностранцев, выплачивались пенсии по возрасту и выслуге лет. Медицинское обеспечение иностранцы получали в госпиталях бесплатно либо с вычетом определенной суммы из жалованья [Архив ЗГО, ф. И-19, оп. 1, д. 4, л. 300]. Заводское начальство обязывалось оказывать поддержку семье иностранного мастера в случае его гибели во время службы или в пути к месту службы на заводы, что оговаривалось контрактом. Вдове выплачивалось жалованье за текущий период, выдавались денежные средства, необходимые для возвращения на родину. Если же иностранец обзавелся семьей уже в России, то его жене и детям выплачивались пенсии. Кроме того, российское правительство оказывало семейству погибшего различную поддержку: обеспечивало беспопыльный вывоз его имущества за границу или способствовало наиболее выгодной его продаже [ГАСО, ф. 43, оп. 2, д. 1309, л. 138; ф. 24, оп. 32, д. 782, л. 3–6].

Специальная система социального обеспечения западноевропейских специалистов сложилась в Златоусте, где проживало многочисленное сообщество иностранцев, сохранявших статус иностранных подданных, но прочно закрепившихся на уральских территориях. Специально для иноземных оружейников были выстроены новые дома на Большой Немецкой и Малой Немецкой улицах; для содержания немецкой школы, католической и протестантской церквей предоставлялись казенные дома. Первым лютеранским пастором Златоустовской кирхи был Вильгельм Шредер. Немецкая церковь первоначально располагалась в здании Арсенала, а в 1840-е гг. под нее был отдан каменный дом [Архив ЗГО, ф. И-24, оп. 1, д. 896, л. 102–111; д. 1332, л. 26, 32].

В «Положении об иностранных мастерах Златоустовской фабрики» 1820 г. устанавливались правила в отношении образования, медицинского обеспечения и религиозных потребностей немцев. Школа для детей иностранцев содержалась за счет казны. Детей обучали российской и немецкой грамоте, закону Божьему и арифметике. За материалы для учебы: бумагу, перья, чернила, книги – немцы должны были платить сами. Равно как и в том случае, если хотели учить детей другим предметам, кроме обязательных. Подтверждалось содержание за казенный счет католической и протестантской церквей, но иностранцы обязывались из собственных средств оплачивать исправление священниками христианских треб, содержание церковной утвари [Архив ЗГО, ф. И-24, оп. 1, д. 1332, л. 3–5; РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 146, л. 3–23]. За счет казны содержались для обслуживания иностранцев доктор и повивальная бабка. Немцы организовали вдовью и сиротскую кассы, в которые шли отчисления из жалованья мастеров, а также процент от прибыли, штрафов и доходов Немецкого клуба, созданного в 1821 г. В 1849 г. было отказано в отпуске денег из казны на содержание немецкой школы. Немцы подали жалобу, ссылаясь на то, что при переезде в Россию им было обещано, что они «не будут ни в чем терпеть недостатка». Однако правительство в ответ на это заявило, что иностранцы

имеют достаточные пенсии, чтобы часть из них потратить на обучение детей в русских заводских школах. Но оружейники не желали отдавать детей в русские школы, а потому за свой счет содержали «немецкую школу» вплоть до середины 1870-х гг. [Боков, с. 604].

Мастера Златоустовской фабрики за выслугу лет получали пенсии наравне с классными горными чиновниками. При этом сроки выслуги могли сокращаться в случаях, когда первые годы службы иностранца проходили еще за границей, до приезда в Россию [РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 231, л. 6–8]. Такой порядок определялся предписаниями директора Департамента горных и соляных дел. На практике же часто возникали трудности, связанные с тем, что многие мастера не успевали выслужить в России сроки, за которые классные горные чины получали пенсии. В таких случаях размер пенсий рассчитывался индивидуально, в зависимости от вклада каждого мастера. Оружейной канторой составлялись списки престарелых работников фабрики с указанием срока их службы, годового жалованья, состояния здоровья, краткой характеристикой и оценкой практической пользы, которую принес мастер. На основании этих данных определялся и размер пенсии. Некоторые оружейники получали пенсии, почти достигавшие размера жалованья. Например, Абраму Олигеру была назначена пенсия в 1 200 руб., а его жалованье составляло 1 350 руб. При этом подчеркивалось, что А. Олигер принимал непосредственное участие при устройстве фабрики и обучении русских мастеров и в целом его служба оказалась крайне полезной. Другие мастера получали меньшего денежного содержания после ухода со службы. Тем не менее даже если размер пенсии оказывался в два раза ниже прежнего жалованья иностранца, эта сумма была не меньше годового денежного содержания русского мастера той же квалификации. Некоторые немецкие мастера отказывались уходить на пенсию и просили оставить их на действительной службе [РГИА, ф. 37, оп. 11, д. 231, л. 36–41].

Таким образом, иностранные специалисты заполняли важный сегмент кадрового корпуса и потенциала российской промышленности. Стратегии их привлечения складывались из комплекса практических мер. Усилия российского правительства были направлены на то, чтобы привлечь и удержать на производстве квалифицированных специалистов. Главные принципы государственной политики – создать благоприятные условия для иностранцев, предложить выгодный контракт, заинтересовать высокими доходами. В XIX в. повышается мобильность иностранных специалистов: они перемещаются внутри империи, переходят с одного завода на другой, а при желании могут вернуться на родину. Если еще в XVIII в. приезжие специалисты не часто принимали решение о возвращении в свое отечество, то в XIX в. иностранцы все чаще стали покидать Россию после истечения контракта. Поэтому соблюдение договора являлось важным условием удержания специалиста на службе. Можно отметить и такое направление политики по отношению к иностранным специалистам, как

поддержание их статуса и достатка. Когда в иностранцах фактически уже не было нужды и затраты на их содержание становились необоснованно высокими, их не всегда увольняли, а могли оставить на заводе даже на достаточно выгодном положении, хотя обязательства обеих сторон по контрактам уже не имели силы. Горное начальство проводило меры по сокращению штата иностранцев, урезало их жалованье, но даже при этом их фактическое благосостояние оставалось высоким. Безусловно, на локальном и межличностном уровне их положение и взаимоотношения с начальством и русскими сослуживцами не были столь безоблачными, как может показаться на первый взгляд. Спорные ситуации, конфликты и недовольства с обеих сторон имели место. Однако споры и трудности неизбежно возникают в любой профессиональной деятельности, а тем более когда речь идет не только о необходимости совместной работы, но и о межкультурном и межэтническом взаимодействии. В целом же политику по привлечению иностранных специалистов на уральские заводы в первой половине XIX в. можно считать эффективной и оправданной.

Архив ЗГО – Архив Златоустовского городского округа. Ф. И-19; Ф. И-24.

Боков В. Немецкие оружейники на Златоустовском заводе // Журнал императорского русского военно-исторического общества. СПб., 1913. № 5–12.

Бондаренко Ф. В., Микитюк В. П., Шкерин В. А. Британские механики и предприниматели на Урале в XIX – начале XX в. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2009. 86 с.

Бурмакин А. С. Исторические данные по введению изготовления холодного оружия на Златоустовской оружейной фабрике немецкими мастерами // Горный журнал. 1912. Т. 4. С. 240–267.

ГАСО – Государственный архив Свердловской области. Ф. 24; Ф. 43.

Корепанов Н. С. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2005. 273 с.

Микитюк В. П. Уральские инженеры с немецкой фамилией // Веси. 2005. № 5. С. 65–67.

Немцы на Урале XVII–XXI вв.: коллект. монография / В. М. Кириллов, Л. А. Дашкевич, Н. С. Корепанов и др. Нижний Тагил : НТГСПА, 2009. 292 с.

Окунцов Ю. П. Златоустовская оружейная фабрика. М. : Вече, 2011. 256 с.

РГИА – Российский государственный исторический архив. Ф. 37.

Устьянцев С. В., Логунов Е. В. Английский технологический опыт и уральские горные заводы XIX в. Екатеринбург, 1992. 127 с.

ЦГА УР – Центральный государственный архив Удмуртской республики. Ф. 4; Ф. 212.

Keller A. Der deutsch-russische Unternehmer Andreas Knauf im Ural. Der Aufstieg // Quaestio Rossica. 2013. № 1. S. 144–159.

Keller A. Der deutsch-russische Unternehmer Andreas Knauf: der Praktiker im Ural // Quaestio Rossica. 2014. № 1. S. 206–218.

Arhiv Zlatoustovskogo gorodskogo okruga. F. I-19; F. I-24 [Archive of Zlatoust city district. Stock I-19; Stock I-24].

Bokov, V. (1913). Nemeczkie oruzhejniki na Zlatoustovskom zavode [German armourers at the plants of Zlatoust]. Zhurnal imperatorskogo russkogo voenno-istoricheskogo obshchestva, 5–12.

Bondarenko, F. V., Mikityuk, V. P. & Shkerin, V. A. (2009). *Britanskie mehaniki i predprinimateli na Urale v XIX – nachale XX v.* [British mechanics and industrialists in the Urals in 19th – early 20th c.]. Ekaterinburg: Bank kul'turnoj informacii.

Burmakin, A. S. (1912). Istoricheskie dannye po vvedeniyu izgotovleniya holodnogo oruzhiya na Zlatoustovskoj oruzhejnoj fabrike nemeczkimi masterami [Historical records on the introduction of cold steel arms manufacturing at Zlatoust weapon factory by German masters]. In *Gornyj zhurnal*. (Vol. 4, pp. 240–267).

Central'nyj gosudarstvennyj arhiv Udmurtskoj respubliki. F. 4; F. 212. [Central state archive of Udmurt Republic. Stock 4; Stock 212].

Gosudarstvennyj arhiv Sverdlovskoj oblasti. F. 24; F. 43 [State archive of Sverdlovsk region. Stock. 24; Stock. 43].

Keller, A. (2013). Der deutsch-russische Unternehmer Andreas Knauf im Ural. Der Aufstieg. *Quaestio Rossica, 1*, 144–159.

Keller, A. (2014). Der deutsch-russische Unternehmer Andreas Knauf: der Praktiker im Ural. *Quaestio Rossica, 1*, 206–218.

Kirillov, V. M., Dashkevich, L. A. & Korepanov, N. S. (2009). *Nemcy' na Urale XVII–XXI vv.: kollektivnaya monografiya* [The Germans in the Urals in 18th–21st cc.: collective monograph]. Nizhny Tagil: NTGSPA.

Korepanov, N. S. (2005). *Pervyj vek Ekaterinburga* [The first century of Ekaterinburg]. Ekaterinburg: Bank kul'turnoj informacii.

Mikityuk, V. P. (2005). Ural'skie inzhenery' s nemeczkoy familiej [Ural engineers with German family names]. *Vesi, 5*, 65–67.

Okunczov, Yu. P. (2011). *Zlatoustovskaya oruzhejnaya fabrika* [Zlatoust weapon factory]. Moscow: Veche.

Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv. F. 37 [Russian state historical archive. Stock 37].

Ust'yancev, S. V. & Logunov, E. V. (1992). *Anglijskij tehnologicheskij opyt i ural'skie gornye zavody' XIX v.* [English technologic experience and Ural mining plant in 19th c.]. Ekaterinburg.

The article was submitted on 16.08.2014

Ольга Константиновна Ермакова

к. и. н.

Россия

Институт истории и археологии

УрО РАН

ermakovaok@mail.ru

Olga Ermakova, Dr

Russia

Institute of History and

Archaeology, Ural Branch of the

Russian Academy of Sciences

ermakovaok@mail.ru



Heritage
Nomina et
scholae



Heritage
Nomina et scholae

**SERGEY KASHTANOV.
HISTORIOGRAPHER OF THE RUSSIAN
AND EUROPEAN MIDDLE AGES**

The article is devoted to the scholarly work of an outstanding Russian historian, a corresponding member of the Russian Academy of Sciences Sergey Mihailovich Kashtanov. Without exaggeration, he can be considered an actual classic of Soviet and Russian academic historical thought. The list of his professional interests alone is impressive as it ranges from source study and archaeography to historiography and the history of state institutions; from diplomatics to historical demographics and geography. Sergey Kashtanov is a mediaevalist, whose research is focused on mediaeval Russia which he studies referring to the historical context of European countries between the Middle Ages and the Early Modern Period. As a result, Kashtanov's contribution to comparative mediaeval history is significant. Additionally, Kashtanov's works on diplomatics are recognized worldwide as in them the scholar puts forward original methods of mediaeval acts analysis. Professionally, Sergey Kashtanov may be characterized both as a theoretician and practitioner, a researcher of feudal property; a scholar that proposed a number of new methods of analysis in paleography, filigree studies, and codicology; and, finally, as an observant and witty historiographer. Being a follower of A. A. Zimin and S. O. Schmidt, S. M. Kashtanov is a rare representative of Russia's high academic tradition of humanities thought dating back to the prerevolutionary era. This unique atmosphere which is, sadly, becoming nonexistent, is permanently present in the life and work of the main character of the article.

Keywords: S. M. Kashtanov; comparative mediaeval studies; historiography; source studies; diplomatics; history of feudalism.

Статья посвящена научному творчеству выдающегося русского историка, члена-корреспондента РАН Сергея Михайловича Каштанова. Он без преувеличения может быть назван действующим классиком советской и российской научной исторической школы. Один перечень его профессиональных интересов впечатляет: от источниковедения и археологии до историографии и истории государственных учреждений; от дипломатики до исторической демографии и географии. Сергей Михайлович – медиевист, его изыскания посвящены средневековой Руси, которую он исследует, обращаясь к историческому контексту европейских

стран Средневековья – раннего Нового времени. В связи с этим велики заслуги Каштанова в области компаративной медиевистики. Заслуженным признанием мирового исторического сообщества пользуются труды Каштанова-дипломатиста, автора оригинальной методики дипломатического анализа средневековых актов. В профессиональной деятельности Сергея Михайловича удивительным образом сочетаются теоретик и практик; исследователь феодального землевладения, иммунитетов, финансовой политики средневековой Руси и создатель концепции феодальной собственности; ученый, предложивший ряд новых методик в области палеографии, филиграноведения, кодикологии, и остроумный наблюдательный историограф.

Ученик А. А. Зими́на и С. О. Шмидта, С. М. Каштанов является одним из немногих носителей высокой академической традиции русской гуманитаристики, восходящей к дореволюционной эпохе. Эта уникальная и, к сожалению, уходящая среда явственно проступает через жизнь и творчество главного героя статьи.

Ключевые слова: С. М. Каштанов, компаративная медиевистика, историография, источниковедение, дипломатика, история феодализма.

Sergey Mihailovich Kashtanov was born on January 29, 1932 in Lenin-grad, the son of M. F. Kashtanov, a military engineer, and I. S. Kashtanova, the daughter of a prominent court maker of medals, S. A. Grilihis. In 1954 S. M. Kashtanov graduated with honors from the Moscow State Historical Archives Institute (MSHAI). A brilliant graduate of the Department of Auxiliary Historical Disciplines of MSHAI, between 1992–2011, Kashtanov was at the Department of Historical Sources Study and Auxiliary Historical Disciplines².



At present he is at the Higher School of Sources Study, Auxiliary and Special Historical Disciplines of the Russian State University of the Humanities. He was a student of A. A. Zimin, a permanent member and even a historian of the famous study group of S. O. Shmidt, which is dedicated to the study of sources. He has created a special branch in history studies and has become the founder of his own scientific school, formed around him in the Historical Archives Institute. In 2011, S. M. Kashtanov was awarded the title of Distinguished Professor of the Russian State University of the Humanities.

After graduating from MSHAI in 1954 and completing his post-graduate studies in 1954–1958, S. M. Kashtanov began to work in 1956 as a research fellow of the Institute of History of the Academy of Sciences of the Soviet Union, which in 1968 was divided into the Institute of History of the USSR and the Institute of World History of the Academy of Sciences.

In the first one (which was renamed in 1991, the Institute of Russian History) S. M. Kashtanov worked until April 2001, when he joined the Institute of World History of the Russian Academy of Sciences at the invi-

² Detailed bibliographic essay about S. M. Kashtanov vide: [Столярова].

tation of the director, Academician A. O. Chubaryan. In the Institute of History of the Academy of Sciences of the USSR, S. M. Kashtanov worked first in the division of sources study and publication, under the leadership of A. A. Novoselsky, and since 1963 he worked in the division of the History of the USSR of the feudal period, which was led by L. V. Cherepnin.

After the latter's death in 1977 the division was led first by A. A. Preobrazhensky and then by N. A. Gorskaya. In the 1990s it was called the division of Russian History of the Middle Ages and Early Modern Period. At the initiative of N. A. Gorskaya in 1995, S. M. Kashtanov was elected as head of the sector, and in 1997 S. M. Kashtanov was elected a corresponding member of the Russian Academy of Sciences.

Since 1987, at the invitation of A. L. Stanislavsky, Kashtanov began to work part-time at the Department of Auxiliary Historical Disciplines of MSHAI where he conducted workshops for auxiliary historical disciplines and seminars on the study of sources. For twenty-five years he led a research seminar, which he set up personally, "Chronology of the History of Russia in the 10th–18th Centuries". Under his leadership dozens of graduate theses were written, as well as more than twenty masters and three doctoral dissertations. His courses, such as "Notes of foreigners about Russia" and "Russian diplomatics", were brilliant in form and interesting in content, and were popular in the Russian State University of the Humanities, attracting not only students but also postgraduate students. In June 2011, S. M. Kashtanov created the Department of the Higher School of source, auxiliary and special historical disciplines and became the head. Sergey Kashtanov is an eminent historian, expert on source studies, a diplomatist and archaeographer, and the most renowned specialist on the socio-economic and political history of Russia from the 10th to 16th centuries, source studies, diplomacy, diplomatic codicology, archaeography and the study of watermarks.

S. M. Kashtanov is a distinguished scholar, author of approximately 700 scientific research papers, including eight monographs. He combines in his works concrete historical research with the development of political, economic and philosophical issues, as well as the theory and methodology of archeology, the study of sources and auxiliary historical disciplines. Areas of research in the activities of S. M. Kashtanov are so diverse and the results are so great that we believe it is necessary to analyze them in this essay systematically and in detail, highlighting certain areas of his research.

Works in the Theory and Practice of Medieval Texts Archaeography

The most important direction in the development of the creative work of S. M. Kashtanov became the theory of archaeography and publication sources (practical science of archaeography of medieval texts). It is symbolic that with his activity as a medievalist S. M. Kashtanov's career began

with the publication of returns' books of the Trinity-Sergius Monastery [Отдаточные книги]. Kashtanov's preparation for printing these books began at the initiative of A. A. Zimin (1920–1980), who in the mid-1950s involved his pupil in the publication of "Records of Russian law". In this edition Kashtanov prepared for publication a number of charters, *ukazy* charters and private acts from the 14th–17th centuries. He compiled a detailed, historical and legal review of immunity acts from the 14th–16th centuries, as well as acts of feudal land ownership and management in the first half of the 17th century [Памятники русского права]. In 1961 Kashtanov published two charters of Pskov monasteries from 1510 [Каштанов, Робинсон].

Later, under the direction of A. Nasonov he prepared for publication two previously unpublished, abbreviated chronicles of 1493 and 1495 [Сокращенный летописный свод 1493 г.; Сокращенный летописный свод 1495 г.]. This work laid the foundation for the publication of a number of the most important sources on the socio-economic and political history of Russia from the 14th–17th centuries. In 1963, Kashtanov published a drawing of land of the 16th century – the earliest known Russian drawing of that type [Каштанов, 1963в]. In 1968, he turned to the study of lists of *ukazy* ratifications in 1630 in the Uzhgitsk parish, which included the preserved text of the Charter from 1559/60 and included testimonies of how the Russian Zemstvo reform unfolded. Text of this newly discovered source was prepared for publication, accompanied by a detailed historical and diplomatic study [Каштанов, 1968].

S. M. Kashtanov is the author of the first handbook on the historiography of the medieval Russian Diplomatic Act, which is "*Hronologicheskij perechen' immunitetny'h gramot XVI v.*" ("*Chronological list of immunity ratifications charters of the 16th century*") [Каштанов, 19586; Каштанов, 1962; Каштанов, Назаров, Флоря]. It provides information about the scripts, lists, publications and references to charters and charters of *ukazy* from 1504–1584. Kashtanov specified headers, charters and acts with information about deacons, boyars and treasurers, who participated in the issuance of letters, as well as data on the later confirmations. He sought to maximize the number of surviving originals and lists of immunity letters, as well as publications and literary references on each of them [Каштанов, 19586; Каштанов, 1962; Каштанов, Назаров, Флоря].

After the release of the first two parts of the chronological list Kashtanov managed to identify a significant number of additional immunity acts. Many acts and much bibliographical information were listed by V. A. Kuchkin, V. D. Nazarov and B. N. Florya. Therefore, the third (optional) part of the chronological list in 1968 was published in collaboration with Nazarov and Florya. Kuchkin, to whom Kashtanov expressed his heartfelt gratitude in this publication, refused the recognition of his co-authorship in the publication. At the moment there is an urgent need to reprint Kashtanov's chronological list, with the additions and clarifications to be made, taking into account not only the newly found acts, but also the achievements of archaeography and diplomacy in the last four decades.

The publication of previously unknown acts of Trinity-Sergius, Cyril Belozersky, St. Paul Obnorsk, Serpuhov Vladychny, Ivanopredtechensky, Yakovlevsky and Zheleznoborkovsky monasteries, as well as letters from the archives of the Kazan diocese has become an important part of the fundamental monograph of Kashtanov, "*Ocherki russkoj diplomatiki*" ("*Essays of Russian Diplomatie*") (1970) [Каштанов, 1970а, с. 341–448]. This work began in a series of scientific publications of documents of the monasteries and cathedrals of the Russian state.

In the mid-1950s, preparations began on the publication of the archive of the Trinity-Sergius Monastery of the 16th century under the generic name of "Acts of the Russian State" (hereinafter referred to as ARS). The basis for the publication stemmed from copies of the Trinity acts, made by S. B. Veselovsky. At the same time, an acts group was created and headed by I. A. Bulygin. S. M. Kashtanov was connected with the work on the first volume of the ARS in 1974, primarily dealing with the final stages of preparation for publication. Kashtanov radically re-edited titles, made a number of comments and captions, and wrote a general introduction to the volume. In 1975, the first volume of the ARS was released [Акты Русского государства]. Preparation for the publication of this and subsequent volumes was accompanied by heated discussions about the rules of transferring texts of the Troiczk Acts. At the request of members of the forensic team of the Academy of Science of the USSR from 1975–1977, Kashtanov made a "Supplement" to the rules of publication of ARS, prepared by Bulygin [Правила издания]. In 1987, based on the "Supplements" Kashtanov wrote a detailed "Guidelines" for the publication of ARS, based on principles that were gradually developed by him of complicated diplomatic reproduction. However, neither the Supplements nor Guidelines were published at the time for personal reasons³. Extensive "Guidelines" were published only in 1998, although they were already actively used in the manuscript publications by the publishers (and not only for ARS).

S. M. Kashtanov was engaged for most of his life with the filing and publication of the archive of the Trinity-Sergius Monastery. He discovered and first published previously unknown scripts and lists of the Troiczk Acts from the 15th–16th centuries. In 1966 he published the text of the reconstructed general chapter of the Trinity-Sergius Monastery in all fiefdoms of 1550 [Каштанов, 1966]. Despite the fact that S. M. Kashtanov, already in the middle of the 1970s, recognized the need for principles in reproducing diplomatic texts and medieval charters, he did not formulate the rules until the end of the 1990s because he was unable to implement them in practice.

Between 1950–1980 the manner of publishing the text (simplified critical, complicated diplomatic or complicated linguistic) and the volume and nature of the treatment of an archaeographically published source in

³ On the history of the preparation of the first volume of "Akty' Russkogo gosudarstva" ("Acts of the Russian state") and discussions around the rules on transferring their text vide: [Каштанов 1998, с. 234–236, 284–285].

the USSR often depended not only on the will of the publisher, but also on the traditions of reproducing texts within a particular serial edition (for example PSRL) or the capabilities for printing in publishing facilities.

Furthermore, it was between 1960–1990 that the position of “reductionists” found reinforcement in the thesis: “for a historian content of the source is enough, details are for philologists!”⁴ As a result most often “complicators” were linguists, who gradually developed the principle of reproduction of the text “to the letter, line for line” [Успенский сборник].

The linguistic principle of publishing the text at a time when it was just forming, was carried out in ways very close to the medieval *copie figurée* (painted copies), prompting the appearance of the manuscript (handwriting, small and accent marks, special text layout, etc.) [Каштанов, 1988а, с. 33]. We believe that this was due to extraordinary technical and financial difficulties that accompanied the preparation of photographic and facsimile reproductions of texts, making the facsimile (reproduction) type of publication hardly an affordable luxury. *Copie figurée*, probably seemed to be a way out of the situation. In the age of computer technology, complexities like these do not seem to be a problem. Numbers of “complicators” were supplemented by historians. However, the debate about the appropriateness of a complicated transfer of texts only intensified, and was now being waged not only between historians and linguists (supporters and opponents of “reductionists”), but also between the supporters and opponents of the complicated rules of reproducing texts: diplomatic and linguistic.

In these disputes, Kashtanov always remained true to the principles that he developed for a sophisticated manner of publishing a diplomatic text, part of the processing of which is archaeographic preparation with widely developed aids for investigation. Font-imitators, which are a constant attribute of modern *copie figurée*, as well as publication of medieval texts with minimal or no archaeographic preparation, cause him constant bewilderment and even irritation.

Since the early 1980s S. M. Kashtanov is increasingly drawn to the problems of the theory and practice of archaeography. In 1983, he formulated the basic principles of the reproduction of the text of the acts' material, based on his experience of research of ancient Russian public law acts of ratification [Каштанов, 1983]. In the 1970s he, together with A. A. Zimin, took part in the forthcoming edition (prepared by L. I. Ivina) of the Acts of Moscow Simonov Monastery, in which he accomplished full archaeographic processing of all of the identified Simonov acts of the 16th century [Акты феодального землевладения].

In 1985 S. M. Kashtanov co-authored with A. L. Horoshkevich the guidelines for the publication of the Lithuania metric. This edition was the first attempt to apply to the documents the Lithuania metric rules,

⁴ Later as the ideological historians – “uproshhencev” (“simplificators”) – spoke the member of act group of Institute of the Russian history N. I. Nikitin [Никитин].

which were developed for the publication of the Acts of the Russian state of the 16th century [Каштанов, Хорошкевич]. From 1985–1988 a series of articles by S. M. Kashtanov appeared, which demonstrate the analysis adopted in contemporary Western European medieval studies for the principles of the Latin edition of ratification acts [Каштанов, 1985; Каштанов, 1986a; Каштанов, 1986b; Каштанов, 1987; Каштанов, 1988b]. In the mid-1980s, S. M. Kashtanov was engaged in studying and preparing for publication two “Greek” ambassadorial books of the 16th century. In 1993 his fundamental research on the royal Synodikon of the 1550’s appeared, which included the Greek embassy book № 1. Publication of this text was made in accordance with complicated rules, subject to all the lexical and orthographic features of the original, with detailed paleographic notes, historical and geographical comments. The full text of the ancient “Greek” ambassador’s book was published as a joint project between S. M. Kashtanov and L. V. Stolyarova while B. L. Fonkich became involved only in 2004 [Россия и греческий мир].

In 1996, Kashtanov published previously unreleased letters of Pereslavl and St. Paul Obnorsk and Suzdal Intercession monasteries, including two bills of sale found by him from the 15th century and three charters from the beginning of the 16th century, and issued a series of acts of the cathedral archives of Balahna and Nizhny Novgorod and certificates relating to the history of Belomestny’s tenure in Russian cities during the “boyar rule” [Каштанов, 1996a]. In 1997, S. M. Kashtanov together with O. I. Horuzhenko prepared 11 letters for publication from the 16th century to the beginning of the 18th century, from the archives of the Archangel Cathedral of Moscow [Грамоты из архива, с. 390]. One of the published acts – *ukazny* act of 1546 – remains in the original, and the remaining 10 are extant copies from the beginning of the 1730s. They have been found in the Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA) as part of the Senate book, number 781. Publication is accompanied by a detailed investigation of the Archangel acts [Ibid, c. 390–406], in which it is demonstrated that the first land grants to the Archangel Cathedral were not made by the grand dukes of Moscow, but by grand and feudal lords, members of the house of Borowski-Serpukhov. The authors presented data showing an increase in tenure of the cathedral since the middle of the 15th century, analyzed each of the letters published, and reproduced information about scribal descriptions that were not reflected in the existing lists. They described in detail the paleographic and codicological features of the collection, which included copies of the letters preserved, focusing on the paper watermarks. The authors found that in the stationery copies of letters Dutch paper was used, and in the drafts, a rougher Russian paper. Study of the Senate book number 781 allowed the authors to come close to the problem of copying texts by the “homegrown archaeographers of the first third of the 18th century” [Ibid, c. 406].

An important development in the theory and practice of publishing medieval texts became S. M. Kashtanov’s monograph, “Archaeography of

acts”, which is devoted to the specifics of publishing documentary sources in Russia and abroad [Каштанов, 1998]. Acts archeology is considered by Kashtanov as a special branch of science, which allows him to clarify what constitutes an “act”, determine its place in the general classification of the historical sources and compare methods of an act’s archaeography in different countries. The book analyzes the modern principles of the Latin edition of letters, and also features the latest Russian publication on acts, which touches upon the controversial issue of transferring the text of medieval charters, especially the preparation of legends, descriptions of filigrees, stamps, handwriting, etc. A special section of the book consists of the guidelines for the publication of ARG, which summarizes a wealth of experience of domestic and foreign archeography. In the book’s conclusion, which is eloquently titled, “Whither goes acts’ Archaeography?”, Kashtanov reflects on the general trends of modern domestic archaeography, in which it has become almost fashionable to advocate simple principles for publishing sources. The scientist is convinced that “the publication of sources is not a mass production, but an art that requires highly skilled labor, morality and the pursuit of virtuosity” [Ibid, c. 298].

Occupying a special place among S. M. Kashtanov’s works is his publication of *obelno*-criminal record certificates of Ivan III and Vasily III, issued in 1504 to the Spassky Valaam Monastery (2000). These certificates are preserved in Swedish translation, compiled between 1618–1619 [Новонайденная жалованная грамота]⁵. The published letters preceded a detailed archaeographic introduction. Kashtanov showed that the letter of 1504 was part of a series of immunity letters of the period of joint management of Ivan III and Vasily III in Novgorod and is the earliest known act issued to the Valaam Monastery. Kashtanov put next to each other the letters of 1504 and the charter of Novgorod Volotovo Monastery in 1500, suggesting the existence of some general wording of the joint letters of Ivan III and Vasily III. However, he showed that Form of the 1504 certificates was not used in the later preparation of the acts, which were issued to the Valaam Monastery (1507, 1540 and 1578 years.).

Not limiting himself to the publication of the Swedish translation of letters from the original Stockholm archive, Kashtanov prepared the letters for translation from Swedish to Russian. Compiled by him, notes on the translation contain detailed, textual and diplomatic comments. The most important part of the publication of the letters of 1504 is the reconstruction of the text of its unpreserved (lost) Russian copy, from which a Swedish translation was made in the 17th century. Notes on the reconstruction contain conjectures for justification, based on the forms of charters of Ivan III and Vasily III from 1499–1500. As a supplement to the publication of letters

⁵ The archaeographic introduction, publication of the Swedish text, its translation and reconstruction of the lost original, as well as the notes to the text, translation and commentary are prepared by S. M. Kashtanov [Новонайденная жалованная грамота, с. 419–429, 434–443]. E. E. Matveeva compiled the detailed index-*slovník* to the Swedish text [Ibid, c. 422, 430–433].

in 1504 Kashtanov placed a fragment from the scribe book of Vodskaya from the 90's of the 16th century. It contains a description of the attached properties of Valaam Monastery, as well as Serdovalsky and Ilomansky churchyards in Korelsky County. Prior to the publication of the "Swedish" act, domestic archaeography had not dealt with the scientific publication of a source, especially one that was preserved in later copies in a foreign language, accompanied by its translation and detailed reconstruction of the lost original text.

In 2006, S. M. Kashtanov published a text of the Russian-Livonian contract in 1535, which is an important source for the history of international relations and foreign policy of Russia and Livonia in the 16th century [Каштанов, 2006a]. This treaty was the first Russian-Livonian written agreement made under Ivan IV; particularly, it was drafted during his childhood under the regency of Elena Glinskaya. The Treaty of 1535 was a continuation of a series of Russian-Livonian peace treaties signed by the grandfather and father of Ivan the Terrible in 1503, 1509, 1514, 1521 and 1531. The Treaty of 1535, agreed upon in Novgorod, provided a peaceful development of relations between Russia and Livonia for the following 17 years, until October 1551. In August 1550 the government of Ivan the Terrible entered into a new agreement with Livonia. Additionally, the agreement in 1554 was the last peace treaty signed between Russia and the Livonian Order on the eve of the Livonian War. Despite the fact that the agreement of 1535 has been repeatedly mentioned in academic literature, it has not been published. S. M. Kashtanov not only was the first to publish the original text, following the principles of complicated practices of publishing diplomatic texts, but also he devoted a separate extensive study to the 1535 agreement. S. M. Kashtanov was able to specify the date of the agreement, which previously was attributed to 1534, and to adjudge the circumstances that led to its signing [Ibid, c. 167–180].

The agreement of 1535 is written on two sheets of parchment, which were bonded by drooping seals [РГАДА, ф. 64, оп. 2, № 7, л. 1–2]. Only three of the original seals survived: two of them belonged to the governors of Novgorod Princes, Boris Ivanovich Gorbaty and Mihail Semenovitch Voronczov, and another to the Pskov governor, Dmitry Semenovitch Voronczov. The parts of the surviving seals include: the Pskov governor's, Prince Mihail Ivanovich Kubensky's, seal with only the "chicken foot", on the cord on parchment; Master Hermann von Bruggenei's seal of Livonian Order with just a parchment strap connecting the print with a letter; the Archbishop Thomas of Riga's seal with a hole for parchment ribbon; and Bishop John (?) of Dorpat's seal with part of the silk cord threaded through the parchment. On one sheet of parchment was placed the Russian text of the treaty, written in cursive, and on the other, the German text of the treaty, made in gothic italics. S. M. Kashtanov suggested that the treaty of 1535 was drawn up in four copies, two in Russian and two in German. Connected in pairs, Russian and German instances formed two "trays". First, they were sealed by the Russians, and then in Livonia, one of the trays

would be returned to Novgorod, and the other remained in Livonia [Каштанов, 2006а, с. 180].

Both texts of the treaty of 1535 were published by Kashtanov, and were accompanied with a detailed paleographic study that meticulously describes the present-day size, presents a reconstruction of authentic dimensions of both sheets [Ibid, c. 182–190] and characterizes material for writing [Ibid, c. 190]. Described in detail are the outward signs of both texts and their handwriting attribution, as well as the density of letters of German and Russian texts [Ibid, c. 190–195].

Special attention is given to the seals and how they attach. For the first time in national historiography, the course of the cord when creating a mounting press was analyzed in detail, which is important for the reconstruction procedure, especially when connecting the cord with parchment and seal. The latter is essential in the study of official practices in the 16th century. When investigating how the image is placed on the seals and how the inscriptions are imprinted on them, there are several options in the attribution of images. Very important is Kashtanov's placement of photographs and numerous tables with detailed measurements of three surviving seals in the archaeographic part of the publication. Impressive is the research on the parchment ribbon, on the unpreserved print number 5, number 7, and on the cord printing and methods of attachment of seals 1–7, which provide important information for diplomatists who want to learn about the process of drawing up and certification of original acts at different times and in different offices within different states [Ibid, c. 195–224].

S. M. Kashtanov investigated and characterized labels and notes, available on the pages of the manuscript, which reflect the process of working with the contract through the 16th–18th centuries. There are traces of life of the text and its subsequent fate in the archives [Ibid, c. 224–226]. Special sections are devoted to the analysis of the introduction of archaeographic damage to manuscripts [Ibid, c. 226–227] in characteristic folds of the parchment and in folded manuscripts [Ibid, c. 227–230]. Kashtanov found that the method for folding the manuscript was established long ago. A diploma was wrapped in coarse paper in the 18th century, which produces the likeness of an envelope. On the cover, marks from the 18th and 20th centuries reflect certain stages of research and archival work on the script [Ibid, c. 230].

S. M. Kashtanov explores lists of the treaty of 1535, which (in its Russian and German versions) appear in a collection of copies of Russian-Livonian contracts from 1509–1554 kept in the fund of “portfolios” by GF Miller. Identification of the watermark on the manuscript allowed S. M. Kashtanov to conclude that the paper of a book in a German copy of the agreement of 1535 was made in the 60's in 18th century. That was also the time when the paper for the Russian copy was made, the last leaf of which has a watermark, referring to the period from 1754–1765. Kashtanov found that the copies were created simultaneously by different scribes and then intertwined

together. He suggested that all the work was carried out under the direction of GF Miller, who in March 1766 headed the Moscow archives of the State College of Foreign Affairs. Copies emerged during GF Miller's initial work in Moscow on the archives board, specifically from 1766–1767 [Каштанов, 2006a, c. 230–235].

A special section of the archaeographic introduction is devoted to references to the 1535 Russian-Livonian agreement in archival inventories. S. M. Kashtanov found that, based on inventories of the Ambassadors (Foreign Office) archive, in 1612 all the seven seals of ratification in 1535 were still in order. By 1626, only five seals survived, and two of them were separated from the document, although they were “screwed” to it. In 1673 “screwed” seals fell out and were already lost [Ibid, c. 235–237].

S. M. Kashtanov published both texts of the 1535 treaty (Russian and German), fully preserving the original spelling [Ibid, c. 237–273]. In the introduction Kashtanov provides a detailed explanation of the archaeographic principles of publishing the 1535 Treaty [Ibid, c. 181–182]. When publishing the Russian text of the treaty, outdated letters of the Cyrillic alphabet were not replaced by new ones. Superscript letters were in italics. Letters, appearing in the text when opening the cuts, were placed in parentheses. In the German text, spelling was also not modernized. The letter «v» is not replaced by «u»; «i» was not replaced by «j» and vice versa. The combination of letters «sh» was not replaced by «sch». Common in the German texts were abbreviations without word endings, and the missing letters were placed in parentheses. Colons, often occurring after abbreviated words such as «f:» and «ved:», were not reproduced. Lost or damaged and difficult to read the letters in Russian and German have been placed in square brackets. Punctuation, being an important part of the interpretation of the text, was used in accordance with modern standards. In some cases remarks were made in notes about German punctuation. Kashtanov marked the ends of the lines in both texts with a vertical line. A line number was placed in parentheses at the beginning of each line (in the manuscript that was not the case). The text of the Russian and German originals was split by the publisher into chapters, numbered with Roman numerals, which were placed in brackets. The use of numbered chapters as well as numbered lines permits the correlation of similar content in the Russian and German texts. In the original German text, discrepancies are provided, as in copies of the 18th century text done by GF Miller [Ibid, c. 273].

Publication of the Treaty of 1535 is not limited to the transfer of its diplomatic text, but also accompanied by photo reproduction, which decreased the original size by half (as an appendix to the publication). Unfortunately, printing a photo of the treaty in its original size proved technically impossible for reasons that were beyond the publisher's control. However, having a diplomatic version and a facsimile proves extremely important both for specialists who study diplomatic acts and for paleographers.

The Russian and German texts both mention the Treaty of 1535 and are accompanied by detailed paleographic notes. Kashtanov detailed the smallest damage to the text, such as scuffed, stained marks and dampness, which he anticipated might affect the safety and quality of future readings; he also noted the significant damage and lost parts of the text, which would produce unclear readings. The researcher also noted the presence of large and small initials, indicating their size. Reoccurring throughout the text are distinctive and unusually written letters (for example, decorated with dots or strokes) and ligatures—an important feature of individual handwriting [Каштанов, 2006a, с. 243–254, 261–273]. All these details are carefully marked, which testify how the archaeographer treats the text as a significant historical artifact, even describing the text's physical condition at the time of publication. Such precision is just as important for the archivist or researcher of documentation practices and of subsequent record keeping, as it is important as an archival document for historians or philologists. After all, in the future you never know to what purpose researchers will need the script and to what extent they will require detailed information on the text!

Particular attention should be focused on aids used to find the text (title, legend, direction lists for Russian and German texts, as well as a list of correlated terms of Russian and German). The index includes all the words of the original Russian and German texts of the agreement, and different forms of writing the same words appear as separate words. A List of relations in terminology within Russian and German copies of the treaty on 1535, includes the most essential, primarily legal, concepts. The list is not restricted to nouns and adjectives. It also includes verbs, adverbs, prepositions, etc. The list is based on Russian terms, which have German equivalents [Ibid, с. 278–297]. In 2014, with minor editorial changes and editions, the text of the Treaty between Russia and Livonia on 1535 was re-published in the additions to the monograph on the history of princely offices of medieval Russia [Каштанов, 2014].

In 1998, publishing a book on archaeography of acts and modern principles of publishing of Latin and ancient parchments, S. M. Kashtanov formulated his credo of an archaeographer, insisting that it is “art” and “the pursuit of virtuosity” [Каштанов, 1998, с. 298]. Publication of the Russian-Livonian Treaty of 1535 is fully consistent with this definition. It amazes and delights. It urges us to treat publishing material very honestly, carefully and accurately, for there is a deep moral attitude of the historian to document not only the historical source, but also the historical artifact. Such a sentiment discourages “simplistic” archaeography, which is nothing more than laziness and an unwillingness to deal with the tedious and labor-intensive operations to do the necessary archaeographic work on a document.

In 2006 S. M. Kashtanov, drawing upon complex rules, published the petition of the Duke I. B. Molozhsky to the Grand Duke Vasily III about Fugitive menials. The text of this unique source for the history of serfdom is

preceded by a detailed diplomatic and paleographic study of the document, which helped to clarify its date. Kashtanov believes that the petition was drawn up shortly after the death of Dmitri Ivanovich Zhilka, of Uglich, i. e. between 1521–1522 [Каштанов, 20066].

In 2012, S. M. Kashtanov published a monographic study of the 1482 act of the Moldavian ruler Stephen III the Great and for the first time, using his own complex rules [Каштанов, 2012]. The Moldovan act was discovered in the archives of Vatopedi Monastery on Mount Athos in the early 1970s, by one of the pupils of Professor Andre Guillou. In 1974, Guillou gave two photocopies of the certificates to Kashtanov, offering to publish it.

In 1999, during an expedition to Mount Athos, S. M. Kashtanov tried to find this letter in the repository of Vatopedi Monastery but failed. The documented listing of the act, which was provided by Guillou, had changed and was lost. All attempts by Vatopedi monks to establish a new listing of the Moldovan act and to determine its topography proved futile. This document was not known to the publishers of a fundamental series of Moldovan acts of the 14th–17th centuries from the 1960–1970s, and photocopies of Guillou were the only documentary evidence of its existence. Kashtanov decided to publish the Moldovan document by its photocopies. Poor preservation of the document and the poor quality of its photographic reproduction demanded considerable effort by Kashtanov in order to complete the reconstruction of the text.

The book is an attempt to solve the questions of who were counterparts of the land deal, which was legitimized by Stephen III, and was there any kinship links between the recipients of Gergeshti village, some men called Costa and Jonas, with a donor of this village, Marga. After delving into genealogy, researchers determined that both the donor and the recipient of the village Gergeshti, which by the way was mentioned in this document for the first time in written history, belonged to the family of Mr. Negri, a prominent landowner of the Moldavian principality and associate of the magistrate, Alexander I, The Good.

Thus, S. M. Kashtanov introduced into scientific circulation complicated documentary sources, primarily of the 16th century. His work in the field of archaeography contributed to the emergence of new views of the main trends in the theory and practice of modern editions of medieval texts, significantly advancing the work of archaeographers in Russia and abroad. The rules of archaeographic text processing, which S. M. Kashtanov follows today, evolved gradually. If in the early stages of his work the researcher remained faithful to the principles of complexity in the reproduction of the text depending on the time of writing (i. e., the older the source, the harder the rules of reproduction of its text; in texts at the beginning of a new time and the older ones, content is more important than the form; meticulous fixation upon lexical spelling and paleographic features of documents are not required), then during the mid-1980s to early 1990s, the researcher developed his own sophisticated rules for publication with each rule serving an important role in the publication process. In the first stage of his career,

Kashtanov was influenced by A. A. Zimin, who offered a differentiated approach to the choice of the degree of difficulty of archaeography, depending on the antiquity of the published source. At a time when the science of historical studies is increasingly being developed through differentiation and as various specializations and disciplines are synthesized, whereby the circumstances of a source's origin are defined more and more with the help of the latest techniques, codicology, paleography and diplomatics, Kashtanov is increasingly aware of the importance of research in original documents. Careful determination of all signs of external and internal forms of the document appears as the only way to study the circumstances contributing to the creation of the source and the destiny of its archival history.

The whole value of the works of Kashtanov as archaeographer unfortunately is not yet fully recognized and not always accepted by the scientific community, and his rules for the transfer of text are even considered unenforceable [Кистрев, с. 311–334]. But no matter how one looks at Kashtanov the archaeographer—that is, is his archaeography a form of art for art's sake, or is it a necessary component of a technique to publish the texts of the Middle Ages and early modern times—one thing is certain: he advanced the development of document studies as a science, and without him it would be difficult to imagine the present state of domestic and foreign medieval historiography.

The significant impact of Kashtanov as archaeographer is represented in works of his school and his followers (K. V. Baranov, T. V. Gimon, K. Yu. Erusalimsky, L. A. Kirichenko, N. A. Komochev, L. V. Stolyarova, O. I. Horuzhenko, et al.). Their research and publishing activity (with the wealth of variety developed by the new generation of archaeographers, offering rules for transmitting texts) experienced the powerful impact of Kashtanov as a teacher who created a large scientific school of medievalists.

Medieval, Diplomatic Acts in Russia. Formulary Analysis

While he was still a student, S. M. Kashtanov's main focus was to study the grant acts of Russia. At the same time he took up the problems in studying documents on diplomacy, the development of types of forms and the methods of formulary analysis. For 60 years Kashtanov selflessly worked on textual and diplomatic charters [Каштанов, 1966; Каштанов, 1969a]. Studying the experience of Western European and Russian diplomatics from the 18th–20th centuries prompted him to rethink the subject, object and tasks of diplomatics as a science. He looked for the definition of “act” and “document”, formulated his idea of diplomatics as a historical discipline, the subject of which are documents of a contractual nature and opposed the expansion of the term, “act” [Каштанов, 1965a; Каштанов, 1969b].

An important milestone in Kashtanov's studies became the publication in 1970 of his *“Essays on Russian diplomatics.”* The book deals with the theory and methodology of formulary analysis, sets out how to study

external and internal forms of documentary sources, the problems of their origin, content and their reliability. In this book Kashtanov first formulated the term “diplomatic form”, distinguishing it from “conditional”, “abstract”, “concrete” and “individual” forms. After becoming a classic in the study of documents on diplomacy in Russia, his “*Essays...*” has been appreciated in our country and abroad [Каштанов, 1970a, с. 26–47].

In 1971 he published an article dedicated to the study of the titling of Russian princes’ acts from the 10th–14th centuries. There Kashtanov attempted to divide this part of the form into redactions [Каштанов, 1976]. In 1972 S. M. Kashtanov turned for the first time to the reconstruction of the agreement-making procedure between Byzantium and Rus in 911 and 944 years, preserved as part of the Tale of Bygone Years. Applying the construction of F. Delger and I. Karayannopulos to their texts [Delger, Karayannopulos], Kashtanov came to the conclusion that the form of these documents corresponds with two different schemes of agreement-making procedures. He showed that the main text of the treaty of 911 was made on behalf of the Russian side, and represents their oath-credentials. According to him, the agreement of 911 is comparable with the scheme of *hrisovul* of type II (composed by Byzantium without prior negotiation). In the arrangement of the same contract of 944 appear the two agreeing parties, i.e. Russians and Byzantines. Its form, according to Kashtanov, was made under the scheme of *hrisovul* of type I (i. e, written after preliminary negotiations). For the first time in historiography the difference in the structure of the text of treaties 911 and 944 years was explained by the peculiarities of the procedures for their conclusions [Каштанов, 1972]. Subsequently S. M. Kashtanov more than once turned to the study of Russian-Byzantine treaties of the 10th century, offering his vision of their origin and their inclusion in the PVL.

In 1975, Kashtanov published an article on the study of the form of public law acts and of procedures for the award of contracts between the 10th–14th centuries. He showed that the stable structure of the acts occurred in Novgorod already between the 12th–13th centuries, whereas forms of princely acts in Ryazan, Tver and Moscow developed only towards the 14th century. At the same time in Russia when “deal” acts prevailed (contractual, spiritual, charters), a genre of letters (*poslanie*) developed, which was considerably weaker than in the West at the same time. As a consequence, in practice the threat rarely was used such a component of form as notification (publication), and the most undeveloped part of it was the final protocol. Russian acts materials of this time generally lack an indication of date and place of issue. Sanctioning of public acts between the 12th–13th centuries were limited by a threat of Go’s judgment, while the threatening letters clause of the 14th century already contains references to secular punishment [Каштанов, 1975].

Referring to the reconstruction of the relationship of donating princes and monasteries between the 14th–16th centuries, S. M. Kashtanov proposed the concept of the “theological preamble”, implying the idea, which is for-

mulated as an ideal goal of the award (1973). This expression is not identical to the invocation in the strictest sense, says Kashtanov, because it lacks the invocation of the name of God. Out of a desire to please the prince, document makers included a reference to the name of patron saint of the monastery, "St. Saviour sharing...", "the holy trinity sharing..." etc. This trend can be seen between the 14th–15th centuries, but it fizzles out by the end of the reign of Ivan III; in fact, it disappears at the time of the formation of the centralized state [Каштанов, 1973]. In 1979, he began to study the form of the grand spiritual letters from the 14th–16th centuries [Каштанов, 1979].

In 1988 Kashtanov published the monograph "Russian diplomatics". For the first time in historiography, its main subject focused on diplomatics in Russia and abroad. He emphasized the study of the origin and form of the acts of Russia between the 10th–18th centuries. They traced the distribution of various types of acts from the 10th–20th centuries, depending on the socio-political conditions of their appearance. A special section of the monograph is devoted to the problems of the methodology of diplomatics (Russian classification regulations, the study of their external and internal forms of internal and external content on the origin and function of acts) [Каштанов, 1988, с. 146–195].

In 1989, a study was published by S. M. Kashtanov on private acts and on the beginning of notaries in Russia. It contains not only an analysis of the earliest diplomatic Russian private acts but also of the unquestioned authenticity of the Spiritual (testament?) of Clement and "row" of Teshata and Yakim. When considering use of the word, "handwriting", in Acts, used almost exclusively to refer to one's spiritual credentials, Kashtanov suggested that the term originated in the period of transition from the practice of oral testaments to their written determination. According to him, "handwriting" is the most ancient kind of private acts in Russia. Turning to the origins of notaries in Russia, Kashtanov examines in detail the cases indicating the scribe and witnesses in private acts. He found that the professional scribes (clerks) of private acts do not appear before the middle of the 16th century ("Square scribes"), although the earliest use of the word, "scribe", is recorded in that document of Teshata and Yakim in the last third of the 13th century. The use of square clerks dies out in the 18th century in connection with the registration of all private transactions in public institutions by "serfs clerks" [Kacshtanov, 1989].

In 1990, Kashtanov began studying contract ratification of Basil I and Metropolitan Cyprian on the confirmation of church charters of Vladimir I and Yaroslav the Wise; the *eskhatokol* contains the first references to Moscow. He provided compelling evidence for the dating of this act as from 1392 and showed that the precursors of the theory of "Moscow is the Third Rome" in the 14th century arose in the church environment, even though they were caused by the political successes of the Moscow grand dukes. [Каштанов, 1990].

At the XVIII International Congress of Byzantine Studies (1991) Kashtanov made a presentation on charters of Moscow governments of the

16th century to Athos monasteries, based on the study of the ancient “Greek” ambassadorial books [Kachtanov, 1991]. Then he concentrated on continuing to study Russian treaties with Byzantium princes in the 10th century. He appealed to the interpretation of the expression “Ivanovy'm napisaniem na dvoyu Harati” in the contract of 911, which is contained in all the lists of the chronicles (1993). The word “Ivanovy'm”, according to Kashtanov, is a distortion of the Greek “παρών” (real), which he suggested meant “real writing”. His hypothesis that he supported with data on “διὰ τοῦ παρόντος ἐγγράφου” and its Latin equivalent “praesentibus” is well known in the texts of international treaties of Byzantium between the 11th–12th centuries. The appearance of the expression, “Ivanovy'm napisaniem”, Kashtanov sees as the result of misstatements in a later translated and copied text of ratification. However, he did not rule out that the unclear expression could occur due to the general instability of the forms of international treaties of Byzantium, which finally formed at the end of the 10th century [Каштанов, 1993].

In 1996 Kashtanov turned to the study of the expression “равно другаро свещания, бывшаго при...” (“ravno drugago sveshhaniya, by'vshago pri...”) in the text of the treaties of the Chronicles of 911, 944 and 971, having concluded that these were unofficially translated copies of the letters of Russian-Byzantine treaties. According to him, the same initial parts of all three acts are indicative of simultaneous copying of Greek texts using a definite plan. Kashtanov suggested that the translations entered the Tale of Bygone Years no earlier than the last quarter of the 11th century, and no later than the 1110–1112 period. At the same time Russian translations demonstrate that “Greek texts had evidence of copying from office copies of the era of Nicephorus III Votaniat or Alexius I Comnenus”. The presence of the word “drugago” in the headlines of all three contracts, Kashtanov explained by a compilation of a kind of copy-book based on a register office. Each successive copy was separated from the previous title, stating that this is a copy of another contract. Similar expressions are found in a number of the copy-books of the Greek monasteries, in particular, Patmos [Каштанов, 19966].

In 1996 he published a fundamental monograph on the history of the Russian act since its inception in the 10th century to the 16th century, inclusive. The focus of this study (in contrast to the “Essays on Russian Diplomats”) is dedicated to the methodology of the research on acts, typology of forms, etc. Much attention is paid to the history and development of the formation of documentary sources. It is mainly focused on the study of public law (especially princes’) acts. The book examines Russian-Byzantine treaties of the 10th century, contracts of foreign policy from the 12th–14th centuries, princely acts of 12th–14th centuries and the internal control of charters of foreign policy of the 16th century. Special investigation is given to the specificity of the initial protocol and disposition letters of Ryazan princes between the 14th–16th centuries, the issues of private acts in ancient Russia.

At the same time S. M. Kashtanov continued research into “Greek” ambassadorial books no. 1 and 2 in connection with the preparation of

their publication. In 1997 he published an article on the evolution of the grand and royal title in the charters of the monastery of the 16th century [Каштанов, 1997]. Kashtanov showed that the development of the grand and royal title in the charters of Mount Athos monasteries became more and more complicated. Use of the word “*samoderzhecz*” in headings first was observed in the charters of Fyodor Ioannovich in July 1589 to Kabardian princes, but the first known case of its inclusion in the official title refers to May of 1591. Kashtanov connects the earliest attempts to include the word “*samoderzhecz*” in a territorial title to the establishment of patriarchate in Russia (1589), and as a full territorial title, to the elimination of the inheritance of Prince Dmitry of Uglich (1591).

In the 2001 article, written in continuation of the theme of Greek-Russian relations in the 16th century, S. M. Kashtanov turned to the history of sending from Vatopetsky Monastery to Moscow, Savva, the Greek, “*perevodchika knizhnovo na vremya*”, at the request of Vasily III to Athos monasteries’ Simeon on March 15, 1515 [Каштанов, 2001]. According to Kashtanov, Savva came to Russia together with Maxim the Greek, was his associate and later became Archimandrite Spassky. Savva could take up this post during the time when Maxim the Greek was in favor, namely, in the period after September 1519 and before 1525 (i. e., before the condemnation of Maxim the Greek in the famous cathedral). Kashtanov expressed reasonable doubts that Maksim the Greek brought to Moscow the original *hrisovula* of Andronicus Paleologos. He suggested that, starting in Russia, Maxim the Greek “made himself or received a copy of one or more” *hrisovulas* [Каштанов, 2001, с. 213–214]⁶.

Since the sources give no reason to associate the name of Maxim the Greek with work done on past, everyday documentation, Kashtanov does not exclude the fact that the active clerical activity in Moscow was done by Savva. The end of the metropolitan monopoly in documenting relations with Orthodoxy abroad, Kashtanov connects with the beginning of the reform of the Izbrannaya Rada in 1549.

The subject of clerical practice of medieval Russia continued in the works of Kashtanov in connection with the investigation of the identity of the princely acts between the 13th–16th centuries (2001). In the princely acts, he has systematically examined the nomination of persons in charge of drawing up, approving and issuing documents. Analyzing the signature of the scribe in the row (“*ryadnaya*”) of Teshata and Yakim (“А псал Довмонтовъ писецъ” – “A psal Dovmontov’ pisecz”), Kashtanov came to the conclusion that a scribe making a private act may be indicative of the performance of clerical duties along with also more notary functions. The scientistresearcher showed that the Moscow grand dukes had their own scribes in the first half of the 14th century. He has consistently examined the cases that indicate a scribe in the grand spiritual acts (starting with the first spiritual act of Ivan Kalita), as well as in the testaments of the feudal princes

⁶ Compare with the point of view of exporting not the copies, but the original charters: [Синицына].

(starting with the spiritual act of Yuri Dmitrovsky, 1472). In spiritual acts, the use of an applied seal, rather than the more customary hanging seal, according to his conclusion, was a sign of lowering the political status of feudal princes in the second half of the 15th century. At the end of 15th and the first third of the 16th centuries, feudal lords had not fastened their wills with their own seal, which indicated that the “spirituals of feudal princes shifted from political acts more into acts of individuals” [Каштанов, 2000].

Theory and History of Feudal Property and Feudal Immunity

A systematic study of Russian acts material from the 10th–17th centuries prompted S. M. Kashtanov to turn to the most important problems in the history of medieval Russia: feudal immunity, theory of feudal property, the history of financial (including tax) policy. The very first works by him in this direction (from the 50's and early 60's) demonstrate an innovative approach to determining the steps of immunity policy and political motives of awards of the governments of Vasily III and Ivan IV [Каштанов, 1957; Каштанов, 1958a; Каштанов, 1959; Каштанов, 1960; Каштанов, 1961]. In the period from 1963–1970, scientist the scholar focused on the study of the fate of the Church and monastic and secular immunity formation of caste system, as well as the abolition of *tarkhans* in 1575/76 [Каштанов, 1963b; Каштанов, 1964; Каштанов, 1965b].

In his article about Oprichnina policy of Ivan the Terrible (1963), Kashtanov concluded (perhaps somewhat exaggeratingly) that socially the Oprichnina policy strengthened the enslavement of peasants. However, the main merit of the author is in the proof of anti- local feudal orientation of Oprichnina. He brilliantly showed that in the 60's – early 70's of the 16th century the union of Royal power with the cities was destroyed (in favor of the monasteries). During this period, some privileged monasteries gained property as a result of the sovereign's generous awards [Каштанов, 1963a].

In 1967, S. M. Kashtanov published a brilliant monograph on the socio-political history of Russia in the late 15th and the first half of the 16th centuries [Каштанов, 1967]. This work continued his work, which was started in his thesis and dissertation papers, and he included in it a large section on the policy of immunity of Ivan III (until 1505); then he turned to the study of the domestic policy of Vasily III and the regency of Elena Glinskaya during the boyar rule. Kashtanov considered the history of immunity in connection with other parties' internal policies of the governments of Russia in the late 15th and first half of the 16th century. The book established the causes of charters and letters, of *ukazy* in 1492–1548 years, and characterizes the changes they made to feudal immunity in Russia. It was shown that immunity ratification in the years between 1492–1505 demonstrated the breakdown of the old feudal rules of immunity. In the period between 1505–1537, its fate was closely linked with the history of the feudal lands. Major political events of the time (including the issuance

of immunity letters) were associated with an active policy of the central government towards the separation of local feudal lords. The scientist scholar found that the period between 1538–1548 showed the significant growth of the monastic *tarkhan* privileges, which is seen to accompany the growing power of the Government of Izbrannaya Rada.

In 1970 S. M. Kashtanov published a pioneering article on the theory of ownership and feudal immunity. In this article, he offers interpretations of the concepts “immunity”, “property” and “non-economic coercion” [Каштанов, 1970] ⁷. A year later he published an article in Cambridge about the immunity policy between the 15th–16th centuries. In it he summarized the main findings of the socio-political history of Russia and described trends in the development of feudal immunity in the period of forming and strengthening of the centralized state [Kashtanov, 1971]. He came back to the theory of feudal property in 2001, referring to the clarification of terms: “property”, “ownership” and “use” [Собственность в России].

In 1974 Kashtanov published a voluminous article devoted to the study of a link between land deposits in the Trinity-Sergius Monastery and the composition of the cathedral elders. He reviewed the history of the change of Troitsk abbots in the middle of the 16th century (especially of Ioasaf, Jonah, Serapion and Artemiy) and studied the many letters that streamed into this abode in the period of the cancellation of tarkhans. For the first time in historiography, Kashtanov succeeded in defining a whole set of Trinity cathedral elders in late 40's and early 50's in the 16th century [Каштанов, 1974].

Акты Русского государства 1505–1526 гг. М., 1975. 435 с.

Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова монастыря (1506–1613 гг.) / под ред. Л. И. Ивиной. Л., 1983.

Грамоты из архива Московского Архангельского собора // Археографический ежегодник за 1997 год / под ред. С. М. Каштанова, О. И. Хоруженко. М., 1997. С. 390–438.

Каштанов С. М. Актовая археография. М., 1998. 318 с.

Каштанов С. М. Богословская преамбула жалованных грамот // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1973. Вып. 5. С. 81–107.

Каштанов С. М. Грамоты Московского Симонова монастыря как источник для изучения вопроса об отмене тарханов в 1575/76 г. // Исследования по отечественному источниковедению. М.; Л., 1964. С. 499–503.

Каштанов С. М. Дипломатика как специальная историческая дисциплина // Вопросы истории. 1965а. № 1. С. 39–44.

Каштанов С. М. Дипломатический состав древнерусского акта // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1969а. Вып. 2. С. 143–159.

Каштанов С. М. Договор России с Ливонией 1535 г. // Проблемы источниковедения. М., 2006а. Вып. 1 (12). С. 167–297.

Каштанов С. М. Из истории последних уделов // Труды МГИАИ. М., 1957. Т. 10. С. 257–302.

Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника: Акты X–XVI вв. М., 1996а. 266 с.

⁷ His theory of feudal property formed the basis of the studies of L. E. Kubbel, who confirmed the correctness of Kashtanov's constructions on African materials: [Куббель, с. 258].

Каишанов С. М. Из опыта актовой археографии // Археографический ежегодник за 1982 год. М., 1983. С. 52–79.

Каишанов С. М. Имунитетные грамоты 1534 – начала 1538 г. как источник по истории внутренней политики в период регентства Елены Глинской // Проблемы источниковедения. М., 1959. Вып. 8. С. 372–420.

Каишанов С. М. Интитуляция русских княжеских актов X–XIV вв. (Опыт первичной классификации) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. Вып. 8. С. 69–83.

Каишанов С. М. Исследование о молдавской грамоте XV века. М., 2012.

Каишанов С. М. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси. М., 2014. С. 483–638.

Каишанов С. М. К вопросу о происхождении текста русско-византийских договоров X в. в составе Повести временных лет // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1996б. С. 39–42.

Каишанов С. М. К вопросу об отмене тарханов в 1575/76 г. // Исторические записки. 1965б. Т. 77. С. 209–235.

Каишанов С. М. К изучению опричнины Ивана Грозного // История СССР. 1963а. № 2. С. 96–117.

Каишанов С. М. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот конца XIV – начала XVI в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1979. Вып. 11. С. 238–251.

Каишанов С. М. К истории русско-греческих культурных связей в XVI в. // МОСХО-ВІА. Проблемы византийской и новогреческой филологии. М., 2001. С. 209–218.

Каишанов С. М. К истории холопства в XVI в. // Времена и судьбы: сб. ст. в честь 75-летия В. М. Панеяха. СПб., 2006б. С. 357–380.

Каишанов С. М. К предыстории идеи «Москва – третий Рим» // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосибирск, 1990. С. 262–273.

Каишанов С. М. Монастырские документы о политической борьбе середины XVI в. // Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 29–42.

Каишанов С. М. О внутренней политике Ивана Грозного в период «великого княжения» Симеона Бекбулатовича // Труды МГИАИ. М., 1961. Т. 16. С. 427–462.

Каишанов С. М. О выражении «Ивановым написанием» в летописном тексте русско-византийского договора 911 г. // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1993. С. 33–34.

Каишанов С. М. О написании и удостоверении княжеских актов // Российское самодержавие и бюрократия. М.; Новосибирск, 2000. С. 29–49.

Каишанов С. М. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью в X в. // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. С. 209–215.

Каишанов С. М. Общие жалованные грамоты Троице-Сергиеву монастырю 1550, 1577 и 1578 гг. на все вотчины (соотношение текстов) // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. М., 1966. Вып. 28. С. 96–142.

Каишанов С. М. Ограничение феодального иммунитета правительством Русского централизованного государства в 1-й трети XVI в. // Труды МГИАИ. М., 1958а. Т. 11. С. 269–296.

Каишанов С. М. Очерки русской дипломатики. М., 1970а.

Каишанов С. М. Предмет, задачи и методы дипломатики // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы. М., 1969б. С. 134–170.

Каишанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988а.

Каишанов С. М. Русские княжеские акты X–XIV вв. (до 1380 г.) // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 94–116.

Каишанов С. М. Современные принципы издания латинских грамот [Ч. 1] // Археографический ежегодник за 1983 год. М., 1985. С. 37–48.

Каишанов С. М. Современные принципы издания латинских грамот [Ч. 2] // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 1986а. С. 75–87.

Каишанов С. М. Современные принципы издания латинских грамот [Ч. 3] // Археографический ежегодник за 1985 год. М., 1986б. С. 52–67.

Каишанов С. М. Современные принципы издания латинских грамот [Ч. 4] // Археографический ежегодник за 1986 год. М., 1987. С. 46–58.

Каишанов С. М. Современные принципы издания латинских грамот [Ч. 5] // Археографический ежегодник за 1987 год. М., 1988б. С. 35–44.

Каишанов С. М. Состав иммунитетных грамот первой половины XVI в. // Археографические записки за 1962 год. М., 1963б. С. 98–110.

Каишанов С. М. Социально-политическая история России конца XV – первой половины XVI в. М., 1967. 392 с.

Каишанов С. М. Феодалный иммунитет в годы боярского правления (1538–1548) // Исторические записки. 1960. Т. 66. С. 239–268.

Каишанов С. М. Феодалный иммунитет в свете марксистско-ленинского учения о земельной ренте // Актуальные проблемы истории России эпохи феодализма. М., 1970б. С. 172–173, 193, 198.

Каишанов С. М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в. [Часть 1] // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958б. С. 302–376.

Каишанов С. М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в. [Часть 2] // Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962. С. 129–200.

Каишанов С. М. Ценное свидетельство о земской реформе середины XVI в. // Советское архивоведение. 1968. № 5. С. 49–54.

Каишанов С. М. Чертеж земельного участка XVI в. // Труды МГИАИ. Т. 17. М., 1963в. С. 429–436.

Каишанов С. М. Эволюция великокняжеского и царского титула в грамотах афонским монастырям XVI в. // Россия и христианский Восток. М., 1997. Вып. 1. С. 105–134.

Каишанов С. М., Назаров В. Д., Флоря Б. Н. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в. [Часть 3] // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968. С. 197–253.

Каишанов С. М., Робинсон А. Н. Две жалованные грамоты псковским монастырям // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1961. Вып. 24. С. 221–258.

Каишанов С. М., Хорошкевич А. Л. Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской метрики. Вильнюс, 1985. 133 с.

Кистрев С. Н. Новое издание документов о России и греческом мире в XVI веке // Очерки феодальной России. М., 2005. Вып. 9. С. 311–334.

Куббель Л. Е. Сонгайская держава. М. 1974. С. 258.

Никитин Н. И. Письмо в редакцию: Об «усложненных» и «упрощенных» правилах издания актовых источников // Отечественные архивы. 1993. № 4. С. 120–121.

Новонайденная жалованная грамота Ивана III и Василия III 1504 г. Спасскому Валаамскому монастырю / подг. С. М. Каштановым, Е. Е. Матвеевой; послесл. о. Онуфрия, Спасо-Валаамский монастырь // Археографический ежегодник за 2000 год. М., 2001. С. 419–447.

Отдаточные книги Троице-Сергиева монастыря 1649–1650 гг. // Исторический архив. Т. 8. М.; Л., 1953. С. 198–220.

Памятники русского права. М., 1955. Вып. 3. С. 83–150. М., 1956. Вып. 4. С. 99–170, 287–289. М., 1959. Вып. 5. С. 47–134.

Правила издания «Актов Русского государства XVI – начала XVII в.» / И. А. Булыгин. М., 1984.

РГАДА. Ф. 64: Сношения России с Лифляндией и Эстляндией. Оп. 2. № 7. Л. 1–2.

Россия и греческий мир в XVI в. Т. 1 / под ред. С. М. Каштанова, Л. В. Столяровой. М., 2004. 527 с.

Синицына Н. В. Послание Максима Грека Василию III об устройстве афонских монастырей (1518–1519 гг.) // Византийский временник. Т. 26. М., 1965. С. 130.

Собственность в России: Средневековые и раннее новое время. М., 2001. С. 7–40. Сокращенный летописный свод 1493 г. // Полное собрание русских летописей. М., 1962. Вып. 27. С. 7–10, 163–298.

Сокращенный летописный свод 1495 г. // Полное собрание русских летописей. М., 1962. Вып. 27. С. 10–14, 299–367.

Столярова Л. В. Проблемы истории феодальной России в творчестве Сергея Михайловича Каштанова // Ad fontem = У источника: сб. статей в честь Сергея Михайловича Каштанова. М., 2005. С. 7–77.

Успенский сборник XII–XIII вв. / подг. О. А. Князевской, В. Г. Демьяновым, М. В. Ляпон; под ред. С. И. Коткова. М., 1971. 754 с. С. 26–28.

Dolger F., Karayannopoulos J. Byzantinische Urkundenlehre. München, 1968. 1. Abschnitt. S. 97–104.

Kashtanov S. M. The Centralized State and Feudal Immunities in Russia // *The Slavonic and East European Review*. London, 1971. Vol. 49. № 115. P. 235–254.

Kashtanov S. M. Les actes privés et le début du notariat en Russie // *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática Valencia, 1989. Vol. 2. P. 927–928.

Kashtanov S. M. Les chartes des grands-princes et tzars de la Russie aux monastères du Mont Athos (XV^e siècle) // XVIII Междунар. конгресс византинистов. М., 1991. Ч. 1. С. 498–499.

Akty' Russkogo gosudarstva 1505–1526 gg. [Acts of Russian state 1505–1526 yrs.]. (1975). Moscow.

Bulygin, I. A. (Comp.). (1984). *Pravila izdaniya «Aktov Russkogo gosudarstva XVI – nachala XVII v.»* [The rules of publication of the “Acts of Russian state of the 16th – early 17th c.”]. Moscow.

Dolger, F. & Karayannopoulos, J. (1968). *Byzantinische Urkundenlehre* (pp. 97–104). München.

Ivina, L. I. (Ed.). (1983). *Akty' feodal'nogo zemlevladieniya i hozyajstva. Akty' moskovskogo Simonova monasty'rya (1506–1613 gg.)*. [Acts of feudal tenure and economy. Acts of Moscow Simon monastery (1506–1613 yrs.)]. Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1957). Iz istorii poslednih udelov [From the history of last domains]. In *Trudy' MGIAI*. (Vol. 10, pp. 257–302). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1958). Hronologicheskij perechen' immunitetny'h gramot XVI v. [Chronological list of immunity charters of the 16th c.]. (Part 1). In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1957 god* (pp. 302–376). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1958). Ogranichenie feodal'nogo immuniteta pravitel'stvom Russkogo centralizovannogo gosudarstva v pervoj treti XVI v. [Restriction of feudal immunities by Russian centralized state in the first third of the 16th c.]. In *Trudy' MGIAI*. (Vol. 11, pp. 269–296). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1959). Immunitetny'e gramoty 1534 – nachala 1538 g. kak istochnik po istorii vnutrennej politiki v period regentstva Eleny' Glinskoj [Immunity charters in 1534 – early 1538 yr. as a source of the history of internal policy during Elena Glinskaya regency]. In *Problemy' istochnikovedeniya*. (Vol. 8, pp. 372–420). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1960). Feodal'nyj immunitet v gody' boyarskogo pravleniya (1538–1548) [Feudal immunities during boyar government (1538–1548)]. In *Istoricheskie zapiski*. (Vol. 66, pp. 239–268).

Kashtanov, S. M. (1961). O vnutrennej politike Ivana Groznogo v period «velikogo knyazheniya» Simeona Bekbulatovicha [On internal policy of Ivan the Terrible during “great reign” of Simeon Bekbulatovich]. In *Trudy' MGIAI*. (Vol. 16, pp. 427–462). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Robinson, A. N. (1961). Dve zhalovanny'e gramoty' pskovskim monasty'ryam [Two grant-charters to Pskov monasteries]. In *Zapiski Otdela Rukopisej Gosudarstvennoi biblioteki SSSR im. V. I. Lenina*. (Vol. 24, pp. 221–258). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1962). Hronologicheskij perechen' immunitetny'h gramot XVI v. [Chronological list of immunity charters of the 16th c.]. (Part 2). In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1960 god* (pp. 129–200). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1963). Chertezh zemel'nogo uchastka XVI v. [Draft of a land lot in the 16th c.]. In *Trudy' MGIAI*. (Vol. 17, pp. 429–436).

Kashtanov, S. M. (1963). K izucheniyu oprichniny' Ivana Groznogo [On studying oprichnina of Ivan the Terrible]. *Istoriya SSSR*, 2, 96–117.

Kashtanov, S. M. (1963). Sostav immunitetny'h gramot pervoj poloviny' XVI v. [Contents of immunity charters of the first half of the 16th c.]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1962 god* (pp. 98–100). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1964). Gramoty' Moskovskogo Simonova monasty'rya kak istochnik dlya izucheniya voprosa ob otmene tarhanov v 1575/76 g. [Charters of Moscow Simon monastery as a source for studying the question on tarkhan withdrawal in 1575/76 yr.]. In *Issledovaniya po otechestvennomu istochnikovedeniyu* (pp. 499–503). Moscow; Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1965). Diplomatika kak special'naya istoricheskaya disciplina [Diplomatics as a special historical discipline]. *Voprosy' istorii*, 1, 39–44.

Kashtanov, S. M. (1965). K voprosu ob otmene tarhanov v 1575/76 g. [Revisiting the tarkhan withdrawal in 1575/76 yr.]. In *Istoricheskie zapiski*. (Vol. 77, pp. 209–235).

Kashtanov, S. M. (1966). Obshhie zhalovanny'e gramoty' Troice-Sergievu monasty'ryu 1550, 1577 i 1578 gg. na vse votchiny' (sootnoshenie tekstov) [General grant-charters to the Trinity Lavra of St. Sergius of 1550, 1577 and 1578 yrs. for all the lands (correspondence of texts)]. In *Zapiski Otdela rukopisej Gosudarstvennoj biblioteki SSSR im. V. I. Lenina*. (Vol. 28, pp. 96–142). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1967). *Social'no-politicheskaya istoriya Rossii koncza XV – pervoj poloviny' XVI v.* [Politico-social history of Russia of the late 15th – first half 16th c.]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (1968). Cennoe svidetel'stvo o zemskoj reforme serediny' XVI v. [Valuable evidence on land reform in the middle of the 16th c.]. *Sovetskoe arkhivovedenie*, 5, 49–54.

Kashtanov, S. M., Nazarov, V. D. & Florya, B. N. (1968). Hronologicheskij perechen' immunitetnyh gramot XVI v. [Chronological list of immunity charters in the XVI c.]. (Part 3). In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1966 god* (pp. 197–253). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1969). Diplomaticheskij sostav drevnerusskogo akta [Diplomatic contents of an Old Russian act]. In *Vspomogatel'ny'e istoricheskie discipliny'*. (Vol. 2, pp. 143–159). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1969). Predmet, zadachi i metody' diplomatiki [Object, tasks and methods of diplomatics]. In *Istochnikovedenie: Teoreticheskie i metodicheskie problemy'* (pp. 134–170). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1970). Feodal'ny'j immunitet v svete marksistsko-leninskogo ucheniya o zemel'noj rente [Feudal immunity in the light of Marxist-Leninist teaching of land rent]. In *Aktual'ny'e problemy' istorii Rossii e'pohi feodalizma* (pp. 172–173, 193, 198). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1970). *Oчерки русской дипломатики* [Essays of Russian diplomatics] (pp. 341–448). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1971). The Centralized State and Feudal Immunities in Russia. *The Slavonic and East European Review*, 49, 115, 235–254. London.

Kashtanov, S. M. (1972). O procedure zaklyucheniya dogovorov mezhdu Vizantiej i Rus'yu v X v. [On the procedure of concluding treaties between Byzantium and Russia in the 10th c.]. In *Feodal'naya Rossiya vo vsemirno-istoricheskom processe* (pp. 209–215). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1973). Bogoslovskaya preambula zhalovanny'h gramot [Theological preamble of grant-charters]. In *Vspomogatel'ny'e istoricheskie discipliny'*. (Vol. 5, pp. 81–107). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1974). Monasty'rskie dokumenty' o politicheskoy bor'be serediny' XVI v. [Monastery documents on political struggle in the middle of the 16th c.]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1973 god* (pp. 29–42). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1975). Russkie knyazheskie akty' X–XIV vv. (do 1380 g.) [Russian princely acts of 10th – 14th cc. (till 1380 yr.)]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1974 god* (pp. 94–116). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1976). Intitulyaciya russkih knyazheskih aktov X–XIV vv. (Opy't pervichnoj klassifikacii) [Entitlement of Russian princely acts of the 10th–14th cc. (Attempt of primary classification)]. In *Vspomogatel'ny'e istoricheskie discipliny'*. (Vol. 8, pp. 69–83). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1979). K izucheniyu formulyara velikoknyazheskih duhovny'h gramot koncza XIV – nachala XVI v. [On studying the forms of grand prince spiritual charters of the late 14th – early 16th c.]. In *Vspomogatel'ny'e istoricheskie discipliny'*. (Vol. 11, pp. 238–251). Leningrad.

Kashtanov, S. M. (1983). Iz opy'ta aktovoj arheografii [From act archeography experience]. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1982 god* (pp. 52–79). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1985). Sovremennyye principy' izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 1). In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1983 god* (pp. 37–48). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Horoshkevich, A. L. (1985). *Metodicheskie rekomendacii po izdaniyu i opisaniyu Litovskoj metriki* [Guidelines on publication and description of Lithuanian metrics]. Vilnius.

Kashtanov, S. M. (1986). Sovremennyye principy' izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 2). In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1984 god* (pp. 75–87). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1986). Sovremennyye principy' izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 3). In *Arheograficheskiy ezhegodnik za 1985 god* (pp. 52–67). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1987). Sovremennyye principy' izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 4). In *Arheograficheskiy ezhegodnik za 1986 god* (pp. 46–58). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1988). *Russkaya diplomatika* [Russian diplomatics]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (1988). Sovremennyye principy' izdaniya latinskih gramot [Modern principles of publication of latin charters]. (Part 5). In *Arheograficheskiy ezhegodnik za 1987 god* (pp. 35–44). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1989). Les actes privés et le début du notariat en Russie. In *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática*. (Vol. 2, pp. 927–928). Valencia.

Kashtanov, S. M. (1990). K predy'storii idei "Moskva – tretiy Rim" [Prehistory of the idea "Moscow – the third Rome"]. In *Obshchestvennoe soznanie, knizhnost', literatura perioda feodalizma* (pp. 262–273). Novosibirsk.

Kashtanov, S. M. (1991). Les chartes des grands-princes et tzars de la Russie aux monastères du Mont Athos (XVI^e siècle). In *XVIII Mezhdunarodny' kongress vizantinistov*. (Part 1, pp. 498–499). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1993). O vy'razhenii «Ivanovy'm napisaniem» v letopisnom tekste russo-vizantijskogo dogovora 911 g. [About expression "Ivanovym napisaniem" in the annalistic text of the Russian-Byzantine Treaty of 911 yr.]. In *Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekov'e* (pp. 33–34). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1996). *Iz istorii russkogo srednevekovogo istochnika: Akty' X–XVI vv.* [From the history of Russian medieval source: Acts of the 10th–16th cc.]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (1996). K voprosu o proishozhdenii teksta russo-vizantijskikh dogovorov X v. v sostave Povesti vremenny'h let [Revisiting the origin of the text of Russian-Byzantine treaties of the 10th c. as a part of the Tale of Bygone Years]. In *Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekov'e* (pp. 39–42). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1997). Evolyuciya velikoknyazheskogo i czarskogo titula v gramotah afonskim monasty'ryam XVI v. [Evolution of the grand prince and tsar's title in the charters to Athos monasteries in the 16th c.]. In *Rossiya i hristianskiy Vostok*. (Iss. 1, pp. 105–134). Moscow.

Kashtanov, S. M. (1998). *Aktovaya arheografiya* [Act archaeography]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (2000). O napisanii i udostoverenii knyazheskikh aktov [On writing and verification of princely acts]. In *Rossiiskoe samoderzhavie i byurokratiya* (pp. 29–49). Moscow; Novosibirsk.

Kashtanov, S. M. (2001). K istorii russo-grecheskikh kul'turny'h svyazey v XVI v. [To the history of Russian-Greek cultural contacts]. In *Moskovia: Problemy' vizantijskoj i novogrecheskoj filologii* (pp. 209–218). Moscow.

Kashtanov, S. M. (2006). Dogovor Rossii s Livoniej 1535 g. [Russian-Livonian treaty of 1535 yr.]. In *Problemy' istochnikovedeniya*. (Iss. 1 (12), pp. 167–297). Moscow.

Kashtanov, S. M. (2006). K istorii holopstva v XVI v. [On the history of velleinage of the 16th c.]. In *Vremena i sud'by': Sbornik statej v chest' 75-letiya V. M. Paneyaha* (pp. 357–380). St. Petersburg.

Kashtanov, S. M. (2012). *Issledovanie o moldavskoj gramote XV veka* [Research on Moldavian charter of the 15th century]. Moscow.

Kashtanov, S. M. (2014). *Issledovaniya po istorii knyazheskikh kancelyarij srednevekovoj Rusi* [Researches on the history of the princely office in the medieval Russia] (pp. 483–638). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Horuzhenko, O. I. (Eds.). (1997). Gramoty' iz arhiva Moskovskogo Arhangel'skogo sobora [Charters from the archive of the Archangel Michael Cathedral in Moscow]. In *Arheograficheskiy ezhegodnik za 1997 god* (pp. 390–438). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Matveeva, E. E. (Eds.). (2001). Novonajdannaya zhalovannaya gramota Ivana III i Vasiliya III 1504 g. Spasskomu Valaamskomu monasty'ryu [Newly

found grant-charter of Ivan III and Vasily III of 1504 yr. to Spassky Valaam Monastery]. Father Onuphrius, Spaso-Valaam Monastery (Afterword). In *Arheograficheskiy ezhegodnik za 2000 god* (pp. 419–447). Moscow.

Kashtanov, S. M. & Stolyarova, L. V. (Eds.). (2004). *Rossiya i grecheskiy mir v XVI veke* [Russia and Greek world in the 16th century]. (Vol. 1). Moscow.

Kistev, S. N. (2005). Novoe izdanie dokumentov o Rossii i grecheskom mire v XVI veke [New edition of documents in Russia and Greek world in the 16th century]. In *Ocherki feodal'noj Rossii*. (Vol. 9, pp. 311–334). Moscow.

Knyazevskaya, O. A., Dem'yanov, V. G. & Lyapon, M. V. (Eds.). (1971). *Uspenskiy sbornik XII–XIII vv.* [Uspensky collection of the 10th–13th cc.] (pp. 26–28). Moscow.

Kubbel', L. E. (1974). *Songajskaya derzhava* [Songhai power]. Moscow.

Nikitin, N. I. (1993). Pis'mo v redakciyu: Ob «uslozhnennykh» i «uproszhennym» pravilam izdaniya aktovykh istochnikov [A letter to the editorial: On “complicated” and “simplified” rules of publishing act sources]. *Otechestvennyye arkhivy*, 4, 120–121.

Otdatochnyye knigi Troice-Sergieva monasty'rya 1649–1650 gg. [Returning books of Trinity Lavra of St. Sergius in 1649–1650 yrs.]. (1953). In *Istoricheskiy arkhiv*. (Vol. 8, pp. 198–220).

Pamyatniki russkogo prava [Monuments of Russian law]. (1955). (Vol. 3, pp. 83–150). Moscow; (1956). (Vol. 4, pp. 99–170, 287–289). Moscow; (1959). (Vol. 5, pp. 47–134). Moscow.

RGADA. Fond 64: Snosheniya Rossii s Lifyandiej i E'styandiej. Op. 2. № 7. L. 1–2 [Russian state archive of ancient acts. Stock 64: Relations between Russia and Livonia and Esthonia. List 2. № 7. Leaf 1–2.].

Sinicy'na, N. V. (1965). Poslanie Maksima Greka Vasiliyu III ob ustrojstve afonskih monasty'rei (1518–1519 gg.) [Letter of Maximus the Greek to Vasily III about the organization of Athos monasteries]. In *Vizantijskiy vremennik*. (Vol. 26, p. 130).

Sobstvennost' v Rossii: Srednevekov'e i rannee novoe vremya [Property in Russia: middle ages and early modern period]. (2001). (pp. 7–40). Moscow.

Sokrashhennyj letopisnyj svod 1493 g. [Brief chronicle of 1493 yr.]. (1962). In *Polnoe Sobranie Russkikh Letopisej*. (Vol. 27, pp. 7–10, 163–298). Moscow.

Sokrashhennyj letopisnyj svod 1495 g. [Brief chronicle of 1495 yr.]. (1962). In *Polnoe Sobranie Russkikh Letopisej*. (Vol. 27, pp. 10–14, 299–367). Moscow.

Stolyarova, L. V. (2005). Problemy istorii feodal'noj Rossii v tvorchestve Sergeya Mihajlovicha Kashtanova [The problems of feudal Russia in works of Sergey Mikhailovich Kashtanov]. In *Ad Fontem=U istochnika: Sbonik statej v chest' Sergeya Mihajlovicha Kashtanova* (pp. 7–77). Moscow.

The article was submitted on 21.08.2014

Столярова Любовь Викторовна

д. и. н.

Россия

Институт всеобщей истории РАН

lvsto@mail.ru

Stolyarova Lyubov', Dr

Russia

Institute of World History, Russian

Academy of Sciences

lvsto@mail.ru

Королева Светлана Юрьевна

научный сотрудник

Россия

Институт всеобщей истории РАН

korolevoy@mail.ru

Koroleva Svetlana

Researcher

Russia

Institute of World History, Russian

Academy of Sciences

korolevoy@mail.ru



Critica



**ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ,
ИЛИ КАК НАМ ЛЮБИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК**

Рец. на: *Ирзабеков В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. М. : Даниловский благовестник, 2010. – 93 с.; Ирзабеков В. Святая сила слова. Не предать родной язык. М. : Даниловский благовестник, 2011. – 176 с.*

Natalia Dyachkova

**ONCE A LIAR, OR HOW WE SHOULD LOVE
THE RUSSIAN LANGUAGE**

Review of Irzabekov, V. (2010). *Tajna russkogo slova. Zametki nerusskogo cheloveka* [Secret of Russian word. Notes of non-Russian man]. 93 p. Moscow: Danilovskij blagovestnik; Irzabekov, V. (2011). *Svyataya sila slova. Ne predat' rodnoj yazy'k* [Holy power of a word. Not to betray the native language]. 176 p. Moscow: Danilovskij blagovestnik.

The article analyzes books on the Russian language by V. Irzabekov which are supposed to count as popular scholarly literature. The author of the aforementioned books means to evoke love for the Russian language in the reader. However, the reviewer proves the pseudo-scholarly nature of the books and draws the reader's attention to the author's linguistic incompetence and the unethical character of his reasoning.

Keywords: V. Irzabekov; history of the Russian language; pseudoscience; falsification of meaning; Orthodox culture.

В статье анализируются книги В. Ирзабекова о русском языке, претендующие на статус научно-популярных. Их автор ставит своей целью возбудить в читателях любовь к русскому языку. Однако рецензент показывает псевдонаучный характер рассматриваемых произведений и обращает внимание читателей на лингвистическую некомпетентность автора и неэтичность его аргументации.

Ключевые слова: В. Ирзабеков, история русского языка, псевдонаучность, фальсификация смысла, православная культура.

О необходимости любить родной русский язык сказано очень много. При этом бесчисленное количество раз процитированы знаменитые слова И. С. Тургенева о великом и могучем русском языке, который дан великому народу. Однако признание за русским языком этих качеств не должно возбуждать в нас чувство самодовольства и презрения к языкам других народов. Тем не менее именно тезис о «великом и могучем» используют некоторые ревнители русского языка для своей пропаганды ксенофобии и ложного патриотизма. Правда, к этому тезису сегодня прибавлен еще один – о «сакральности» русского языка. Так, В. Д. Ирзабеков, автор популярных среди православного народа брошюр о «святой силе русского слова», говорит и пишет о том, что русский язык – это пятое Евангелие, что это самый лучший язык в мире. Он любит рассуждать о «богоносности русской нации», о необычайных достоинствах «природных русских», о том, что «изучающие русский язык лучше мыслят», а также о том, что есть «русские с нерусской душой» [Ирзабеков, 2010; 2011]. Из его лекции, прочитанной в духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Сергиевой лавры, я узнала, например, что французский язык «очень уступает русскому», что на французском нельзя мыслить, а «можно только болтать». Французов же В. Д. Ирзабеков вообще называет французишками [Александр Семенович Шишков]. И такие лекции, как явствует из аннотаций к его книжкам, он читает в сотнях аудиторий [Ирзабеков, 2011, с. 2].

Издатели сообщают нам, что В. Д. Ирзабеков – исследователь русского языка, сам автор также постоянно подчеркивает, что он филолог. «В Баку <я> окончил Институт русского языка и литературы имени Ахундова. Поверьте, более глубокого и всестороннего изучения русского языка ни в одном другом вузе Советского Союза не было», – признается он [Православный азербайджанец].

На встречах с читателями В. Д. Ирзабеков говорит, что он много лет читает авторский курс «Русский язык как Евангелие». Но что значит «русский язык как Евангелие»? Если речь идет о том, что в русской языковой картине мира мы находим отражение евангельского учения, то с таким же успехом Евангелием можно назвать любой другой язык, носитель которого исповедовал христианство. Одной из важнейших функций языка является функция кумулятивная, иначе – накопительная, и любой язык является своеобразным «хранилищем» внеязыкового опыта того народа, которому принадлежит. Ярче всего кумулятивная функция проявляется на лексическом уровне языковой системы, потому что именно слова являются «ярлыками» предметов и явлений окружающего мира. Изучая историю слов и фразеологизмов, можно многое узнать о бытовой и духовной жизни народа. Этим занимается, в частности, лингвокультурология.

Свои популистские, изобилующие фактическими ошибками рассуждения о русском языке он использует для проповеди православного духовно-нравственного идеала. Однако не нами сказано: «Единожды солгавший, кто тебе поверит?»

Филолог В. Д. Ирзабеков не различает синхронию и диахронию, игнорирует явление многозначности, буквально толкует фразеологизмы, смешивает церковнославянский и русский языки; для оценки явлений современного русского языка использует словарь В. Даля; отождествляет орфографию и сам язык; последним словом в науке считает сочинение А. С. Шишкова «Славянорусский корнеслов».

Так, ссылаясь на авторитет Шишкова, В. Д. Ирзабеков утверждает, что этимология слова «человек» такова: *словек – цловек – чловек – человек*. «И дело не только в том, – завершает он свои рассуждения, – что таким образом подчеркивается главное отличие людей, как существ словесных, мыслящих словами, от всего живого, сотворенного Богом, но и в том, что Слово – это прежде всего имя Самого Бога!» [Ирзабеков, 2010]. Относиться к этимологическим разысканиям А. С. Шишкова нужно с большой осторожностью. Профессор А. М. Камчатнов в докладе «Невежество как добродетель, или “Славянорусский корнеслов”», прочитанном на XIX Международных Рождественских образовательных чтениях, отметил: «Во времена А. С. Шишкова такой науки, как историческая фонетика, еще попросту не существовало, поэтому ему нельзя поставить в упрек, что он в своих этимологических штудиях основывался на чисто внешнем и часто случайном сходстве в звучании слов разных языков; это был общий уровень науки конца XVIII – начала XIX века». Однако сегодня некоторые защитники русского языка используют авторитет адмирала Шишкова и авторитет науки в целом «для подтверждения своих безумных идей» [Камчатнов].

В этом докладе профессор А. М. Камчатнов подверг критике невежественного издателя книги А. С. Шишкова, который использовал добросовестные заблуждения последнего для своей антизападнической пропаганды. Вот «примечания» этого издателя: «Продолжим размышлять, сравнивая наши слова с подобными им чужаками, и заметим впервые в своем языке слова-эмигранты. Когда-то они уехали, то есть были скопированы в инязы, пожили там вдоволь, а в эпоху мерзкого евро-подобострастия верхов наших вернулись домой. Вернулись сильно опущенными и обезображенными. Ведь католическая Европа тыщу лет исполняла Люциферу, своему просветителю – ангелу света, ораторию под визг и ор железных органов, чтоб поднять из мертвых свою веру. Однако наши просвещенные (инязами же) уши и умы, по сей день воспринимают чужаков многозначительнее родных слов-родителей. Отсюда и корень отечественной гибели: самые бредовые советы иностранцев выслушивают, как живую истину». Приводя эту цитату, А. М. Камчатнов заключает: «Такой же тошнотворной злобной галиматьей (прошу прощения за неакадемические выражения) являются и другие примечания Примечателя» [Там же].

Что касается научной этимологии слова «человек», то она такова: это слово общеславянского происхождения, оно возникло путем сло-

жения с помощью соединительной гласной *o* из **cel-* и **vekъ*, в котором первая часть имеет значение ‘член рода или семьи’, а вторая – ‘здоровье, сила’. Слово «человек» буквально означает ‘член рода или семьи, исполненный силы’ [Шанский, Боброва]. В пользу версии о том, что часть **vekъ* имеет значение ‘сила’, высказывается Макс Фасмер. Об этом, по мнению ученого, «может свидетельствовать диалектное “обезвекнуть”, то есть ‘ослабеть’» [Фасмер, с. 328]. В русском языке есть фразеологизм «заедать чужой век». В историко-этимологическом справочнике русской фразеологии сказано, что «фразеологизм связывают с комплексом верований, в соответствии с которыми поедание чужого куска хлеба равносильно присвоению чужих сил и здоровья. Слово “век” – из общеславянского **vekъ* ‘жизненная сила’» [Бирх, Мокиенко, Степанова, с. 70]. В «Истории слов» В. В. Виноградов писал: «Первоначальное значение у слова *selovekъ* предполагается ‘мужчина как член рода’. Это слово формировалось в период родовой организации. В это время человек мог быть только в составе своего рода, племени; вне его он не был “человек”, он был враг, он был беспомощен» [Виноградов]. Слово «человек», таким образом, уходит своими корнями в дохристианскую общеславянскую эпоху, так же, впрочем, как и слово «слово»; его этимологические родственники «слава», «слыть» [Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера].

Примеров народной, то есть ненаучной, этимологии очень много на страницах рецензируемых брошюр. Например: «Еще в детстве я слышал, что счастье – это “сейчас есть”» [Ирзабеков, 2011, с. 10]. В действительности же общеславянское слово «счастье» образовано от слова «чясть» (оно писалось через букву «юс малый») с помощью приставки *съ-* в значении ‘хороший’ и суффикса *-ij-* и буквально означало ‘хорошая часть, доля’ [Шанский, Боброва].

Столь же некомпетентными являются суждения В. Д. Ирзабекова о фактах современного русского языка. На вопрос журналистки о том, часто ли он выступает в школах и о чем он там говорит, В. Д. Ирзабеков отвечает: «Скажем, привычное: “А я – учитель”. Ведь произносящие эти слова дерзают называть себя так, как ученики называли Самого Христа... <...> Нужно последовательно снимать со слов повседневный налет и показывать их истинный драгоценный смысл» [Ирзабеков, 2011, с. 14].

«Учитель» – слово многозначное. И те, кто говорит: «Я учитель», используют его в значении ‘тот, кто преподает какой-либо учебный предмет в школе; преподаватель’. В. Д. Ирзабеков имеет в виду значение ‘человек, обладающий высоким авторитетом для кого-либо в какой-либо области, имеющий последователей’ [Большой толковый словарь, с. 1411]. Что означает его призыв «снимать со слов повседневный налет и показывать их истинный драгоценный смысл»? Игнорировать факт многозначности этого слова и употреблять его только как имя Иисуса Христа?

В другом случае он призывает отказаться от «лукавой, большевистской традиции... эксплуатировать в своих идеологических целях слова и понятия, традиционно любимые русскими людьми, близкие и дорогие русскому сердцу: красно солнышко, красна девица, красный угол» [Ирзабеков, 2011, с. 78]. Однако большевики употребляли прилагательное «красный» в значении 'относящийся к революционной деятельности, революционный; связанный с советским строем, с Красной армией, крайний левый по политическим убеждениям; революционно настроенный'. Что же касается «красной девицы», то «красная» в этом, традиционно-поэтическом, употреблении значит 'красивая'. В словосочетании же «красный угол» прилагательное употреблено в значении 'парадный, почетный'. А в словосочетании «красно солнышко» реализуется народно-поэтическое значение 'ясный, яркий, светлый' [Большой толковый словарь, с. 467].

Несколько слов скажем об интерпретации автором фразеологизмов – устойчивых единиц языка, значение которых не выводимо из значения составляющих их слов. Буквальное толкование фразеологизма, то есть разрушение его целостного смысла, может свидетельствовать либо о языковой игре (в этом случае это специальный прием, средство создания комического), либо о нарушении нормы литературного языка. В. Д. Ирзабеков сокрушается: «...мы утрачиваем это состояние (непрерывного диалога с Богом. – Н. Д.), отсюда и появляются такие речевые обороты, как “я не в духе”. А почему ты не в духе? <...> Для святых быть в духе – это нормальное состояние. А мы швыряемся такими словами и девальвируем высокие понятия» [Ирзабеков, 2011, с. 17].

Фразеологизм «не в духе» означает 'в плохом настроении' [Фразеологический словарь, 1986, с. 148]. Он не появляется, как думает автор, но существует в нашем языке как целостная лексическая единица. Например:

- «Не надо... я не то чтобы больна! А... так! *Не в духе!*.. все нейдет на лад, Что ни начну!..» (Лермонтов);
- «Карл Иванович был очень *не в духе*. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод...» (Л. Толстой) [Там же, с. 148].

Этимологически «[быть] в духе/не в духе» – выражения, берущие начало из библейского текста, как, впрочем, и сотни других фразеологизмов русского языка, например: *камень преткновения, в мгновение ока, внести свою лепту, терновый венец, лезть на рожон, гробы поваленные, знамение времени, краугольный камень, насущенный хлеб, соль земли, слуга двух господ, смертный грех, строить на песке, не хлебом единым, тьма кромешина, тяжелый крест* и многие др. Однако с точки зрения синхронии это не имеет никакого значения, и в приведенных выше примерах нет никакой «девальвации высокого понятия».

А вот еще пример буквального толкования фразеологизма. «Поразительно, – удивляется В. Д. Ирзабеков, – но мы совершенно

спокойно произносим фразы типа “избили друг друга” или же “оскорбили друг друга” Друг не может избить и оскорбить друга по определению. В противном случае один из них, а то и оба сразу же перестают быть друзьями [Ирзабеков, 2011, с. 78]. Оборот «друг друга» в современном русском языке означает ‘один другого’, ни о какой дружбе речь не идет. Более того, современное значение слова «другой» (‘не этот, не данный’) развилось именно в устойчивых оборотах «друг друга», «друг другу» [Шанский, Боброва].

По поводу фразеологизма «Фома неверный/неверующий», который означает ‘человек, которого трудно, невозможно заставить поверить чему-либо’ [Фразеологический словарь, 2001, с. 670], В. Д. Ирзабеков замечает: «...всегда болезненно относясь к утвердившейся... традиции прибавлять к имени этого святого апостола обидную – если не оскорбительную – характеристику *неверующий*...». Фразеологизмы, как известно, не производятся, а *воспроизводятся*, поэтому, произнося «Фома неверный/неверующий», мы ничего не прибавляем – это целостная лексическая единица. А если говорить об истории этого фразеологизма, то можно напомнить автору, что эту якобы оскорбительную характеристику дал апостолу Фоме Сам Господь Наш Иисус Христос.

Исследователь не должен прибегать к уловкам и подтасовкам даже из самых благородных побуждений. Но именно так и поступает В. Д. Ирзабеков. Справедливо критикуя песенный «хит» «Все мы бабы – стервы» за его вульгарность, автор пишет: «Захотелось узнать – а что, собственно, означает слово, простите, стерва? <...> Полез, как водится, в словарь В. И. Даля» [Ирзабеков, 2011, с. 77]. В словаре В. И. Даля написано, что стерва – это «труп околевшего животного, скота; падаль, мертвечина, дохлятина...» [Даль, с. 323]. Ссылка на словарь Даля некорректна. Для оценки фактов современного русского языка нужно использовать нормативные словари. В Большом толковом словаре, в частности, сказано, что слово «стерва» является бранным и означает ‘бессовестная, нахальная женщина’ [Большой толковый словарь, с. 1267].

В. Д. Ирзабеков не различает церковнославянский и русский языки. Вот типичный пример его рассуждений: «Если слово “живот” еще несколько столетий назад в церковнославянском было именем Христа (“Я есть Живот, и Истина, и Жизнь”), то сегодня живот – это брюхо! “Какая житуха, если пустое брюхо?”» [Ирзабеков, 2011, с. 68]. Этот пример (заметим, кстати, что автор неверно цитирует Священное Писание) понадобился автору для рассуждений об «упадке» русского языка, его деградации. Но разве цель оправдывает средства? Во-первых, в церковнославянском языке слово «живот» многозначно, оно означает: 1) ‘жизнь’; 2) ‘Жизнь как именование Христа и Пресвятой Троицы’; 3) ‘земная жизнь, образ жизни’; 4) ‘пропитание, имущество’ [Седакова, с. 124]. Во-вторых, в современном русском языке тоже есть слово «живот» в значении ‘жизнь’. Именно слово,

а не значение, потому что в современном русском языке есть три омонима «живот»: «Живот 1 – ‘Часть тела у человека и животных, в которой расположены органы пищеварения’. Живот 2 – ‘Устар. = Жизнь (2 зн.)’. Живот 3 – ‘Устар. и нар.-разг. 1. Домашнее животное (обычно о лошади). 2. мн.: животы, -ов. Имущество, богатство’» [Большой толковый словарь, с. 305].

В. Д. Ирзабеков пишет: «Как часто слышим мы в чей-то адрес, что он, дескать, неверный муж, а кто-то выбрал в этой жизни неверный путь. Если же вслушаться, то неверный муж – это, прежде, неверующий человек, живущий не по-христиански. <...> ...Избравший неверный путь есть также уклонившийся от спасительного пути, иначе грешник. ...Быть верным – значит быть верующим во Христа! Не случайно в тексте Евангелия слова *неверный* и *развращенный* в речи Спасителя не просто соседствуют, но и звучат как суть синонимы: “о, род неверный и развращенный, доколе буду с вами?”» [Ирзабеков, 2011, с. 88].

На самом деле слова «неверный» и «развращенный» в церковнославянском языке, вопреки утверждению В. Д. Ирзабекова, отнюдь не синонимы. В церковнославянском «неверный» – это ‘не имеющий веры’, а в русском – ‘изменяющий своему долгу’ (муж) или ‘неправильный’ (путь). «Развращенный» в церковнославянском – ‘превратный’, а в русском – ‘развратный, нравственно испорченный’¹.

Так же неверно объясняет автор смысл выражения «яко Начальника тишины родила еси». Под словом «тишина» он понимает ‘отсутствие звуков, говора, шума; безмолвие, молчание’ [Там же, с. 16]. Слово «тишина» в церковнославянском языке, по данным О. А. Седаковой, означает: ‘морской штиль, спокойствие’, а слово «начальник» – ‘начинатель, владыка’ [Седакова, с. 357, 191]. «Начальник тишины» – это буквально ‘владыка морского штиля, начинатель спокойствия’. Очевидно, что это поэтическая метафора, каких много в языке молитв.

От подобных смысловых иллюзий предостерегает О. А. Седакова (автор словаря церковнославянорусских паронимов). Так, слово «озлобленный» в церковнославянском языке означает ‘обиженный’, а в русском – ‘обозлившийся»; слово «непостоянный» в церковнославянском означает ‘невыносимый’, ‘нестерпимый’, ‘неодолимый’, а в русском языке – ‘переменчивый’, ‘неустойчивый’. Глагол «требовать» в русском языке – это ‘решительно просить’, а в церковнославянском – ‘сильно нуждаться’ [Там же, с. 7].

В. Д. Ирзабеков отождествляет язык и правописание. На некорректный вопрос журналистки «как вы отнеслись к реформам русского языка, которые совсем недавно были приняты?», он отвечает: «Плохо, очень плохо отнесся... Это продолжение большевистской

¹ См.: верный, верующий [Большой толковый словарь, с. 119, 120], неверный, неверующий [Там же, с. 614], развращенный, развратный [Там же, с. 1064]; вѣрный, невѣрный, развращенный [Седакова, с. 101, 194, 294].

линии в отношении русского языка. Эти новшества коверкают и уродуют русскую речь. А русское слово – сакрально! С ним нельзя вот так вот вольно обращаться...» [Ирзабеков, 2011, с. 75]. В диалоге речь идет о проекте реформы орфографии. Какой бы ни была судьба этого проекта, как можно говорить о том, что орфография уродует русскую речь? И разве пострадает «сакральность русского слова» от того, что слово парашЮт мы станем писать так: парашУт?

Председатель Орфографической комиссии РАН В. В. Лопатин так разъяснял суть реформы: «Предлагаются отдельные изменения, в основном касающиеся... слитных, раздельных и дефисных написаний и... употребления прописных и строчных букв; устраняются некоторые исключения» [Лопатин]. А вот мнение М. А. Кронгауза: «Я уверен, что проведение реформы, если она состоится, ни для кого не будет катастрофой (просто в силу незначительности изменений). И все же... Короче говоря, я за парашЮт. И, как говаривал герой одного фильма, делайте со мной что хотите» [Кронгауз]. Так рассуждают профессиональные лингвисты, которые отличают язык от правописания, а объективную оценку событий – от собственных вкусовых предпочтений.

Стоит, наверное, упомянуть и о том, как трактует В. Д. Ирзабеков природу обсценной лексики. По твердому убеждению автора, мат имеет тюркское происхождение [Ирзабеков, 2011, с. 31]. Однако предположение о том, что у русского мата тюркские корни, уже давно отвергнуто историками языка. Б. А. Успенский в работе «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии» показывает, что матерная лексика имеет общеславянскую природу, что мат возник в дохристианскую эпоху, что матерная брань имела в языческом мире культовые функции и что объект действия в матерном выражении был связан с культом Матери Земли. С приходом христианства эта лексика подверглась табуированию [Успенский, с. 53–128].

А можно ли всерьез относиться к таким, например, высказываниям филолога? «Мне сказали: ты, мол, пишешь, доказываешь, что исконно русские слова – христианские, новозаветные. Однако Русь крестилась лишь в десятом веке... А язык-то существовал и до этого! Как такое может быть? Иногда мне задают такие вопросы. Я его и сам себе тысячу раз задавал. Господь меня утешил... Мне знаете, что помогло? Публикация из журнала "Вокруг света"... Речь в статье шла о найденных археологами зернах пшеницы, пролежавших в запечатанном глиняном сосуде очень долго, чуть не тысячу лет. Зерна были высеяны и, получив солнечный свет и тепло, проросли. Так вот в чем дело: изначально эти слова были даны формирующейся русской нации для будущей жизни. Какое-то время они служили, не обнаруживая своей истинной красоты. <...> Нужно было солнце, тепло. Этим светом стала христианская вера. И тогда все они обрели свой глубинный смысл. Как те зерна, они проросли, поэтому в Евангелии Христос и называется также Светом» [Ирзабеков, 2011, с. 67]. Красиво сказано, однако

вряд ли автор рискнет выступить с подобной аргументацией перед профессиональными историками языка.

К сожалению, это далеко не полный перечень благоглупостей, с помощью которых филолог В. Д. Ирзабеков пытается пробудить в читателях и слушателях любовь к русскому языку и православию.

Исчерпывающую характеристику подобным «исследованиям» дает академик А. А. Зализняк. В статье «О профессиональной и любительской лингвистике» ученый, в частности, пишет, что сегодня «приходится сталкиваться с такой любительской лингвистикой, которая пронизана стремлением обосновать некую более общую идею» [Зализняк]. В нашем случае такой идеей является идея защиты святого русского языка от внешних врагов, которые хотят «перекроить наш русский кафтан на западный фасон» [Ирзабеков, 2011, с. 27]. Под благовидным предлогом «защиты святого русского языка» и от имени православия проповедуются ксенофобия и ложный патриотизм.

Русский язык не нуждается в защитниках, которые пользуются лукавыми приемами, пусть и из самых благородных побуждений, а свои дилетантские суждения о языке сопровождают ссылками на Священное Писание. И вообще язык не нуждается ни в чьей защите, а вот мы все – нуждаемся. От кого? От тех, кто нарушает этические и собственно языковые нормы (орфоэпические, акцентологические, лексические, стилистические, грамматические, орфографические и пунктуационные). А еще мы нуждаемся в защите от навязывания нам антинаучных и антиправославных по своей сути взглядов.

Александр Семенович Шишков – патриарх русской словесности: [видеозапись] / фильм-лекция с уч. Ирзабекова В. Д.; студия «Обитель» Троице-Сергиевой лавры [Электронный ресурс]. URL: [http://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=R_WGCCLN8gE&text=Шишков – патриарх русской словесности&_id=1413956496609](http://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=R_WGCCLN8gE&text=Шишков%20-%20патриарх%20русской%20словесности&_id=1413956496609) (дата обращения: 22.10.2014).

Бирх А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб. : Фолио-Пресс, 2001. 704 с.

Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 1998. 1536 с.

Виноградов В. В. История слов [Электронный ресурс] // Академик.ru: [сайт]. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/813/ЧЕЛОВЕК> (дата обращения: 22.10.2014).

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М. : Русский язык, 1980. Т. 4. 684 с.

Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике [Электронный ресурс] // Наука и жизнь. № 1. 2009. URL: <http://elementy.ru/lib/430720> (дата обращения: 22.10.2014).

Ирзабеков В. Тайна русского слова. Заметки нерусского человека. М. : Даниловский благовестник, 2010. 93 с.

Ирзабеков В. Святая сила слова. Не предать родной язык. М. : Даниловский благовестник, 2011. 176 с.

Камчатнов А. М. Невежество как добродетель, или «Славянорусский корнеслов» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYW1jaGF0bm9mZnxneDoxMDM5ZGIzNDNmOTcxZjQ0> (дата обращения: 22.10.2014).

Кронгауз М. Жить по «правилам», или Право на старописание [Электронный

ресурс] // Новый мир. 2001. № 8. URL: http://magazines.russ.ru/novyj_mi/2001/8/krong.html (дата обращения: 22.10.2014).

Лопатин В. Русская орфография: задачи корректировки [Электронный ресурс] // Новый мир. 2001. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/novyj_mi/2001/5/lopatin.html (дата обращения: 22.10.2014).

Православный азербайджанец Фазиль Ирзабеков потрясает Россию! [Электронный ресурс]. URL: <http://www.trend.az/life/socium/1850868.html> (дата обращения: 22.10.2014).

Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославянорусские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 432 с.

Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии [Электронный ресурс] // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2. М.: Гнозис, 1994. С. 53–128. URL: <http://ec-dejavu.ru/m-2/Mat-3.html> (дата обращения: 22.10.2014).

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 4. М.: Прогресс, 1973. 856 с.

Фразеологический словарь русского литературного языка / сост. А. И. Федоров. М.: АСТ: Астрель, 2001. 720 с.

Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. М.: Русский язык, 1986. 544 с.

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2004 [Электронный ресурс] // Академик.ru: [сайт]. URL: <http://etymological.academic.ru/5950> (дата обращения: 22.10.2014).

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера // Академик.ru [сайт]. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47711/слыть> (дата обращения: 22.10.2014).

Aleksandr Semenovich Shishkov – patriarch russkoj slovesnosti. Fil'm-lekcija s uchastiem V. D. Irzabekova; studiya "Obitel'" Troice-Sergievoj lavry [Aleksandr Semenovich Shishkov – patriarch of Russian literature. Film-lecture with the participation of V. D. Irzabekov; Studio "Obitel'" of Trinity Lavra of St. Sergius]. [Video file]. Retrieved from http://yandex.ru/video/#!/video/search?filmId=R_WGCCLN8gE&text=Шишков – патриарх русской словесности&=1413956496609

Birih, A. K., Mokienko, V. M. & Stepanova, L. I. (2001). *Slovar' russkoj frazeologii. Istoriko-etimologicheskij spravocnik* [Dictionary of Russian phraseology. Historical and etymological reference book]. St. Petersburg: Folio-Press.

Dal', V. I. (1980). *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazy'ka: v 4 t.* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. (Vols. 1–4). (Vol. 4). Moscow: Russkij yazy'k.

E'timologicheskij slovar' russkogo yazy'ka Maksa Fasmera [Max Fasmer Etymological dictionary of the Russian dictionary]. Retrieved from <http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47711/слыть>

Fasmer, M. (1973). *E'timologicheskij slovar' russkogo yazy'ka: v 4 t.* [Etymological dictionary of the Russian language]. (Vols. 1–4). (Vol. 4). Moscow: Progress.

Fedorov, A. I. (Comp.). (2001). *Frazeologicheskij slovar' russkogo literaturnogo yazy'ka* [Phraseological dictionary of the Russian literary language]. Moscow: AST: Astrel'.

Irzabekov, V. (2010). *Tajna russkogo slova. Zametki nerusskogo cheloveka* [Secret of Russian word. Notes of non-Russian man]. Moscow: Danilovskij blagovestnik.

Irzabekov, V. (2011). *Svyataya sila slova. Ne predat' rodnoj yazy'k* [Holy power of a word. Not to betray the native language]. Moscow: Danilovskij blagovestnik.

Kamchatnov, A. M. (n. d.). *Nevezhestvo kak dobrodetel', ili "Slavyanorusskij korneslov"* [Ignorance as a virtue, or "Slavic Russian etymological dictionary"]. Retrieved from <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWpbnxrYW1jaGF0bm9mZmxneDoxMDM5ZGIzNDNmOTcxZjQ0>

Krongauz, M. (2001). *Zhit' po "pravilam", ili Pravo na staropisanie* [To live according to the "rules" or the right to old writing]. *Novyj mir*, 8. Retrieved from http://magazines.russ.ru/novyj_mir/2001/8/krong.html

Kuznecov, S. A. (Comp., Ed.). (1998). *Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazy'ka* [Great Explanatory Dictionary of the Russian language]. St. Petersburg: Norint.

Lopatin, V. (2001). Russkaya orfografiya: zadachi korrekcirovki [Russian spelling: the tasks of correcting]. *Novyj mir*, 5. Retrieved from http://magazines.russ.ru/novyi_mir/2001/5/lopatin.html

Molotkov, A. I. (1986). *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazy'ka* [Phraseological dictionary of the Russian language]. Moscow: Russkij yazy'k.

Pravoslavnyj azerbajdzhanec Fazil' Irzabekov potrysaet Rossiyu! [Orthodox Azerbaijanian Fazil Irzabekov amazes Russia!]. Retrieved from <http://www.trend.az/life/socium/1850868.html>

Sedakova, O. A. (2008). *Slovar' trudny'h slov iz bogosluzheniya: Cerkovnoslavyya-norusskie paronymy'* [Dictionary of difficult words from divine service: church Slavic-Russian paronyms]. Moscow: Greko-latinskij kabinet Yu. A. Shichalina.

Shanskij, N. M. & Bobrova, T. A. (2004). *Shkol'nyj e'timologicheskiy slovar' russkogo yazy'ka. Proishozhdenie slov* [School etymological dictionary of the Russian language. Origin of the words]. Moscow: Drofa. Retrieved from <http://etymological.academic.ru/5950>

Uspenskij, B. A. (1994). Mifologicheskiy aspekt russkoj e'kspressivnoj frazeologii [Mythological aspect of Russian expressive phraseology]. In Uspenskij, B. A. *Izbranny'e trudy'*. (Vol. 2, pp. 53–128). Moscow: Gnozis. Retrieved from <http://ec-dejavu.ru/m-2/Mat-3.html>

Vinogradov, V. V. (n. d.). *Istoriya slov* [History of words]. Retrieved from <http://dic.academic.ru/dic.nsf/wordhistory/813/ЧЕЛЮБЕК>

Zaliznyak, A. A. (2009). O professional'noj i lyubitel'skoj lingvistike [On professional and amateur linguistics]. *Nauka i zhizn'*, 1. Retrieved from <http://elementy.ru/lib/430720>

The article was submitted on 12.09.2014

Наталья Александровна Дьячкова
профессор
Россия
Миссионерский институт
natalya@olymp.ru

Natalia Dyachkova
Professor
Россия
Missionerskij institut
natalya@olymp.ru

УДК 330(09) + 330(47+57)

Сергей Нефедов

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СССР –
НЕПРЕДВЗЯТЫЙ АНАЛИЗ**

Рец. на: *Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. – Т. 1 : Экономика СССР в конце 1930-х годов – 1987 г. Новосибирск : Новосибирск. гос. тех. ун-т, 2008. – 516 с.*

Sergey Nefedov

**THE ECONOMIC HISTORY OF THE USSR:
AN UNBIASED ANALYSIS**

Review of: Hanin, G. I. (2008). *E'konomicheskaya istoriya Rossii v novejshee vremya. T. 1: E'konomika SSSR v konce 1930-h godov – 1987 g.* [Economic history of Russia in contemporary history. Vol. 1: Economy of the USSR in the late 1930s–1987 yr.]. 516 p. Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstvenny'j tehnikeskij universitet.

This is a review of a book by a renowned economist G. I. Hanin, devoted to the analysis of the economic history of the USSR between 1937 and 1987. Hanin is known as the author of a method used to effectively evaluate the dynamics of Soviet and Russian economy which draws a more objective picture independent of official statistics of the USSR or Russia. Objectively and in an unbiased manner, the book describes the rise and fall of USSR's economy, focusing on policy of science and technology, which played a major role in the fall of the Soviet Union, according to the author.

Keywords: USSR, 1940–1990s years, economic development, the analysis of statistical data, estimates of gross national product, capital efficiency, the effectiveness of Soviet science, the causes of the economic crisis of the 1980s.

Публикация представляет собой рецензию на книгу известного экономиста Г. И. Ханина, посвященную анализу экономической истории СССР в 1937–1987 гг. Г. И. Ханин известен как автор эффективного метода оценки динамики и состояния советской и российской экономики, позволившего представить картину, независимую от данных официальной

статистики СССР и РФ. Книга объективно и непредвзято раскрывает картину успехов и неудач экономического развития СССР; особое внимание уделяется научно-технической политике, провал которой, по мнению исследователя, сыграл важнейшую роль в падении советского строя.

Ключевые слова: СССР, 1940–1990-е гг., экономическое развитие, анализ статистических данных, оценки валового национального продукта, эффективность капиталовложений, эффективность советской науки, причины экономического кризиса 1980-х гг.

Первый том монографии Г. И. Ханина «Экономическая история России в новейшее время» вышел в свет шесть лет назад, но эта монография до сих пор малоизвестна широкой публике, на нее почти не ссылаются специалисты, и она не удостоилась внимания рецензентов. Между тем эта книга принадлежит перу крупного экономиста, работы которого пользовались большой популярностью в период перестройки, поскольку вскрывали ошибки советской статистики и предлагали новый, отличный от официального взгляд на экономическую историю СССР. Широкую известность и огромный общественный резонанс, в частности, получила опубликованная в 1987 г. статья «Лукавая цифра» (написанная совместно с журналистом В. И. Селюниным) [Селюнин, Ханин]. Работы и экономические оценки Г. И. Ханина советского периода получили высокое признание многих советских и западных экономистов. Так, крупнейший британский экономист-советолог Алек Ноув в статье, опубликованной в 1983 г. и посвященной прекращению советского экономического роста в начале 1980-х гг., анализируя многочисленные работы советских экономистов о скрытом росте цен, позволявшего официальной статистике завышать темпы экономического роста, подробно излагает первую статью Г. И. Ханина, вышедшую в 1981 г.² Ноув «расшифровал» содержащиеся в ней относительные показатели и обнаружил убедительные доказательства драматического падения темпов развития советской промышленности в 1970-е гг. [Nove, p. 14–16].

После выхода «Лукавой цифры» работы Г. И. Ханина широко обсуждались в западной советологической литературе. Среди важнейших работ – статья профессора экономики Колумбийского университета Ричарда Эриксона «Советские статистические дебаты: Ханин против ЦСУ» [Ericson]. Автор подробно рассматривает в ней все публикации Ханина до начала 1989 г., его публичные выступления в Москве в 1987 г. и многочисленные позитивные и критические замечания в его адрес со стороны советских и западных экономистов, включая работников ЦСУ СССР, которые он оценивает очень низко, и ЦРУ США, а также ряд работ советских экономистов и журналистов по смежным с этой проблематикой вопросам. Эриксон делает вывод о решающем значении исследований Ханина в оценке экономической истории СССР, эффективности, текущего состояния и будущего советской экономики,

² См.: [Ханин, 1981].

экономической политики. Эриксон выражал надежду, что эти работы и бурные дебаты, которые они вызвали, откроют новую страницу в советской экономической науке [Ericson, p. 89–92].

Шведский экономист, экономический советник правительств России в 1992–1994 гг. Андерс Ослунд оценивал статью «Лукавая цифра» как крупное событие и «самую сокрушительную критику» официальной советской статистики [Aslund, p. 13, 47]. Ограничусь из-за недостатка места этими работами, хотя статьи Ханина в тот период обсуждались и высоко оценивались рядом других известных советологов.

Трехтомная монография Г. И. Ханина, охватывающая период с конца 1930-х гг. до 1998 г., является итогом его сорокалетних исследований и суммирует результаты тщательного, непредвзятого и очищенного от пропагандистской шелухи анализа экономического развития СССР и России. Первый том монографии включает полувековой период с 1937 по 1987 г. Автор начинает с рассмотрения успехов и неудач в развитии экономики накануне Великой Отечественной войны. Историки экономики обычно негативно оценивают этот период, указывая на дезорганизацию экономического руководства в результате репрессий и невыполнение планов третьей пятилетки. Ханин считает, что экономическая динамика была более сложной, что стагнация 1938–1939 гг. сменилась во втором полугодии 1940 г. быстрым ростом [Ханин, 2008, с. 42]³. Расчеты Ханина показывают, что рост продукции военной промышленности в 1937–1941 гг. был существенно большим, чем показывают официальные данные, даже без учета принятия на вооружение более совершенных образцов военной техники [с. 30]. Отсюда, очевидно, следует, что СССР готовился к войне более интенсивно, чем это принято считать, – хотя и по официальным данным военное производство увеличилось в 2,4 раза. Численность установленных станков за это время возросла на 86 % – именно эти новые мощности станкостроения обеспечили работу промышленности во время войны [с. 35]. Ханин обращает внимание также на резкий рост военного производства в летние месяцы 1941 г. – несмотря на начавшуюся в это время эвакуацию промышленных предприятий.

Позитивное изменение экономической динамики Ханин связывает с тем, что в 1940 г. был преодолен вызванный репрессиями организационный кризис, и с тем, что новые молодые руководители предприятий были более технически образованными, чем прежние «красные директора». Однако представляется, что автор недостаточно учитывает погодные условия: 1938 и 1939 гг. были отмечены сильнейшей засухой, когда производство зерна упало по сравнению с 1937 г. на 25 %. Напротив, хороший урожай 1940 г., очевидно, способствовал экономическому оживлению.

Описывая работу промышленности в период Великой Отечественной войны, Ханин впервые сопоставляет производительность труда в военной промышленности СССР и других стран. Оказывается, что,

³ Далее в квадратных скобках приводятся ссылки на страницы этого издания.

несмотря на трудности, связанные с эвакуацией, нехваткой квалифицированных рабочих и тяжелыми условиями жизни, производительность труда в СССР была выше, чем в Германии и Великобритании и уступала лишь производительности в США [с. 49].

Крупным хозяйственным успехом стало послевоенное восстановление: оно было более быстрым, чем в Германии и Японии, и вполне может быть названо «экономическим чудом» [с. 71, 83]. Этот успех был достигнут в значительной степени за счет заимствования западной технологии посредством вывоза технической документации из Германии и копирования техники, полученной по ленд-лизу. Существенную роль играл и промышленный шпионаж. Однако, как отмечает Ханин, процесс заимствования протекал творчески и требовал создания собственных научных и технических школ. Послевоенный период оказался временем становления советской науки, доля расходов на образование в национальном доходе была вдвое больше, чем в США [с. 93]. Престиж ученых и специалистов был в то время очень высок; он поддерживался значительным повышением заработной платы и различными льготами [с. 75]. Рост квалификации инженеров и хозяйственных руководителей являлся одним из важнейших факторов, способствовавших экономическому подъему [с. 93].

Автор убедительно показывает, что в 1950-х гг. «экономика СССР выигрывала соревнование с капиталистическими странами» [с. 109]. Больших успехов достигли не только отрасли промышленности, но и сельское хозяйство. «Многие специалисты внутри страны и за рубежом считали, что крупных достижений в этой области ждать невозможно из-за органических дефектов колхозного строя и в целом общественного хозяйства, особенно явных именно в этой отрасли экономики. Однако, как только советское государственное руководство определило подъем сельского хозяйства как свою первоочередную задачу (начиная с 1953 г.), достижения не замедлили появиться» [с. 110]. Отмечался существенный подъем уровня жизни, увеличение потребления. Общеизвестны достижения СССР в технической сфере – и не только в области вооружений; советские инженеры, к примеру, создали первые автоматизированные поточные линии. Однако «впечатляющие достижения советской экономики... не должны заслонять многие хронические ее недостатки... Качество многих изделий оставалось низким. Это относится прежде всего к потребительским товарам (особенно к их внешнему виду), но и к средствам производства тоже, в частности к оборудованию» [с. 111–112].

Одним из больных мест советской плановой системы было пренебрежительное отношение к вопросам взаимодействия торговли и промышленности. Торговля имела ограниченные возможности воздействия на структуру промышленного производства, поэтому потребительским предпочтениям населения не оказывалось должного внимания. Это вело к устареванию ассортимента и появлению дефицита отдельных товаров, чего можно было бы избежать, наладив

связи между промышленностью и торговлей, как это делалось в ГДР и Чехословакии [с. 112].

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. советская экономика столкнулась с новыми трудностями. В предыдущий период развитие промышленности в значительной мере было основано на перемещении рабочей силы из деревни в города. Теперь ресурсы свободной рабочей силы стали подходить к концу. Кроме того, послевоенный подъем опирался в значительной мере на иностранные технические достижения, но этот ресурс также был почти исчерпан, и теперь приходилось в большей степени опираться на собственную науку [с. 169]. Между тем, как показывает Ханин, ситуация в советской науке начиная с 1960-х гг. стала ухудшаться. По численности научных сотрудников СССР почти сравнялся с США, но производительность советской науки была в 8–10 раз ниже. Низкая производительность определялась не только недостатком финансирования (которое в эти годы было в три раза меньше, чем в США), но и низкими материальными стимулами и отсутствием возможности эффективного регулирования научной деятельности. В этих условиях в советской науке вокруг директоров институтов формировались клановые структуры, блокировавшие карьерный рост талантливых ученых. Академик М. А. Лаврентьев даже говорил о «феодализме» в советской науке [с. 232].

Внутренние трудности усугублялись галопирующей гонкой вооружений, в 1958–1963 гг. расходы на закупку военной техники возросли более чем в два раза [с. 147]. Недостаток ресурсов побудил советское правительство искать путь выхода из кризиса через некоторую либерализацию экономики, предоставление предприятиям определенной самостоятельности. «Вслед за вынужденным техническим заимствованием СССР встал на путь социального заимствования, расписавшись в неспособности найти оригинальные решения своих экономических проблем» [с. 313]. «Либеральная» реформа 1965 г., инициатором которой был А. Н. Косыгин, оценивается Ханиным исключительно негативно: проведенные автором расчеты показывают, что успехи этой реформы были статистической иллюзией [с. 175]. Ханин присоединяется к точке зрения известных экономистов (А. М. Еремина, Л. Маше-Сунца и др.), которые утверждают, что реформа ослабила плановую систему и дала выход эгоизму производителей, завышавших цены на продукцию [с. 315–316]. Хотя в начале 1970-х гг. были проведены некоторые меры по децентрализации управления, эгоизм производителей постепенно расшатывал командную экономику.

Положение осложнялось прогрессирующим ослаблением хозяйственного руководства. После отстранения Хрущева был принят курс на стабильность кадров. «Под этим благозвучным термином крылось стремление пришедшего к власти политического руководства сохраниться наверху любой ценой, несмотря на результаты своей деятельности» [с. 328]. Фатальную роль для экономики страны сыграли такие черты характера Брежнева, как мягкость и всепрощенчество, совер-

шенно недопустимые в командной экономике [Ханин, 2008, с. 332]. Министрам и крупным руководителям прощали любые провалы, они стали несменяемыми хозяевами своих министерств и ведомств. Директора предприятий заботились теперь не о выполнении плана, а о том, чтобы как-нибудь его скорректировать – естественно, в сторону уменьшения [с. 336]. Ценовые показатели выпуска продукции часто достигались не реальным увеличением производства, а скрытым ростом цен. Статистические данные искажались с целью создать у руководства впечатление о прогрессе экономики. Заместитель председателя Совмина академик В. А. Кириллин представил подготовленный при участии большого числа научных работников доклад о неблагоприятном положении в экономике, но этот доклад был отвергнут, и Кириллин был вынужден уйти в отставку [с. 380].

Автор рецензируемой монографии Г. И. Ханин был в числе тех экономистов, которые пытались донести до верхов информацию об ошибках официальной статистики – прежде всего о недоучете выбытия основных фондов. Эта ошибка создавала видимость роста этих фондов, и ее следствием был недостаток инвестиций в их обновление. «И здесь советское руководство оказалось жертвой ошибочной статистики, которая показывала большой рост капиталовложений вообще и производственных в частности. Так Советский Союз потерял один из секретов своих экономических успехов в прошлом: высокие темпы роста основных фондов» [с. 399].

Между тем в 1970-х гг. эрозия командной экономики перешла в новое качество: появился обширный теневой, «протокапиталистический» сектор экономики. Развитие теневого сектора было непосредственно связано с ошибками в области регулирования торговли. После известных событий в Новочеркасске правительство не решалось повышать цены на продовольственные товары; таким образом, перестал действовать один из главных механизмов, регулирующих сбалансированность товарооборота. Рост доходов населения вызвал нарушение баланса и формирование «денежного навеса», избыточной денежной массы, которая стала питать теневой рынок товаров и услуг [с. 343]. Теневые предприниматели использовали сырье и ресурсы, получаемые путем хищений, поэтому теневая экономика имела паразитический характер [с. 351]. С помощью взяток теневики заручались поддержкой части высших руководителей; формировалось сословие «советских миллионеров». При обысках у некоторых высокопоставленных чинов находили материальные и денежные ценности на миллионы рублей [с. 392].

Усиливалась деградация руководящих кадров... из-за огромного распространения теневой экономики, в которую были вовлечены миллионы людей, в том числе множество хозяйственных руководителей, жертвовавших своими должностными обязанностями в пользу личных, корыстных. Сложившуюся хозяйственную систему уже нельзя было

назвать командной или социалистической, в ней был силен, хотя и уродливый, рыночный элемент, протокапитализм, преимущественно разрушительного характера. Поэтому и неудачи последнего периода нельзя целиком относить к неэффективности командной экономики, которая существовала уже во многом только на бумаге. Отнюдь не показал свои экономические достоинства и нарождавшийся капитализм. Следствием распространения теневой экономики стала растущая дифференциация доходов, которая привела к абсолютному снижению уровня жизни большей части населения в последнее десятилетие этого периода. Попытка борьбы с теневой экономикой как главной опасностью для плановой экономики и социалистического общества, предпринятая в начале 80-х годов, захлебнулась после прихода М. С. Горбачева к руководству партией и страной, ибо в нее было вовлечено уже множество представителей правящего слоя [с. 508].

Таким образом, заключает Г. И. Ханин, главной причиной гибели Советского Союза была ошибочная экономическая политика, которая в конечном счете привела к разложению его экономических и общественных устоев.

Нужно отметить, что процесс эрозии регулируемой государственной экономики в Советском Союзе не был уникальным в истории. Государственная экономика была характерна для многих государств, например для древнего и эллинистического Египта, поздней Римской империи, империй Тан и Мин, Османской империи. Историческая эволюция этих государств во всех случаях закончилась разложением государственной машины, разрастанием теневой экономики и превращением государственных управленцев в несменяемых, а потом наследственных феодальных князьков. В конечном счете это приводило к распаду некогда могущественных империй [Алексеев, Нефедов].

Важное место в книге занимают альтернативные оценки многих аспектов советской экономики: динамики ВВП в 1938–1940 гг., относительного уровня производительности труда в военной промышленности в 1943 г. и авиационной промышленности за весь период ВОВ [Ханин, 2008, с. 32, 50–51, 64–70], производительности труда в ряде отраслей экономики в 1946–1950 гг., среднегодовые темпы ВВП в первой половине 60-х гг., ряда отраслей гражданского машиностроения в первой половине 60-х гг. [Там же, с. 78, 206, 251], динамики основных макроэкономических показателей по пятилетиям за 1961–1985 гг. и за 1986–1987 гг., индекс продукции промышленности по пятилетиям в 1961–1985 гг. [Там же, с. 396, 436]. Эти показатели обосновывают сделанные в книге выводы.

Подводя итоги, следует отметить, что труд Г. И. Ханина является образцом беспристрастного и кропотливого анализа 50-летнего периода развития экономики СССР. Этот анализ позволил автору указать на некоторые явления, которые прежде были малоизвестны экономистам или на которые не обращалось достаточного внимания.

Автор объективно оценивает как позитивные, так негативные стороны происходивших в СССР экономических процессов – и в этом свободном от политической конъюнктуры объективизме исследования заключается основная ценность книги.

Конечно, книга Г. И. Ханина не лишена недостатков, ее трудно использовать как учебник экономической истории ввиду отсутствия приложения, в котором приводились бы данные о показателях развития различных областей экономики. Кроме того, слишком мало внимания уделено развитию сельского хозяйства, материал распределен неравномерно: одни периоды развития экономики освещены детально, другие – менее подробно. По-видимому, эти недостатки и ограниченная доступность издания не позволили книге Ханина стать популярным учебным пособием, и она остается малоизвестной для широкой публики.

Однако в целом эта книга, несомненно, может быть полезна как студентам, так и специалистам в области экономической истории. Более того, без осмысления предлагаемого в ней материала наше представление о развитии советской экономики неизбежно будет неполным.

Алексеев В. В., Неведов С. А. Гибель Советского Союза в контексте истории мирового социализма // *Общественные науки и современность*. 2002. № 6. С. 66–77.

Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // *Новый мир*. 1987. № 2. С. 181–201.

Ханин Г. И. Альтернативные оценки результатов хозяйственной деятельности производственных ячеек промышленности // *Известия АН СССР. Сер. Экономическая*. 1981. № 6. С. 62–73.

Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. Т. 1: Экономика СССР в конце 1930-х годов – 1987 г. Новосибирск : Новосибирск. гос. тех. ун-т, 2008. 516 с.

Aslund A. *How Small is the Soviet National Income?* Stockholm: Institute of Soviet and East European Economics, 1990. 92 p.

Ericson R. E. *Soviet Statistical Debate: Khanin vs TSU* // *The impoverished superpower: Perestroika and the Soviet Military Burden* / ed. by H. Rowen, C. Wolf. San Francisco: ICS Press, 1990. P. 63–92.

Nove A. Has Soviet growth ceased? // *Manchester Statistical Society*. 1984. October. P. 3–24.

Alekseev, V. V. & Nefedov, S. A. (2002). *Gibel' Sovetskogo Soyuz v kontekste istorii mirovogo socializma* [Collapse of the Soviet Union in the context of the history of the world socialism]. *Obshchestvenny'e nauki i sovremennost'*, 6, 66–77.

Aslund, A. (1990). *How Small is the Soviet National Income?* Stockholm: Institute of Soviet and East European Economics.

Ericson, R. E. (1990). *Soviet Statistical Debate: Khanin vs TSU*. In H. Rowen & C. Wolf (Eds.), *The impoverished superpower: Perestroika and the Soviet Military Burden* (pp. 63–92). San Francisco: ICS Press.

Hanin, G. I. (1981). *Al'ternativny'e ocenki rezul'tatov hozyajstvennoj deyatel'nosti proizvodstvenny'h yacheek promy'shlennosti* [Alternative marks of the results of the economic activity of industrial workcells]. *Izvestiya AN SSSR*, 6, 62–73. (Economic series).

Hanin, G. I. (2008). *E'konomicheskaya istoriya Rossii v novejshee vremya. T. 1: E'konomika SSSR v konce 1930-h godov – 1987 g.* [Economic history of Russia in contemporary history. Vol. 1: Economy of the USSR in the late 1930s–1987 yr.]. Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstvenny'j tehničeskij universitet.

Nove, A. (1984, October). Has Soviet growth ceased? In *Manchester Statistical Society* (pp. 3–24).

Selyunin, V. V. & Hanin, G. (1987). Lukavaya cifra [Crafty figure]. *Novy'j mir*, 2, 181–201.

The article was submitted on 01.10.2014

Сергей Александрович Нефедов

д. и. н.

Россия

Институт истории и археологии

УрО РАН

hist1@yandex.ru

Sergey Nefedov, Dr

Russia

Institute of History and Archaeology,

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

hist1@yandex.ru

hist1@yandex.ru

Сокращения

Abbreviations

АВПРИ ИДД МИД России – Архив внешней политики Российской империи
Информационно-документального департамента Министерства иностранных
дел России

АВПРИ ИДД МИД России – Arhiv vneshnej politiki Rossijskoj imperii Informacionno-
dokumental'nogo departamenta Ministerstva inostranny'h del Rossii

АЕ – Археографический ежегодник

АЕ – Arheograficheskij ezhegodnik

Архив ЗГО – Архив Златоустовского городского округа

Arhiv ZGO – Arhiv Zlatoustovskogo gorodskogo okruga

ГАПК – Государственный архив Пермского края

GAPK – Gosudarstvennyj arhiv Permskogo kraja

ГАСО – Государственный архив Свердловской области, г. Екатеринбург

GASO – Gosudarstvennyj arhiv Sverdlovskoj oblasti, g. Ekaterinburg

ЕЕВ – Екатеринбургские епархиальные ведомости

EEV – Ekaterinburgskie eparhial'ny'e vedomosti

ИППО – Императорское Православное Палестинское общество

IPPO – Imperatorskoe Pravoslavnoe Palestinskoe obshhestvo

МГИАИ – Московский государственный историко-архивный институт

MGIAI – Moskovskij gosudarstvennyj istoriko-arhivnyj institut

ОЕВ – Оренбургские епархиальные ведомости

OEV – Orenburgskie eparhial'ny'e vedomosti

ПЕВ – Пермские епархиальные ведомости

PEV – Permskie eparhial'ny'e vedomosti

ПСЗ-2 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2

PSZ-2 – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 2

ПСЗ-3 – Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3

PSZ-3 – Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 3

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

PSRL – Polnoe sobranie russkih letopisej

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

RGADA – Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov

РГИА – Российский государственный исторический архив, г. С.-Петербург

RGIA – Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv, g. S-Peterburg

СИЛ – Софийская первая летопись старшего извода

SIL – Sofijskaja pervaya letopis' starshego izvoda

ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы

TODRL – Trudy' Otdela drevnerusskoj literatury'

УЕВ – Уфимские епархиальные ведомости

UEV – Ufimskie eparhial'ny'e vedomosti

ЦГА УР – Центральный государственный архив Удмуртской республики

CGA UR – Central'nyj gosudarstvennyj arhiv Udmurtskoj respubliki

EAA – Eesti Ajaloo Arhiiv [Estonian Historical archive]

Научное издание

Quaestio Rossica

№ 3(4), 2014

Редакторы	Н. Шевченко А. Лабаури
Редакторы перевода	Т. Кузнецова Я. Шипицина
Верстка	А. Матвеев

Подписано в печать 01.12.2014. Формат 70х100/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,7.
Тираж 500 экз. Заказ № 1761.

Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru